

БОРИС ЗАЙЦЕВ
Улица Святого Николая
Повести и рассказы

БОРИС ЗАЙЦЕВ

Улица Святого Николая

Повести и рассказы



Москва
«Художественная литература»
1989

ББК 84Р7
З-17

Вступительная статья, составление
О. МИХАЙЛОВА

Оформление
Ю. БОЯРСКОГО

Иллюстрации
Н. КОСТИНОЙ

З $\frac{4702010201-393}{028(01)-89}$ без объявл.

ISBN 5-280-01339-0

«БЕССМЫСЛЕННОГО НЕТ...»
(О Борисе Константиновиче Зайцеве)

Он был во всех отношениях «последним» в русском зарубежье: умер в 1972 году, в Париже, не дожив двух недель до того, как ему должен был исполниться девяносто один год; долгое время состоял председателем парижского союза русских писателей и журналистов; пережил едва ли не всю «старую» эмиграцию.

В богатой русской литературе нашего века Зайцев оставил свой, заметный след, создал художественную прозу, преимущественно лирическую, без желчи, живую и теплую. Тихий свет добра, простые нравственные начала, особенное чувство сопричастности всему сущему: каждый человек — лишь частица природы, маленькое звено Космоса — «Не себе одному принадлежит человек».

Как прозаик Зайцев выдвинулся уже в начале 900-х годов. Основатель знаменитого литературного кружка «Среда» Н. Д. Телешов в своих воспоминаниях рассказывает:

«Однажды Андреев привез к нам новичка. Как в свое время его самого привез к нам Горький, так теперь он сам привез на Среду молоденького студента в серой форменной тужурке с золочеными пуговицами. Юноша талантливый,— говорил про него Андреев,— напечатал в «Курьере» хотя всего два рассказа, но ясно, что из него выйдет толк. Юноша всем понравился — и рассказ его «Волки» тоже понравился, и с того вечера он стал членом Среды и ее посетителем. Вскоре из него выработался писатель — Борис Зайцев» [1].

---

[1] Телешов Н. Записки писателя. Рассказы. М., 1987, с. 128.

В 910-е годы Зайцев был широко признан читающей Россией; его романом «Голубая звезда» (1918) восхищался молодой Паустовский: «Чтобы немного придти в себя, я перечитывал прозрачные, прогретые немеркнущим светом любимые книги: «Вешние воды» Тургенева. «Голубую звезду» Бориса Зайцева, «Тристана и Изольду», «Манон Леско». Книги эти действительно сияли в сумерках киевских вечеров, как нетленные звезды». А пьеса «Усадьба Ланиных» стала вехой для вахтанговцев (и сейчас на Старом Арбате, в витрине театра, красуется афиша тех времен, возвещающая о премьере спектакля, подготовленного молодым Вахтанговым).

Но главные книги Зайцева все-таки написаны за рубежом: автобиографическая тетралогия «Путешествие Глеба»; превосходные произведения, как мы именуем их теперь, художественно-биографического жанра — о Жуковском, Тургеневе, Чехове, о Сергии Радонежском. Великолепный перевод дантовского «Ада». Италию он любил и знал, пожалуй, как никто из русских после Гоголя. Дружил в эмиграции с Буниным, о котором оставил немало интересных страниц.

На первооснову его таланта повлияло обаяние родной природы, впечатления «малой родины». Этот тульско-орловско-калужский край, который он именовал «Тосканией нашей российской», Зайцев любил глубоко и нежно. И в ряде произведений своих, в том числе и в художественных биографиях Тургенева и Жуковского, посвятил ему благодарные строки: «Ока берет начало несколько южнее Орла. Худенькая еще в Орле и скромная, скромно восходит прямо на север, к Калуге. Медленно, неустанно пронизывает извивами зеркальными Русь чрез Рязань до Волги — светлая душа страны... В необъятной России как бы область известной гармонии — те места Подмосковья, орловско-тульско-калужские, откуда чуть не вся русская литература и вышла».

Детские годы писателя и связаны с калужской землей. Он родился 29 января 1881 года, в Орле, в дворянской семье, и годовалым ребенком был перевезен в село Усты Жиздринского уезда Калужской губернии. Отец, горный инженер, ездил отсюда каждый день на рудники бурого железняка; сын рос в русском приволье. «Все мое детство прошло — кроме семьи моей,— вспоминал много позднее Борис Зайцев,— среди простонародья. Был я среди них «барчук», но и простой товарищ детских игр».

Затем — гимназия и реальное училище в Калуге, тихом губернском городе, на высоком, живописном берегу любимой Оки. «Прорезает Ока чуть не всю среднюю Россию — на ней расположен Орел Тургенева, Лескова, Бунина, Леонида Андреева»,— говорил в последнем в своей жизни интервью слависту, ныне профессору Сорбонны Ренэ Герра Б. Зайцев, упоминая и любимых своих земляков и писателей.

В 1899 году он выдержал конкурсный экзамен для поступления в Императорское Техническое училище в Москве, а после исключения из училища за участие в студенческой забастовке поступил в

Петербургский Горный институт. Однако тяга к «писательству» оказалась настолько сильной, что молодой человек решил посвятить себя исключительно литературе.

Еще в гимназии, в 1897 году, Зайцев прочел сборник рассказов Чехова «Хмурые люди». Как вспоминал он, «этот писатель покорил. Тургенев великое прошлое, этот живой, свой, такой близкий по духу». Именно Чехову, в Ялту, с замиранием сердца послал юный студент одну из первых своих рукописей. В этой книге есть страницы, рассказывающие о встрече с Чеховым; сохранилась и чеховская телеграмма Зайцеву о его повести «Неинтересная история»: «Холодно, сухо, длинно, не молодо, хотя талантливо». Зная суровость, даже «свирепость» — беспощадность нелицеприятных чеховских оценок, эту воспринимаешь как добрый аванс молодому литератору.

Начинал Зайцев в газете «Курьер», которая в сравнении с солидными московскими «Русскими ведомостями» была «моложе, левее и задиристей». В редакции сходились, встречались очень разные люди. Например, Бунин и критик-марксист Шулятиков или социал-демократ, будущий большевик и комиссар П. С. Коган. Но среди всех выделялся Леонид Андреев, с которым Зайцева связала прочная дружба. Сближало их многое, начиная с землячества и кончая общностью исканий, желанием нового в литературе, с отходом от традиционного реализма. В 1901 году Леонид Андреев напечатал в «Курьере» зайцевский рассказ «В дороге».

О рождении этого рассказа и об исканиях своих сам Борис Константинович в 1957 году вспоминал:

«Я начал с импрессионизма. Именно тогда, когда впервые ощутил новый для себя тип писания: «бессюжетный рассказ-поэму», с тех пор, считаю, и стал писателем. Мучительны томления юности, когда себя *ищешь*, не находишь, временами отчаиваешься, впадаешь во мрак и все кажется бессмысленным. Но уж, очевидно, через это надо пройти.

Мне было около двадцати лет. Писать хотелось, внутреннее давление росло. Но я знал, что не могу писать так, как тогда писали в толстых журналах «повести и рассказы». Долго довольно ходил вокруг да около, и наконец «это» пришло. Разумеется, новое уже носилось в воздухе. И собственная душа была уже душой XX, а не XIX века. Надо было только нечто в ней оформить»[1].

Как и Леонид Андреев, Зайцев считал, что прежний реализм в его привычных, «бытовых» формах изжил себя, 90-е годы девятнадцатого столетия казались унылыми: старые корифеи сошли со сцены (за исключением Л. Н. Толстого, сделавшегося как бы живой историей); новое виделось в символизме, импрессионизме. Громко звуча-

---

[1] Зайцев Борис. О себе.— Газ. «Русская мысль». Париж, 1957, № 70.

ли имена Бодлера, Верлена, Метерлинка, Верхарна, Ибсена, Гамсуна. В русской литературе заявили о себе Бальмонт, Брюсов, Мережковский, Федор Сологуб. Зайцева увлекали философско-религиозные сочинения Вл. Соловьева, который заметно повлиял на миросозерцание молодого писателя, а значит, и на его творчество. «Многое, очень многое сдвинул в моей душе,— говорил в интервью, данном Ренэ Герра в декабре 1970 года, Борис Константинович,— от пантеизма ранней юности моей повел дальше. Летом, живя в имении отца в Тульской губернии, в 70 верстах от Ясной Поляны Толстого, я зачитывался Соловьевым до восхода солнца. Косари выходили на покос, позвякивая косами, натачивали лезвия о бруски, а я выходил к крыльцу флигеля своего, приветствуя восходящее светило,—для меня символ Бога» [1].

Одновременно живая и прочная связь соединяла Зайцева с молодым реалистическим крылом русской литературы, в частности, с московским объединением «Среда», куда, помимо Телешова, входили Иван Бунин и его брат Юлий, Вересаев, Тимковский, критик Сергей Глаголь, наездами бывал Горький, реже — Чехов, Короленко, Куприн. И конечно, восхищал Леонид Андреев. Вместе с Андреевым Зайцев составил как бы левый фланг «Среды».

В амальгаме живых, первородных впечатлений Центральной России, книжных философских влияний, воздействия разнородных — подчас взаимоисключающих — новых веяний в литературе и складывались первые вещи Зайцева: «В дороге», «Волки», «Мгла», «Священник Кронид», «Деревня», «Миф» и т. д. Первая книжка рассказов, вышедшая в 1906 году, подвела некоторые итоги и вызвала одобрительный отзыв А. Блока в его известной статье «О реалистах»: «Есть среди «реалистов» молодой писатель, который намеками, еще отдаленными пока, являет живую, весеннюю землю, играющую кровь и летучий воздух. Это — Борис Зайцев» [2].

Пантеистическое начало в ранних произведениях зайцевских сильно заметно: от него чувство слиянности с природой, ощущение единого, живого и восходящего к Космосу мира, где все взаимосвязано — люди, волки, поля, небо. Отсюда и некая «безличность» зайцевской прозы, о которой писал в своей характерной, заостренной, даже утрированной манере Корней Чуковский: «Грибы и телята, и люди, и страусы, и собаки, и яблоки, и рыбы, и медведи,— все сливается для Зайцева в одно безликое, безглазое, «сплошное», животное, облепившее землю, текучее, плодоносящее, не оскудевающее чревом, без слов, без мыслей — прекрасное, упоительное именно своей «сплошностью», «безглазостью», «безмыслием» [3]. В то

---

[1] Интервью Б. К. Зайцева Ренэ Герра.— Русский альманах. Париж, 1981, с. 464.

[2] Блок А. Собр. соч. в 6-ти томах, т. 5. М.—Л., 1962, с. 124.

[3] Чуковский К. Борис Зайцев.— В его кн.: От Чехова до наших дней. СПб. и М. (б. г.), с. 183.

же время зайцевский пантеизм, его «язычество», в котором Чуковский находил нечто уитменовское, рубенсовскую «животную» веру, воплощен с помощью нежных словесных красок, импрессионистического письма, подсвеченного мягким авторским лиризмом.

Оригинальность, самобытность первых произведений Зайцева широко открывают ему двери изданий: газет «Утро России» и «Речь», журналов «Правда», «Новый путь», «Вопросы жизни», «Золотое руно», «Перевал», «Русская мысль», «Вестник Европы», альманахов «Шиповник» и «Земля». Характерно, что его вещи печатаются в органах самых разных направлений — марксистской «Правде» и символистском «Золотом руне», либерально-радикальном «Русском богатстве» и неохристианском «Новом пути», который редактировал Д. С. Мережковский. Сам Зайцев не чувствовал себя жестко связанным с каким-либо из литературных направлений. Впрочем, он еще находился в пути, в движении, в поисках себя, шел через издержки и повторения, что отмечал А. Блок в статье «Литературные итоги 1907 года»: «Борис Зайцев открывает все те же пленительные страны своего лирического сознания; тихие и прозрачные. И повторяется» [1].

Движение Зайцева-художника, Зайцева-писателя в 1900-е годы можно определить как путь от модернизма к реализму, от пантеизма к идеализму, к простой и традиционной русской духовности, от Леонида Андреева и Федора Сологуба — к Жуковскому и Тургеневу, к Сергию Радонежскому, от «языческих» метафор к спокойной уравновешенности и прозрачности слога. Сам он это превосходно ощущал и, оглядываясь на пройденное, подытоживал:

«Когда сейчас перелистываешь написанное до революции и следишь за своими изменениями во времени, то картина получается такая: возбужденность первых годов понемногу стихает. Стремишься невольно расшириться, ввести в круг писания своего не только природу, стихию, но и человека — первые попытки психологии (но всегда с перевесом поэзии). Отходит полная бессюжетность. Вместо раннего пантеизма начинают проступать мотивы религиозные — довольно еще невнятно («Миф», «Изгнание») — все же в христианском духе. Этот дух еще ясней чувствуется в первом *романе* «Дальний край» (1912), полном молодой восторженности, некоторого простодушия наивного,— Италия вносит в него свой прозрачный звук. Критик назвал бы «Дальний край» романом «лирическим и поэтическим» (а не психологическим). К этой полосе относится пьеса «Усадьба Ланиных», с явным оттенком тургеневско-чеховского (всегда внутренне автору родственного), и также с перевесом мистического над жизненным» [2].

---

[1] Блок А. Собр. соч. в 6-ти томах, т. 5, с. 224.

[2] Зайцев Борис. О себе.— Газ. «Русская мысль». Париж, 1957, № 70.

Характерным примером этого «срединного» Зайцева может служить рассказ «Аграфена» (1909) — «житие» простой русской крестьянки, попавшей в город, в услужение, и воротившейся в деревню. Как бы русский вариант «Простой души» Флобера, на другой национальной почве возросшей. Пронеслись через ее душу бури чувств, испытания и несчастья, наступило успокоение, обретение света и осмысленности прожитой жизни. Противоположность, и полная, «Жизни человека» Леонида Андреева, с ее беспросветным мраком, отчаянием, бесцельностью существования. На примере этом, кажется, хорошо видно, как отходит Зайцев от модернизма к реализму, можно сказать, философского склада, всегда тяготевшего к вечным загадкам бытия.

Если говорить о дореволюционном творчестве Зайцева в целом, то итоговой по отношению к нему можно считать повесть «Голубая звезда», с ее центральным героем, бескорыстным и чистым мечтателем Христофоровым. Эту вещь, как сказал сам Зайцев, «могла породить лишь Москва мирная и покойная, послечеховская, артистическая и отчасти богемная». Дух и искания интеллигенции русской накануне великих социальных потрясений выражены в ней в слове прозрачном, создающем особенное, «зайцевское» настроение.

Здесь, очевидно, и проявляется тайна его художественного дарования, магия его воздействия на читателя. То, о чем позднее сказал поэт и критик Г. Адамович: «Он не резонерствует, он крайне редко заставляет своих героев рассуждать, высказывать отвлеченные мысли. Бунин тоже этого не любил, а Зайцев любит еще меньше. Но в искусстве создавать то, что прежде было принято называть «настроением», у Зайцева едва ли найдутся соперники. Он обладает какой-то гипнотической силой внушения, и как бы порой ни хотелось сопротивляться этому чуть-чуть прохладному благодушию, этой нежности и печали, в конце концов, закрывая книгу, чувствуешь, что зайцевская тончайшая паутинка тебя опутала. Зайцев на все глядит по-своему, обо всем по-своему рассказывает, и, хотим мы того или не хотим, этим «своим» он наделяет и читателя» [1].

События двух революций и гражданской войны явились тем потрясением, которое окончательно изменило и духовный, и художественный облик Зайцева. Он пережил немало тяжелого (в февральско-мартовские дни семнадцатого года в Петрограде был убит толпой его племянник, выпускник Павловского юнкерского училища; сам Зайцев перенес лишения, голод, а затем и арест, как и другие члены Всероссийского Комитета помощи голодающим). В 1922 году, вместе с издателем З. И. Гржебиным, он выехал в Берлин, за границу. Как оказалось, навсегда.

---

[1] Адамович Г. Борис Константинович Зайцев.— Газ. «Русская мысль». Париж. 26 февраля 1981, № 3349.

В отличие от многих других эмигрантов-литераторов, отдавших свой темперамент проклятиям в адрес России новой, события, приведшие Зайцева к изгнанию, его не озлобили. Напротив, они усилили в нем чувство греха, ответственности за содеянное и ощущение неизбежности того, что свершилось. Он, очевидно, много размышлял обо всем пережитом, прежде чем пришел к непреклонному выводу:

«Ничто в мире зря не делается. Все имеет смысл. Страдания, несчастия, смерти только кажутся необъяснимыми. Прихотливые узоры и зигзаги жизни при ближайшем созерцании могут открыться как небесполезные. День и ночь, радость и горе, достижения и падения — всегда научают. Бессмысленного нет» («Москва»).

Пережитое, страдания и потрясения вызвали в Зайцеве религиозный подъем; с этой поры, можно сказать, он жил и писал при свете Евангелия. Это отразилось даже на стиле, который сделался строже и проще, многое «чисто» художественное, «эстетическое» ушло — открылось новое («Если бы сквозь революцию я не прошел,— размышлял писатель,— то, изжив раннюю свою манеру, возможно, погрузился бы еще сильней в тургеневско-чеховскую стихию. Тут угрожало бы «повторение пройденного»).

Теперь повторение не грозило. Обновленная стихия сострадания и человечности (но никак не очернения или отчаяния) пронизывает прозу о пореволюционной России: «Улица Св. Николая». «Белый свет», «Душа» (все написаны в Москве в 1921 году). Одновременно Зайцев создает цикл новелл, далеких от современности,— «Рафаэль», «Карл V», «Дон Жуан» и пишет книгу «Италия», о стране, которую любил, превосходно знал (ездил туда в 1904, 1907, 1908, 1909 и 1911 годах). Но о чем бы ни писал — о Москве революционной или о великом живописце Возрождения, тональность была как бы единая: спокойная, почти летописная.

Он и революцию великую стремится рассматривать сквозь призму столетий и убеждается, сколь многозначна, поучительна история человечества.

«Что, если бы теперь Данте явился на Кисловках и Арбатах времен «великих исторических событий»?

Он жил в век гражданских войн. Сам был изгнанником. Самому грозила смерть в случае, если бы ступил на родную землю, флорентийскую (сожгли бы его — igne comburatur, sic quod moriatur). «Божественная Комедия» почти вся написана в изгнании.

Данте не знал «техники» нашего века, его изумили бы автомобили, авиация и т. п. ... Но борьба классов, диктатура, казни, насилия — вряд ли бы остановили внимание. Флоренция его века знала popolo grasso (буржуазия) и popolo minuto (пролетариат) и их вражду. Борьба тоже бывала не из легких. Тоже жгли, грабили и резали. Тоже друг друга усмиряли.

Четыре года назад профессор Оттокар, русский историк Флоренции, выходя со мной из отеля моего «Corona d'Italia», показывая на один флорентийский дом наискосок, сказал:

— В четырнадцатом веке здесь помещался первый совет рабочих депутатов.

Было это во время так называемого «восстания Чиомпи», несколько позже Данте, но в его столетии. Так что история началась не со вчерашнего дня» («Москва»).

«Итальянская» тема в зайцевском творчестве проходит через всю его жизнь; но главной, всеопределяющей была, конечно, другая. «За ничтожными исключениями,— вспоминал Зайцев,— все написанное здесь мною выросло из России, лишь Россией дышит». Так появляются первые произведения, несущие в себе память о России — романы и повести «Золотой узор» (1926), «Странное путешествие» (1926), «Дом в Пасси» (1935), «Анна» (1929) и беллетризованные жизнеописания «Алексей, Божий человек» (1925) и «Преподобный Сергий Радонежский» (1925).

Это уже «новый» и «окончательный» Зайцев, пишет ли он о пережитом, отошедшем («Золотой узор»), или обращается к миру «русского Парижа», почему-то облюбовавшему квартал Пасси («Живем на Пассях»,— говорили эмигранты). Качество духовное перешло и в художественное, в эстетику. «Давно уже было отмечено,— утверждал рецензент, откликаясь на появление романа «Дом в Пасси»,— что он не «бытовик», что он создал свой «мир». Этот зайцевский мир более бесплотен и одухотворен, чем обычный мир. И Зайцеву сравнительно легко преобразить в свой «мир» эмигрантскую неустоявшуюся, не спустившуюся в быт, не отяжелевшую жизнь. Люди у Зайцева всегда были немного «эмигрантами», странниками на земле» [1].

Если говорить о позиции писателя, на расколовшийся, на отторгнутый от него мир взирающего, то это будет, говоря зайцевскими же словами, «и осуждение, и покаяние», «признание вины». Взгляд религиозный, хоть и «в миру» высказанный, кротость в соединении с твердостью взгляда. Это характерно и для первой крупной вещи, написанной в эмиграции,— романа «Золотой узор», и для небольшой работы «Преподобный Сергий Радонежский». «Разумеется,— комментирует Зайцев, тема эта никак не явилась бы автору и не завладела бы им в дореволюционные годы».

Читая жизнеописание знаменитого русского святого четырнадцатого века, отмечаешь одну особенность в его облике, Зайцеву, видимо, очень близкую. Это *скромность подвижничества.* Черта очень русская — недаром в жизнеописании своими приметами человеческими, самим качеством подвига ему противопоставляется другой, католический святой — Франциск Ассизский. Преподобный Сергий не отмечен особенным талантом, даром красноречия. Он «бедней» способностями, чем старший брат Стефан. Но зато излуча-

---

[1] Цетлин М. Борис Зайцев. Дом в Пасси.— Журнал «Современные записки». Париж, 1935, № 59, с. 474.

ет свой тихий свет — незаметно и постоянно. «В этом отношении, как и в других,— говорит Зайцев,— жизнь Сергия дает образ постепенного, ясного, внутренне-здорового движения. Это непрерывное, недраматическое восхождение. Святость растет в нем органично. Путь Савла, вдруг почувствовавшего себя Павлом,— не его путь».

Сергий последовательно тверд и непреклонен — в своей кротости, смирении, скромности. Когда братия монастырская вдруг начала роптать, игумен не впал в гнев пастырский, не принялся обличать своих «детей» за греховность. Он, уже старик, взял посох свой и ушел в дикие места, где основал скит Киржач. И другу своему, митрополиту московскому Алексию, не позволил возложить на себя золотой крест митрополичий: «От юности я не был златоносцем, а в старости тем более желаю пребывать в нищете».

Так завоевывает св. Сергий на Руси тот великий нравственный авторитет, который только и позволяет ему свершить главный подвиг жизни — благословить князя Димитрия Московского на битву с Мамаем и ордой татарской...

Преподобный Сергий Радонежский для Зайцева — неотъемлемая часть России, как и Жуковский, как и Тургенев, Чехов, которым он посвятил специальные биографические работы. И в этих книгах мысль о Родине, о России надо всем торжествует.

«Как в России времен революции был я направлен к Италии,— вспоминал Зайцев,— так из латинской страны вот уже двадцать лет все пишу о России. Не случайным считаю, что отсюда довелось совершить два дальних странствия — на Афон и на Валаам, на юге и севере ощутить вновь родину и сказать о ней. В «Жизни Тургенева» — прикоснуться к литературе русского золотого века, в «Преподобном Сергии Радонежском» — к русской святости. Даже роман «Дом в Пасси», где действие происходит в Париже, внутренне все с Россией связано и из нее истекает. Что же можно сказать о таких вещах, как «Анна», «Странное путешествие», «Авдотья-смерть» — пусть в них и много страшного, горестного, но если (по утверждению критики) это наиболее удавшиеся из моих законченных писаний и наиболее зрелые — то и живопись фигур, и природа, и музыкальный фон их есть проекция каких-то русских звуков, ветров, душенастроений и благоуханий — в литературу. Если есть за что-то мне благодарить тут, то — Россию» [1].

Одним из главных художественных памятников России отошедшей, самым обширным из писаний Зайцева является его автобиографическая тетралогия «Путешествие Глеба» (1937), «Тишина» (1948), «Юность» (1950), «Древо жизни» (1954). Вместе с другими крупными писателями русского зарубежья, именно вдалеке от Родины обратившимися к впечатлениям детства, отрочества, молодости, создает он

---

[1] Зайцев Борис. О себе.

«историю своей жизни», «наполовину автобиографию». В списке этом выделяется, конечно, «Жизнь Арсеньева» Бунина, хотя и прочие книги отмечены блеском поэзии, сладким и горьким сном прошлого. Именно «издалека» Россия виделась значительнее, крупнее. Не случайно, думаю, что и «Детство Никиты» А. Толстого написано не «дома», а в Берлине, не говоря уже о купринских «Юнкерах» или замечательных книгах Шмелева «Богомолье» и «Лето Господне».

Главная мысль тетралогии (впрочем, как и всего позднего творчества Зайцева) может быть определена его словами, высказанными в одном из очерков о любимой (можно сказать, второй после России родины духовной) Италии: «Времени нет. Пока жив человек... Бывшее полвека столь же живо, а то и живее вчерашнего...» И в другом месте: «Все достойное живет в вечности этой». И хотя герой тетралогии — это второе «я» писателя (даже имя прозрачно намекает на другого русского святого, неразрывно с Глебом связанного,— Бориса, так же павшего от руки Убийц, подосланных Святополком Окаянным), подлинным центром всего произведения становится все-таки Россия, ее отошедшая жизнь и склад, ее люди и пейзажи, ее безмерность, поля леса, веси и грады.

Заключительные страницы последней, четвертой книги — «Древо жизни» навеяны путешествием Зайцева с женой в июле — сентябре 1935 года в «русскую Финляндию» — новая вспышка ностальгической тоски по Родине и признание в сыновней любви к ней. Сохранились письма той поры другу и любимому художнику — Бунину, где темы эти проходят лейтмотивом.

«Скоро уже два месяца, как мы в отъезде, дорогой Иван!— сообщал Борис Константинович в письме от 1 сентября 1935 года из Коломяк, на берегу Балтийского залива.— И недалеко время, когда будем «грузиться» назад. Пока что путешествие наше удалось *редкостно.* Начиная с безоблачного плавания, удивительного приема здесь и вплоть до вчерашнего дня, когда был совершенно райский осенний русский день. На Валааме провели девять дней. Много прекрасного и настоящего. (Остров весь в чудесных лесах, прорезан заливами и озерами. Луга, цветы, по дорогам часовенки. Скиты, старички отшельники — много общего с Афоном. Мы иногда целыми днями слонялись. Жаль только, что масса туристов. В мон[астырской] гостинице толчея.)

Уже три недели живем в Келломяках — в немолодом, огромном доме. Теперь тут пансион. В авг[усте] (первой половине) было порядочно народу, сейчас мы одни. У нас две комнаты (и отдельный крытый балкон в цветах) выходит в зелень. Это была усадьба. Перед моим окном сад, яблони, цветы, дальше сосны, дорога — море. Виден Кронштадт. Это очень волновало первое время. Теперь привыкли. Иван, сколько здесь России! Пахнет покосом, только что скосили отаву в саду, Вера трясла и сгребала сено, вчера мы с ней ездили на чалом мерине ко всенощной в Куоккалу, ременные вожжи, запах лошади, все эти чересседельники и хомуты... (Вечером

идешь по аллее: яблони, цветут настурции, флоксы, георгины. Вдали, в темноте, лампа зажжена на стеклянной террасе... Притыкино.) И еще: запахи совсем русские: остро-горький — болотцем, сосной, березой. Вчера у куоккальской церкви — она стоит в сторонке — пахло ржами. И весь склад тут русский, довоенный ...

Были ужасающие грозы — дней пять подряд. Сейчас хорошо! Мечтаю о сухом и солнечном сентябре, последние дни прекрасно. Хожу по лесу, собираю грибы (как Сергей Иванович Кознышев). Дятлы работают нынешней осенью замечательно! Эти прогулки доставляют давно не испытанную радость — от елей, мха, дятлов, грибов и всего того добра, чем так Россия богата. Да, тут я понял, что очень мы отвыкли от русской природы, а она удивительна и сидит в нашей крови, никакими латинскими странами ее не вытравишь» [1].

Именно неотступная мысль о России водит пером Зайцева; она подвигает его к созданию серии беллетризованных биографий — В. А. Жуковского (1951), И. С. Тургенева (1932), А. П. Чехова (1954).

Очень характерен тут самый отбор имен. Взяты зайцевские любимцы или земляки: тульские и орловские места многими драгоценными нитями связаны с жизнью и творчеством Жуковского и Тургенева, да и чеховское Мелехово не столь уж далеко. И Тургеневу, и Чехову Борис Константинович был многим обязан как художник, а Чехов, кроме того, был не только первый учитель, но и «судья», которому юноша послал свою рукопись.

Необычен, оригинален самый жанр, избранный Зайцевым. Это очень «личные» книги. На эту особенность указывала А. Шиляева, подчеркивая, что в беллетризованных биографиях «раскрывается также и привлекательный образ самого автора — верующего, благожелательного и гуманного человека, большого мастера слова, «поэта в прозе», внесшего неповторимое «свое» в сравнительно новый и экспериментальный в русской литературе жанр» [2].

Впрочем, это «свое» Зайцев, оригинальный художник и мыслитель, вносит во все, о чем пишет, даже если речь идет о далекой Италии. Это проявляется, в частности, в его горячем увлечении темой Данте, который, наряду с Тургеневым и Чеховым, стал его великим духовным спутником (исследование «Данте и его поэма», 1922; «Данте. Судьба», 1955; перевод «Ада», выполненный ритмической прозой в 1910-е годы, затем долго дорабатывавшийся и

---

[1] Новый журнал, 1982, № 140, с. 141—142. (Притыкино — имение отца, где подолгу жил Зайцев; Кознышев — персонаж романа Л. Н. Толстого «Анна Каренина».)

[2] Шиляева Ариадна. Борис Зайцев и его беллетризованные биографии. Нью-Йорк, 1971, с. 164.

опубликованный уже в Париже, в 1961 году). В бурной событиями биографии Данте Зайцев кротко искал исторические аналогии, не возвышая себя, но извлекая поучительные итоги и смиряясь, учась *прощать.*

О том, какое значение в жизни его имел Данте и перевод поэмы «Ад» (первая часть знаменитой «Божественной комедии»), Борис Константинович писал мне 3 декабря 1961 года:

«Вышел и Данте «Ад» — работал я над ним пять лет (1913—1918), кончен перевод 43 года тому назад и внутренне сопутствовал мне на всем пути моей жизни (поддерживал, утешал в беде). Когда книга вышла, наконец, больная моя жена, переписывавшая ее в свое время, поцеловала книжку и прижала к груди, в слезах. Да, этот Данте сопутствовал и в российских бурях, и здесь во время бомбардировок, когда я с рукописью спускался в подвалы (в 42 году весь перевод пересмотрен был строка за строкой с подлинниками). Теперь рукопись эта, даже по виду отдающая 14-м веком, покоится в торжественном Книгохранилище — к сожалению, не на Родине.

Вы видите, как я стал многословен, когда дело коснулось Данте, но я и Италию любил и самого старика (умершего в 1321 году полуницим, в Равенне, а после смерти «Божественная комедия» выдержала 400 изданий в одной Италии! Литература об этом одиноком человеке необозрима. Даже библиография необозрима).

Я отправил Вам этот «Ад» («Чистилище» и «Рай» мне не довелось перевести). Перевод Лозинского виртуозен, но Данте в нем мало.

Будьте здоровы, трудитесь на пользу Родины, любите кого и что надо.

«L'Amor che muove il Sole e e'altre stelle» — этим кончается «Рай», и это завет великого нашего предка и покровителя.

Всего доброго. Ваш Бор. Зайцев.

Чуть было не наврал в цитате. Всегда надо проверять по тексту, на память не полагаться.

«L'Amor che muove e'Sol e e'altre stelle». Пятистопный ямб.

«Любовь, что движет Солнце и другие звезды».

У Лозинского иначе, но вышло хуже из-за терцины («светила» — «стремила»). Я не стал переводить терцинами. У меня ритмическая проза, строка в строку с подлинником. По-моему, единственный способ».

Да, любовь — к человеку, к великой цивилизации и великой культуре, которая, по мысли Данте, движет Солнце и другие звезды, двигала и пером Зайцева.

Подобно великому флорентийцу, он испил горькую чашу изгнанника, но сохранил главное — внутреннюю свободу. И тогда, когда был вынужден покинуть Россию, и тогда, когда (вместе с Буниным) оказался в оккупации, после захвата гитлеровцами Франции. Об этом, о жизни при оккупантах, он писал мне 18 июля 1967 года: «Все мы жили

тогда несладко, и меня звали немцы печататься, и отказался, и никакого «героизма» здесь не было, но оба мы (с Буниным.— *О. М.*) выросли в воздухе свободы (не улыбайтесь, Вас тогда еще и на свете не было), и никто нам не смел диктовать что-то».

Этот замечательный писатель был в высшей степени наделен даром предугадывать будущее. Быть может, оттого, что трезво и спокойно оценил прошлое — ту прошлую, подобно «Титанику», затонувшую Россию, трагическую обреченность которой так хорошо осознавал.

«Тучи мы не заметили,— подытоживал он закономерность свершившегося,— хоть бессознательно и ощущали тягость. Барометр стоял низко. Утомление, распущенность и маловерие как на верхах, так и в средней интеллигенции — народ же «безмолвствовал», а разрушительное в нем копилось.

Материально Россия неслась все вперед, но моральной устойчивости никакой, дух смятения и уныния овладевал...

Тяжело вспоминать. Дорого мы заплатили, но уж значит, достаточно набралось грехов. Революция — всегда расплата. Прежнюю Россию упрекать нечего: лучше на себя оборотиться. Какие мы были граждане, какие сыны России, Родины?» [1]

Вот она, быть может, святая святых Бориса Константиновича Зайцева, внутренний источник его тихого негасимого света. Взять на себя ответственность, идти от своей вины и видеть в этом залог доброго будущего. Его медленная и упорная борьба за «душу живу» в русском человеке, его настойчивое утверждение ценностей духовных, без которых люди потеряют высший смысл бытия, а значит, и право именоваться людьми, обещают книгам Зайцева не просто возвращение в Россию, но исключительную возможность воздействия и в новой жизни.

Не о том ли писал он уже в далеком 1938 году?

«Возможно, приближаются новые времена — и в них будет возможно возвращение в свой, отчий дом.

Так вот что: блеск культуры духовной, в древности, своеобразие, блеск ее и в новое время, величие России в тысячелетнем движении и ощущение — почти мистическое — слитности своей сыновьей с отошедшими, с цепью поколений, с грандиозным целым, как бы существом. Сквозь тысячу лет бытия на горестной земле, борьбы, трудов, войн, преступлений — немеркнущее духовное ядро, живое сердце — вот интуиция Родины. Чужбина, беспризорность, беды — пусть. Негеройская жизнь, обывательская, но *над* нею нечто.

Думается и так: те, кому дано возвратиться на Родину, не гордыню или заносчивость должны привезти с собой. Любить не значит превозноситься. Сознавать себя «помнящим родство» не значит ненавидеть или презирать иной народ, иную культуру, иную расу. Свет Божий просторен, всем хватит места. В имперском своем

---

[1] Зайцев Борис. В пути, с. 24.

могуществе Россия объединяла и в прошлом. Должна быть терпима и *не* исключительна в будущем — исходя именно из всего своего духовного прошлого: от святых ее до великой литературы все говорили о скромности, милосердии, человеколюбии.

Святые юноши — князья Борис и Глеб, например, первые страстотерпцы наши, подтвердили это самой мученической своей смертью, завещав России свой «образ кротости». Этого забывать нельзя. Истинная Россия есть страна милости, а не ненависти»[1].

В этом смысле, в заветах своих, в своих книгах Борис Зайцев, пусть неожиданно, но предстает для нас как бы писателем завтрашнего дня, писателем будущего, только нами открываемым. Немало великих уроков добра таят в себе его страницы, от которых веет тихим светом милосердия.

Олег Михайлов

---

[1] Зайцев Бор. Слово о Родине.— Газ. «Возрождение». Париж, 24 июня 1938 года, № 4137.

Голубая звезда

Повести
и рассказы

ВОЛКИ

Там рощи шумны, фиалки сини...

Гейне

I

Это тянулось уже с неделю. Почти каждый день их обкладывали и стреляли. Высохшие, с облезлыми боками, из-под которых злобно торчали ребра, с помутневшими глазами, похожие на каких-то призраков в белых, холодных полях,— они лезли без разбору и куда попало, как только их подымали с лежки, и бессмысленно метались и бродили все по одной и той же местности. А охотники стреляли их уверенно и аккуратно. Днем они тяжело залегали в мало-мальски крепких кустиках, икали от голода и зализывали раны, а вечером собирались по нескольку и гуськом бродили по бесконечным, пустым полям. Темное злое небо висело над белым снегом, и они угрюмо плелись к этому небу, а оно безостановочно убегало от них и все было такое же далекое и мрачное.

Было тяжело и скучно в полях.

И волки останавливались, сбивались в кучу и принимались выть; этот их вой, усталый и болезненный, ползал над полями, слабо замирал за версту или за полторы и не имел достаточно силы, чтобы взлететь высоко к небу и крикнуть оттуда про холод, раны и голод.

Белый снег на полях слушал тихо и равнодушно; иногда от их песни вздрагивали и храпели мужицкие лошаденки в обозе, а мужики ругались и подхлестывали.

На полустанке у угольных копей иной раз слышала их молодая барыня-инженерша, прогуливаясь от дому до трактира на повороте, и ей казалось, что это поют ей отходную; тогда она закусывала губу, быстро возвращалась домой, ложилась в постель, засовывала голову между подушек и, скрипя зубами, твердила: «Проклятые, проклятые».

II

Был вечер. Задувал неприятный ветер, и было холодно. Снег был одет в жесткую сухую пленочку, чуть-чуть хряскавшую всякий раз, как на нее наступала волчья лапа, и легкий холодный снежок змейками курился по этому насту и насмешливо сыпал в морды и лопатки волкам. Но сверху снега не шло, и было не очень темно: за облаками вставала луна.

Как всегда, волки плелись гуськом: впереди седой мрачный старик, хромавший от картечины в ноге, остальные — угрюмые и ободранные — старались поаккуратнее попадать в следы передних, чтобы не натруживать лап о неприятный, режущий наст.

Темными пятнами ползли мимо кустарники, большие бледные поля, по которым ветер гулял вольно и беззастенчиво — и каждый одинокий кустик казался огромным и страшным; неизвестно было, не вскочит ли он вдруг, не побежит ли,— и волки злобно пятились, у каждого была одна мысль: «Скорее прочь, пусть все они там пропадают, только бы мне уйти».

И когда в одном месте, пробираясь по каким-то дальним огородам, они вдруг наткнулись на торчавший из снега шест с отчаянно трепавшейся по ветру обмерзшей тряпкой, все, как один, кинулись через хромого старика в разные стороны, и только кусочки наста помчались из-под их ног и шурша заскользили по снегу.

Потом, когда собрались, самый высокий и худой, с длинной мордой и перекошенными от ужаса глазами, неловко и странно сел в снег.

— Я не пойду дальше,— заикаясь, говорил он и щелкал зубами.

— Я не пойду, белое кругом... белое все кругом... снег. Это смерть. Смерть это.

И он приник к снегу, как будто слушая.

— Слышите... говорит!

Более здоровые и сильные, впрочем тоже дрожавшие, презрительно оглядели его и поплелись дальше. А он все сидел на снегу и твердил:

— Белое кругом... белое все кругом...

Когда взобрались на длинный, бесконечный взволок, ветер еще пронзительней засвистел в ушах; волки поежились и остановились.

За облаками взошла на небо луна, и в одном месте на нем мутнело желтое неживое пятно, ползшее навстречу облакам; отсвет его падал на снега и поля, и

что-то призрачное и болезненное было в этом жидком молочном полусвете.

Внизу, под склоном, пятном виднелась деревня; кое-где там блестели огоньки, и волки злобно вдыхали запахи лошадей, свиней, коров. Молодые волновались.

— Пойдем туда, пойдем, все равно... пойдем.— И они щелкали зубами и сладострастно двигали ноздрями.

Но хромой старик не позволил.

И они поплелись по бугру в сторону, а потом вкось через ложбину, навстречу ветру.

Два последние долго еще оглядывались на робкие огоньки, деревню и скалили зубы:

— У-у, проклятые,— рычали они,— у-у, проклятые!

III

Волки шли шагом. Безжизненные снега глядели на них своими бледными глазами, тускло отблескивало что-то сверху, внизу поземка ядовито шипела, струясь зигзагами по насту, и все это имело такой вид, будто тут, в полях, наверно знают, что никому никуда нельзя добежать, что и нельзя бежать, а нужно стоять смирно, мертво и слушать.

И теперь волкам казалось, что отставший товарищ был прав, что белая пустыня действительно ненавидит их; ненавидит за то, что они живы, чего-то бегают, топчутся, мешают спать; они чувствовали, что она погубит их, что она разлеглась, беспредельная, повсюду и зажмет, похоронит их в себе. Их брало отчаяние.

— Куда ты ведешь нас?—спрашивали они старика.— Знаешь ли ты путь? Выведешь ли куда-нибудь?— Старик молчал.

А когда самый молодой и глупый волчишка стал особенно приставать с этим, он обернулся, тускло поглядел на него и вдруг злобно и как-то сосредоточенно куснул вместо ответа за загривок.

Волчишка взвизгнул и обиженно отпрыгнул в сторону, проваливаясь по брюхо в снег, который под настом был холодный и сыпучий. Было еще несколько драк — жестоких, ненужных и неприятных.

Раз последние двое отстали, и им показалось, что лучше всего лечь и сейчас же умереть; они завыли, как им казалось, перед смертью, но когда передние, трусившие теперь вбок, обратились в какую-то едва колеблющуюся черную ниточку, которая по временам тонула в молочном снеге, стало так страшно и ужасно одним под этим небом, начинавшимся в летящем снегу прямо над

головой и шедшем всюду, в посвистывавшем ветре, что оба они галопом в четверть часа догнали товарищей, хотя товарищи были зубастые, голодные и раздраженные.

IV

До рассвета оставалось часа полтора. Волки стояли кучей вокруг старика. Куда он ни оборачивался, везде видел острые морды, круглые, блестящие глаза и чувствовал, что над ним повисло что-то мрачное, давящее, и если чуть шелохнуться, оно обсыплется и задавит.

— Где мы? — спрашивал кто-то сзади тихим, сдавленным от бешенства голосом.

— Ну-ка? Когда мы придем куда-нибудь?

— Товарищи,— говорил старый волк,— вокруг нас поля, они громадны, и нельзя сразу выйти из них. Неужели вы думаете, что я поведу вас и себя на гибель? Правда, я не знаю наверно, куда нам идти. Но кто это знает? — Он дрожал, пока говорил, и беспокойно оглядывался по сторонам, и эта дрожь в почтенном, седом старике была тяжела и неприятна.

— Ты не знаешь, не знаешь,— крикнул все тот же дикий, непомнящий голос.— Должен знать! — И прежде чем старик успел разинуть рот, он почувствовал что-то жгучее и острое пониже гор , мелькнули на вершок от лица чьи-то желтые, невидящие от ярости глаза, и сейчас же он понял, что погиб. Десятки таких же острых и жгучих зубов, как один, впились в него, рвали, выворачивали внутренности и отдирали куски шкуры; все сбились в один катающийся по земле комок, все сдавливали челюсти до того, что трещали зубы. Комок рычал, по временам в нем сверкали глаза, мелькали зубы, окровавленные морды. Злоба и тоска, выползавшая из этих ободранных худых тел, удушливым облаком подымалась над этим местом, и даже ветер не мог разогнать ее. А заметюшка посыпала все мелким снежочком, насмешливо посвистывала, неслась дальше и наметала пухлые сугробы.

Было темно.

Через десять минут все кончилось.

На снегу валялись ободранные клочья, пятна крови чуточку дымились, но очень скоро поземка замела все, и из снега торчала только голова с оскаленной мордой и закушенным языком; тусклый тупой глаз замерзал и обращался в ледяшку. Усталые волки расходились в

разные стороны; они отходили от этого места, останавливались, оглядывались и тихонько брели дальше; они шли медленно-медленно, и никто из них не знал, куда и зачем идет. Но что-то ужасное, к чему нельзя подойти близко, лежало над огрызками их вожака и безудержно толкало прочь в холодную темноту; темнота же облегала их, и снегом заносило следы.

Два молодых легли в снег шагах в пятидесяти друг от друга и лежали тупо, как поленья; они не обсасывали окровавленных усов, и красные капельки на усах замерзали в жесткие ледяшки, снегом дуло в морду, но они не поворачивались к затишью. Другие тоже позалегли вразброд и лежали. А потом они опять принялись выть, но теперь каждый выл в одиночку, и если кто, бродя, натыкался на товарища, то оба поворачивали в разные стороны.

В разных местах из снега вырывалась их песня, а ветер, разыгравшийся и гнавший теперь вбок целые полосы снега, злобно и насмешливо кромсал ее, рвал и расшвыривал в разные стороны. Ничего не было видно во тьме, и казалось, что стонут сами поля.

МГЛА

Мы выезжаем: восьмой час зимнего утра. В большом пустоватом доме, в столовой, горит еще свеча, стоит стакан стынущего чая со сливками, пахнет сапогами, табаком и охотой, а рядом, в кабинете со смятой постелью и чуть сереющими прямоугольниками окон, все опять начинает стынуть и холодеть без человека.

Минуем деревню, едем чуть заметно под гору. Сзади розвальней, на смычках, рысцой бегут собаки, кажущиеся темным пятном; в полутьме ясно представляю себе переднего — старого Добыча, мудрого, многоопытного, всегда думающего, и теперь, наверно, — в свинцовых потемках о чем-то размышляющего по-своему, по-собачьи — смутно, затемненно. Может, даже и сейчас он понимает, за кем мы едем, с кем придется иметь дело. Дрожь пробирает; не холодно в сущности, но как-то суровы и угрюмо пронизывающи всегда эти утренние, зимние полупотемки. Кружась по голому полю, налетает безвестный, сейчас же и пропадающий ветер: пахнет он остро и вкусно, точно, правда, снег имеет запах. Тонко и жалобно звенят стволы ружья, а вправо и влево синеет неприветный хмурый снег и

ровный ход розвальней, неясные тени собак, сзади, силуэт кривоногого Гришки «за кучера», нежное гуденье стволов, человеческие запахи: папиросного дыма, овчины моего полушубка,— все это тает в беспредельных, серо-синеватых тонах. Точно по странному, бесконечному, от века существующему морю плывет наша призрачная скорлупка.

Совсем уж почти рассвело, когда мы подъехали к «заказу». Слезаем. Далеко видно со взгорья. День теплый, сыровато-туманный. В далеком свинцовистом воздухе, над вылезшими из мутно-белого снега пятнами лесочков перетягиваются и лениво ворочаются хмурые небеса, и на всем лежит этот таинственный, мглисто-сизоватый налет уходящей ночи. Кажется, будто и лесочки, как огромные лесные звери, только что проснувшиеся, потягиваются и зевают. Что-то темное, мрачно-сладострастное подкатывает к сердцу. И собаки беспокойны, все тянутся в одну сторону; трудно держать их на смычке, а у мудрого Добыча от частого разгоряченного дыхания падают капельки с языка. Вот он подымает на меня свою седеющую морду с прокушенным ухом. Как мы понимаем с ним друг друга!

Лошадь привязана в кустах. Гришка ведет гончих на смычках в обход, я лезу по колено в снегу.

Вот «лаз»: извилистая лощинка в лесу, сходящемся мысочком — нельзя будет «ему» миновать меня. Так и напорется.

Почему-то вспоминается мне опять Добыч; иногда он тоже охотится. Молодежь гоняет, а он, не торопясь, трусцой забежит наперерез, станет на лазу и ждет зайчишку. Так же этот волк цапнул вчера мою Затейку, и теперь, слегка подраненный, залег где-то в чаще заказа. И равно меня, собак и волка охватил этот далекий, неясно маячащий горизонт. Слышно, как сороки стрекочут вдали; вот даже видно, как они ныряют в воздухе, длинными, бело-черными стрелками. Хитрые, неприятные птицы — несмотря на кажущуюся веселость: в самых далеких глухих чащах, где гниет и разлагается что-нибудь, они беззаботно трещат и перепархивают с ветки на ветку.

Но вот собаки гонят. Низкий, мерный бас Добыча похож на набат, а вокруг толпятся и прыгают наперебой веселые, как перезванивающие колокола, голоса молодых.

Далеко! «Он» после выстрела рванул задом в сторону, присел на мгновение... я тоже пригнулся, как будто этим можно было пригвоздить его к земле. Но нет, все-таки он справился и побежал. Бежал он странно, запинаясь как-то, но все же резко. Я понял, что он пойдет лощиной; лощина — полудугой,— надо наперерез. Задыхаясь, помчался я к розвальням; как-то странно было: виднелись опять лесочки на горизонте, пушистый снег был не по-утреннему бел и беззвучен, и хотя в ста шагах была лошадь с розвальнями, казалось, что никого нет, кроме нас с волком. Все вокруг молчало, но имело иронический вид.

Трудно бежать по снегу; собаки и те устали.

Гоню Серенького. Целиком, без дороги, захлебываясь от волнения, мы скачем по белому снегу, под загадочно-серым небом, где совсем ничто не звучит: жалкий мой выстрел был похож на щелк пастушьего кнута. Выходит так, будто навалили в гордом, пустынном месте пухлый слой белой ваты, чтоб разные чудаки не мешали звуками этому небу и этой земле, которая туда глядит. Вот и овраг. Спрыгиваю с саней, бросаюсь стремглав в низкие кустики, опускаюсь на одно колено в снег,— жду. Бежит по дну оврага рысцой, устал. Снегу внизу много — пар валит от него. Сейчас, сейчас! Ружье наперевес, темно-стальные стволы с крохотной мушкой чуть чертят концами в воздухе, сердце стучит толчками, в глазах зеленеет... Почти шагом выбирается на ту сторону,— остановился. Но расстояние... Делать нечего, ложе у щеки, мушка чуть-чуть ездит по его серому боку... Удар!

Простым глазом видно, как хлестнуло его, как мучительно он перевернулся, завертелся на месте и все-таки рванул бежать.

Я сжимал все мускулы в себе, корчился от желания схватить его, в слепой ярости бросался вниз за ним в овраг, что-то кричал. В горле хрипело, пальцы хрустят, рот дергается, что-то безумное владеет мной.

Когда я выбрался на ту сторону, он был уже шагах в двухстах. Он плелся трусцой, по дороге, а наискось, по цельному снегу, тянули за ним собаки; но они едва двигались от усталости, и он видимо уходил. С той стороны Гришка во весь опор гонит Серенького. Прыгаю к нему в розвальни — начинается гонка. Впереди он, мы видим по дороге пятна крови. Гришка хлещет Серенького, я в диком азарте впиваюсь глазами в эту

ковыляющую, серую фигурку впереди... Что-то ночное, жуткое, похожее на те таинственные утренние полупотемки, в которых мы ехали сюда, наполняет мою душу и толкает вперед по белому полю за ненужным волком. Вот уж он недалеко, впереди две фигуры — рудокопы возвращаются со своих «дудок».

— Дер-ржи! Др-жи-и-и!.. Бей его, ворочай его-о-о! Ворочай его-о!

Фигуры суетятся, чем-то машут... Волк все ближе и ближе; видимо, он не хочет или не в силах уж сворачивать с дороги, где бежать ему легче. Что-то взметывает над фигурками, волк приседает серединою спинного хребта, на секунду приостанавливается, потом круто поворачивает в снег и, увязая по уши, из последних сил лезет куда-то.

Опять я грудью пробиваю себе дорогу в снегу, опять Гришка с Сереньким сзади, а волк ползет шагах в полутораста впереди... Сзади слышно, как Гришка ругает рудокопов, и в торжественном полусумеречном воздухе странно слышать грубые слова.

— Не уйдешь, не уйдешь! — бормочу я про себя. Вот мы выбираемся на край пологой покатости, это долина Березянки: направо, вдалеке, мельница, прямо внизу, — вспухшая к оттепели, со свинцовыми пятнами воды Березянка. Правый берег обрывист, дальше синий, мрачный бор. Все это вижу я смутно, как во сне: до того ли мне теперь?

Видимо, он изнемог; я тоже измучен, но уже теперь ясно — кто-нибудь из нас должен свалиться...

Почему-то он тянет прямо к мельнице; если ему удастся доползти до бора, он спасен; я знаю это и жму его к крутому, со снежными навалами, правому берегу, где трудней выкарабкаться. Вот мелкие озерца, проступившие темноводяными пятнами, сейчас и сама речка. Где снег посуше, *его* след чист, с ярко-красными каплями крови, по мокрому кровь ржавеет и расползается как «сиена» на сырой бумаге. Озирается; как будто приостановился и оглядывается: прямо впереди, за узенькой речкой вогнутый сугроб снега с нависшей коркой наста. На мельнице что-то шумят, сзади тоже слышны голоса.

Изо всей силы взметывает через речку вверх... Видно, как снег под ним обваливается пластами... Уши прижаты назад, все тело сжалось для скачка, все, все для него теперь в том, чтобы выпрыгнуть на тот берег.

Прыжок — но это уж и не прыжок, а предсмертная судорога,— вместе со снегом оседает и он сам назад — и конец. Теперь он сидит: передние лапы стоят, зад беспомощно увяз в снегу, морда обращена ко мне, а я все ближе и ближе и все ясней вижу эту шилообразную, оскаленную морду с треугольными, прижатыми назад ушами. У раненых ворон бывают такие глаза — помню, в детстве я боялся их: ужасно это предсмертное сверканье, эта непримиримая ненависть.

Но он мой, мой! Теперь уж его серое тело крепко сидит на мушке моего ружья,— какое наслаждение! От первого выстрела, как от удара плетью, он весь передергивается, морда никнет в снег... Но он жив; он судорожно вытягивает еще в стороны то одной, то другой лапой. Увязая по пояс в снегу, подбираюсь ближе... Теперь уж, в десяти шагах, картечь шлепает тесной кучей, шерсть в одном месте разлетается, как пух из подушки, закоптелый пыж валяется вблизи на снегу, и противное, истерзанное мясо вылезает, кровавя снег вокруг...

Мы одни: я и он. Гришку я услал на мельницу; собаки, фыркая от неприятного волчьего запаха, побрели за ним.

Он лежит все там же, где его застала смерть,— я повыше, на снежном гребне, которого он так и не одолел. Спускаются сумерки. Их наступление напоминает беззвучный, причудливый и таинственный полет летучей мыши над опустелыми ригами. И вдали, где узкие ленты лесов тонут в неясной мути, возникают невнятные, сумеречные отзвуки белых полей; колеблясь, тают они в воздухе. Язык их темен, мрачен и малопонятен, как далекий плеск моря. Все темнеет; ветер шуршит коричневыми листьями на меже; облака сошлись на небе уродливыми грудами,— бросают тягостный, аспидно-фиолетовый отсвет вниз. Пустынно и дико кругом.

Скоро приехал Гришка; мы взвалили волка на розвальни и поехали. Стемнело. Я вытянулся на спине, во весь рост в розвальнях, придерживая левой рукой волка, который лежал со мной рядом и тоже как будто смотрел в небо. Впрочем, оба мы одинаково ничего не видели там и не могли ничего увидеть и понять. Глухая

страшная ночь чернела вокруг нас и над нами, и было все равно, смотреть ли вверх, вниз или еще куда. Все вокруг было одинаково непонятно и враждебно нам. Волк начал уже коченеть, и странно было в темноте трогать пальцами его жесткую шерсть, торчавшую космами и выросшую будто на мертвом теле. На раскатах он откатывался, так что я должен был обнимать его, а потом, когда розвальни становились на место, ударял меня своим угловатым, неприятно твердым телом.

Дома, в огромных нежилых комнатах, стояли те же холодные потемки, и весь дом, ветхий, поскрипывавший от ветра, полуслепой — с двумя-тремя светившимися окнами, выглядывал жалкой развалиной. Волка трогали, ахали, щупали; только старая, почти лысая кухарка Аграфена, которая прожила уже около восьмидесяти лет, всматривалась в него угрюмо и молчаливо.

На улице же в это время выл и крутил уже яростный ветер и дергал ставни окон. Много позже, когда все в доме спали, я отправился через целую вереницу пустых, гулких комнат в залу посмотреть, заперта ли балконная дверь.

Толкнув ее, я вышел на балкон. Снег слабо белел на нем, а дальше чернела, как переходимая бездна, бесконечная бушующая мгла, то свивавшаяся вихрями, то удушающе налетавшая спереди, с воем охватывая всего, с головы до пят.

Вспоминая нашу пустынную борьбу там, в безлюдном поле, я не испытывал ни радости, ни жалости, ни страсти. Мне не было жаль ни себя, ни волка, ни старую кухарку Аграфену, но не было бы странно и то, если б в этой бездонной тьме я увидел неподвижное лицо Вечной Ночи с грубо вырубленными, сделанными как из камня огромными глазами, в которых я прочел бы спокойное, величавое и равнодушное отчаянье.

АГРАФЕНА

I

На дальней заре своей жизни, семнадцати лет, стояла Груша в поле, ранней весной. Пели жаворонки, было тихо и серо — апрель, под пряслом бледно зеленела крапива. Груша слабо вздохнула и пошла тропинкой от деревни к большаку. И когда она до него дошла, издали, от лесочка лёдовского зазвенели колокольчики.

Сквозь светлую мглу утреннюю трудно было сразу разобрать, кто едет, но, видимо — тарантас, тройка; вероятно, из усадьбы господской кто.

Груша скромно шла сбоку большака, по тропинке богомолок; почему-то заиграло и забило ее сердце. Вот уже ближе, можно рассмотреть Азиата на пристяжке, как он шеей дугу вычерчивает, кучер Иван — ясно: едут со станции, везут... Через две минуты увидела и кого везут: в синей студенческой фуражке с белым верхом и темно-голубыми глазами «он» — худой и тоненький, с острым лицом и нежным цветом на щеках. Как ни быстро все было, успели они все же увидеть друг друга, обменялись вспыхивающим взором — и укатила тройка, только веселую серую пыль подняла. А Груша вдруг покраснела густо, малиново, когда уже никого не было, и стала что-то смеяться; обрывала полынь с канавки и пугала воробьев на дороге.

День же светлел, над озимью текли стекловидные струи; овсы зеленели, были черны пары.

II

С этих пор началось для нее новое. Та усадьба, куда раньше ходила она на поденную — обыкновеннейшее поместье,— стала особенной. Там где-то вглуби сидел «он», синеглазый и тонкий, занимался со своими книжками, но каждую минуту мог выйти к молотильному сараю, где возили золотую солому, в поле, к скотному.

Идя по полям, где весна расстилала свои зеленеющие одежи, думала Груша все об одном: вдруг его встретит. И это давало заманчивую силу путешествию с холстами к сажалке, где плескались утята — желтые, в пуху, или бродяжничанью в березовом леску за вениками.

Иногда по ночам он ей снился — в синеющей дымке; утром она просыпалась счастливая и измученная, в светлом тумане слышанных слов, счастья, дрожи.

А потом опять шла на работу, вспыхивая и глубоко рдея, и тайком высматривала, где бы можно было его видеть. Оказалось — он взялся бродить с ружьем за усадьбой, особенно по вечерам, на тягу. Уже не раз видали его над речкой или на бугре у мельницы, там он сидел, и охотился ли, ястребов стрелял или про что думал свое, сказать было нельзя: сидит и смотрит, бродит, песенку насвистывает и глядит далеко, точно и не сам он тут.

Так было и в тот вечер апрельский, алый и нежный;

чуть вились комары, березки стояли в зеленом дыму, а Груша с бьющимся сердцем перебиралась через речку в рощу березовую, по шатучим кладкам. Было прозрачно; в плавной воде мелькнуло слабое Грушино отраженье, легко она перемахнула и с холодом в ногах пошла, похрустывая веточками под ногой, туда, где он. Он опирался на ружье — тоненький ствол чернел в деревьях — и ждал вальдшнепов...

— Здравствуйте, Груша!

— Здравствуйте!..

Она замялась. Точно что-то сказать хотела, да не могла.

— За охотой ходите...

Он улыбнулся. Стоял, краснел тоже, и вблизи от него, в зеленой мгле цвели ее милые карие глаза.

— Да, за охотой. Вальдшнепов караулю.

Он все улыбался, потом вдруг взял ее за руку. Она чуть отшатнулась, он прислонил ружье к березке, смутно обнял ее и глубоко поцеловал в губы.

III

Краснел май, пролетая в огненных зорях, росах; кукушки медово куковали, точно окуковывали молодую жизнь. Солнце вставало пламенным и пахучим, глубокими ароматами дымились луга под ним и скаты розовели, окровавившись «зарей», медвянолипкой пурпурной травкой.

Очень ранними утрами нарывала Груша ландышей, белеющих и одуряющих, и бросала тихонько в «его» окошко во флигеле; ей казалось, что с ними идет от нее особенный душевный привет. И целый день в одинокой комнате сладко пахло белым, нежным.

Встречались они мало; больше он сидел за делом — «книжки читает», как говорили в усадьбе: около флигеля запрещалось громко разговаривать.

Но в июне начался покос, и он иногда приходил работать. Это было немного смешно — слишком он не умел справляться с вилами, навивкой возов, но когда на лугу, где Груша с девками сгребала сено, появлялся он, в белом кителе и с опаленным зноем лицом, сердце Груши, как всегда, падало. «Господи, надорвется», — думала, — а он, напрягая все тонкое тело, с раскраснелыми щеками, подымал на вилах стопу сена. «Ахнет, сразу сердце оборвется, и конец». Но он не умирал, а посмеивался ей ласковым взглядом, и хоть она и от того раза почувствовала к нему тайную, трепетную

близость, все же был он и безмерно далек. И когда после полного блестящего дня она возвращалась домой и ложилась спать в риге, мечтая о нем, тонкая грусть оплетала ей душу; весь он казался ей тогда царевичем из сказки,— тем, чего не бывает и о чем томятся.

Уже кончался покос, часто по небу июньскому плыли белые, круглые облачка. Им выпало вместе ехать за реку, за оставшейся копенкой.

Груша вспыхивала и гнала рысью; телега гремела, они оба смеялись, так его бросало из конца в конец. Седые березы, под которыми они катили, струились длинными ветвями-прядями, будто посмеиваясь: «знаем, мол, молодых этих ребят. Дай отъехать подальше, целоваться будут». И они на самом деле целовались, убирая эту бедную копенку,— шалили, вздрагивая и краснея.

Воз был почти уже навит, они устали и рядышком сели в тени за ним. Лошадь стояла покорно, душно пахло сеном, солнце сгибалось книзу. Незаметно наступил тот кроткий, предвечерний час, когда золотее все, умереннее и в зеркальной глубине светлого неба как бы чуешь правду чистую и бесконечную.

— Умучились вы очень, ветерком бы обдуло,— сказала Груша и глянула робко, будто стесняясь, что он так работал.

— Ничего, пустое.

Они сидели. Под тихую жвачку Прахонного умолкали их души. И снова, как в ночных мечтаниях, вдруг охватила ее темная печаль: точно облако встало. Что-то было в ней, а сказать она не умела, боялась.

Он сорвал травинку и откусывал кусочки. Потом сказал:

— Отчего так бывает, смотришь на небо, и облачка такие,— кажется, когда-то в детстве видел это,— а когда, не помнишь. И как тогда чудесно было... Вот и лето, и все, а тогда было другое.

Груше с этими словами показалось, что опять он не веселый и смеющийся, а тайный, далекий,— такой, как когда читает книги или смотрит часами в одно место.

— Вы на то лето опять приедете?— вдруг спросила она — и под сердцем прошло что-то. Он не ответил, потом произнес:

— Может быть.

«Может быть». А может, и нет?

Груша молчала. Долго они сидели так, без слов, а потом вдруг теплые слезы, светлые и соленые, подступили ей к глазам, с такой силой она поняла — никогда, никогда не быть им вместе, не знать счастья, кроме

сейчашнего,— что уткнулась ему в рукав и плакала обильно, долго.

Понял и он; улыбался ласково, печально и гладил ее по затылку. Потом слабо поцеловал и встал.

IV

В августе убирали овес; было тихо, тепло, даже душно; много серепьких дней, когда куропатки срываются в кустах из-под ног и чертят воздух острыми крылами; а вечером спокойная луна, лилово-дымчатая, восходит над полями в меланхолии. Тогда унылее и пахучей полыни над дорогами, и над кладбищем деревенским низко плывет лунь.

«Он» в такие вечера блуждал по дорогам на велосипеде; заезжал вдаль, к одинокому лесочку на взгорке, среди нив, клал коня рядом и глядел подолгу на гибнущий закат, на деревню, где жила Груша, и вид безмерных родных равнин вызывал одно, всегда одно и то же. Иногда поджидал у сворота тропинки Грушу, когда она возвращалась домой; спрятав велосипед в овсах, шел с нею рядом. Она напевала, а спелые овсы шелковели вокруг, сухо шелестели; иной раз тихую ночную птицу вспугивали они, двое, из-под ног.

Убывали дни, становилось их меньше до конца. Чаще пело Грушино сердце о разлуке. Точно сильнее и глубже вошел он в нее от этого, и когда, распрощавшись у риг, добредала она до дому, то глядела на загадочные облака над солнцем угасающим и думала, что так же растает и он, так же золотой, недосягаемо-чудесный,— и снова сладкие, смертные муки томили ее, по ночам она не спала, и отблеск того же нездешнего, светивший в нем, почил на ней.

А в последний вечер, когда целовал он ее на прощание и овсы шептали, обняла она его колени и не могла оторваться. После он уплыл в вечернюю мглу, а она стояла на коленях и молилась вслух полям, овсам, небу, Богоматери кроткой и милостивой, посетившей в тот вечер нивы. И ее голос был услышан; ее детское горе исходило слезами; как таяли облачки,— таяла скорбь в ее сердце, оставалась заплаканная душа, посветлевшая и опрозраченная.

Он же покинул в это время те края, не возвращался больше и пребыл таинственным посетителем, пришедшим в жизнь Аграфены на ее ранней заре, чтобы растаять синеватым туманом, оставив за собой любовь, томленье, тихие восторги и несколько не слишком щедрых поцелуев.

V

Прошло четыре года. Аграфена жила в маленьком городе, занесенном снегом и тихом, у молодой барыни. Она была замужем, но с мужем разошлась и детей не имела; жить же в этой светлой квартирке, где всюду были белые отсветы снега из окон, ей нравилось.

Сильно топили; было тепло, а там, за стенами, стлались далекие снега, полусонный город, мятели; здесь же бродила легкой походкой маленькая барыня, выкармливая грудного, а другой мальчик ходил в гимназию — первый класс.

А Аграфене думалось, что, живя здесь, хлопоча в кухне, таская дрова, свежепахнущие, веселые, она ведет благочестивую, спокойную жизнь.

По субботам, отпросившись у барыни, бегала наискось в церковь, через заснеженную улицу, увязая, обдаваемая острым и жгучим зимним духом, пила его, как дивное вино, в церкви скромно становилась сбоку, слушая «Свете Тихий...».

Пел хор гимназистов; светло мерцали и струились свечи, золотели, мигали. Сердце ее обнималось тогда благоговейной ясностью; и среди тихих напевов нежданно вставал некто дивный и грозный; случалось,— вдруг пред лицом этих риз на иконостасе, от голоса отца Дмитрия, высокого, тонкого, похожего будто на Христа, веяло таким безмерным, что она в ужасе спрашивала себя: верю или не верю? Вдруг, если не довольно верю, не живу с мужем, посты плохо чту,— вдруг тогда и конец, и спасенья нет, ад и проклятье?

С этими вопросами обратилась она раз к барыне:

— У вас, может, у господ, и вовсе в Бога не веруют, а нам как?

Барыня улыбнулась, как всегда задумчиво и к Аграфене ласково:

— В Бога я верю, Аграфена, вы не думайте. Насчет ада плохо умею сказать; объяснить не могу, а наверно, думаю, что нет. Нету такого ада, незачем: и здесь на земле достаточно.

Аграфена ушла к себе мыть чашки, все о том же думая: «на земле достаточно...» Так и барыня: спокойная, не сердится никогда, детей ласкает, а сама думает, и точит в ней что,— под глазами круги, блекнет здесь одна в этой тиши. Ночью, крестясь на лампадку, Аграфена слышала, как ворочалась, вздыхая, барыня; будто длинное что, неизбывное, томило ее; и в те

долгие ночи зимой должна была она его изжить. Аграфена вздыхала, широким мужичьим крестом крестясь «за спокой» доброй барыни.

VI

Подошли Святки; бело-тихие, точно приплыли по безбрежным снегам. Барыня делала елку Коле; никого не было, кроме Аграфены; елка светло сияла в скромной квартирке. Барыня улыбалась, радовалась, что нравится Коле, и как всегда — бледная тень ходила по ее прозрачному лицу, а соседки-кухарки говорили Аграфене: «Вот смотри, к вам и отец Дмитрий не пойдет, потому твоя барыня безмужняя». И дальше рассказывали, все по-разному, одно: сзади лежала сердечная история.

Отец Дмитрий, однако, был; служил молебен, кропил, и не только Аграфена молилась, но крестилась и барыня.

Разоблачившись, отец Дмитрий завтракал; они с барыней говорили — как два вежливых и всегдашних противника.

— У вас здесь весьма тихо, напоминает женский монастырь.

Барыня улыбалась.

— Это и есть монастырь.

Во взглядах отца Дмитрия было одновременно почтительное и внутренно-неодобряющее.

Потом опять забелели снега; синела по ночам лампадка в большой детской, барыня целые ночи бродила с грудным: он пищал, кис, было безмолвно, и если ночь выпадала лунная, голубело и там, в тихо сверкающем снеге; таинственное, слышное только ей одной, наполняло тогда квартиру и город; вспоминалось о далеких днях — любви и невозможности, и хотелось сесть в этой светлой ночи в волшебные сани, унестись по белеющим полям вместе с тем, который...

В кухне спала Аграфена; барыня, подходя к двери, улыбалась на нее; иногда даже смотрела по нескольку минут. «Знала она или не знала такое?» И вдруг ей казалось, что она прозревает одним взглядом в жизнь этой Аграфены, и остро, подробно видит, что дано ей испытать, испить и пережить.

Тогда она ходила подолгу с грудным из угла в угол, погружаясь в лунные колонны и выходя из них, и седая печаль повивала ей голову: печаль, ровесница самому миру.

VII

Ветры подули, потекли снега, мощный и веселый дух ходил над землей, трубя и играя. Масленица была пышная, с роскошными лужами на улице, весенними ночными бурями и дождями. Не могла уже Аграфена быть монашкой зимней; бурно закипало по ночам сердце, томилась она и заплакала даже раз — ручьями, неизвестно о чем.

Но судьба ей была дана: в те же дни встретилась она с кучером Петькой, только что попавшим сюда на службу. Он был молод, черноус и остр. На дворе его боялись и не любили; очень больно умел сказать, сплевывал гениально, и когда мчался в санках на Звездочке, глядеть дух занимало.

Аграфена так и зевала на него раз, когда он въезжал домой на взмыленной лошади, а он цыкнул, ловко перебрал вожжой, чтобы не задавить, и прорезал у самых ее ног, так что шарахнулась даже в подъезд.

— Эй, ты, малина!

И по тому, как он сказал это, поняла она,— что бы ни велел этим голосом — удаль, наглость, сила в нем,— все она сделает.

К вечеру понадобилось достать дров из сарайчика; сумеречилось, сиреневело, чуть желтели огоньки фонарные; легким ходом пробежала Аграфена к знакомому месту, вся вздрагивая, внутренно холодея; вот и дрова, милые такие, пахучие — и там у каретного кто-то возится, пахнет оттуда дегтем, шорником, шлеей...

— Али потеряла что, молодка?

Острый запах цигарки, картуз ловкий, крепкие, как из жил, руки.

— Так уж, потеряла или нет, про то вам знать не приходится...

— Ой ли?

И все ближе он, жутко, голова мутит,— ясно: не уйдешь.

— Ой ли?

Дверка захлопнута, и как он дрожит, как целует, как наверное она знает, что уж это не то, что тогда, тихой весной, здесь кровь и огонь, огонь и беспощадность.

Через четверть часа бежала Аграфена через двор с дровами, домой, легко-пьяная и не себе уже принадлежащая. А Петька сплевывал, курил цигарку у ворот, и жадный, победный огонь лился из его глаз: весь свет казался ему добычей, а борьба — жгучей и опьянительной.

VIII

Летели дни, так же ходила барыня с ребенком, теплом веяло с неба, зазеленело все,— Аграфена горела. Казалось, не было лет сзади, нету впереди ничего, да и не надо — вся полна собой, кровавой своей любовью.

Поздно вечером, когда все засыпало, она тушила огонь на кухне и сидела в забытьи, глядя на звезды, а потом легко, сомнамбулически, ведомая властью светил любовных, выскальзывала на двор и, крадучись, к сеновалу. Здесь волны сена. О, как оно пахнет! И пока она лежала, в трепете ждала, майский месяц выползал из-за сада, заглядывал золотым лучом в слуховое оконце: там он видел слушавшую Аграфену, потом ловкие шаги — он.

Так, в майской тьме, задыхаясь на сене, трепеща от любви, зачала Аграфена новое бытие. Она почуяла это в такую же жгучую ночь, и Петру не сказала. Но уйдя от него, когда забелел восток, пошла не к себе на кухню, а за сарай, в сад. Тут было тихо; матовой пеленой одели росы траву, молодые яблони стояли все в цвету,— белыми предутренними кораблями. Только вдали, где старая береза подымалась у забора, вдруг слабо завела свое курлыканье горлинка. Под сердцем Аграфены билась жизнь. Она стояла, точно предстала перед Богом, как покорный сосуд, скудельный сосуд Его благодати и ужаса, и некто тихою десницей навсегда отмахнул от нее время, когда была она беззаботной.

IX

С того дня Аграфена стала спокойнее, строже; даже барыня удивлялась: «Вы будто, Аграфена, поумнели»,— говорила и посмеивалась. Аграфена краснела слегка, молчала. Но в душе у нее вставало нечто, чего раньше она не знала: будто тень от дальнего, жуткого доходила ей до ног и стремилась охватить всю: «Петя меня любит, надо б свадьбу сыграть, а чего-то боязно».

На дворе над нею зубоскалили, говорили, что вешается Петьке на шею, да Петька не такой дурак, чтобы дать себя бабе в кабалу: пусть бы глядела, не равно другую подцепит.

— Все, милая, изменщики они, все ироды, была б моя воля, всех бы их на каторгу наладила.

Аграфена сердилась:

— Петя не изменщик. Не лисица какая-нибудь.

Лысая кухарка охала. Мало верила Петру, как и другим.

— Присматривай, девушка, присматривай. Наше дело женское.

И правда — этого Аграфена не могла отрицать — Петр стал как-то ускользчивей, мимолетней; в его острых глазах мелькало как бы чужое, тайное и скрываемое.

— Петя, знаешь ты, я за тебя в огонь и в воду, на адскую муку согласна. Вот дослужим здесь, повенчаемся, в деревню поедем... Господи, мальчик наш будет розовый, назову его Кириллом, буду люльку качать, ясного моего сокола поминать.

И она припадала к его ногам, плакала, целовала руки, но он был равнодушен.

— Наживу денег, уйду на Волгу. Эх ты, кура, кура.

И ласкал буйно, небрежно, точно правда рожден был для другого: блеска, шума, вольно-безбрежной разбойницкой жизни.

Аграфене же нравилось все, даже что ее не замечал. Надрожавшись от восторга, жути за ночь, она шла в белую кухню и, слушая, как медленно ходит из угла в угол с грудным барыня, тяжело и сладко засыпала: без сновидений, с глубоким томлением.

X

В ночь начала июня, как назначено было, накинув платок и дрожа, озираемая тем же месяцем, что в дни счастья и зачатия заглядывал на сеновал, — Аграфена кралась туда же, к своей заветной лесенке на сенник; как раньше, сопели внизу коровы, телятки бормотали детскими губами и чуть скрипели досточки лестницы. Вот и сено — душное и пьянительное, как сладкое луговое вино, — и то место, за поперечной балкой, что было ими облюбовано и где любили они так бурно. Но что? Или слух изменяет? Движенье. Возятся, хохочут. Поцелуй, такой же, там же...

— Петя!

Смолкли.

Голос — злой, чужой.

— Какого дьявола по сеновалам шляешься? Или в службу нанялась?

— Петя...

Но остановилось сердце, нету ему ходу — видит она с ним там другую, блудящую девку Федосью, и он лезет от нее лохматый, с сеном в волосах.

— Прочь пошла, слышишь — вон!

— Петя, Петюшка, разве ж тебя не любила? Разве душу тебе не дала, Петя, родненький, за что?

Он не слушал. Схватил сильными руками и столкнул вниз с крутой лесенки, так что упала оземь, разбила верхнюю губу. И лежала долго в забытьи. А он запер дверь.

Много позже встала она медленно и пошла домой. Там сидела тихо, всю ночь у окна; было безмолвно в ее душе, стояла пустота, палимая бесплотным огнем. И только временами чуяла жажду какую-то, пила; потом слабо задремала, перед рассветом, сном тонким и больным, готовым каждую секунду лопнуть: проснувшись — сразу вспомнила, что выедено все у ней внутри и одна зияет огненная рана. Тогда стала плакать — медленными, безграничными слезами. Так застала ее барыня, выйдя утром в сереньком своем халате, бледная и сухенькая.

И как была она женщина, сразу поняла все.

— Не плачьте, Аграфена, не тужите. Вот полюбите еще, новое счастье узнаете.

Барыня положила руки на Аграфенину голову и говорила что-то глазами. Светлыми и скорбными, прошедшими через многие печали мира и вынесшими из них свое знание.

Так познала Аграфена первую свою женскую муку, огнепалимую и ненасытную. Муку отверженной.

XI

К новому году Аграфена родила. В это время она уже не жила у прежней барыни, которая внезапно уехала куда-то и навсегда пропала с ее глаз. Также не было и Петра; он ушел оттуда еще летом, чужой и недругом. Но теперь все это было для нее далеким, щемящим, над чем время возводило свои усыпляющие терема.

С девочкой на места не брали, поэтому пришлось отдать ее в деревню. Это тоже было горько, но необходимо. И Аграфена снесла это твердо, только бледнела.

Оставшись же одна, она стала внутренно собранной, готовой на нелюдимую тяжелую жизнь, и вступила в кочевое состояние женщины, переходящей от хозяев к хозяевам, видящей разные семьи, разные драмы, счастья и предательства,— но хранящей суровую отчуж-

денность и только временами плачущей, в одинокие ночи, о невозможном.

Так блуждала она довольно долго. Понемногу годы, утомляя своим волнообразным всплеском, качая на своих гребнях, ввели ее в возраст тридцати лет, когда жизнь кажется наполовину прожитой, в голове пробегает волос серебряный — глубже в лоб врезается морщина.

XII

Теперь место Аграфене вышло в доме госпожи Люце, в том же городе. Она была кухаркой; жила в подвальном этаже, в тесной кухне и видала оттуда медленную жизнь, протекавшую вокруг и наверху.

Госпожа Люце имела мастерскую; в ней шили и вязали чулки, жили мастерицы, и сама «тетушка Люце» вела скромное существование, весь день работая над сматыванием ниток. Хотя все с ней были приветливы, Аграфена дичилась и старалась быть в стороне, внизу у себя. Там жила старая няня, взрастившая госпожу Люце, и ее старик муж, Мунька. Этот походил на снежно-серебряную копну; двигался медленно, иногда в низенькой закопченной кухоньке разговаривал с Аграфеной. На нее это действовало тяжело: стоит Мунька старый-старый, восьмидесятилетний, как древнее привидение, и бормочет:

— Было это в пятьдесят пятом году. В Останкине тогда жил покойный император, Александр Второй.

Или:

— Много наших под Силистрией легло. И мы там с барином были.

Темная тень — годов, императоров, битв, войн ложилась тогда на душу Аграфены. Казалось страшным дожить до такой старины; и когда не спалось, мысль настойчивей направлялась к тому: как же? Когда? Что будет «там»? И вначале, как ни билась, дух немел перед возможностью не быть, перед тем, что же будет, когда не будет ее? Прежние мысли об аде, о том, что «вдруг есть Бог» и покарает за грехи, ушли давно; с течением времени стал также проходить тот дикий ужас — а если убьют, от болезни внезапной умрешь, сгоришь,— от которого она холодела раньше.

Теперь, с годами и размышлениями, смерть представлялась надвигающейся мерным и торжественным ходом. Она шла неотвратимо, как крылатая царица, звучала бархатно-черным тоном. Но на фоне этого

мрака просветленнее, трогательней сияли видения прежних лет: дальний роман среди полей, с полузнаемым *им,* весною тихой, апрелем: слабо мерцающая где-то сейчас детская жизнь. Как давно было все это!

Теперь Аграфене казалось, что ее жизнь примет ровное и бедное течение, будучи отдана этой девочке; но ей было назначено за первым переломом бытия узнать еще огни и печали передвечерия.

XIII

В ноябре, среди ранних диких мятелей в дом госпожи Люце приехала барышня Клавдия с братцем. Клавдия приходилась тетушке родственницей, сняла комнату себе и братцу отдельно — и стала ходить в музыкальное училище, а братец в гимназию. Клавдии поставили пианино в комнату, и теперь нередко в пустынной квартире бывал Бетховен и старые немцы. Под их звуки тетушка мерней вертела колесом и туманнее думала о днях былых, когда с покойным ныне мужем они вели ясную жизнь, в любви и дружбе.

Также в Аграфенину кухню сходили эти голоса. Она мало их понимала, но почему-то от того, что барышня умела играть, она казалась Аграфене не совсем обыкновенной: точно жило в ней смутное и слегка загадочное. А в то же время и простое: сбегала вниз к ней, могла хохотать, картошку ела с плиты недоваренную, наверху же вносила в жизнь тетушки некоторый кавардак. Но страннее всего был братец, совсем молоденький. Тоненький, тихий, часами просиживал он в своей комнате, что-то всегда рисовал, тщательно прятал, молчал и иногда вдруг густо и беспричинно краснел.

— Нашего Костю никогда не слыхать,— говорила тетушка.— Право, жив ли, мертв ли, не узнаешь.

Клавдия улыбалась — точно была с ним в заговоре.

— Он думает.

— Ах, Клаша, все-такось рано с этих пор думать.

Братец же, если слышал, что при нем о нем говорят, имел неопределенный и полуневидящий вид, а потом, допив чай или кончив обед, вежливо благодарил и уходил в свою комнату. Занимался уроками, потом много мучительно рисовал, потом читал, ложился спать.

Утром в потемках вставал и шел в гимназию; и ноябрьские дни, заметая снегами улицы, свинцовой вереницей брели над городом; ведя нить жизни дальше, в глушь, в черноту ночей.

XIV

Аграфена уставала. Сзади стояли годы, оттуда сочилась черная влага, стекала в душу и скоплялась едкими каплями. Теперь она не могла бы рыдать, исходя в буре слез, сухая печаль ложилась вокруг рта кольцом, въедающимся и маловидным снаружи.

Мысли о смерти приходили чаще; что-то недвижное и седое загораживало дорогу, тускнело все прежнее; прожитая жизнь казалась ненужной. Временами приятно было глядеть на камни, стены — как они тихо лежат и как долго! Как покойно! А иногда вдруг, перед вечером, когда бедные, северно-розовеющие тучки нежданно разлегались над закатом, что-то манило и слышны были точно слова — детские и обаятельные. Становилось возможным невозвратное; на минуту сердце замлевало, будто ожидая чего. Но закат гас и опять только закопченная кухня, темень, Мунька. Сверху музыка Клавдина, томная и родная тучкам умирающим, да невидимый братец.

Мунька умер в очень глухую ночь. Уже много дней был он плох, лежал и стонал, закатывая глаза. Всем было ясно, что нельзя ему жить больше: отмерил восемьдесят лет и уходи. Няня давно приготовила ему смертные одежды, но по ночам о нем плакала. Он же лежал как серебряная копна, что-то бормотал и слабел, слабел.

В три часа с четвертью Аграфена вдруг, в беспроглядной тьме соскочила с постели; жарко было, заливалось сердце бешеной дробью...

— Бабушка! — крикнула она няне.

Не ответили.

В соседней камере хрипело и возилось, свет вдруг резко ударил сквозь щель, лег тоненькой жилкой, и оттуда быстрые слова:

— Кончается. Барыню буди.

В тоске кинулась она наверх.

— Барыня, голубушка, Мунька кончается!

Тетушка Люце спала на широкой постели, со слабым отсветом лампадок; старинно и печально было в этой комнате. Стояло древнее трюмо, резное и в ночном поблескиванье призрачное; пахло сладковатым.

— Царство небесное, Господи, упокой душу!

И как старый человек, видавший много видов, стала тетя Люце на колени.

Сразу зашумели в доме, и, пробегая мимо комнаты братца, Аграфена машинально отворила дверь и вошла. Он сидел на кровати, тоненький, белый, встревожен-

ный; сзади мгновенно пал кусок света, бросил его в глаза Аграфене, и потом, когда она притворила, худенькое белое виденье с голыми ногами запало ей вглубь, вызвав странный темный удар.

— Что такое?

— Мунька помер.

Но теперь она не думала уже о мертвом; смутная сладость пронизала ее глубоко, до костей, и на черном фоне ночи, смерти, страха, вдруг поплыло нагое тело, девичьей белизны, с тонкой, чуть рождающейся прелестью мужчины.

Аграфена выскочила и сбежала вниз; увидев в кухне огонь, свет в Мунькиной комнатке, его самого недвижно лежащим с тонкой повязкой смерти — она зарыдала, сама не зная от чего.

Древняя няня молилась, в дверь выглянула Клавдия в ночной кофточке, потом проковыляла тетя Люце. Ночь шла. Ее великие панихиды простирались завыванием ветров, свистом метели и безмерным мраком. Так продолжалось до утра.

XV

В сороковой день смерти Муньки няня с Аграфеной ездили на кладбище. Извозчику было шестьдесят, он знал все про всех в городе, и ему можно было бы не говорить, куда, собственно, едут. День был зимний. Глубокие снега, как и прежде, укрыли город; тихие санки плыли по ним. Аграфена глядела по сторонам. Давно не бывала она так далеко от своей норы, и теперь, когда с окраинных улиц виднелась вдали Ока, зимне-синеющие просторы и горизонты, леса в снежных инеях — ей вдруг представилось, что жизнь широко раздвинута, там на огромных пространствах также обитают люди, также можно куда-то уйти, стоять в снеговых полях, дышать острым и опьяняющим воздухом прежнего.

От этих мыслей у ней затуманилась голова. Между тем близко было кладбище. Оно лежало почти за городом, на широкой возвышенности, господствуя над всем. От инеевых деревьев оно казалось белым облаком.

С большой тишиной и серьезностью вошли женщины в его ворота; на них не было ничего написано, но сразу другой воздух охватил; еще прозрачнее, суше, таинственней. Особенно деревья обольщали; о, как они

замлели под белейшими ризами! Они рождали тишину и мир, холодный мир.

«Какой там Мунька теперь?» И нельзя было поверить, что не такой же, не хладно-серебряный, не пронизанный молчанием снегов и инеев.

На могиле женщины совершили обряды; были тут поминальные яства, кутья и изюм; птицы — красногрудые снегири — перепархивали в ветвях, осыпая белый туман; ожидали, когда они удалятся.

— Ты, милая, уйди теперь, дай мне одной побыть.

Старческими коленями стала няня в снег и начала молиться. Аграфена бродила меж могил и чувствовала себя в странном, морозном раю; точно вся полегчала и опрозрачнела. У ограды дальнего конца она остановилась. Над ней вились щеглы, она оперлась на снежный парапет и глядела долго на заречные дали. И вдруг в тишине снегов нежащее, острое виденье выплыло изглуби и наполнило ее сладкой болью. В этом не было ничего странного, но как раз та секунда сказала ей с беспредельной ясностью, что близко, близко...

Назад с кладбища Аграфена возвращалась одна. Проходя по плотине мимо катка на пруду, осененного вязами, она увидела братца; он скользил уверенно и стройно на американских коньках, а перед ним, убегая, несясь, летела девушка в бархатной шапочке. Аграфена чуть приостановилась; затем продолжала путь.

XVI

В воскресенье, с самого утра, Аграфена почуяла тоску. Она была одна; все ушли, и ее мысли, бродя за плавными снежинками, летевшими с неба пеленой, погружались во мрак. Тогда ей пришло на ум, что она может пить. Первый раз в жизни в тот день она пила и узнала туманный хмель, сладкую призрачность, встающую из него — глубокую его рану.

К вечеру хмель ушел. Но остался трепет и как бы буйность. В полусумерках вернулся братец, и, как ей показалось в передней, острая мужская дрожь пробежала по нем. С тайной сладостью стала она мечтать, сидя в своей комнате, вспоминала, как хмур и беспокоен он, как таит в себе вскипающее, и опять с болью плыли перед ней ноги, белые, белые, как у девушки.

В поздний час, за полуночью, она, задыхаясь, кралась через черный дом, полный сна, к его комнатке. Как и тогда — отворила, замкнула и дрогнула: заскрипела пружина на постели.

— Кто тут?

— Я.

Стало тихо, она подошла, прильнула, потопила его в себе — режущей сладостью утоляла свою любовь — такую плотскую, бóльную такую, темную, непонятную любовь.

Когда ранним утром, вблизи рассвета она уходила, серели пятнами окна; на постели лежало измученное тело — белый цвет и дикий, теплый запах зверей стоял. А она не могла наглядеться на него, не могла натрепетаться от острого, сорванного цветка: рождающегося мужчины.

Потом она проходила по пустым комнатам, на рассвете. Холодная тень, цвета пепла, легла ей на душу. Нечто темное встало, загородив дорогу.

Так взяла она его.

XVII

Очень скоро узнала, что не на радость. Попрежнему был братец худ и жалобен с виду, а теперь стал еще и стыдиться. Когда, встречаясь днем, она длинно взглядывала на него, он вспыхивал и нырял скорее в свою комнату, а еще хуже получалось, когда приходил кто-нибудь.

К Клавдии часто забегали подруги: молодые барышни и гимназистки. Была между ними и та, с кем она его видела в зимний день на катке. С нею он почти не говорил; бледнел в ее присутствии, смущался. Аграфена, подавая, унося, рассматривала их обоих тяжелым взором, и мутное чувство селилось в ее сердце: сидят, смеются, может, любить уж начинают друг дружку, а того не знают, с кем он по ночам... Медленная злоба затопляла ее. О, как ненавидела она этих легоньких барышень, с духами и тонкими ножками,— кому и жить только, чтобы целоваться да на балах плясать — пусть бы сошли к ней, в подземную кухню, хлебнули ее горечи.

Когда братец бывал в гимназии, она, убирая его комнату, не раз разглядывала его вещи, и скоро увидала, что в бумагах появилась тайная карточка, портрет той. Аграфену обожгло, но она сдержалась и молчала, он же, как прежде, трепетал и бледнел, ходил на каток чаще, и по тем улицам, где ничего ему не надо было.

Перед масленой однажды к вечеру налетели рои барышень, гимназисток: устраивался бал. «Стрекочут,— думала Аграфена,— все стрекочут». Как всегда,

в этом было крайнее неодобрение. Весь вечер после них Клавдия с братцем разговаривали; волновались, спорили даже, что и как снаряжать. Аграфена же хмуро ворочалась, не могла заснуть, и опять мысль о вине и горьком хмеле вставала в ее мозгу.

В день бала братец с утра был не свой: точно решалось что-то для него. Напяливал мундир, доставал белые перчатки и душился. В восемь часов заехала та, и как вошла в комнату в платье своем белеющем, с легким духом вокруг и тоненькими девичьими ножками — показалась Аграфене невестой: сияющей и ослепительной.

— Ну, хороший мой человек, покажись! — Доброе лицо тетушки Люце расцвело улыбкой. — Хорошо оделась, ангел мой, очень хорошо!

Потом она лукаво глянула на братца.

— Вот бы, Костя, тебе невесту такую. Я бы благословила.

Костя вспыхнул, повалил стул и выскочил из комнаты.

Через четверть часа они уехали. Аграфена была бледна.

Белое облако молодости, сияний, люстр приняло их. В бледнозеркальном воздухе они носились до утра среди блистающих колонн, в вальсах и нежных танцах. Робко благоухала любовь. Ее окутывали тучи тканей, прозрачных и мятущихся, и вся эта юность была одним взлетывающим существом, в золоте огня.

Аграфена же томилась в черном прозябании, без сна. Тяжкие волны били в ее мозгу; сердце источало кровь. И когда силой воли унимала она его на мгновенье, с великой силою чувствовала, что иначе быть не может; надежды ей нет. Тогда будто черную сетку накидывали на нее, душили и стягивали, ей хотелось громко кричать, криком отчаянья и безнадежности, — добиваемого зверя, которого подымают на рогатину.

Братец возвратился на рассвете туманный счастием и полупьяный им. Аграфена деревянно отворяла дверь.

— Хороша невеста-то?

Он ничего не ответил, прошел к себе.

XVIII

Темны были ночи Аграфены, черны, черны. Дикие мятели крутили на улицах, собираясь погрести под собой город и бедную жизнь; но сердце, гибнущее в любви, мрачнее снежных ночей.

— Чем меня приколдовал, ангел мой белый, голубь сизокрылый? Голубь мой, Господи, пей мою кровь, жизнь мою возьми, всю меня!

Опять туман опьянял, братец отдавался, и шли буйные ночи и дни беспросветные, на дне которых вечно одно: не любить, не любить!

Иногда, измучившись вконец, Аграфена молила Бога, чтобы растоптал он ее жизнь, взяла скорее смерть — кончилась бы мука.

Но смерть не шла, братец не имел сил рвать, уступал голосу тела пробуждающегося и днем ненавидел еще острей, еще жестче был.

А уж в доме знали о их связи — кто посмеивался, кто шипел; не было недостачи в шпионах. Сама Клавдия стала серьезней: раз Аграфена услышала кусочек фразы, которая не ей предназначалась, Клавдиной подруге, сидевшей с ней в столовой:

— Одну любит, а с другой живет.

Аграфена остро почуяла беду в этих словах; но, привыкши терпеть, не дрогнула и вошла спокойно.

Прошла неделя; стоял Великий пост. Снова, как тогда, в роковой день, Аграфена осталась одна в доме. В первый раз походило на весну. За день растопило даже лужи, розовый закат сиял в них пятнами, и опять багрянец над липами голыми сквозь сетку грачей говорил о несбыточном, пронзительном...

Вдруг звонок в прихожей. Аграфена кинулась. Он, братец. Но какой! Что с ним? Отчего губы дрожат и такой блеск, зеленый, в глазах?

— Мне тебя нужно, Аграфена.

Молча прошли к нему в комнату.

— Я давно знал, что подлец. Слышишь? Давно.

Аграфена качнулась, слабо, и взялась за ручку кровати.

— Я все время был подлецом. Я люблю не тебя... понимаешь, не тебя... Мучился... Хорошо это — тебе и ей разом в глаза смотреть? Легко? О-о...

И дальше — слова. Бессвязно, больно, а она все стояла, все смотрела, и стекленели ее глаза. Как чужая понимала она его, будто из другого государства.

А, однако, поняла. Да, душа его давно томилась одиноко, но теперь загажена его любовь, та тоже знает, чем был он, не мог он больше так, впотьмах, сказал...

Тут упал он на подушки, на свою кровать-ложе,

рыдая мальчишескими рыданиями. Аграфена же стояла, онемелая и мертвая, и не знала, что делать.

Он вскочил.

— Вон! Уходи, не могу, вон, вон.

И опять упал. Она ушла. Это был конец.

XIX

После того дня Аграфена смолкла сразу.

Братец заболел, скоро его увезли на неделю из города отдохнуть, а она прожила еще некоторое время у госпожи Люце в оцепенении.

Стояла ранняя весна; звонили звонаря к вечерним, от тихого звона тянуло давно забытым, детским, что безвестными тропами ведет к покаянию.

Аграфена говела. Скромным вечером, купив вербочек с белыми пушками, она пошла к исповеди. Небесные отсветы, розовые пятна облаков бродили по иконостасу. Там она на коленях перед стареньким отцом Досифеем поведала свои печали, плакала и взывала к Богу, прося дать сил. Отец Досифей крестил ее крестом в светлом курении ладана и голосом ясным, давно изведавшим, дал облегчение душевных тягот.

— Возвратись к дочери, ты мать, твое сердце полно чистой любви к ребенку. Проведи оставшуюся тебе часть жизни в служении ему.

Аграфена ушла светлая, тихая. Дома лежало письмо из деревни, где писали, что там становится трудно, девочка выросла, нуждается в уходе.

Аграфена сочла это за голос Провидения, таинственно воззвавшего к ней и направляющего в ему лишь ведомый путь.

Она пошла к госпоже Люце и сообщила, что оставляет место. Потом взяла свои вербочки, погрузила в стакан с водой и снесла в комнату братца, поставив на стол. Этим молчаливо хотела она дать чистое ныне, братское и страдальческое лобзание юноше, тайно сжегшему ее сердце. Она постояла довольно долго так, около этого бедного букета, и ее простая душа в тот миг расставания таинственно обручилась с душою жениха, прихода которого она так долго, тщетно ждала.

Опустившись на колени, она поцеловала край одеяла с постели, те места пола, где ступали его ступни, перекрестила все углы комнаты и вышла. Больше в эту сладкую и бóльную комнату она не возвращалась.

Через два же дня, когда госпожа Люце нашла себе вместо нее другую, она, собрав убогий свой скарб, навсегда покинула тетю Люце: и этот дом, и этот город.

XX

Уже в вагоне третьего класса, проезжая мимо полей и дымно-зеленых весенних лесов, она поняла, что тяжелое и огромное осталось сзади; а сейчас так тихо и просто покойно на душе, как не запомнит давно. «Ну, были разные дела, а теперь ничего нет, вот под яровое пашут, грачи ходят по комьям, зеленя взошли. Хорошие зеленя, нельзя ничего сказать, хорошие».

Напротив на лавке сидела баба во вдовьем платочке, черном с белым. Аграфене показалось, что и она теперь такая же вечная вдова. С этим нечто белотраурное, ясное произошло в ее сердце.

От станции Ферязи до родной деревни считали тридцать верст. Она купила на базаре вдовий платочек, надела зипун, как богомолки, палку выломила толстую и боковой тропкой большака, священным путем странников, меряющих родимые пустыни, тронулась в путь.

О, ты, родина! О, широкие твои сени — придорожные березы, синеющие дали верст, ласковый и утолительный привет безбрежных нив! Ты, безмерная, к тебе припадает усталый и загнанный, и своих бедных сынов, бездомных Антонов-Странников ты берешь на мощную грудь, обнимаешь руками многоверстными, поишь извечной силой. Прими благословения на вечные времена, хвала тебе, Великая Мать.

Так брела Аграфена, широко ступая ногами в лаптях, упираясь рукой в длинный посох. И ее душа была раскрыта, детскими глазами глядело в нее вечносинеющее небо, и ветерок-ласкатель звенел в ушах, опьянял. В горле стояли слезы; временами они текли из глаз, падали на землю и были очень, очень соленые; а их спутниками на лице шли морщины, прокладывавшиеся по нем, как овраги.

На полпути, у взгорья, откуда были видны с детства любимые Усты, село-приход, она приотдохнула под екатерининской березой. Вынула хлеб, пожевала и слегка заснула. Не прилегла даже, а полусидя, прислонясь к зеленому откосу. На лице ее в это время была спокойная улыбка, чуть печальная.

И в тот весенний час, в полудне пути от дому, случайно задремав на большаке, она видела торжественный сон: мимо, по бледно-зеленым зеленям, мед-

ленно и нестрашно шла черная монашка. В руках у нее сосуд. Подошедши, спросила: «Ты раба Аграфена?» Она ответила: «Я». Монашка постояла, медленно голову склонила, как бы приветствуя ее, и, неся свою чашу, как она ясно помнит — полную до краев, последовала дальше. Все это длилось недолго, через мгновение она проснулась. Солнце шло уже книзу, надо было торопиться. Взяв котомку и палку, полная странным сном и ясностью великой, Аграфена зашагала далее.

XXI

Она вернулась в Кременки на закате дня. Попрежнему лежала маленькая деревня на склоне косогора, в одну линию домов и глядела окнами за овраг, в сады арендатора. Такая же липкая и черная грязь была на улице, гусиная травка пустила свой зелененький ковер под вербами, ковыляли желтые утята, и неизвестные Аграфене дети кучкой глядели на нее, как желторотые скворцы.

А вот дом, что взрастил ее,— старуха мать к ней кинулась.

— Красавица ты моя, думала ль тебя увидеть уж? Все ждала, все глаза выплакала, тебя ждучи. Эх, состарилась, ласточка, уходилась.

— Теперь навсегда к вам, маменька,— Аграфене сладко и жутко, что ее, такую пожилую, обнимают и плачут с ней, как с ребенком.— Буду век свой с вами коротать. Что Анютка-то? Здорова ль?

А Анютку она не узнала б, если бы не здесь встретила. Только на мгновенье опять острым ножом полоснуло былое, Петр... но сейчас же ушло, и она матерински ласкала ее.

Ужинали, захлебываясь в рассказах; тут узнала она, как было трудно матери, как билась, недоимки выплачивала,— но теперь Аграфена решила, на свои мужицкие, могучие плечи она возьмет хозяйство и выведет на путь.

После ужина долго не могла спать. В небе слабо сияли звездочки весенние, она вышла и прошла к ригам. Здесь тогда отуманивали конопельные духи, до этих риг провожал он ее тайной тропой. Теперь они угласто вырезались на закате гасшем, что алел с прежней нежностью, обольщением. Струйка дальних журавлей тянула к западу; их клекот, утопавший в красной мгле, был похож на зов: из дней далеких, прекрасных.

Аграфене жилось дома хорошо. В давно незнаемой работе, под вольным небом, она трудилась честно; ее тело, уставая за день, казалось ей легким. Как бы сохнуть начинало оно. Загорало под солнцем, принимало прекрасную силу крестьян. Она легко вскакивала в колымажку, держала ручку сохи и босиком, полурысцой поспевала за боронами. Крылатые дни неслись вереницей, благоухающей и здоровой. Колосилась рожь, догорал красный май; июнь жег сочным пламенем, вспаивал луга поемные, куда выезжали всей деревней повозками на несколько дней; там жили, как цыгане, косили и везли все сразу. Потом сухой июль; месяц белого жара, страды, бабьей муки. В длинной белеющей рубахе, обливаясь потом, жала Аграфена свою полосу, а Анютка подсобляла, таскала жбаны кваса из деревни и потом вязала. А дальше, в летнезолотеющие вечера июльские, они навивали снопами огромные возы и мирно везли их в риги. Анютка сидела наверху, напевала; кусала колосики, внизу шагала Аграфена, ласково и с думой глядела на нее: вот виден милый ей очерк, тонкой двенадцатилетней девочки. И пройдет четыре года, пять, как мать погрузится она в муки и восторги любовные, как мать припадет к чаше — что дано будет испить ей там? Кто скажет?

Подобные мысли туманили голову Аграфены; но о себе она знала, что такая жизнь, как она ведет,— без счастия и мыслей о нем, суровая рабочая жизнь женщины, отдающей себя,— есть наилучшая, честнейшая и самая ясная жизнь, как ни глубока печаль, коренящаяся в темных ее истоках.

XXII

В звонкий сентябрьский день, когда дымчаты дали, опалово-лиловое разливается в воздухе и кротки поля сжатые, Аграфена вела Анютку в усадьбу: старая барыня вызвалась отправить ее в город в школу вместе со своей воспитанницей. Ночью Анюта плакала, и сейчас покрасневшие ее глаза были овеяны ветром, на них набегала слеза.

Аграфене странным казалось подходить к той усадьбе, где когда-то, так давно, протекала ее любовь. Все поветшало; но бессмертно пахло осенью, амбарами, ссыпаемым зерном, молотьбой; барыня встретила их у мучных закромов, в черной кофте, с всегдашне спокойным и умным лицом. Аграфена поклонилась.

— Здравствуйте, вот девочку привела.

— Ну и хорошо.

Анютка стеснялась немного, но барыня опытно-ласковой рукой погладила ее, ободрила.

— Вот и хорошо. Кончит школу — место получит, в учительницы или еще куда.

Аграфена провела в имении с час; встречалась со знакомыми рабочими, признала даже Дамку, обратившуюся из щенка в старую, обильную сосками бабушку. Чувство тишины и тонкой печали, бледной и бесплотной, стояло в ее душе. Жаль было Анюту, она нежно ее целовала и, наконец, сдав верной женщине Саше, поблагодарив барыню, тронулась.

Чуть видные, молочно-пепельные облачка тянули в небе; гроздья рябин краснели, внизу лежал пруд: кристальный, глубокий,— зеркало. У его берега не могла Аграфена не остановиться, и, смотря на прозрачные отраженья в нем — деревьев, облаков, на свой зыбко-облегченный облик, глянувший из глубины, прожила она мгновения бессознательной мудрости, когда вся жизнь взглянула в ответ оттуда, чуть заволокнутая легкой слезой, но также обожествленная и просиянная. Ее дни, скорби, утраты, та печаль расставания, что глодала ее сейчас, на мгновение были приняты в светлое лоно. И там преобразились.

Помолчав, вздохнув, улыбнувшись, она продолжала путь. Когда подходила к Кременкам, розовая заря разлеглась на западе; от нее веяло тонкой, скорбной осенью.

XXIII

Наступила зима, с ней деревня стала строже и монотонней. Мать много болела, Аграфене одной приходилось нести бремя тягот. Это ее закаляло. Волосы ее седели, но нечто морозное и суховатое в ней появлялось. Будто становилась она прозрачнее, всегдашний внутренний траур выводил на лицо ясные морщины, спокойную приветливость.

По Анюте она скучала, хотя знала, что ей живется не плохо; получала от нее иногда письма, которые читать было большой радостью. Но приходилось искать чужой помощи в чтении — «пусть, пусть свету глотнет, думала, не то, что мы, темные, будет».

А сама работала. Зима вышла тяжелая. Уже в ноябре лег снег, и к святкам Кременки были занесены по уши. На улице ухабы изрыли дорогу так, что у самой Аграфениной избы была крутая яма; все хаты

ощетинились соломой, которую набивали от крыши до полу, прорезая в ней для окон узкие люки; через них бедно лился внутрь свет. И долгие ночи проходили в завываниях мятелей или грозном блистании звезд на небе, чуть не трескавшемся от морозу. Большие морозы выпали на тот год; бродячие странники, число которых увеличилось заметно, замерзали на дорогах. Погибло шестеро детей из Осовки, шедших за три версты в школу.

Нередко по ночам Аграфене не спалось. Много дум приходило ей в голову, и характер их бывал серьезен. С большою силою она убеждалась, что эта часть ее жизни есть и последняя, но сколько ни думала о Боге, смерти и будущей жизни, никогда не могла додуматься до ясного. Иногда выходила на мороз, и зрелище синих, пылающих светил и глубокой порфиры неба, священных костров-созвездий, говорило о великом и ангелическом. Чувство твердости, вечности наполняло ее.

Вспоминала она также свой дорожный сон; образ темной монахини, встретившейся на большаке, принял в ее сознании отблеск апокалипсиса.

Главной же точкой, как и в прежнее время, все была Анюта, дорогая и единая дочь, светлое упование стареющей жизни. О ней думала она еще чаще, нежели о смерти. Ее судьба была неизвестна и минутами радовала, минутами пугала.

XXIV

Так прожила она — ровно и холодно — пять лет. Успела за это время схоронить мать, видела, как безбрежная река уносит одних, старит других, сводит на брак юные пары, поселяет страдания в крепкосжившихся, увлекает с родины, привлекает давних бобылей и скитальцев,— и в своем безмерном ходе не знает ни границ, ни времен, ни жалости, ни любви, ни даже, как казалось иногда, и вообще какого-нибудь смысла.

Анюта тем временем вернулась милой девушкой и по хлопотам барыни получила место — сиделицей винной лавки в деревне Гайтрово, в пяти верстах.

XXV

Аграфена оставила свой дом и поселилась у ней. Смотрела за хозяйством, была как бы престарелой ключницей-матерью.

С Анютой жила подруга — Маня. Обе служили. Обе носили похожие голубенькие платьица, выдавали красноносым мужикам водку, хохотали весело, а потом Аграфена степенно поила их чаем из пузатых чашек: синих с золотыми крестами. На святках ездили по очереди в гости, летом гуляли с учителем, пели во ржах «Укажи мне такую обитель». «Хохотушки, молоды,— Аграфена улыбалась.— Ну, дай им Бог, дай Бог». Но этот учитель сразу стал ей неприятен.

«Долгогривый,— решила,— и что патлы жирные — нехорошо».

— Мамаша, знаете, Иван Васильевич замечательно образованный человек. Он читал даже Каутского.

«Читал, читал,— Аграфена соображала свое, и мнения не меняла.— Хоть бы Господа Бога».

Девушки над ней смеялись весело и любовно; Анюта прибавляла:

— У меня мать консервативного образа мыслей. А он демократ.

Друг Каутского мог говорить разные вещи и бывал у них часто. Аграфена находила — чересчур часто. Анюта сначала хихикала, потом стала тише и серьезней, краснела и по ночам не спала долго — ворочалась, вздыхала. Аграфена соображала все это и тоже отмалчивалась. Но тревога подымалась в ней. Перед утром просыпалась она иногда, отирала пот со лба и внутренно крестилась; дай Бог Анюте, дай Бог.

XXVI

Хорошо в светлом лете ласточкам носиться над полями, ржам шуметь сухим шорохом и глубокие думы думать тысячью колосьев; так же счастливы темно-синие васильки в хлебах. Так же девичье сердце овеяно вечным и сладким безумием любви. Сплетя венок из васильков и скромной кашки душистой, девушка ходит тайными тропами среди ржей, обнимая его, и в ее глазах — Анютиных — цвет анютиных глазок; давно выцвело ее голубое прежде платьице, одевая серо-синеватым тоном. Ее жизнь раскрыта перед ней как великая небесная книга; за руку с милым, с другом Каутского, она убежала бы на край света. Но лучше — сбежать с зеленого откоса просто к иве, пруду серебряному и туда бросать венок и хохотать...

Венок тонет. Почему? О, думать об этом некогда, столько еще счастья впереди.

Так идет в полях, отражая вечные образы любви,

любовь дочери — там почти, где много лет назад загадочно и обольстительно любила мать. А мать все это видит старою душою — как мелькает Анютин венок васильковый во ржах, как всегдашняя Офелия сидит у пруда; и матери кажется, что это ожили ее года, пришла далекая ее весна, и многолетние глаза вбирают со слезой — прощальный свет полей, солнца, которых скоро не будет.

XXVII

«Ты жила свои дни, девушка Анна, в любви; это были твои ранние дни — и опьяняющие. Но они прошли. Великое предначертанье повернуло от тебя лицо любви, любивший тебя полюбил другую. Это горе упало на твою детскую душу огненным попалением; а уже ты носила под сердцем росток нового человека. И не смогла снести этого. Кидалась к старой матери. Мать прокляла принесшего тебе несчастие; она ласкала тебя и утешала и на бледной заре сторожила твой сон. Ты спала бредя. Мать же в этих твоих стенаниях узнавала свою прежнюю муку и черные дни; острые ножи резали ее сердце. Так ты лежала сутки, в то время как твоя подруга уехала с человеком, любившим тебя ранее, и обручилась с ним кольцами».

«На вторые сутки, также перед зарей, мать задремала; проснувшись слегка, она увидела у твоего изголовья черную женщину в одеянии монашенки, в руках у которой был сосуд с темной влагой. И ты, Анна, припала к этому сосуду, жадно и долго пила. Он был опорожнен. Тогда монашенка медленно отошла и сказала матери: «Подаю тебе знак». Мать снова заснула. Ты же встала и прошла в предутренней росе к серебряному пруду,— к той ветле, где сидела с ним. Там, подойдя, ты бросилась в светлую водную глубину. Она приняла тебя, и ты погибла. Мать же продолжала дремать в странном сне, как бы зачарованная. Когда проснулась, то сразу все поняла и ринулась искать тебя. Нашла твой белый платочек у омута и остановилась как вкопанная».

XXVIII

Любовь и смерть Анюты были для Аграфены как бы сном. Но и протирая глаза не могла она не убедиться, что все это на самом деле. Мужики сбежа-

лись, с лодки достали багром труп Анюты, уже слегка повитый водорослью. Прибежал батюшка; охал, утешал, но Аграфена не слушала. И не могла плакать. То, что наполняло ее, не равнялось слезам, а стояло за горизонтом человеческих слов и чувств. Она молча склонилась к умершей.

Два дня лежало тело Анюты у матери. Она сидела с ним рядом, молчала и не пускала никого. Ей казалось, что сейчас она знает нечто, чего сказать никому нельзя и чего все равно никто не поймет. Бледный же взор покойницы, быть может, понимает. Так сидя, она смотрела, как несколько дней назад, когда Анюта была еще больна. Тайна их немого разговора осталась между ними.

Потом надо было хоронить. Священник отказался. Аграфена отнеслась к этому равнодушно. На краю кладбища, за оградой, вырыли могилу.

Туда, без креста сверху, легла Анюта. Мать собственными руками засыпала над ней землю, вырубила из бедных берез два стволика, в белой естественной одежде, сбила крестом и водрузила. На него повесила малый венок. Затем долго ходила, ища дубовых ветвей. Нашедши, прибавила туда рябины и повесила также. Рябина алела вечной кровью на зелени дуба. Это нравилось Аграфене. И еще нравилось — старый святой обычай — насыпать зерен скромных на гребень могилы и давать ими пищу птенцам. А самой — сидеть поодаль и видеть, как вечные ветры овевают это место, как заходит солнце и прощально золотит дубовый венок — лавры смерти.

Так испила Аграфена последнюю чашу жизни. После долгих лет, мук любви, ревности, рождения и материнства, страха смерти и печали прохождения она узнала скорбь разлуки. Но ее душа, опрозрачневшая и закалившаяся, не была наклонна к отчаянию. Она была почти готова к последнему очищению; одна часть ее присутствовала уже не здесь.

XXIX

Было утро. Тайное, тихое. Солнце медленно вышло к миру и сквозь бедные облака одело землю в светло-перловые облачения. Они реяли над полями бледно-зелеными, бродили мягкими пятнами.

Аграфена, возвращаясь в Кременки, все не могла вспомнить, где, когда было то же. И вдруг на повороте дороги, сразу волшебным манием раскрылась перед ней

ее жизнь, и предстала светлая заря, семнадцатилетняя, когда на этом месте впервые увидала она синеглазого посетителя ее жизни. Сейчас, немолодой женщиной, подавленной тягостями, она вдруг затрепетала, как от таинственного тока, пришедшего к ней из тех дальних глубин. Волнение ее росло. Задыхаясь, Аграфена остановилась: вдруг показалось ей, что земля под ногами легче, все легче, волны божественного, ослепляющего нисходят навстречу.

Тогда она пала на колени, и внутреннее видение осенило ей душу; вся жизнь явилась ей в одном мгновении; все любви и муки понялись одинокими ручьями, сразу впавшими в безмерный и божественный океан любви и данными ей как таинственные прообразы Любви единой и вечной. Из-за знакомых, дорогих когда-то лиц, к душам которых ее душа была прилеплена земной основой, восходя небесной к небу, выплыло новое, потопляющее всех единым светом Лицо, принимающее в сверхчеловеческое лоно.

«Господи, Господи, ты явился мне, ты все у меня взял, вот я нищая перед тобой, но я познала тебя в великой твоей силе, Господи, я вижу твою славу, Господи, возьми меня, я твоя, я тебя люблю».

В эти минуты она познала свою жизнь до последнего изгиба, приняла ее и сознала, что на той высоте, куда взнесло ее сейчас божественное дуновение, жить она больше не может.

XXX

Весь тот день, весь вечер провела Аграфена молча. Строго, торжественно было в ее душе.

Она умылась, одела чистую белую рубашку и легла на ночь, скрестив руки. Теперь она знала все и ждала.

Пред зарей закричали петухи. Стало сереть, серебриться, дымно-розоватые пятна выступили над садами. Улица была тиха. Спали собаки, куры; пыль в серебре росы лежала на улице толстым слоем.

Тогда сквозь утреннее безмолвие неспавшая Аграфена услыхала приближение. Повернув голову, так что стал виден угол переулка, она заметила, что, не подымая уличной пыли и не будя собак, под молчащими ветлами к ней идет черная фигура. Она ее узнала. И еще ступенью ровнее стало в ее душе. Монахиня приближалась. В руках держала сосуд. «Здравствуй, раба Аграфена».— «Здравствуй».— «Готова ли?» — «Готова». Монахиня ей поклонилась. «Вкуси». Аграфе-

на медленно приподнялась, припала губами к чаше и долго пила. «Слышишь ли мою сладость? Идешь ли?» — «Слышу,— ответил наполовину не ее голос.— Иду».

Монахиня подала ей руку, она взяла ее — медленно-медленно затянулось все туманными завесами, как бы сменялись великие картины, бренные на вечные, и чей-то голос сказал: «Вот идет та, которую называли бедным именем Аграфены, вкусить причастия вечной жизни».

Это были последние слова.

ГОЛУБАЯ ЗВЕЗДА

I

В комнате Христофорова, в мансарде старого деревянного дома на Молчановке, было полусветло — теми майскими сумерками, что наполняют жилище розовым отсветом зари, зеленоватым рефлексом распустившегося тополя и дают прозрачную мглу, называемую весной.

Перед зеркалом, запотевшим слегка от самовара, Христофоров оправлял галстук. Он был уже в сюртучке, довольно поношенном — собирался выходить. Голубоватые глаза глядели на него, порядочная шевелюра, висячие усы над мягкой бородкой. Он поправил узел галстука, завязывать которого не умел, улыбнулся и подумал: «Чем не жених?» Он даже ус немного подкрутил.

Затем взял ветку цветущей черемухи — она лежала на столе,— понюхал. Глаза его сразу расширились, приняли странное, как бы отсутствующее выражение. Он вздохнул, надел шляпу, пальто, и по скрипучей лесенке спустился вниз. Пересек большой двор — здесь на травке играли дети, у каретного кучер запрягал пролетку,— быстрым, легким шагом зашагал к Никитскому бульвару.

В Москве сезон кончался. Христофоров шел на небольшой прощальный вечер в пользу русских художников в Париже; его устраивала московская барыня из тех, чьи доходы обильны, автомобили быстры, туалеты неплохи. Христофоров мало знал ее. Лишь недавно встретил у знакомых своих, Вернадских; и тоже получил приглашение.

Дом Колесниковой ничем особо не выделялся —

двухэтажный особняк в переулке, с лакеем в белых перчатках, с чучелом тигра на повороте лестницы; лестница хороша тем, что рядом с перилами шла кайма живых цветов в ящиках и кадках. Колесникова встретила его в зале, где люстры уже сияли, были расставлены стулья и стояла эстрада для чтецов, музыкантов. Хозяйка — дама худая, угловатая и не вполне в себе уверенная; ей хотелось, чтобы все было «как следует», но неизвестным представлялось, удастся ли это. И, пожалуй, ее осудит острословка Сима, миллионерша первоклассная и меценатка.

— Ах, вы сюда, пожалуйста,— сказала она Христофорову, указывая на гостиную, за эстрадой.— Пойдемте, там и ваши знакомые есть...

Колесникова провела его в гостиную, где густо стояла мягкая мебель, без толку висели картины, горело много света и сидели нарядные дамы. Христофоров слегка смутился. Ему именно показалось, что никого он тут не знает, но он ошибался: сделав общий поклон, тотчас заметил он в углу Вернадских — Машуру и Наталью Григорьевну. Наталья Григорьевна, представительная дама, седая, разговаривала с высокой брюнеткой в большом декольте. Машура молчала. Она была в белом с красной розой на груди — тоненькая, с не совсем правильным, остроугольным лицом; почти черные глаза ее блестели, казались огромными.

Увидев Христофорова, она улыбнулась. Наталья Григорьевна подняла на него свои светлые, несколько выцветшие глаза. Он подошел к ним.

— А я думала,— сказала она, протягивая руку,— что вы не соберетесь. Значит, и вы пустились в свет. С вашим-то затворничеством туда же.

Она засмеялась.

— Вы знаете,— обратилась она к соседке,— Алексей Петрович одно время проповедовал полное удаление от мира, как бы сказать, полумонашеское состояние.

Соседка взглянула на него и холодновато ответила:

— Вот как!

Их познакомили. Она называлась Анна Дмитриевна. Христофоров сел на край кресла и сказал:

— Одно время действительно я жил очень замкнуто. Но теперь — нет. Вы знаете, Наталья Григорьевна, эту весну я, напротив, даже много выезжал.

Анна Дмитриевна вдруг засмеялась.

— Отчего вы так странно говорите? Точно...— она продолжала смеяться.— Простите, но мне показалось... как-то по-детски...

Христофоров слегка покраснел.

— Я не знаю,— сказал он и обвел всех глазами.— Я, может быть... не совсем так выражаюсь.

— Не понимаю, как это надо особенно выражаться...— Машура тоже вспыхнула. Глаза ее блеснули.

Анна Дмитриевна слегка откинулась на кресле.

— Виновата. Кажется, я просто сболтнула.

— Алексей Петрович говорит,— сказала Машура, сильно покраснев,— так, как нужно, то есть какой он есть. Его учить незачем.

Наталья Григорьевна засмеялась.

— Вот и неожиданно разговор принял воинственный характер.

Она была в черном платье, с большим бантом у подбородка. В ее седых, хорошо уложенных волосах, в очках, в дорогом кольце, духах — ощущалось прочное, то, что называется distinguée. Глядя на нее, можно было почувствовать, что она прожила жизнь длинную и чистую, где не было ни ошибок, ни падений, но работа, долг, культура. Она много переводила с английского. Писала о литературе. Дружила с Анатолем Франсом.

Разговор пресекся. Вечер же начался. Певица пела. Беллетрист с профилем шахматного коня, во фраке, скучно бормотал свою меланхолическую вещь. Приехал актер, знаменитый голосом, фигурой и фраком. Он ловко заложил руки в карманы, слегка дрыгнул ногой, чтоб поправить складку на Делосовых брюках, и, опершись на камин, сразу почувствовал, что все в порядке, все его знают и любят.

Христофоров наклонился к Машуре и спросил:

— Я не вижу Антона. Его нет здесь?

Машура несколько закусила губу:

— И не будет.

Актер вышел, читал Блока. В дверь виднелась его сухая, крепкая спина, светлая шевелюра, а дальше, в зрительном зале все полно было сиянием люстр, белели туалеты дам, отсвечивало золото канделябр и кресел. Когда начали аплодировать, Машура сказала:

— Вы же знаете его. Вдруг рассердился, сказал, что к таким, как Колесникова, не ходят, одним словом, как всегда.

Она вздохнула.

— Я ответила, что со мной так нельзя разговаривать. Он ушел, не простился. А я, конечно, отправилась. Да,— прибавила она и улыбнулась,— я совершила еще маленькое преступление: занесла вам ветку черемухи.

Христофоров засмеялся и чуть смутился.

— Я очень рад, что вы...

— Какой у вас странный домик! Мне отворила квартирная хозяйка, старушка старомодная, в шали, там в комнатах киоты, лампадки, половички по крашеному полу. Когда я подымалась к вам по лесенке, на перилах сидел кот... Правда, похоже на келью.

— Я люблю тихие места. Да потом, это мне и по средствам. Ведь вот тут,— он с улыбкой оглянулся,— здесь, вероятно, человек, снимающий в передней пальто, богаче меня.

Машура взглянула на него ласковыми, темными глазами.

— Было бы очень странно, если б вы были богаты.

Мимо них прошла Колесникова, обмахиваясь веером.

Она благодарила знаменитого актера, слегка наклоняясь к нему угловатой, худой фигурой.

— Если б Антон узнал, что я у вас была,— продолжала Машура,— он бы меня знаете как назвал...

Она опять покраснела от недовольства.

Христофоров смотрел куда-то вдаль, в одну точку. Голубые глаза его расширились.

— Я иногда гляжу на Антона,— сказал он,— и думаю: он не скоро угомонится.

Машура вздохнула.

Начался последний номер — мелодекламация,— то, что любят в провинции. Виолончель тянула свои, якобы поэтические, фиоритуры; актриса в тысячном белом платье *бросала* в публику фразы, затем изображала нежность, умиление, вновь рокотала. Все это имело успех.

После актрисы публика стала разъезжаться. Свои остались. Свои делились на две части: участники и знакомые. Их пригласили ужинать. В один конец сажали актеров, писателей, лиц с *именами*. Там и вино стояло получше. Родственники и знакомые занимали другой фланг. Христофоров, Вернадские и Анна Дмитриевна оказались в середине, на водоразделе титулованных и разночинцев. Христофоров присматривался с любопытством. Когда нынче он говорил, что стал выезжать, это было верно лишь отчасти, в сравнении с прежней его жизнью — в деревне, в тихих провинциальных городах, где приходилось ему работать и в земстве, и давать уроки, жить вообще жизнью более чем скромной. Часть же этой зимы он провел в Москве, получив временную работу. И видел народа больше; но совсем все же не знал того круга, который здесь собирался.

Против него сидела Анна Дмитриевна. С ней рядом офицер генерального штаба, которого он заметил еще на концерте: человек высокий, сухощавый, стриженный бобриком, с нездоровым цветом лица и темными, без блеска глазами. И он, и Анна Дмитриевна много пили. Она смеялась. Он же был сдержан. Вино, казалось, на него не действовало.

Христофоров спросил о нем Наталью Григорьевну. Та поморщилась.

— Говорят, из хорошей семьи, и вначале подавал надежды. Но потом какая-то темная история по службе... Его фамилия Никодимов. Нет, не моего романа. Ведет предосудительную жизнь. Настоящий...— она засмеялась.— Un dépravé. Не понимаю Анну Дмитриевну.

И видимо не желая продолжать, она свела разговор на то, о чем порядочные люди в Москве говорят каждый апрель и каждый май: кто куда едет на лето. Христофоров узнал, что нынче они будут под Звенигородом, сняли имение, что там красиво, тихо, хотя есть и соседи — Анна Дмитриевна, например. Тут же она добавила, что есть свободная комната: будет отлично, если он к ним приедет — лучше бы надолго.

Христофоров благодарил. О лете совсем он не думал, считал, что само как-нибудь выйдет, как и все почти в жизни. Но сейчас ему было приятно, что именно Вернадские его зовут. Много раз уже, в его бродяжной, нескрепленной жизни, приходилось ему гостить и жить у разных людей. Он знал, как берут свой чемоданчик и являются под благосклонный кров. Но кров Вернадских был особенно приятен.

Било два, когда Христофоров выходил из подъезда. Вернадские уже уехали. Вслед за ним выходила Анна Дмитриевна, Никодимов и еще целая компания. Автомобиль ждал их. Ехали за город, встречать рассвет. Когда Христофоров шагал уже по переулку, машина, тяжело шурша, обогнала его.

— Прощайте! — крикнула Анна Дмитриевна.— Дитя, не сердитесь!

Он снял шляпу и помахал. Автомобиль умчался. Христофоров шел с непокрытой головой. Ночь была синяя, прозрачная и теплая. На востоке светлело. Там виднелась крупная, играющая звезда. Христофоров поднял голову. И тотчас увидел голубую Вегу, прямо над головой. Он не удивился. Он знал, что стоит ему поднять голову, и Вега будет над ним. Он долго шел, всматриваясь в нее, не надевая шляпы.

II

В дни начала июня дом Вернадских принял тот вид, какой имеют многие дома с наступлением лета: мебель в чехлах, гардины убраны, портреты, картины на стенах затянуты кисеей. Это значит, что Машура с Натальей Григорьевной после долгой, сложной уборки выехали наконец на Брестский вокзал и в купе первого класса, сдав многочисленный багаж, катят мимо разных Кунцевых и Филей к станции, откуда извозчичья коляска отвезет их в новое летнее пристанище.

Дорога на лошадях приятна и разнообразна; небогатые нивы, леса, иногда хвойные; зажиточные села с хорошими избами; много шоссе; есть старинные, знаменитые подмосковные с парками и прудами — к ним ведут иногда березовые аллеи: в селах новые школы, столбы на перекрестках с надписями о дорогах — те мелочи, что говорят о некой просвещенности.

Вечерело. Из-за поворота в лесу вдруг открылся вид на Москва-реку, луга и далекий Звенигород. В густой зелени горела золотая глава монастыря. Закатным светом, легкой, голубеющей дымкой был одет пейзаж. Коляска взяла влево, песчаным берегом; лошади перешли в шаг. Подплывал паром. Кулик летел над водой.

— Здесь очень хорошо,— сказала Наталья Григорьевна.— Мне очень нравится.

— Да.

Машура не была нынче разговорчива. Она несколько устала. На побледневшем лице глаза казались еще темнее.

— Обрати внимание на эти луга. Прямо с нашей террасы откроется вид на много верст. И потом, здесь чрезвычайно здоровый климат.

Наталью Григорьевну, приемную свою мать, Машура очень уважала. Тут была и любовь: но с детства любовь поставили так, что бурно выражаться, в нежности, она не могла. И иногда Машуре хотелось, как и сейчас, чтобы мать была немного менее основательна, спокойна. «Свежий воздух, климат, полезно»,— слова мелькали в ее мозгу, ничего не говоря. Ей все равно было, полезна жизнь здесь или нет.

На заре въехали в старую усадьбу, бывшую вотчину Годуновых — уже смеркалось. Огромный деревянный дом казался мрачным; мебели было мало. В зале с поскрипывавшим паркетом, за круглым столом они ужинали при свечах. Свежие редиски с маслом казались вкусны; на свечи летели ночные бабочки, в углах

было полутемно. Заря из темно-красной переходила в холодноватую мглу. Будто жутко стало Машуре — нежилое, ветхое надо обогреть, прежде чем станет своим. Все же, поужинав, она спустилась в сад. Росла тут трава, кое-где цветы, какие кому вздумается. Такие же и дорожки: будто их никто и не делал, пролегли они, как Бог на душу положит. За садом канава в березах, а там луга. Машура вышла в них. Было росисто. Над Москвой-рекой стоял туман, деревня смутно темнела. Там наигрывали на гармонике. Машура не знала, хорошо ей сейчас или плохо. Новое место, новые луга, усадьба, неизвестные ели высятся там, правее. Завтра взойдет солнце, и новые места откроют новую свою, дневную душу.

«Вот Алексей Петрович сразу понял бы тут все,— вдруг подумала она.— Почему Алексей Петрович? А про него сказал один знакомый: в нем есть священный идиотизм,— она засмеялась.— Ну, это пустяки! Вовсе не идиотизм, а что он немного фантастический, это верно».

В доме два окна светились. Одно распахнулось, и голос Натальи Григорьевны не очень громко, но как раз, чтобы слышно было, крикнул:

— Машура! Пора домой.

— Иду-у!

С детства Машура знала, что она Наталье Григорьевне подчиняется. С детства порядок и серьезность внушались ей, хоть не всегда успешно.

Прибредя домой, она прошла в комнату матери. Наталья Григорьевна, в чепце, в очках и безукоризненном белье лежала в постели и читала роман друга своего, Франса. Машура поцеловала ей руку.

— Ты все бродишь,— сказала Наталья Григорьевна,— пора бы и ложиться. Завтра тебя не подымешь.

— Нет, милая мама, подымете, когда понадобится.

— Мне не понадобится, но для твоей же пользы.

Машура раздевалась в комнате рядом. Уже заплетя косы, дунув на свечу, чтобы ложиться, она спросила из темноты:

— Мама, а тут не страшно?

Не отрываясь от чтения, Наталья Григорьевна ответила:

— Нет.

Машура перекрестилась, натянула одеяло на худенькое плечо и опять спросила:

— Антон не говорил, когда приедет?

— Разве можно придавать значение его словам? Сказал, что не скоро.

— И очень буду рада,— холодно ответила Машура.

«Конечно,— думала Наталья Григорьевна уже в темноте,— эти взаимные qui pro quo и пертурбации необходимы. Все же характер Антона»... Она вздохнула и вспомнила об Анатоле Франсе. Вот где культура, порядок, уравновешенность! Тут ей представилось, что трудное слово *культура* можно по-новому определить. Старческой рукой зажгла она вновь свечу и, надев очки, записала в книжечку афоризмов и наблюдений: «Культура есть стремление к гармонии. Культура — это порядок». Записью она осталась довольна и спокойно отошла ко снам.

Хотя с вечера голова немного ныла, Машура хорошо спала, встала в добром настроении. Надела белую матерчатую шляпу, добыла лопату, скребок и к запущенному саду стала применять то, что ночью мать назвала культурой. Чистила дорожки, вскопала клумбу. Наталья Григорьевна поощряла такие дела,— находя, что общение с землей полезно для молодежи: укрепляет тело, облагораживает душу.

Сама она занялась домом; надо было и его подтянуть. Наталья Григорьевна не хлопотала и не суетилась; она действовала. Под ее умелым водительством переставили мебель; что нужно — добавили: появились скатерти на столах, на окнах портьеры, букеты сирени в вазах. Было разобрано белье. Платье развесили по шкафам.

Перед завтраком, когда меньше всего о нем думали, вкатил на велосипеде Антон. Он был в каскетке, поношенной летней паре, запыленный. Пот катился со лба. Поставив велосипед, он снял фуражку и отер разгоряченное лицо. Антон несколько сутулился, но стоял твердо на коротковатых ногах. Он был некрасив — с широким лбом, небольшими глазами, сидевшими глубоко; не украшал его и нечистый цвет лица — что-то непородистое, тяжеловатой выделки в нем чувствовалось. Отец Антона был дьячок.

— Насилу вас нашел,— сказал он Наталье Григорьевне, здороваясь.— А, и Машура занялась хозяйством. Дело.

Машура подошла и просто ему улыбнулась.

— Как видишь.

— А я, извини меня, ведь нынче тебя и не ждала,— сказала Наталья Григорьевна.

— Имели полное основание. Я не хотел приезжать, но потом передумал...— Он густо покраснел и как будто на себя рассердился.— Да, а потом приехал.

Позвали завтракать. Завтрак был умеренный, свежий и вегетарианский, во вкусе дома.

— А,— сказал Антон, улыбнувшись,— у вас все то же, овощи, спасение души...

— Нет, не спасение,— ответила Наталья Григорьевна,— а просто нахожу это здоровым.

Антон давно бывал у них, еще вихрастым гимназистом, когда вместе с Машурой состоял старостой гимназического клуба. Уже тогда он был серьезен, головаст, давал уроки, помогал матери и стремился на физико-математический факультет. Но и теперь, считаясь женихом Машуры, изучая интегральное исчисление, целиком не мог привыкнуть к дому Вернадских. Что-то его удерживало. Он уважал Наталью Григорьевну, но ненавидел Анатоля Франса, бельевые шкафы в их доме, дворню, сундуки и порядок, олицетворением которого считал хозяйку. Кроме того, ему казалось, что он плебей, parvénu. Он, вероятно, не прощал Наталье Григорьевне ее барства.

И теперь, когда она говорила о профессорах, университете, его будущей работе, ему казалось, что это все — приличия, чтобы его занять и выказать внимание.

После завтрака Антон прилег в гостиной на диване. Обычные, очень частые мысли проходили в его мозгу. Казалось, что его не ценят; Наталья Григорьевна недовольна, что он близок к их дому; даже Машура его не понимает. Что именно в нем понимать — он затруднился бы сказать, но что он существо особенное — в этом Антон был уверен.

Однако он заснул самым крепким и негениальным образом и проспал часа два. Проснувшись, зевнул и встал. В доме было тихо — чувствовалось, что никого нет, пахло сиренью от букетов, чуть навевал ветерок из балконной двери; шмель гудел; в бледных, перламутровых облаках стояло солнце — неяркое и невысокое. Антон вдруг улыбнулся, сам не зная чему. Захотелось видеть Машуру; он не знал, где она; просто вышел в сад, взял направо, прыгнул через канаву и направился к недалекому лесу. Пахло лугами; откуда-то доносились голоса; будто телега поскрипывала. У опушки леса виднелось белое платье.

Лес был — ельник; тропинка выводила к обрыву над речкой, притоком Москвы-реки. Песчаный скат шел к воде, в нем стрижи устраивали ямки и торчали корни сосны. Машура босиком, слегка подоткнув юбку, стояла по щиколотку в воде и подымала камни. Иногда рак оказывался там. Она хватала его под мышки и бросала в лукошко с крапивой.

Антон сел на обрыв, спустив вниз ноги.

— Ты устраиваешь деревенскую идиллию?

Машура подняла на него лицо, трепещущее оживлением, весело ответила:

— Раков ловлю.

— А я заснул, проснулся и не могу понять, где я.

— Ложись опять. Ты утром был хмурый. А сейчас какой?

Антон усмехнулся.

— Сейчас я, кажется, приличен.

Он лег недалеко от обрыва на мелкие, сухие хвои. Справа даль голубела, шли луга, виднелся Звенигород. Слева темной чащей стояли елки на пустынной, иглами усеянной земле. Там было мрачно. С лугов же тянуло теплом, благоуханием, какое-то благорастворение было в этом месте. Внизу видел Антон излучину речки, с настоянной, темно-коричневой водой, где голыми, покрасневшими ногами действовала Машура. Ему было очень покойно тут.

Позанявшись своей забавой, пришла Машура, натянула чулки, села рядом. Он положил голову ей на колени. Ее руки пахли водой, раками, водорослями. Она гладила ему волосы и говорила:

— Хорошо, что сейчас ты милый, и ты правда мой милый, такой Антон, как надо быть. Настоящий мой жених. А когда не настоящий, я тоже знаю. И не люблю.

Антон слегка фукнул.

— Белым-то нас всякий полюбит. Ты полюби черным.

— Что ж, и черным...

— Всяким?

— Всяким...

Машура задумалась, по ее худому, нервному лицу прошло как бы напряжение.

— Но и я не все понимаю, иногда мне кажется, что между нами, мною и тобой, уже роковое, судьбой назначенное, как знаю я тебя почти ребенком. А иногда думаю: навсегда ли?

— Скажи,— спросил он вдруг,— правда, что этот... Христофоров к вам приедет?

— Да, хотел. Почему ты спрашиваешь?

— Нет, ничего. Просто вспомнил.

Он взял Машурину руку, поцеловал в ладонь и долго рассматривал.

— Мне всегда нравилась твоя рука. Пальцы длинные, тонкие.

Он вздохнул и сказал уже несколько иным тоном:

— Белая кость!

Машура опять задумалась.

— А что, если я очень легкомысленная? — вдруг спросила она. — Ты меня невестой считаешь...

Он вспыхнул.

— И перестал бы считать, если б...

Он не договорил.

Некоторое время они молчали. Что-то тяжелое переливалось в Антоне. Видимо, он себя сдерживал.

— Удивляюсь, — сказал он наконец, — если ты меня действительно любишь, почему же такие мысли...

Тут как будто Машура смутилась.

— Ах, это, конечно, чепуху я говорю.

Когда они шли домой, Антон вдруг сказал ей, просто и глухо:

— А я думаю, что один человек уже тебе нравится.

Машура высунула ему кончик языка, фыркнула и, подобрав платье, помчалась к саду.

Дома ждал самовар, чай с очень белыми сливками, Наталья Григорьевна. А в сумерках еще малое событие произошло в усадьбе, бывшей вотчине Годунова: на паре лошадей, в тележке, с мужиком на козлах подкатил голубоглазый Христофоров. Он был в широкополой шляпе, синей рубашке, на которую надел ветхое летнее пальтецо; усы свешивались вниз, глаза глядели обычно — приветливо, по-детски. Назвав мужика «вы, кучер», заплатив, Христофоров, слегка запыленный, с небольшим чемоданчиком, другом бродячей жизни, предстал Антону, Машуре и Наталье Григорьевне.

III

Христофоров, как ему и полагалось, занял низенький мезонин. Здесь быстро он освоился, вынул вещи, разложил книжки; цветы в вазочке появились на столе — и нечто от Христофорова сразу определилось в его жилище. Было оно в этих цветах, в снимке боттичеллиевской Весны на стене, в книгах, чемоданчике, в штиблетах на ластике, выглядывавших из угла комнаты.

В жизнь дома он вошел удобной частью; был незаметен, нешумлив, неутомляющ; гулял иногда с Машурой и Антоном. С Натальей Григорьевной мог поговорить о Шатобриане.

Антон чувствовал себя с ним неровно. Что-то в Христофорове ему не нравилось, почти раздражало. Не

любя кого-нибудь, он обычно резко задирал. Задирать Христофорова было нелегко, за полной его нечувствительностью. Быть добрым и простым — тоже не выходило. Антона злило спокойствие, как бы безоблачность этого человека.

— Я знаю,— говорил он Машуре раздраженно,— что он у червяка попросит извинения, если наступит. Люди, которые всегда, во всем правы! Невыносимо!

Машура смотрела на него с усмешкой.

— Ты бы лучше хотел, чтобы он всегда был не прав?

— Не подумай, пожалуйста, что я *чрезмерно* им интересуюсь,— сказал Антон подозрительно.— Мне, в сущности, до него очень мало дела.

— Я ничего не думаю,— ответила Машура,— но ты к нему несправедлив.

— Ну конечно, я во всем виноват!

Антон вспыхнул, и разговор прервался.

Иногда он садился на велосипед и уезжал на станцию, откуда с поездом в город. Без него в доме сразу становилось тише, иногда Машура ловила себя даже на том, что несколько она отдыхает, легче нервам. Это было отчасти и нехорошо; ее изумляли отношения с ним. Уже давно привыкла она считать его своим и себя — принадлежащей ему. Тогда откуда же эта неловкость? Как бы затрудненность в чувствах? «У него нелегкий характер,— решила она, стараясь себя успокоить,— но, конечно, я должна его поддерживать».

Странным казалось ей то, что с Христофоровым ей было легче, свободнее, хотя понимала она его еще менее, чем Антона. Иногда, ложась спать, она улыбалась в темноте: «Он странный, но страшно милый. И страшно настоящий, хотя и странный».

Случалось ей видеть, как в знойный полдень подолгу он сидел над гусеницей, ползшей по листу; без шляпы бродил по саду, с расширенными зрачками. Обедая на балконе, внимательно наблюдал, куда летит горлинка, точно ему это требовалось. И с той же внимательностью, нежностью переводил взгляд на Машуру.

— Вам всё нужно, все нужны? — улыбаясь, спрашивала Машура.

Он отвечал спокойно и приветливо:

— Я люблю ведь это... все живое.

В мезонине у него была подвижная карта неба. На каждый день он мог определить положение звезд. Вечерами очень часто выходил в сад, всматривался в

небо, как бы сверяясь, все ли на местах в его хозяйстве.

Это заметила и Наталья Григорьевна.

— У вас со звездами какие-то особые отношения,— сказала она раз шутливо.

— Дружественные,— ответил Христофоров так серьезно, будто правда звезды были его личными знакомыми.

Однажды вечером они сидели с Машурой на террасе. Христофоров был как-то тих и задумчив весь этот день.

— Когда же Антон вернется?— спросил он.

Машура сдержанно ответила:

— Не знаю.

Он помолчал.

— Мне кажется, что он не особенно хорошо себя чувствует.

Машура слегка вздохнула и спросила:

— А как вы себя чувствуете?

— Я — отлично,— тихо ответил Христофоров.— У вас здесь мне очень хорошо. Но думаю все же, недолго тут пробуду.

С лугов тянуло сыростью и сладкой свежестью. Москва-река туманилась.

— Почему недолго?

— Знаете,— сказал Христофоров,— мне всегда приходится кочевать. То тут, то там. У меня нет так называемого гнезда. Кроме того, что-то смущает меня здесь.

— Как странно... Что же может вас смущать?— спросила Машура с качалки слегка изменившимся голосом.

Христофоров опять ответил не сразу.

— Не могу объяснить, но мне кажется, что я не должен жить у вас.

— Ну, это глупости!

Машура привстала, явное неудовольствие можно было в ней прочесть. Даже глаза нервно заблестели.

— Вы все выдумываете, все разные фантазии.

Расширив зрачки, Христофоров смотрел вдаль не отрываясь.

— Нет, я ничего не выдумываю.

Машура подошла к нему, взглянула прямо в лицо. Его глаза как будто фосфорически блестели.

— Нет, правда,— тихо спросила она,— что вас смущает?

Христофоров взял ее руку и молча пожал.

Машура сбежала в цветник, остановилась.

— Это что за звезда? — спросила она громко.— Вот там? Голубоватая?

— Вега,— ответил Христофоров.

— А!..— протянула она безразлично и пошла в глубь сада. Сделав небольшой тур, вернулась.

Христофоров стоял у входа, прислонившись к колонне.

— В вас есть сейчас отблеск ночи,— сказал он,— всех ароматов, очарований... Может быть, вы и сами звезда или Ночь...

Машура близко подошла к нему и улыбнулась ласково.

— Вы немного... безумный,— сказала она и направилась в дом. С порога обернулась и прибавила:

— Но, может быть, это и хорошо.

Машура не скрывала,— она тоже была взволнована. Весь этот разговор был неожидан и так странен...

Она пробовала читать на ночь, но не читалось. Спать — тоже не спалось. За стеной мирно почивала Наталья Григорьевна. В комнате было смутно; ветерок набегал из окна. С лугов слышен был коростель. Долетали запахи, тайные вздохи ночи. Машура ворочалась.

Около часу она встала, накинула капот. Ей хотелось двигаться. Прислушиваясь к мерному, негромкому храпению за стеной, она с улыбкой подумала: «Ни к чему, оказывается, доброе мамино воспитание!» Все же выходила потихоньку, чтобы ее не разбудить,— не через балкон, а с другой стороны, где был подъезд. Тут росли старые ели. Среди них шла аллея, по которой подъезжали к дому. Машура направилась по ней. Было очень темно, лишь над головой, сквозь густые лапы дерев, мелькали звезды. Над скамейкой, влево, светился огонек папиросы. Машура быстро прошла мимо, среди тьмы парка, к калитке, выходившей в поле. Тут стало светлее. Вилась дорога; побледневшие перед рассветом поля тянулись. Отсюда завтра должен приехать Антон. Машура оперлась на изгородь, смотрела вдаль.

Сзади послышались шаги. Она обернулась. Это подходил Христофоров. Папиросу он держал в руке, несколько впереди себя.

— А я и не сообразил, что это вы,— сказал он, тихо улыбнувшись.

— Ночь проходит, еще час, будет светать,— ответила Машура.

— Почему вы нынче спросили о звезде Веге? — вдруг сказал Христофоров.

Машура обернулась.

— Просто... спросила. Она бросилась мне в глаза. А это что, важно?

Христофоров не сразу ответил. Потом все-таки сказал:

— Это моя звезда.

Машура улыбнулась.

— Я и не отнимаю ее.

Христофоров тоже усмехнулся.

— Значит,— продолжала Машура,— мама права, когда говорит, что со звездами вы лично знакомы.

— Не смейтесь,— ответил Христофоров.— Лучше поглядите на нее. К счастью, и сейчас еще она видна. Вглядитесь в ее голубоватый, очаровательный и таинственный свет... Быть может, вы узнаете в нем и частицу своей души.

Машура молча смотрела.

— Я не смеюсь. Правда, звезда прелестная. А почему она ваша?

Но Христофоров не ответил. Он показал ей Сатурна, висевшего над горизонтом; остро-колючего Скорпиона; Кассиопею — вечную спутницу неба, крест Лебедя.

Когда они возвращались, светлело и под елями.

Жаворонок запел в полях. Далеко, в Звенигороде, звонили к заутрене.

Христофоров напомнил, что давно уже они собирались сходить в монастырь — старинное, знаменитое место.

— Да, хорошо,— ответила Машура.— Пойдем. Вот Антон приедет.

Она была рассеянна. Спать легла с еще более странным чувством. Ночь без сна, разговоры с Христофоровым, волнение. Нет, тут что-то есть, почти против Антона. Она очень устала. Засыпая, подумала: «Если б я рассказала ему, он бы страшно рассердился. И если бы он был тут... ну, какие глупости... ведь я же ничего против него не сделала».

С этим она заснула.

Антон приехал утром, по той самой дороге, откуда она его ждала, на том же велосипеде. Машура была с ним ласкова — задумчивой, подчеркнутой ласковостью. Но о прогулке с Христофоровым не сказала.

IV

В монастырь собрались через несколько дней. Прежде Антон сам предлагал сходить туда, но теперь возражал; и в конце концов — тоже отправился.

Они вышли утром, при милой, светло-солнечной погоде. Дорога их — лугами, недалеко от Москвы-реки, мелким своим течением, изгибами, ленью красящей здешний край. Берега ее заросли лозняком; стадо дремлет в горячий полдень; легкой рябью тянется песок, белый и жгучий; у воды пробегают кулики, подрагивая хвостиками. Дачницы идут с простынями, выбирая место для купанья. На песке голые мальчишки.

Вдали лес засинел над Звенигородом; раскинулся по холму сам городок, и древний собор его белеет. Домики серые и красные, под зелеными крышами, среди садов, вблизи монастыря, глядящего золотыми глазами из дубов. Старый, маленький город. Красивый издали, беспорядочный, растущий как Бог на душу положит; освященный древнею, благочестивою культурой.

Было далеко за полдень, когда Машура и Антон с Христофоровым подымались к монастырю. Путь извивался; налево крутое взгорье, с редкими соснами и дубами; на вершине стена монастыря, ворота, купола, церкви — как в сказках; направо — дубовый лес. Несколько поворотов — взобрались наконец: монастырская гостиница. Двухэтажный дом со старинными, стеклянными сенцами, с половичком на крашеной лестнице, длинным коридором с несвежим запахом — все то, что напоминает давние времена, детство, постоялые дворы в провинции, долгие путешествия на лошадях.

Заняли комнату с белыми занавесочками, портретами архиереев и архимандритов. Обедали на свежем воздухе, в тени дубов, за врытым в землю деревянным столиком; внизу виднелась речка, поля и заросшие лесом холмы. Тянуло прохладой. Монах медленно подавал блюда.

Антон был хмур.

— Собственно,— сказал он,— я не совсем понимаю, зачем мы здесь. Самый обыкновенный монастырь.

— Ты сам говорил, что здесь очень хорошо,— ответила Машура.

— Хм! Когда я это говорил? И в каком смысле?

Машура не возражала.

— А мне очень нравится,— сказал Христофоров, обтирая усы.— Между прочим, не посмотреть ли сейчас, после обеда, собор, там, в городе.

Антон заявил, что идти сейчас никуда не намерен, тем более «тащиться по жаре Бог знает куда».

Христофоров было отказался, но Машура решила, что непременно пойдет. Темные глаза ее заблестели, прониклись трепетом и раздражением. Антон сказал, что ляжет спать. Пусть они гуляют.

— Все ведь это нарочно, все нарочно,— говорила Машура через полчаса, идя с Христофоровым.— Ах, я его знаю!

Христофоров как-то стеснялся.

— Может быть, мы напрасно идем.

— Я иду,— холодно ответила Машура,— посмотреть старинный собор. Мне это интересно.

Собор стоял выше города, на площадке, окаймленной лесом — белый, древне-простой, небольшой, с нехитрой звонницей рядом.

Машура с Христофоровым сели в тени, на ветхую лавочку. Вниз тянулся Звенигород. Москва-река вилась; далеко, за лугами, в лесу белел дом с колоннами.

— Удельный город,— говорил Христофоров.— Эти места видели древних князей и татар, поляков, моления, войну... Сама история.

— Здесь очень хорошо,— сказала Машура.— Смотрите, какой лес сзади!

Площадка опоясывалась каким-то валом — похоже, остатками старинных укреплений. За ними лес стоял, густой, смолистый, верно, не раз сменявшийся со времен св. Саввы. Тянуло свежим, очаровательным его благоуханием.

— Времена Петра прошли тут незаметно,— продолжал Христофоров.— Потом Екатерина, помещики. Этот край весь в подмосковных. Знаменитое Архангельское недалеко. И другие. Жизнь отвернула новую страницу, новый след. Может быть, и наш век проведет свою черту. А мы,— сказал он тихо, и глаза его расширились,— мы живем и смотрим... радуемся и любим эти переливы, вечные смены. И, пожалуй, живем тем прекрасным, что... вокруг.

Машура не ответила. Не то чтобы она была поглощена чем, все же как-то замкнулась, собралась.

По дороге назад Христофоров сказал:

— А остаток лета придется мне проводить в Москве.

Машура несколько задохнулась.

— Вы... наблюдатель... созерцатель... вам все равно, где, с кем жить. Следите за переливами... Что ж, вам виднее.

Христофоров ответил тихо и очень сдержанно.

— Я уезжаю не потому, что я наблюдатель.

Машура пожала плечами.

— Тогда я ничего не понимаю.

— Прав — я,— ответил Христофоров мягко, как бы с грустью.— Поверьте!

Когда они подходили к гостинице, у подъезда стоял автомобиль. Высокий офицер и господин в штатском говорили с монахом. В автомобиле сидела дама. Машура сразу узнала Анну Дмитриевну.

Анна Дмитриевна улыбнулась.

— А, и мы! Паломничеством занимаетесь?

Машура сказала, где они были. Господин в штатском обернулся.

— Черт возьми, почему же нас не пускают? Нет, скажите, пожалуйста, мне очень это нравится: святое место, мы приехали отдохнуть, и вдруг — нету номеров!

Он был худой, седоватый, с изящным лицом. Синие глаза смотрели удивленно. Подойдя к Машуре, он поклонился, назвал себя:

— Ретизанов.

И все улыбался, недоуменно, как бы обиженно.

— А нам больше повезло,— сказал Христофоров.— У нас есть комната, мы бы могли ее предложить.

Машура подтвердила.

— Так у вас есть комната? — закричал Ретизанов, все держа перед собою канотье.— Дмитрий Павлович,— крикнул он офицеру,— у них есть комната!

Никодимов подошел, вежливо поклонился. Глаза его, как обычно, не блестели.

— Вы нам очень поможете,— сказал он.

Анна Дмитриевна вышла из автомобиля.

— Ну, милая вы голова,— сказала она Ретизанову,— почему же вы думаете, что в монастырской гостинице *обязаны* иметь для вас помещение?

— Нет, это странная вещь, мы приехали, и вдруг...

Ретизанов развел руками. Он, видимо, был нервен и легко, как-то ребячески вспыхивал.

Антон не очень оказался доволен, когда к ним в номер ввалилась целая компания. Он сказал, что был уже в монастыре и там ничего интересного.

— Я бывал тут давно,— тихо сказал Христофоров,— но сколько помню, напротив, монастырь мне очень нравился.

Антон взглянул на него своими маленькими, острыми глазами почти дерзко и фыркнул.

— Может быть, вам и понравился.

— Я смертельно пить хочу,— сказала Анна Дмитриевна,— пусть святые люди дадут мне чаю, выпьем и пойдем рассудим, кто прав.

Автомобиль попыхтел внизу и въехал во двор; розовый дом напротив сиял в солнце. Коридорный, времен давнишних, в русской рубашке и нанковых

штанах, принес на подносе порции чаю; приезжие пили его из чашек с цветами, рассматривая душеспасительные картинки на стенах. Воздух летнего вечера втекал в окошко. Ласточки чертили в синеве; за попом, проехавшим в тележке, клубилась золотая пыль.

Машура и Христофоров вышли со всеми. Антон почему-то тоже не остался. Через небольшую поляну подошли к монастырским воротам — с башнею, образом над входом. Внутри — церкви, здания, затененные липами и дубами; цветники с неизменными георгинами. Недавно началась всенощная. В открытые двери древнего храма, четырехугольного, одноглавого, видно было, как теплятся свечи; простой народ стоял густо; чувствовалось — там душно, пахнет ладаном, плывут струи синеющего, теплого воздуха.

Анна Дмитриевна шла своей сильной, полной походкой, щуря карие глаза. Высокая, статная, была она как бы предводительницей всей компании. Иногда подымала золотой лорнет с инкрустациями.

— Вот вы и не правы, совсем не правы о монастыре,— говорила она Антону.— Я так и думала, что не правы.

— Да, это же странное дело, говорить, что тут ничего нет хорошего! — крикнул Ретизанов.— Прямо странное.

Антон искоса поглядывал на Машуру; к ней не подходил, не заговаривал. Он бледнел, раздражался внутренно и сказал:

— Значит, я ничего ни в чем не понимаю.

— Что меня касается,— сказал Никодимов негромко, глядя на него темными, неулыбающимися глазами,— я тоже не люблю святых пений, золотых крестов, поэтических убежищ.

— А я, грешная, люблю,— сказала Анна Дмитриевна.— Видно, Дмитрий Павлыч, мы во всем с вами разные.

Она вздохнула и вошла в храм Рождества Богородицы, с удивительным орнаментом над дверями, послушать вечерню.

Ретизанов остановился, задумался, снял с головы канотье и, улыбнувшись по-детски своими синими глазами, сказал Никодимову:

— В Анне Дмитриевне есть влажное, живое. А если живое, то и теплое. Вы слышали, она сказала: грешная. А в вас одна — одна барственность и нет влажного, потому что вы ничего не любите.

Христофоров выслушал это очень внимательно.

Никодимов чуть поклонился.

В это время Антон, с дрожащей губой, сказал Машуре, приотставшей:

— В этой компании я минуты не остаюсь. Я иду сейчас же домой.

— Что же сделала тебе эта компания? — спросила Машура тоже глухо.

— Тебе с Алексеем Петровичем будет интереснее, а я вовсе не желаю, чтобы меня... Я не гимназист. Пусть Алексей Петрович тебя проводит... до дому.

Он быстро ушел. Машура знала, что теперь с ним ничего не поделаешь. И она его не удерживала. Да и еще что-то мешало ей. Ей неприятен был его уход. Но как будто так и должно было случиться.

Много позже, когда синеватый сумрак сошел на землю, все сидели у гостиницы, на скамеечке под деревьями. Снизу, от запруды доносились голоса. По тропинкам взбирались запоздалые посетители. Монастырские ворота были заперты, и у иконы, над ними, таинственно светилась лампадка — красноватым, очаровательным в тишине своим светом. Выше, в фиолетовом небе, зажглись звезды.

— Здесь жить я бы не могла,— говорила Анна Дмитриевна.— Но иногда и меня тянет к святому, да, как бы вы ни улыбались там, господин Никодимов, Дмитрий Павлыч!

Она обернулась к Христофорову.

— А правда, что вы в монахи собирались поступать?

— Меня иногда об этом спрашивают,— ответил Христофоров спокойно.— Но нет, я совсем не собирался в монахи.

Подали машину. Было решено завезти Машуру и Христофорова домой. Когда тронулись, Анна Дмитриевна, всматриваясь в Христофорова, вдруг сказала:

— А вас я хотела бы свезти и вовсе в Москву. Послезавтра бега. Что вам в деревне сидеть?

Машина неслась уже лугом. Звенигород и монастырь темнели сзади. Редкие огоньки светились в городе.

— Эх, вот бы нестись... это я понимаю,— говорила Анна Дмитриевна.— И еще шибче, чтобы воздухом душило. Нет, поедемте с нами в Москву, Алексей Петрович.

К удивлению ее, Христофоров согласился. Полет автомобиля опьянял их благоуханием — вечерней сырости, лугов, леса. Звезды над головой бежали и вечно были недвижны.

V

Машуру завезли, как и предполагалось. Полчаса посидели — Наталья Григорьевна тоже изумилась, что Христофоров уезжает — и покатили дальше. Было пустынно, тихо на шоссе: гнать можно шибко. Никодимов достал коньяк, три серебряных стаканчика. Выпил и Христофоров. Стало теплее, туманнее в мозгу.

— А может быть, вы хотите у меня ночевать? — спросил Ретизанов, придерживая рукой канотье.— У меня квартира...

И на это согласился Христофоров. Он сидел рядом с Анной Дмитриевной, а напротив покачивались двое мужчин; дальше — голова шофера, зеркальное стекло, золотые снопы света, вечно трепещущие, легко мчащиеся к Москве.

Москва приближалась — золотисто-голубоватым заревом; оно росло, ширилось, и вдруг, на одном из поворотов с горы, блеснули самые огни столицы; потом опять скрылись — машина перелетала в низине реку, пыхтела селом — и снова вынырнули.

— Никодимов,— сказала вдруг Анна Дмитриевна,— отчего вы не похожи на Алексея Петровича?

Он слегка усмехнулся.

— Виноват.

— А я хотела,— задумчиво и упрямо повторила она,— чтобы вы были похожи на него.

Никодимов выпил еще, встал, сделал под козырек и спокойно сказал:

— Слушаю-с.

Зазеленело утро. Звезды уходили. Лица казались бледнее и мертвеннее. Мелькнули лагеря, Петровский парк вдали, в утреннем тумане; казармы, каменные столбы у заставы — в светлой, голубеющей дымке принимала их Москва. Анну Дмитриевну завезли домой. Переулками, где возрастали Герцены, прокатили на Пречистенку, и лишь здесь, у многоэтажного дома, отпустил шофера Ретизанов.

Никодимов вышел довольно тяжело, с собой забрал остатки вина, сел в лифт и сказал хмуро:

— Поехали!

Слегка погромыхивая, лифт поднял их на седьмой этаж. Никодимов вышел. Руки были холодны.

Когда Ретизанов отворял ключом двери квартиры, он сказал:

— Отвратительная штука лифты. Ничего не боюсь, только лифтов.

— Лифтов? Ха! Ну, уж это чудачество,— сказал Ретизанов.— А еще меня называете полоумным.

Никодимов вздохнул.

— Вы-то уж помалкивайте.

Он выгрузил на стол свое вино. Лицо его было бледно и устало; глаза все те же, темные; утренняя заря в них не отсвечивала.

Христофоров осматривался. Квартира была большая, как будто богатого, но не делового человека. Он прошел в кабинет. Старинные гравюры висели по стенам. Письменный стол, резного темного дуба, опирался ножками на львов. На полке кожаного дивана — книги, на большом столе, в углу у камина — увражи, фарфоровые статуэтки, какие-то табакерки. На книжных шкафах длинные чубуки, пыльный глобус, заржавленный старинный пистолет. В углу — восточное копье.

Странным показалось Христофорову, что он тут, почти у незнакомого, на заре. Он вышел на балкон. Было видно очень далеко — пол-Москвы с садами, церквами лежало в утренней дымке, уже чуть золотеющей; вдали, тонко и легко, голубели очертания Воробьевых гор. Христофоров курил, слегка наклоняясь над перилами. Внизу бездна — далекая, тихая улица; ему казалось, что сейчас все мчит его какая-то сила, от людей к людям, из мест в места. «Все интересно, все важно,— думал он,— и пусть будет все». Он вдруг почувствовал неизъяснимую сладость — в прохождении жизнью, среди полей, лесов, людей, городов, вечно сменяющихся, вечно проходящих и уходящих. «Пусть будет Москва, какой-то Ретизанов, кофе на заре, бега, автомобили, Анна Дмитриевна. Это все — жизнь».

— Кофе? — говорил сзади Ретизанов.— Конечно, кофе сюда. Нет, а по-вашему как?

Он тащил уже столик, а за ним Никодимов вышел со своими бутылками. Ретизанов беспокоился, хлопотал, размахивал руками. Все делал он сам — не особенно складно, но шумно и с оживлением.

— А вы, может быть...— сказал он Христофорову и вдруг улыбнулся доброй, детской улыбкой,— может быть, голодны?

Христофоров тоже улыбнулся, слегка покраснел и ответил:

— Нет, почему же я голоден...

— У вас такой вид,— продолжал Ретизанов с упорной наивностью,— что может быть, вы голодны... А то я вас ветчиной угощу.

— Вчера с ним славная была девица,— сказал Нико-

димов, кивая на Христофорова.— Вы хотя и вроде монаха... в женщинах понимаете.

Христофоров опять смутился.

— Машура была со своим женихом...— неловко сказал он.— А я просто потому, что у них гостил.

Никодимов засмеялся.

— Не оправдывайтесь. Жених довольно нескладен... и удрал. Не зря, видно. Нет, чокнемся. Такую подцепил...— Он свистнул.— Ди-те-но-чек! — и прибавил грубое слово.

— Ну, уж это черт знает! — закричал Ретизанов.— Нет, уж я вас знаю. Цинизм разводит. Да вы вообще циник. Нет, я просто не понимаю: такое утро, мы сидим чуть не под небесами, солнце, прелесть, а он... гадости. И еще с этаким... джентльменским видом. Джентльмен! Вы знаете,— обратился он к Христофорову,— он всегда надо мной издевается. Например, когда я влюблен...

— Каждый месяц,— сказал Никодимов.

— Подождите, не перебивайте... Когда я влюблен, он мне черт знает что говорит.

Он сел с Христофоровым рядом и вперил в него синие, взволнованные глаза.

— Я вот и сейчас влюблен,— Ретизанов говорил тише, но очень серьезно.— В Лабунскую... Нет, это замечательная девушка. Когда вы увидите, то скажете. Она танцует.

— Вместо того, чтобы...— сказал Никодимов,— он посылает ей букеты, отождествляет с греческими рельефами... ну, это известное... рождение Венеры. И, кажется, намерен в кабинете воздвигнуть алтарь для служения ей.

— Нет, с ним нельзя разговаривать...

Ретизанов совсем взволновался, вскочил и вышел. Он отправился к себе в спальню и для чего-то вымыл даже руки, ополоснув лицо. «Нет, это уж черт знает что,— твердил он про себя.— Это черт знает что».

Вернулся он тихий и молчаливый, как бы погасший.

— Вы напрасно на меня сердитесь,— сказал Никодимов,— я, во-первых, пьян, во-вторых,— у меня вообще дурной характер.

— Я на вас не сержусь,— ответил Ретизанов,— на вас сердиться нельзя.

Никодимов захохотал, но как-то деланно.

— У-бил! Прямо убил в сердце.

Все же они сидели довольно долго. Утро действительно было чудесно. Понемногу Москва просыпалась.

Зазвенел трамвай. Появились женщины с кулечками, проходили рабочие. Никодимов стал зевать, его темные глаза отупели.

Устал и Христофоров. Он решил не оставаться здесь, а прямо пройти домой, там отдохнуть. Когда они выходили через кабинет, Никодимов сказал:

— Здесь живет и работает, собирает старинные книги, изучает ритм, изобретает новые законы гармонии, беседует с гениями и влюбляется дон Алонзо-Кихада дель Ретизанов. Ну особенно с гениями: с этими он запросто.

Ретизанов молча подал ему руку. Глаза его были усталы и рассеянны.

Когда вдвоем они спускались в лифте, Никодимов сказал:

— Впрочем, каждый развлекается, как хочет. Я уверен, что сейчас Ретизанов советуется с духами, идти ли завтра к Лабунской и какой надеть галстук.

— Он спирит? — спросил Христофоров.

— Вряд ли. Скорее, просто чудак. Но из тех,— прибавил Никодимов холодно,— которых многие любят.

Христофоров взглянул на него. Что-то затаенное, почти горькое послышалось ему в этих словах.

Никодимов шел по Пречистенке, очень прямо и довольно твердо, курил и вдруг сказал:

— В общем, скучно. Даже очень скучно, хотя и выпил.

Через несколько минут он снова заговорил:

— Вот вы, мудрая душа, sancta simplicitas, объясните мне следующее. Я вижу сон: будто я в Вене, шикарный отель. Вхожу, иду к лифту. Швейцар стоит у дверцы и внимательно смотрит. Снимает каскетку, кланяется мне и улыбается. Отворяет дверцу. Я должен войти... Больше ничего, но тут просыпаюсь, всегда с ужасом. Странно, что всегда швейцар одинаков, я помню его лицо. Этот сон я видел раза три. Это что, плохо?

Казалось, Никодимов уже трезв. Он как-то подобрался, впал в некую задумчивость.

— Сна я не умею объяснить,— ответил Христофоров.— Но вполне понимаю, что для вас он может быть неприятен.

Никодимов вздохнул.

— Я все думаю, что этого швейцара с лифтом встречу.

Расставаясь, Никодимов подал ему руку, улыбнулся и сказал:

— Что же, завтра на бега?

— Может быть.

Христофоров зашагал по Поварской. Он не ясно сознавал, почему это делает, и лишь дойдя до дома Вернадских, поймал себя на том, что просто ему приятно пройти мимо него. На улицу выходил особняк с антресолями, со старинными, зеркальными стеклами, чуть отливавшими фиолетовым. Были спущены синеватые шелковые шторы, в складках; деревья затеняли крышу, открыты настежь ворота, двор полузарос травой, у колодца, посреди, бродят сизые голуби. И лишь крепко заперт каретный.

Христофоров остановился на другой стороне улицы, в свежей тени ясного утра, смотрел на антресоли Машуры, потом улыбнулся, повернулся на одной ноге и пошел домой.

Прислуга удивилась, увидав его. Он поздоровался с хозяйкой, старушкой в седых локонах — г-жею Самба; когда-то была она замужем за французом; сохранила манеру аккуратно одеваться, завивать букли; в остальном была старинная московская дама; в комнатах ее пели канарейки, лежали чистые половички, свечи сияли перед иконами; стояло много пустячных статуэток, фотографий — все в безукоризненной чистоте.

Сейчас она пила утренний кофе и тоже удивилась Христофорову. Раньше августа она его не ждала.

Христофоров прошел наверх. Комната казалась пустоватой, все имело уже нежилой дух. Фотографии на стенах обернуты газетами.

Он сел на подоконник, растворил окно. Зеленый тополь шелестел, серебристо отблескивая листиками. Дальше был садик с яблонями, дровяной сарай. Ему представилось, что сейчас Машура встала и работает своим скребком или лежит в гамаке, а голубое утро опрокидывает над нею свою чашу. Отсюда, издали, даже лучше он ее чувствовал. Хорошо или плохо, что уехал?

Он оглянулся, увидел свою полупустую келью, мгновенно пронеслось пред ним многое из прежней жизни — ряд таких же келий, одиночеств и бесплодных мечтаний. «Ну, и ладно, ладно, — сказал он себе, отходя к кушетке. — Значит, так и живем». Он взял подушку, лег и закрыл глаза. Слезы стояли в них. Эти слезы приятно было бы видеть Машуре. Он же глотал их и ждал, пока просохнут мокрые ресницы.

Несколько успокоившись, Христофоров уснул.

VI

Утро следующего дня было такое же солнечное. Горячий тополь, шелестя пахучей листвой, бормотал за окном. Христофоров скромно пил чай с калачиком и читал газету, когда дверь отворилась: вошла Анна Дмитриевна. В дверях она слегка нагнулась, чтобы не помять эспри. Но и в самой мансарде, при росте вошедшей, эспри чуть не чертил по потолку воздушными своими кончиками.

— А,— сказала она, оглядываясь,— убежище отшельника. Здравствуйте, святой Антоний.

Христофоров встал и улыбнулся.

— Ну, вы тогда царица Савская. Впрочем...— Он смешался.— Я, кажется, говорю глупости.

Анна Дмитриевна захохотала.

— Пожалуй, что и так. Я, во-первых, не имею намерений этой царицы, второе — у меня нет и шерсти на ногах. Дело проще: нынче бега, я за вами заехала. Ни более, ни менее. Впрочем,— прибавила она,— мне еще хотелось посмотреть, как вы живете.

Она подошла к окну, на котором он вчера сидел, тоже села, сняла шляпу и еще раз обвела глазами *убежище.*

— В этой комнате,— сказала она,— нет женщины, и никогда ее не было. По ней тоскуют стены. Хозяин пьет чай с одинокой булкой, ходит с непришитыми пуговицами и скромно чистит скромный сюртучок.

Христофоров взял порыжелую шляпу и сказал:

— Хозяин прожил так полжизни.

Анна Дмитриевна смотрела теперь в садик, залитый солнцем, задумалась. Потом вдруг встала, вздохнула и стала поправлять эспри.

— Может быть, тут и хорошо жить, в вашем скиту. Может, и надо так, не вам одним. Эх, милый вы человек, и зеркало же... ну, да уж что там...

Они спустились и вышли. Рысак ждал на улице, перебирая в нетерпении ногами — косился на кучера злым глазом; кучер напоминал истукана.

— Москва, голубушка! — сказала Анна Дмитриевна, садясь и указывая на кучерову спину.

— Я ведь и сама Москва,— говорила она, когда тронулись.— Я московская полукровка, мещанка. Говорю «на Москве-реке», «нипочем», люблю блины, к Иверской хожу. Я просто была хорошенькая девчонка, когда меня продали замуж... или сама продалась. Меня отдали за такое, знаете ли, миллионное животное...

Сверхъестественно миллионное. И животное — сверхъестественное.

Она помолчала.

— Я ко всему приучена, голубчик. Всем развращена, чем можно — и людьми, богатством, хамством. Теперь муж мой умер. Мне и говорить-то о нем нельзя.

Она вдруг засмеялась — холодно и резко.

— Он меня бил. Вы знаете? Случалось. Я запудривала синяки.

Христофоров сбоку, с удивлением взглянул на эту статную, темноволосую женщину. Она поняла и улыбнулась.

— Ах, дитя, не ищите. Теперь сошли.

Когда рысак, пенясь под жарким солнцем, мчал их за триумфальной аркой, среди зелени к Петровскому парку, она спросила:

— Нравятся вам два небольших слова: «Тайное горе. Тайное горе»?

Христофоров опять на нее взглянул и тихо ответил:

— Да. Очень нравятся.

Она слегка хлопнула его перчаткой.

— Так. Ну, вот и подъезжаем,— перебила она.— Теперь мы направимся с вами в некую клоаку, называемую азартом, игрою и прочим. Здесь посмотрим жалкий человеческий род и себя покажем.

Рысак взял налево и понес по молодой аллее; круглые солнечные пятна трепетали под деревьями; по тротуару спешило человечество. Завиднелось аляповатое здание с группами коней на фронтоне — к нему беспрерывно подходили, подъезжали на извозчиках, автомобилях, собственных лошадях. Христофоров никогда здесь не бывал. Выйдя из коляски, поднявшись к вестибюлю, миновали они турникет,— и тут гудящая, бурливая толпа затолкала его, ошеломила. Только что кончился заезд. Из амфитеатра спешили к залу, к окошечкам касс, записаться на следующий. Посреди зала, у столиков, захватившие места счастливцы пили чай, воды, коньяк.

Потолкавшись, прошли они в ложу. Открылся вольный свет, голубой воздушный простор,— а у ног накатанная полоса, уходившая вдаль плавным эллипсом. На легоньких двухколесках проезжали по ней наездники в шутовских полосатых куртках, кепи и очках. За далеким забором виднелись здания вокзала, дома, сады Москвы и золотисто переливал купол Христа Спасителя.

— Здесь,— сказала Анна Дмитриевна, оглядываясь,— всякие низы, шваль; а можете увидеть и художника, врача и адвоката. Это затягивает.

— Вы тут часто бываете? — спросил Христофоров.

Она улыбнулась.

— Нет, да я-то не особо...— Она вынула часики и взглянула.— Что же Дмитрий Павлыч не едет? Это он у нас любитель всяких таких штук,— прибавила она.

Иная интонация послышалась здесь Христофорову. Точно тень пробежала по ней. Она замкнулась, но была спокойна.

— А, вот видите — Ретизанов!

Она приложила к глазам лорнет.

— Гуляет под руку с высокой барышней... Лабунская одна, танцовщица.

В это время в ложу вошел Никодимов. Он был свежевымыт, подобран, несколько бледен и оживлен.

— Ставьте на «Кругом-шестнадцать»,— сказал он Христофорову, поздоровавшись и поцеловав руку Анне Дмитриевне,— лошадь верная. Селима играет ее, я тоже.

Темные глаза его, сколько могли, выказывали возбуждение.

— Селима живет с Хохловым и все знает. Хохлов нарочно ее темнил, а теперь зарабатывает. В публике никто этой лошади не понимает. Выдача будет по тысяче.

— Ну, уж Бог с ней, с вашей лошадью... да и с певицей,— сказала Анна Дмитриевна,— покажите ее, по крайности. А, брюнетка, в фиолетовой какой-то вуали... глаза подкрашены по-суздальски... Понимаю... Ти-пичная. С ней юркий господинчик. Да... это,— обратилась она к Христофорову,— такие темные личности, якобы все знают про лошадей, и дают вам совет — за вознаграждение, понятно... Юрисконсульты по лошадиной части. А больше всего — жулики. Называются они — жучки. Среди них вот приятели Дмитрия Павлыча.

Никодимов усмехнулся.

— Если что-нибудь скверное, то непременно Дмитрий Павлыч.

Внизу зазвонили. Шесть лошадей тронулось, быстро они сбились в кучу, каждая стараясь занять внутренний круг. До поворота нельзя было определить их шансов. Но лишь вышли на прямую, впереди оказался маленький, похожий на кузнечика наездник. «Забирает, забирает»,— говорили кругом. «Сенькин забирает», «Нет-с, не думайте... Не выдаст», «Что-то туго...», «Ага, Хохлов!»

Христофоров заметил, что теперь, вблизи второго поворота, из группы лошадей, бежавших изо всех сил,

отсюда же казавшихся игрушечными, вдруг выделилась одна, с голубым наездником, и легко обошла кузнечика. Толпа на трибунах загудела. «Хохлов! — слышались голоса.— Хохлов!» Обернувшись, Христофоров увидел бледные, раздраженные лица. Бинокли впились в точку эллипса, где некий Хохлов, под блеском полуденного солнца, обгонял на своей «Кругом-шестнадцать» Сенькина, кузнечика. Никодимов стоял вытянувшись, приложив ладонь к козырьку фуражки. Мускулы на шее его подрагивали. Ветерок шевелил серебряный аксельбант.

— А смотрите,— сказала Анна Дмитриевна, не отрывая от глаз лорнета,— Дмитрий Павлович наш выигрывает. Видно, что с Селимой знаком.

В эту минуту физически ощутил Христофоров тучу, нависшую над всем этим огромным скопищем,— тучу желаний и жадности. Горящие глаза, побледневшие лица. Имя «Хохлов», для большинства сейчас ненавистное, другим звучащее музыкой, перебегало по толпе. Вопреки всему Хохлов побеждал. На последней прямой это стало ясно.

Анна Дмитриевна положила лорнет, обернулась и сказала Никодимову:

— Что же, вас можно поздравить...

С ипподрома раздался как бы пистолетный выстрел. «Кругом-шестнадцать» вдруг заскакала, произошло мгновенное замешательство, сзади кто-то охнул,— через секунду впереди шла другая лошадь. «Алябьев, Алябьев, браво, навались!» — кричали сверху. Хохлов бил кнутом свою «Кругом-шестнадцать», трясясь на двухколеске с лопнувшей шиной, а некий Алябьев, тоже нежданный герой дня, на полкорпуса обставил его у самого финиша. Кузнечик был третьим.

Толпа кричала. Одни ругали Хохлова, другие кузнечика.

Подошел Ретизанов с высокой, тонкой девушкой в соломенной шляпе и коричневой, длинной вуали. Ее серые глаза улыбались.

— Мы выиграли,— сказала она певучим, московским говором, здороваясь с Анной Дмитриевной.— Мы пополам ставили на лошадь, которой имя мне понравилось: «Беззаботная». И она пришла первая. Мы... как это ставили?

— В ординарном,— тоже улыбаясь, ответил Ретизанов.— По пяти рублей. А вы на кого? — спросил он Никодимова.— Ага, с носом, ах, черт возьми, вы, значит, проиграли? Триста рублей!

Ретизанов удивился.

— Нет, как вам это нравится,— обратился он к

Анне Дмитриевне,— он ставит на лошадь триста рублей! Нет, это уж безобразие! По-вашему, он откуда их берет?

Анна Дмитриевна ничего не ответила. Что-то прошло в ее лице. Она стала отдаленной.

— Если бы мне покровительствовали гении, как вам,— холодно сказал Никодимов,— я бы поставил и тысячу.

— Черт знает, как вы это говорите... гении! Всегда чепуху.

Ретизанов вспыхнул и отошел.

— Какие славные лошади и славный день,— говорила Лабунская, слегка щурясь и глядя на ипподром.

— Это не потому, что я выиграла, но не знаю, мне все сегодня нравится и кажется таким светлым...

— У вас сердце легкое,— ответила Анна Дмитриевна, ласково глядя на нее, и вздохнула.— Вы вся легкая, я чувствую.

Внизу, на доске, прикрепленной к столбу, вывесили выигрыши. Ретизанов надел пенсне, высунулся из ложи и захохотал.

— Ах, черт возьми! Знаете, сколько выдают? Ха! Никодимов будет завидовать.

Минут через десять он возвратился с трофеями. Лабунская взяла четыре сотенных, сунула в мешочек, с видом безразличия.

— Что вы будете делать с этими деньгами?— спросил Христофоров.

Она подняла на него серые, ясные глаза. «Беззаботная», вспомнилось ему имя лошади, на которую она ставила.

— Я ведь их не ждала,— сказала она.— Может быть, потому и выиграла, что не ждала. А теперь что делать...— Она вынула опять деньги.— Что же, это вот сто, духов куплю, сто чулки, сто... хотите вам отдам, а еще сто... уж и не знаю.

— Дайте мне,— сказал Никодимов,— поставим пополам.

Она взглянула на него.

— Берите.

Никодимов протянул руку. Анна Дмитриевна отвернулась. Пальцы его были холодны. Он ушел. В ложе наступила заминка. Анна Дмитриевна усиленно рассматривала публику, Лабунская ела шоколад и лениво вертела программу.

— Зачем вы ему дали денег?— волновался Ретизанов.— Черт знает...

С Никодимовым Лабунская проиграла. Проиграл он и в следующий заезд. Они выходили пить чай. Никодимов все играл. Он ходил от одной кучки темных личностей к другой, разговаривал с Селимой, тоже нынче злой. У него был вид маньяка. Христофоров несколько устал. Медленно проходя к себе в ложу, он через несколько человек видел, как Анна Дмитриевна что-то быстро и резко говорила Никодимову, потом вынула из сумки пачку денег и дала.

Когда кончился последний заезд, Христофоров подошел к нему.

— Ну, как ваши дела?

Никодимов посмотрел на него усталыми глазами.

— Очень плохо.

Ретизанов предложил обедать у Яра.

Начался разъезд. Побежденные брели пешком, хмуро ждали трамвая. Победители летели по ресторанам пропивать и проматывать трофеи, ловить легкое мгновение текущей жизни. Для них широко был открыт Яр, играл оркестр, и знаменитый румын выбивал трели; горело золотом шампанское в вечернем свете; продавали розы. Можно было видеть Лабунскую, в соломенной шляпе, легко и беспечно резавшую ананас, Анну Дмитриевну, как-то горько охмелевшую от шампанского, и десятки других нарядных женщин, шикарных мужчин. Потом, когда село солнце, прошло междуцарствие сумерек, синяя ночь наступила. И в раскрытые, гигантские окна взглянули иные миры, плавно протекающие по кругам, золотясь, мерцая. Как далекий, голубоватый призрак, провела Вега свою Лиру.

«Тайное горе,—думал Христофоров, взглядывая на Анну Дмитриевну.—Тайное горе».

VII

Антон отлично понимал, что был во всем виноват там, в монастыре. Действительно, что сделала против него Машура? Из-за чего он резко и грубо ушел, явился домой один, с несчастьем и бешенством на сердце? Как растолковать все это Наталье Григорьевне, «проклятому здравому смыслу»? В его поведении не было здравого смысла. Но, считая себя виноватым, он находил, что также он и прав. Ибо в Машуре, за ее действиями и словами, ощущал нечто, дававшее ему право на беспорядки.

Он молчал, не уезжал в эти дни в город, был мрачен и ходил один. Минутами остро ненавидел себя. Видя в

зеркале сутулую фигуру с большой головой, вихрастыми волосами и сумрачным взглядом небольших глаз, он мгновенно убеждался, что такого полюбить нельзя. Впрочем, тут же вспоминал, что многие великие люди были даже безобразны, например, Сократ. Во всяком случае, приятность, симпатичность — а это наиболее ценится — есть признак малой и не страстной души. Да, но многие в его годы... Абель в двадцать шесть лет открыл ряды, обессмертившие его имя, хотя и умер молодым и непризнанным. В этом Антон находил некоторое острое удовлетворение: он, с его неказистым видом, он, похожий на застенчивого и вспыльчивого гимназиста,— более всего подходит для роли недооцененного героя, преждевременно гибнущего. «И ладно,— говорил он себе, в горьком упоении,— превосходно. Пусть так и будет».

Но долго выдержать позу не мог. Иногда Машура действовала на него ошеломляюще. Звук голоса, какой-нибудь завиток темных волос над ухом вызывали мучительную нежность. Раз она довольно долго держалась за перила террасы, потом ушла. Он встал с качалки, подошел, приложил лоб к теплому еще дереву; на глазах появились слезы. Вошла Наталья Григорьевна. Он быстро отвернулся, все же она заметила, как он взволнован. Это лишь усилило ее беспокойство.

Наталья Григорьевна вообще замечала, что между ними неладно. Спрашивала и Машуру, почему он в такой, как она выражалась, депрессии. Но Машура ничего ей не объяснила. Она сама чувствовала себя неважно. Что-то очень смутное и неясное было у нее в душе. Нечто ее беспокоило.

Приезжал на несколько часов Христофоров, за вещами. Он был тих и молчалив. Обедали довольно сумрачно. Когда случайно разговор коснулся Анатоля Франса, Антон сказал, обращаясь к Наталье Григорьевне:

— Ваш Анатоль Франс просто французский разговорщик. От него волосы на голове не шевелятся.

Наталья Григорьевна возразила, что кроме волос на голове — есть еще стиль, изящество и философия; ирония и доброта; есть, наконец, гений многовековой латинской культуры.

Но Антон не возражал, и разговор вообще не поддержался. Верно, все были заняты другим.

Вечером, когда Христофоров уехал, у Машуры с Антоном было объяснение. Оно не выяснило ничего. Антон волновался, почти грубил. Машура расплакалась и убежала в свою комнату. Ночью оба не спали. А на-

утро он уехал, оставив записку, что так больше жить не может. Он отправляется до осени на урок.

Машура прочла, разорвала бумажку и решила, что пусть будет, что будет. Отныне просто одна она станет заниматься жизнью, маленькими своими делами, ни о ком не думая. И правда, этот последний месяц провела в деревне, в одиночестве — полторы недели даже совсем одна — Наталья Григорьевна уезжала в Петербург. Это время осталось в ее памяти как полоска жизни чистой, покойной и немного грустной. Можно было гулять одной ясными августовскими вечерами, когда овес смутно белеет и шуршит в сумерках, полынь горкнет на межах и красноватый диск встает на лиловом горизонте. Казалось, что она свободна от всего и всех. Можно было мечтать об одинокой жизни среди полей, под звездами.

Но вернулась Наталья Григорьевна, все стало на свои места. И, как полагается, в первых числах сентября водворились уже Вернадские на зимние квартиры, совершая непрестанный круговорот, называющийся бытием.

Как всегда, Машура возвращалась к старому пепелищу освеженная, как бы ободренная. Предстояла зима, полная нового: впечатлений, занятий, выездов, книг. Жизнь осенью, в Москве, бывает иногда хороша.

И Машура с живостью и возбуждением устраивалась на Поварской. К ней наверх вела узенькая лестница. Небольшая первая комната — как бы приемная; во второй, большой, разделенной пополам портьерой, вдоль которой длинный диван, жила Машура. Окна смотрят на юг. Солнце чисто и приветливо сияет в безукоризненном паркете, отсвечивает в ризах икон в киоте, золотит клавиши пианино; освещает на стене итальянский примитив — старинную копию; блестит в ручках качалки с накинутым вышиванием, в книжках, фотографиях, тетрадках, где можно встретить стихи Блока и портрет Бальмонта, во всех тех маленьких пустяках, что составляют обстановку и уют московской барышни из образованной семьи.

Жизнь ее приняла предустановленное течение: ходила Машура на курсы, где слушала философию, историю и литературу; взяла абонемент на Кусевицкого; бывала у знакомых и у себя дома принимала; в этом году то еще явилось, что Машура вошла в общество «Белый Голубь». Оно состояло сплошь из девушек. Собирались для чтения книг, рефератов и бесед, направленных к духовному саморазвитию. Занимались религией. Искали смысл жизни. Рассуждали о поэзии,

искусстве. Устраивали музыкальные вечера. Среди барышень была молодая актриса, две музыкантши, художницы. Там встретилась Машура с Лабунской.

Лабунская очень ей понравилась — красотой, изяществом и простой вольностью движений.

Приятны были улыбка, смех, несколько тягучий, широкий и мягкий московский выговор. Скоро выяснилось, что у них есть общие знакомые — Анна Дмитриевна. Лабунская сказала, что знает, как они были в монастыре.

— Ах,— прибавила она живо,— да вы, пожалуй, знаете и Христофорова. Ну, такой голубоглазый дядя, не то поэт, не то отшельник. Впрочем,— прибавила она со смехом,— мы с ним познакомились на бегах.

Машура слегка покраснела.

— Да, Алексей Петрович, я знаю...

Лабунская сказала, что скоро у них в студии будет вечер, немногочисленный, «но, может быть, и ничего себе». Там и она выступает. Машуру она приглашала.

— Будут некоторые пресмешные,— прибавила она.— В общем, ничего. Приходите.

Машура поблагодарила. И предложение приняла. В условленный день Лабунская звонила к ней. Наталья Григорьевна не была безразлична к тому, куда Машура ходит, но считала ее вполне благоразумной и не возражала.

Часов в десять вечера Машура подходила к большому красному дому, в затейливом стиле, на площади Христа Спасителя. Луна стояла невысоко. Белел в зеленой мгле Кремль; тянулась золотая цепь огней вдоль Москвы-реки.

Машура поднялась на лифте, отворила дверь в какой-то коридор и в конце его поднялась по лесенке в следующий этаж. Вся эта область населялась одинокими художниками; жили тут три актрисы и француз. Лесенка вывела ее в большую студию, под самой крышей. Угол отводился для раздевания. Главная же комната, вся в свету, разделена суконной занавесью пополам. Войдя, Машура скромно стала к стенке и осматривалась. Обстановка показалась непривычной: висели плакаты, замысловатые картины; по стенам — нечто вроде нар, на которых можно сидеть и лежать. Вместо рампы — грядка свежих гиацинтов.

— А-а,— сказал Ретизанов, улыбаясь.— Вам нравятся вот эти гиацинты? Это я все...

Ретизанов был очень наряден, в хорошем смокинге, безукоризненной манишке, лакированных ботинках. На

бледном лице с седоватой бородкой и усами синели глаза.

— Вы знаете, я люблю цветы... Я не понимаю, как можно не любить... А вы как смотрите? Тем более когда танцует Елизавета Андреевна... Потому, что она ведь одна музыка и ритм, чистейшее проявление музыки и ритма...

Он заволновался и стал доказывать, что Лабунскую надо смотреть именно среди цветов. Машура не возражала. Она даже была согласна; но Ретизанов, усадив ее в угол, громил каких-то воображаемых своих противников и мешал даже рассмотреть присутствующих. Забежала Лабунская, уже в длинной, светлой тунике, поцеловала Машуру, улыбнулась и ускользнула.

За минуту до начала, когда дамы, художники, меценаты, курсистки, поэты, молодые актрисы усаживались, кто на нарах, кто на табуретках, шурша платьями, благоухая, смеясь,— к Машуре подошел Христофоров, в обычном своем сюртучке. Она взглянула на него сбоку, сдержанно, и протянула холодноватую руку.

Заиграла невидимая музыка, свет погас, и зеленоватые сукна над гиацинтами медленно раздвинулись. Первый номер был пастораль, дуэт босоножек. Одна изображала влюбленного пастушка, наигрывала, танцуя, на флейте, нежно кружила над отдыхающей пастушкой; та просыпалась, начинались объяснения, стыдливости и томление, и в финале торжествующая любовь. Затем шел танец гномов, при красном свете. Лабунская выступала в Орфее и Эвридике. Была она легка, нежна и бесконечно трогательна. Казалось странным, зачем нужна она там, в подземном царстве; и одновременно — да, может быть, и есть своя правда, и высшая печаль в этом.

— Я говорил вам,— шептал сзади Ретизанов,— что она божественна. А еще Никодимов болтает... Нет, это уже черт знает что...

В антракте он побежал к Лабунской. Машура и Христофоров прогуливались среди полузнакомой толпы. Опять сиял свет, блестели бриллианты дам.

— Я вас не видел почти месяц,— говорил Христофоров.— Уже сколько дней...

Машура взглянула на него. Его глаза были слегка влажны, блестели; казалось, был он очень оживлен каким-то хорошим воодушевлением. Она улыбнулась.

— Вы весело живете, Алексей Петрович?..

— Как вам сказать,— он слегка расширил зрачки,— и грустно, и весело.

Когда опять погас свет и раздвигался занавес, Машура сказала шепотом:

— Все-таки в том, как вы уехали от нас, было что-то мне неприятное...

Христофоров ничего не ответил, смотрел на нее долго ласковым, смущенно-взволнованным взором. На сцене полунагие девушки изображали охоту: то они быстро неслись, как бы догоняя, то припадали на одно колено и метали дротик, кружились в конце концов, опять танцевали друг с другом и поодиночке — быть может, с воображаемым зверем.

Христофоров вынул блокнот, оторвал бумажку, написал несколько слов и передал Машуре. В неясном свете рампы близко поднеся к глазам написанное, она прочла: «Простите, ради Бога! Если дурно сделал, то ненамеренно. Простите!»

Худые щеки Машуры слегка заалели. Взяв карандаш, она ответила: «Я нисколько не сержусь на вас, милый (и загадочный) Алексей Петрович».

Христофоров взял и шепотом спросил:

— Почему загадочный?

Машура мотнула головой и по-детски, но убежденно ответила:

— Да уж потому.

Когда вечер кончился, Ретизанов сказал им, чтобы не уходили со всеми. Лабунская просила идти вместе.

— А Никодимов, хорош гусь, а? — вдруг спросил он.— Сейчас записку прислал — дайте взаймы тысячу рублей. Как это вам нравится? Тысячу рублей! — Ретизанов вскипел.— Что я, банкир ему, что ли?! Мало Анну Дмитриевну обирать, так и меня... нет-с, уж дудки...

В студии стали гасить свет. Лишь сцена освещалась — оттуда слабо пахло гиацинтами. Христофоров с Машурой отошли к нише, разрисованной углем и пастелью. Был изображен винный погреб, бочки, пьяницы за столом. Окно выходило на Москву-реку.

— Вот и Кремль в лунном свете,— сказал Христофоров.— В нем есть что-то сладостное, почти пьянящее.

— Вам Лабунская нравится? — спросила Машура.

— Да,— ответил он просто.— Очень.

Машура засмеялась.

— Мне кажется, что вам нравится и Кремль, и лунный свет, и я, и ваша голубая Вега, и Лабунская, так что и не разберешь...

— Мне действительно,— тихо сказал он,— многое в жизни нравится и очаровывает, но по-разному...

Подошла Лабунская, подхватила их и повела. Рети-

занов ждал уже одетый. Он был в большой мягкой шляпе, в пальто с поднятым воротником.

— А я очень рада,— говорила Лабунская, прыгая вниз по лестнице через несколько ступеней,— что вся эта катавасия кончилась. Ну, как наши девицы плясали? Не очень позорно? Мы ведь неважно танцуем. Так, тюти-фрюти какие-то.

— Все плохи, кроме вас!— сказал Ретизанов и захохотал.— Позвольте, я приготовил вам букет еще на дорогу! Тут, у швейцара.

— Ну, дай вам Бог здоровья!

Лабунская шла по тротуару, помахивая букетом и смеясь.

— Значит,— говорила она,— все-таки хорошо, что был этот вечер. Я получила букет, меня ведут в Прагу ужинать, луна светит... вообще все чудесно.

«Беззаботная»!— вспомнил Христофоров имя лошади, на которую она выиграла. И улыбнулся.

На Пречистенском бульваре было пустынно; тени дерев переплетались голубоватой сеткой: изредка пролетал автомобиль; извозчик тащился, помахивая концом вожжи. Лабунская бегала по боковым дорожкам, танцевала, бросала листьями в лицо Ретизанову. Христофоров смеялся. Он пробовал ее обгонять, но неудачно.

Ретизанов звал всех ужинать,— Машура отказалась. У памятника Гоголю она села с Христофоровым на скамейку и сказала, что дальше не двинется: очень ночь хороша.

— Если соскучитесь,— крикнул Ретизанов, уходя,— приходите в Прагу. Я и вас накормлю.

Но они не соскучились. Христофоров снял шляпу, курил и внимательно, нежно смотрел на Машуру.

— Почему вы написали: загадочный?

Машура улыбнулась, но теперь серьезней.

— Да, ведь и верно — вы загадочный.

— Я уж, право, не знаю.

Машура несколько оживилась.

— Ну, например... вы, по-моему, очень чистый и не такой, как другие... да, очень чистый человек. И в то же время, если бы вы были мой, близкий мне, я бы постоянно мучилась... ревновала.

— Почему?

— Я, положим, знаю,— продолжала она горячо,— что если Антон меня любит, то любит именно меня и для него весь мир закрыт, это, может быть, и проще, но... Да, у вас какие-то свои мысли, и я ничего не знаю. Я о вас ничего не знаю и уверена — никогда не узнаю. Наверно, и не надо мне знать, но вот именно есть в вас

что-то свое, в глубине, чего вы никому не расскажете... А пожалуй, вы и думаете там о чем-нибудь, еще других любите... Нет, должно быть, я уж нелепости заговорила.

Она взволновалась, и правда будто стала недовольна собой.

Христофоров сидел в некоторой задумчивости.

— Вы меня странно изображаете,— сказал он.— Возможно, и потому, что у вас страстная душа. Почему вы говорите о ревности или о том, что я нехорошо от вас уехал,— прибавил он с внезапной, яркой горечью.— Разве вы не почувствовали, что мне невесело было уезжать? Нет, в том, что я уехал, ничего для вас дурного не было.

— А мне казалось, это значит сохранить свободу действий.

Он взял ее за руку.

— Как вы самолюбивы... Как...

Машура вдруг откинулась на спинку скамьи. Пыталась что-то выговорить, но не смогла. В лунном свете Христофоров заметил, что глаза ее полны слез.

— А все-таки,— сказала она через минуту резко,— я никого не люблю, кроме Антона. Никого,— прибавила она упрямо.

Во втором часу ночи, прощаясь с ней у подъезда их дома, Христофоров сказал:

— Может быть, вы отчасти и правы, я странный человек.

В голубоватой мгле дерев, чуть озаренной лунным призрачным серебром, с глазами расширенными и влажными он действительно показался ей странным.

— Не знаю,— холодновато ответила она.— Спокойной ночи!

Он поцеловал ей руку.

VIII

Было около шести. В конце Поварской закат пылал огненно-золотистым заревом. В нем вычерчивалась высокая колокольня, за Кудрином; узкое, багряное облачко с позлащенным краем пересекало ее.

Антон вошел в ворота дома Вернадских, поднялся на небольшое крыльцо и позвонил. Косенькая горничная отворила ему и сказала, что барышня дома.

— Только у них нынче собрание, они запершись, наверху,— добавила она не без значительности.

Антон снял свое неблестящее пальто и усмехнулся.

— Девицы?

— Так точно. И чай туда им носила. Старая барыня в столовой, пожалуйста.

«Спасением души Машура занимается,— подумал он, оправляя у зеркала вихры.— Очевидно, нынче заседание общества «Белый Голубь». Пишут какие-нибудь рефераты, настраивают себя на возвышенный лад, а к сорока годам станут теософками»,— хмуро подумал он. Напала минутная тоска. Стоит ли оставаться? Не надеть ли пальтишко, не уйти ли назад? Полтора месяца он с Машурой почти в ссоре, в Москве не был, а сейчас явился зачем-то — с повинной? «Невольно к этим грустным берегам?..»

Но он переломил неврастенический приступ, вздохнул и полутемным коридором, откуда подымалась лесенка к Машуре, прошел в столовую.

На столовую она походила не совсем. По стенам стояли диваны, книжный шкаф, в углу гипсовая Венера Медицейская; закат бросал на дорогие темно-коричневые обои красные пятна. За чайным столом в вазах стояли букеты мимоз и красная роза в граненом с толстыми стенками стаканчике. Печенья, торты, хрустали, конфеты — все нынче нарядней, пышней обычного — у Натальи Григорьевны тоже приемный день, когда собирались знакомые и друзья. Сама она, в черном бархатном платье, с бриллиантовой брошью, в золотых своих очках, при седой шевелюре, имела внушительный вид. За столом была Анна Дмитриевна, две неопределенных барыни, важный старик с пушистыми седыми волосами и толстая дама в пенсне — почтенная теософка. Старик же, разумеется, профессор.

Он что-то рассказывал — медленно, длинно, с той глубокой убежденностью, что это интересно всем, какая нередко бывает у недалеких людей.

— Я тогда же сказал Максиму Ковалевскому: Максим Максимович, нам, как русским ученым, представителям молодой русской науки на западе, не пристало выступать с какими-то — passez moi le mot,— мистическими сверхиндивидуалистами, чуть не спиритами, нуте-с, и тому подобное. Он согласился. В тот же день мы завтракали у Габриэля Тарда. Был лорд Крессель, Брандес, я и, представьте...

Знакомое чувство раздражения прошло по спине Антона. «А может, он и врет все и никакого лорда там не было, да и его самого никто в Париже не знает».

Старик не весьма был доволен, что его прервали; не глядя поздоровался,— и плавно вторя себе рукой с пухлыми пальцами, которые собирались в горсточку, продолжал о завтраке у Тарда. В закате розовели его

седые виски; блестел массивный золотой перстень на указательном пальце.

— Давно не заглядывал,— сказала Наталья Григорьевна Антону, наливая ему чаю.

— Меня в Москве не было,— ответил он глухо и слегка покраснел.

— Ты Машуру не ранее чем через час увидишь,— продолжала она.— Да и то не надолго. У них сегодня собрание, «Белый Голубь».

Антон ничего не ответил. Он сидел хмуро, помешивал ложечкой и опять был подавлен тоской; опять ему казалось, что напрасно он пришел сюда, ничего, кроме унижения, не вынесешь, да еще слушай речистого старика.

Вошел Ретизанов в изящном жакете и с цветком в петлице. В это время почтенная теософка, напоминавшая английскую даму хорошего общества, со спокойствием верующего и образованного человека рассказывала соседке о лунной манвантаре и солнечных питрисах. Она приводила точные выражения Анны Безант. Тон ее был таков, что это нисколько не менее очевидно, чем лекции Ковалевского, завтрак у Тарда. Профессор же продолжал свое.

Ретизанов поцеловал руку Натальи Григорьевны и улыбнулся.

— Все по-прежнему,— сказал он.— Наталья Григорьевна занимает золотую середину, а на флангах кипит бой.

— Это только значит,— внушительно заметила она,— что я терпима к чужим мнениям. Терпимость основывается на культуре. А уж середина я или нет, позвольте знать мне самой.

Она слегка взволновалась, и на старческих щеках выступили красноватые пятна. Ретизанов смутился.

— Нет, я совсем не в том смысле...

Но она уже не слушала. Решив, что особой воспитанностью никогда он не отличался, Наталья Григорьевна заговорила с Антоном.

Впрочем, Ретизанов и сам отвлекся. Профессор доказывал, что Достоевский, как человек душевнобольной, развратный и реакционно мысливший, недостоин того ореола, какой создался вокруг его имени в *некоторых* (он строго оглянул присутствовавших) кружках.

— На одном обеде литературного фонда,— это было давно, я собирал еще тогда материал по истории хозяйства при Меровингах, для диссертации, где поддерживал Бюхера против Эдуарда Мейера,— так вот-с,

покойный Николай Константинович Михайловский прямо указал мне — мы сидели рядом,— что талант Достоевского есть не более как гигантская проекция свойств жестокости, сладострастия и истерии. В своей известной статье он определил этого писателя как жестокий талант.

— А скажите,— вдруг спросил Ретизанов,— когда вы читаете «Идиота», то чувствуете вы некоторую атмосферу как бы ультрафиолетовых лучей всюду, где появляется князь Мышкин? Такая нематериальная фосфоресценция...

— Я скорее сказала бы,— заметила теософка,— что внутренний и, конечно, нематериальный свет этого романа — бледно-зеленоватый. Свет, несомненно, эфирный.

Профессор развел руками и заявил, что ничего подобного он не видит и не встречал таких утверждений в критике.

— Впрочем,— прибавил он,— я и вообще нахожу, что между мною и некоторыми из присутствующих есть коренное расхождение в мировоззрениях. Я считаю, что Макс Нордау был совершенно прав, утверждая...

— Да неужели вы можете говорить о Нордау?— почти закричал Ретизанов.— Макс Нордау просто болван...

После этого профессор недолго уже сидел. Он поцеловал руку Натальи Григорьевны и сказал, что рад будет встретиться с ней в Литературном Обществе, где она должна читать доклад: «К вопросу о влиянии Шатобриана на ранние произведения Пушкина».

— Откуда вы достаете таких дубов?

На этот раз Наталья Григорьевна не рассердилась. Она доказывала, что профессор вовсе не дуб, а человек иного поколения, иных взглядов.

Антон поднялся, незаметно вышел. Рядом с прихожей была приемная, маленькая комнатка, вся уставленная книгами. В нее надо было подняться на ступеньку. Дальше шла зала, и в глубине настоящий, большой кабинет Натальи Григорьевны. Антон сел в мягкое кожаное кресло. Виден был двор, залитый голубоватой луной. Наверху, в комнате Машуры, слышались шаги, голоса. Антон положил голову на подоконник. «Они решают там возвышенные вопросы, а я умираю здесь от тоски,— думал он.— От тоски, вот в этом самом лунном свете, который ложится на подоконник и обливает мне голову».

Он сидел так некоторое время, без мыслей, в

тяжелой скованности. «Нет, уйду,— решил он наконец.— Довольно!» В это время движение наверху стало сильнее, задвигали стульями. Он прислушался. Через минуту раздались шаги по лесенке, ведшей сверху; вся она как бы наполнилась спускавшимися, послышались молодые голоса. Почти мимо его двери все прошли в переднюю; там опять смеялись, разбирали одежду, шляпы, перчатки. Затем хлопала парадная дверь, с каждым разом отрезая часть голосов. Наконец стало тихо. Знакомой, легкой поступью прошла Машура. «Ну вот, теперь она пойдет в столовую и будет там сидеть с матерью и Ретизановым».

Было уже ясно, что она уходит, но Антон медлил, не мог одолеть тяжелой летаргии, в которой находился.

Вдруг те же, но возвратные, теперь веселые шаги. Он встал и со смутно бьющимся сердцем двинулся к двери. В лунных сумерках навстречу вбежала Машура, легко вспрыгнула на ступеньку и горячо поцеловала.

— Ты?— смеялась она.— Ты, я знала, что ты придешь! Что ты тут делаешь? Один! Какой чудак!

— Я...— сказал Антон,— уж собрался уходить... ты была занята.

Машура захохотала.

— Почему ты такой смешной? Ты какой-то замученный, растерянный. Погоди, дай на тебя посмотреть...

Она взяла его за плечи, подвела к окну, где от луны было светлее.

— Я,— говорил он растерянно,— я, видишь ли, столько времени у вас не был... я уезжал из Москвы...

Она глядела ему прямо в небольшие глаза; в них стояли слезы. Волосы его вихрились, большой лоб был влажен. На виске сильно билась вена.

Глаза Машуры блестели.

— Ты похож на Сократа,— вдруг зашептала она,— ты страшно мил, настоящий мужчина. Я знала, что ты придешь, и придешь такой...

Она сжала его руки.

Антон опустился на скамеечку у ее ног, прижал к глазам ее ладонь.

— Если бы ты знала, как я... все это время...— твердил он сквозь слезы.— Если бы знала...

Около девяти Антон, с просохшими, сияющими в полумраке глазами, ходил из конца в конец залы, пересекая лунные прямоугольники, облекавшие его светом.

Из кабинета вышла Наталья Григорьевна; она была

теперь в светлом вечернем платье, с иными бриллиантами.

— Ну, милый,— сказала она Антону,— иди торопи Машуру. Лошадь подали.

Плохо соображая, как в тумане подымался Антон по витой лесенке.

— Можно?— спросил он глухо, входя.

— Погоди минутку.

Раздался смех Машуры, мелькнуло голое, смуглоперсиковое плечо, и веселый голос ответил из-за портьеры:

— Теперь можно. Но сюда не входи.

Антон сел и сказал, что Наталья Григорьевна ждет.

— Сейчас, сейчас... Мама вечно боится опоздать.

За портьерой шуршали, слышно было, как горничная застегивает кнопки. В комнате было тепло, пахло духами и еще чем-то, чего не мог определить Антон, что вызывало в нем легкий озноб.

Когда Машура вышла, в белом платье, оживленная, с темно сверкающими глазами на остроугольном лице, она показалась ему прекрасной. Худенькой рукой приколола она себе красную розу.

Горничная ушла.

— Ты прелестна,— тихо сказал Антон.

Она улыбнулась.

Антон проводил их и остался в доме еще некоторое время. Не хотелось уходить, расставаться с комнатами, полными голубоватого лунного дыма — где неожиданно пришла к нему Машура. И вновь переживая все, ходил он по зале, из угла в угол.

IX

За ночь выпал снег. В комнатах посветлело, воздух сразу стал вкусный, днем острый и прозрачный, к сумеркам синеющий. Деревья резче чернели на белизне. Извозчики плелись бесшумно; шапки, полости у них белели. И веселей орали вороны на бульваре, слетая с веток; вниз сыпался за ними снежок.

Анна Дмитриевна сидела в небольшом своем кабинетике у письменного стола, с пером в руке. В окно глядел бульвар, запушенный снегом, от подоконника шел ток теплого воздуха, тепел был пуховой платок на плечах и мягок ковер, занимавший всю комнату. Над диваном — nature morte Сапунова, вариант красных цветов.

«Во всяком случае так дальше продолжаться не может,— писала она твердым, крупным почерком — он

казался лишь частью всей ее статной фигуры.— Какая бы я ни была, вы должны понять, что всему есть предел. Вы знаете, чем были для меня все это время. Пред вами я мало в чем виновата. Но вы — ваше поведение я совсем перестаю понимать. Для меня деньги — ничто. Для вас — все. Сколько раз я вас выручала — вы знаете. И то знаете, как издевались вы надо мной, среди пьяных товарищей, грязнили мое к вам чувство. Все вам сходило. Но то, что теперь выяснилось... Я не могу даже написать того слова, какое следует. Хочу вас видеть и спрошу прямо. Завтра я на балете, бельэтаж, ложа № 3. Буду ждать». Она подписалась одной буквой, вложила в конверт и надписала: «Дмитрию Павловичу Никодимову».

Только что велела она отослать письмо, как в комнату вошла, не снимая бархатной шляпы, невысокая дама еврейского вида, с огромными подкрашенными глазами — Фанни Мондштейн. Она была очень шикарна в новом тысячном паланкине. Бурый мех блестел снежинками.

— Голубчик,— сказала она быстро, целуя Анну Дмитриевну и распространяя запах Rue de la Paix,— я к тебе на минутку. Завтра выступает Ненарокова, дебют, я обязательно должна быть. Идиот Ладыжников напутал как всегда, билетов нет, представь, я непременно должна быть, ведь Ненарокова танцует вместо Веры Сергеевны, тут, понимаешь, отчасти интриги, отчасти борьба молодого со зрелым. Конечно, ей до Веры Сергеевны... великая артистка и начинающий щенок... Но я обещала быть, а получается чепуха...

Фанни подняла вуаль и обнаружила лицо не первой свежести, подкрашенное, с черными, очень красивыми глазами. Фанни живо закурила, и мгновенно стало ясно, в чем дело: о Ненароковой она должна дать отчет Вере Сергеевне и хотела попасть в ложу Анны Дмитриевны.

— Ну конечно, ну да,— говорила Анна Дмитриевна,— о чем тут разговаривать? Я очень рада. Ты покажешь мне разные fouettés.

— Милун, но разве Ненарокова может сделать что-нибудь подобное?

Фанни встала и с серьезным, как бы убежденным лицом подошла к Анне Дмитриевне.

— Вере Сергеевне приходилось делать тридцать пять fouettés подряд,— этого никто не может в России, кроме нее. Но ведь и сама она — прелесть. Одни ее выражения... Ты думаешь, она завидует этой Ненароковой? Ни капли. Она мне говорит: «Вы понимаете, ведь это надо сделать, эту роль! Вы, кажется, *уже*

начинаете меня понимать? Этот балет — чистейший экзот, его надо почувствовать. Вот, по вашему лицу я вижу». Нет, Вера Сергеевна замечательный художник, порох и дитя, восторженная, увлекающаяся душа.

Фанни сама увлеклась, сняла шляпу и стала рассказывать о Вере Сергеевне.

Фанни была в нее несколько влюблена — влюбленностью театральной поклонницы. Она принадлежала к «партии» Веры Сергеевны; неизменно бывала на ее выступлениях, бешено вызывала, бегала к ней в уборную, защищала от врагов, исполняла мелкие поручения и помогала в сердечных делах.

— Нет, ты понимаешь, у нее совсем особенный язык: если за ней кто-нибудь ухаживает, она называет это *наверт*.

Анна Дмитриевна засмеялась.

— А правда, что одну свою соперницу она избила ногами?

— Фу, глупости! Ну, если бы захотела... ноги у нее стальные, убить, я думаю, может. Все-таки это клевета...

— Фанни,— спросила вдруг Анна Дмитриевна,— тебя бил когда-нибудь мужчина?

Фанни вскочила и захохотала.

— Во-первых, милая, у меня нет такого властелина и не будет, надеюсь. Да, но тогда скорей можно спросить, не била ли я кого... Правда, у меня ноги не такие, как у Веры Сергеевны, но все же... вот этой рукой я могу, конечно, дать пощечину негодяю, который покусился бы на мою девственность.

Она повалилась на диван и опять захохотала. Анна Дмитриевна тоже смеялась. Потом Фанни поднялась, оправила палантин и стала прощаться.

— Голубь, значит, до завтра. Бельэтаж, третий номер... буду помнить... третий номер. Целую тебя.

Проводив ее, Анна Дмитриевна медленно возвращалась через залу. Проходя мимо бехштейновского рояля, она приподняла его крышку и взяла несколько нот на клавиатуре. Смутная тягость была у ней на сердце. Она вздохнула и сразу же вспомнила. Эти самые звуки, такой же белый день, рояль, зала, похожая на эту, и она сама, еще совсем молодая, недавно замужем. Так же она брала несколько нот, а он вышел из той двери. Шел он молча. Лицо было красное. Потом молча же, со всего маху ударил ее по щеке.

Крышку она захлопнула, быстро вышла. «Дурная жизнь, распущенная, скверная жизнь,— твердила она уже у себя в кабинете, ходя взад-вперед по мягкому

ковру.— Я ему продалась и изменяла, а он бил меня, как молодую кобылу. Как была дурная, так и осталась. Что же,— сама катала с офицерами по ресторанам, обманывала его и пожинала лавры собственной жизни. А разве и сейчас... что ж, по-своему и Дмитрий прав, считая меня... бабой, которая может платить его долги. Он хорош, но и я...»

Она опять прошлась и остановилась у большой, под стеклом, фотографии со старинной картины. Справа и слева от озера большие купы дерев, темных, кругловатых; какая-то башня; далекие горы за озером, светлые облака; на переднем плане танцует женщина с бубном и мужчина; пастух, опершись на длинный посох, смотрит на них; на траве, будто для беззаботной пирушки, расположились люди, женщина с ребенком, тоже смотрят. Лодки плывут по бледному озеру. И кажется, так удивительно ясна, мечтательна и благосклонна природа; так чисто все. Так дивно жить в этой башне у озера, бродить по его берегам, любоваться нежными, голубоватыми призраками далеких гор.

Анне Дмитриевне представилось, что если бы она жила в этой стране, то все иное было бы и, возможно, она узнала бы истинную любовь, высокую и пламенную, которая есть же ведь, наконец!

Завтракала она одна, как обычно. Потом вышла на улицу. Хотелось пройтись. Снег мягко скрипел под ногой, падали белые его хлопья, медленно и беззвучно; что-то вкусное, свежее и острое несли они с собой и, оседая на ветвях деревьев, шапочках барышень, усах мужчин, давали белое оперение, называемое зимой.

Анна Дмитриевна шла по Арбату и думала, что любой извозчик, трусцой плетущийся в Дорогомилово, или курсистка, бегущая с лекций, более правы и прочны,— может быть, даже счастливы, чем она, живущая в своем особняке и тратящая тысячи. Пройдя по Воздвиженке, вышла она на Моховую, обогнула Манеж, направилась вдоль решетки Александровского сада. Начинало смеркаться. Смутно синел снег за оградой, летали вороны, высокие башни в Кремле уходили во мглу. Зажигались золотые фонари. С сердцем, полным печали, тягости, Анна Дмитриевна подошла к Иверской, знаменитому палладиуму Москвы — часовне, видевшей на своих ступенях и царей, и нищих. Купив свечку, взошла, зажгла ее и поставила перед Ликом Богородицы, мягко сиявшим в золотых ризах. Кругом — захудалые старушки, бабы из деревень; ходил монах с курчавой бородой, в черной скуфейке. Плакали, вздыхали, охали. Ближе к стене

Музея занимали места те, кто устраивался на ночь. Ночевали здесь по обету, чтобы три или десять раз встретить ту икону Богоматери, которую возят по домам и которая возвращается поздно ночью. Здесь служится молебен. И невесты, желающие доброй жизни в замужестве, матери, у которых больны дети, жены, неладно живущие с мужьями, мерзнут здесь зимними ночами, когда лихие голубки уносят из Большой Московской к Яру разгулявшихся господ.

Анна Дмитриевна стала на колени, перекрестилась, глаза ее наполнились слезами. Еще девочкой, когда сильно пил и бушевал отец, бегала она потихоньку на эти, снежные сейчас, плиты и на ценный пятачок ставила свечку «укротительнице злых сердец».

— Старайся, милая, старайся,— говорила рядом старушонка, с глубоко запавшим ртом, в кацавейке, из числа тех, что неизвестно откуда берутся на похоронах, свадьбах и молебнах.— Она, Матушка-Заступница, все видит, всяческое усердие ценит.

Подошел рыжий извозчик, немолодой, тоже поставил свечу, снял шапку и бухнулся на колени. Быть может, молился он о захромавшей лошади или чтобы овес подешевел. А возможно, и его вела та же тоска, что и Анну Дмитриевну.

Оттого ли, что поплакала, или правда в золотом сиянии Борогодицы был мир, но она поднялась облегченная, как бы овлажненная. Стряхнув снег, приставший к подолу, вздохнула и стала спускаться со ступеней. Несколько нищих потянулись к ней. Она сунула им. И медленно пошла к Большому театру.

В хмурых сумерках высился он темной громадой; Мюр и Мерилиз сиял, насквозь пронизанный светом; золотые снопы ложились от него на снег. Анна Дмитриевна шла наискось через площадь, по тропинке, только что проложенной. И почти столкнулась с Христофоровым. Он был в меховой шапке, запушенной снегом, с побелевшими усами. Увидев ее, улыбнулся и остановился, кланяясь.

— Голубчик вы мой, милый человек!— чуть не вскрикнула Анна Дмитриевна.— Что тут делаете?

— Гуляю,— ответил он.— У меня нет цели.

— Гуляю! Так себе просто и гуляет, сам не зная зачем! Ну, тогда пойдемте со мной, проводите, мне тоже некуда...

Она взяла его под руку, и медленно, разговаривая, они побрели. Ей правда почему-то приятно было его встретить. Настроение подымалось. Они прошли по Кузнецкому, разглядывая витрины. У Сиу пили шоко-

лад, рассматривали модных барынь, смеялись. Было светло, пахло духами, сигарами. Белели воротнички мужчин. Горели бриллианты.

Анна Дмитриевна пригласила Христофорова на другой день на балет, к себе в ложу.

X

Есть нечто пышное в облике зрительного зала Большого театра: золото и красный шелк, красный штоф. Тяжелыми складками висят портьеры лож с затканными на пурпуре цветами, и в этих складках многолетняя пыль; обширны аванложи, мягки кресла партера, холодны и просторны фойе, грубовато-великолепны ложи царской фамилии, и походят на министров старые капельдинеры, лысые, в пенсне, в ливреях. Молча едят друг друга глазами два истукана у царской ложи. Дух тяжеловатый, аляповатый, но великодержавный есть здесь.

Христофоров, явившийся в ложу первым и одиноко сидевший у ее краснобархатного барьера, чувствовал себя затерянным в огромной, разодетой толпе. Театр наполнялся. Входили в партер, непрерывное движение было в верхах, усаживались в ложах; кое-где направляли бинокли. Над всем стоял тот ровный, неумолчный шум, что напоминает гудение бора — голос человеческого множества. Человечество затихло лишь тогда, когда капельмейстер, худой, старый человек во фраке, взмахнул своей таинственной палочкой и за ней взлетели десятки смычков того удивительного существа, что называется оркестром. Загадочно, волшебством вызывали они новую жизнь; и помимо лож, партера и публики в театре появилась Музыка. Поднялся занавес, чтобы в безмолвном полете балерин дать место гению Ритма.

Анна Дмитриевна явилась вовремя. Фанни немного опоздала. Фанни была еще сильнее подкрашена. Она уселась рядом с Христофоровым с видом деловым, уверенным; оглядела залу, оркестр, сцену, как бы проверяя, все ли в порядке. Иногда, рассматривая балет, вдруг наклонялась к Анне Дмитриевне и шептала:

— Взгляни на Казакевич. Летом в Крыму нарочно загорала, и третий месяц загар с рук и с плеч не сходит. Крайняя справа — Семенова. Как мила! Ты понимаешь, одна простота, никаких фанаберий, настоящая добросовестная работа.

Анна Дмитриевна улыбалась ей глазами, но была сдержанна, одета в черном, несколько бледна. Дышала не вполне ровно. К концу акта дверь в аванложу отворилась, звякнули шпоры. Занавес побежал вниз. Стало светлее, зааплодировали. Никодимов, худой, с правильным пробором и белыми аксельбантами подошел к Анне Дмитриевне, поцеловал руку. Вид он имел измученный; глаза его угрюмо темнели. Он вынул надушенный платочек и разгладил усы.

— Бог мой,— сказала Фанни,— не узнаю вас, дорогой.

— Я нездоров,— ответил Никодимов.— У меня невралгия лицевых нервов. Я очень дурно сплю по ночам.

— Ах, pauvre enfant!

Фанни засмеялась и стала показывать Христофорову знаменитого коннозаводчика, сидевшего в первом ряду.

— Вы меня звали,— сказал Никодимов тихо Анне Дмитриевне — я пришел, несмотря на нездоровье.

Она вздохнула, прошла в аванложу и села на диван. Заложив ногу на ногу, подрагивая носком лакированной туфли, вертела она в руке лорнет. Наконец, как бы пересилив себя, сказала:

— Правда ли, что вы подделали мою подпись?

Никодимов сложил руки на коленях и глядел вниз.

— Я отдам вам эти деньги, очень скоро. Я сейчас в большом выигрыше. А тогда нужны были, чрезвычайно.

Анна Дмитриевна помолчала.

— Правда ли, что за вами какое-то темное дело... по части нравственности? И еще, у вас живет... такой юноша?

— Не беспокойтесь, на скамье подсудимых меня вы не увидите. Вас не скомпрометирую.

— Дело не во мне,— ответила она глухо,— дело в том, что вы окончательно гибнете.

— Это возможно. Возможно, что я окончательно выхожу из числа так называемых порядочных людей.

В зрительном зале стемнело, поднялся занавес. Сцена представляла мастерскую кукольного мастера. Несколько кукол сидело недвижно. С легкими подругами прокрадывалась сюда Коппелия. После мимических сцен являлся хозяин, испуганные гости разбегались.

— Недурна,— говорила Фанни Христофорову,— Коппелия недурна, но и только. «Как бы разыгранный Фрейшиц перстами робких учениц». Если б Веру Сергеевну в этой роли видели! Ну, что она выделывает!

В это время в аванложе Никодимов говорил:

— Я никогда не понимал, чем виноват так называ-

емый безнравственный человек, что он родился именно таким? Почему вы брюнетка, а не блондинка? Много приятнее быть симпатичным и добрым, жить в почете, довольстве, уважении, чем путаться в долгах, ощущать презрение и ждать той черной дыры, куда все сваливаются. Скучать, болеть, завидовать... Нет, мы порочные, составляющие касту в обществе, вряд ли сойдемся когда-либо с довольными собой. Во все времена были мы отверженными. Так и всегда будет. Разве что со временем люди несколько поумнеют и поймут, что одной благородной позы мало.

— Все стараетесь себя оправдать...

— Ни нравственного, ни безнравственного нет. Есть люди, родившиеся с разными вкусами. Вы любите артишоки, а я ростбиф. Я и есть буду ростбиф, и меня станут называть прохвостом. А все дело в том, что природа, или Господь Бог, произвели нас на свет с разными вкусами. Свободная воля! Глупость, выдуманная попами.

Никодимов говорил негромко, сидел спокойно, лишь иногда, от боли в виске, страдальчески подергивал глазом.

Анна Дмитриевна смотрела на этого человека, так много взявшего в ее жизни, на его сухие пальцы с отточенными ногтями, на перстень с вырезанным черепом и двумя костями, на изможденное, но породистое лицо,— и как бывало нередко — странная смесь обаяния и презрения, нежности и обиды, пронзительной жалости и отвращения подымалась в ней.

— Ах,— сказала она, задохнувшись,— чем вы меня взяли?

— Жалостью,— ответил Никодимов.— Вы считаете, что посланы в мою жизнь, чтобы исправить меня. Женщины с добрым сердцем, как вы, нередко чувствуют именно так. Смею вас уверить.

— Замолчите, вы... слышите, замолчите...— шепотом, давясь словами, произнесла Анна Дмитриевна. Она закрыла глаза платочком, откинулась на диван. Влево темнел треугольник между портьерой. Там был полумрак гигантского театра, тысячи голов и глаз, направленных на сцену.

Коппелия танцевала длинное и трудное adagio, Фанни впивалась в каждое ее движение. Временами бормотала: «Молодец! Для нее — даже хорошо!» Упираясь в пол носком, рукой придерживаясь за высоко поднятую руку партнера. Коппелия вся вытянулась горизонтально, слегка колебля другой ногой, как хвостом рыбы, и медленно, легко и изящно описывала полный круг.

Adagio имело успех. Коппелия выпорхнула и раскланялась,— с той нечеловеческой легкостью, которая поражает в балете.

— Таланта у ней мало,— судила Фанни,— но работа большая. Очень изящно. Это и говорить нечего.

Анна Дмитриевна видела только конец третьего акта. Ансамбли, дуэты, соло бессвязно проносились перед глазами, Фанни разбирала всех по косточкам. Одна отяжелела — известная немолодая балерина с дивными ногами; другая великолепна по темпераменту, но не вполне строгого вкуса. Третья — вся создана покровительством.

— Фанни хочет сделать из вас балетомана,— сказала Анна Дмитриевна Христофорову, через силу улыбаясь.— У вас голова кругом пойдет, коли будете слушать.

— Что ж, это очень интересно,— ответил Христофоров.

— Не взыщите, голубок,— моя слабость! Чем я виновата, если балет меня восхищает? Посмотрела — точно бутылку шампанского выпила.

Когда по окончании все спускались к выходу, Христофоров обратился к Анне Дмитриевне:

— Я очень благодарен, что вы меня взяли.

— Вы что ж,— ответила Анна Дмитриевна,— вообще, кажется, становитесь светским человеком? Фрак бы еще на вас нацепить да вывести на бал.

Христофоров рассмеялся, поглаживая свои усы.

— Во фраке мне действительно неподходяще. Светскость... ну, какая же! Но, конечно, я ценю новые впечатления, даже очень ценю,— прибавил он серьезнее.— Я хотел бы очень много видеть, как можно больше.

У выхода, под гигантскими колоннами портика, Фанни пригласила их к себе ужинать. Христофоров сначала замялся, потом согласился.

— У меня есть вино,— сказала Фанни.— Разумеется, дареное,— прибавила она и захохотала.

Зимней, свежей ночью, при блеске огней из Метрополя, шли они вверх, к Лубянской площади. Миновали лубянский фонтан, старую, красную церковку Гребневской Божией Матери, прежний застенок, и вышли на Мясницкую — улицу камня, железа, зеркальных витрин с выставленными двигателями, контор, правлений и немцев.

Фанни снимала огромную квартиру в Армянском переулке. Была она запутанного, сложного устройства, с бильярдной комнатой, полутемной столовой, огром-

ной гостиной, не менее чем тремя спальнями. Старинные, дорогие вещи стояли вперемежку с рыночными; в гостиной сомнительные картины; в общем дух безалаберной, праздной и веселой жизни.

— Ну, для чего тебе, например, бильярд?— спрашивала Анна Дмитриевна, стоя с кием у освещенного низкой лампой бильярда.

Христофоров с улыбкой перекатывал белые шары.

— Как зачем? А захочу играть? Вот, младенца этого обучу этому ремеслу,— она кивнула на Христофорова и захохотала.— Лена,— крикнула она горничной,— скорее, ужинать! Сейчас, переоденусь только. Одна минута.

И она выбежала, на своих коротковатых, резвых ногах.

— Фанни живой человек,— сказала Анна Дмитриевна,— неунывающий. В клубе ночами в карты дуется, поспит часа два, и как рукой сняло, опять весела, в кафе, в концерт, куда угодно.

Когда их позвали в столовую, Фанни, в капоте, заложив ногу на ногу, сидела у телефона. Она заканчивала отчет о спектакле.

— Успех,— да, средний, но да. Adagio прямо понравилось. В общем это, конечно, серединка... понимаете, дорогая моя... От настоящего, большого искусства, как у вас, ну... бесконечность.

Фанни кормила их недурным ужином. Не обманула и насчет вина. Была в очень живом настроении и рассказывала о студенческих сходках 1905 года. «Товарищи,— кричала она и хохотала простодушно,— не напирайте, товарищ Феня родит! Товарищи, не курите, ничего не слышно!» Затем изображала еврейские анекдоты, с хорошим выговором.

Анна Дмитриевна пила довольно много. Фанни подливала. Ее собственные подкрашенные глаза блестели.

— Пей,— говорила она,— вино мне подарили, не жаль. А тебе надо встряхнуться. Ты мне не н'дравишься последнее время. Не н'дравишься,— язык ее склонен был заплетаться.— Плюнь, выпьем.

После ужина перешли в будуар. Затопили камин. Фанни принялась полировать себе ногти.

— Алексей Петрович, милый вы человек,— вдруг сказала Анна Дмитриевна, взяла его за руки и припала на плечо горячим лбом,— что же делать? как существовать? Ангел, мне вся я не н'дравлюсь, с головы до пят, все мы развращенные, тяжелые, измученные... На вас взгляну, кажется: он знает! Он чистый и настоящий...

Христофоров смутился.

— Почему же я...

— Если вы такой,— продолжала Анна Дмитриевна,— то должны знать, как и что... где истина.

— Об истине,— ответил он не сразу,— я много думал. И о том, как жить. Но ведь это очень длинный разговор... и притом мои мысли никак нельзя назвать... объективными, что ли. Может быть, только для меня они и хороши.

Анна Дмитриевна глядела на танцующее золотое пламя в камине.

— Все-таки скажите ваш устой, ваше главное... понимаете,— я же не умею выражаться.

Христофоров улыбнулся.

— Вот и история... Мы были в балете, пили шампанское, смеялись, и вдруг дело дошло до устоев.

Анна Дмитриевна вспыхнула.

— Смешно? Считаете меня за вздорную бабу?

— Нисколько,— тихо и серьезно ответил Христофоров.— Я хочу только сказать, что многое сплетается в жизни причудливо. К вам, Анна Дмитриевна, я отношусь с симпатией. Многое родственно мне, думаю, в вашей душе. Поэтому, именно лишь поэтому, я скажу вам один свой *устой,* как вы выражаетесь.

Христофоров помолчал.

— Мне почему-то приходит сейчас в голову одно... О бедности и богатстве. Об этом учил Христос. Его великий ученик, св. Франциск Ассизский, прямо говорил о добродетели, мимо которой не должен проходить человек: sancta povertade, святая бедность. Все, что я видел в жизни, все подтверждает это. Воля к богатству есть воля к тяжести. Истинно свободный лишь *беззаботный,* вы понимаете, лишенный связей дух. Вот почему я не из демократов. Да и богачи мне чужды.

Он улыбнулся.

— Я не люблю множества, середины, посредственности. Нет ничего в мире выше христианства. Может быть, я не совсем его так понимаю. Но для меня — это аристократическая религия, хотя Христос и обращался к массе. Моя партия — аристократических нищих.

— Фанни,— сказала Анна Дмитриевна,— слышишь? «Легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, нежели богатому внити в Царствие Небесное»! Это про нас с тобой.

— Давно известно,— ответила Фанни, зевнув,— и не в моем духе. Богатство есть изящная оправа жизни. Ведь и вы не отказываетесь от моего шампанского.

— Шампанского! Нет, это в высшем смысле, ты не

понимаешь. Меня твое шампанское не зальет, если тут у меня болит, здесь, в сердце!

— Оставь, пожалуйста! Эти сердечные томления надо бросить для неврастеников, а самим жить, пока молоды. Ведь и Алексей Петрович же жизнь ценит.

Христофоров подтвердил. Только добавил, что бедность вовсе не мешает любить жизнь, а, быть может, делает эту любовь чище и бескорыстнее. Анна Дмитриевна резко стала на сторону Христофорова. Точно ее это облегчало.

— Ну, и отлично,— сказала в третьем часу Фанни,— продавай свой особняк, раздай деньги бедным и поступай на службу в городскую управу.

Все засмеялись. Так как было поздно, Фанни предложила ночевать у себя. Христофоров сперва стеснялся. Но простой и искренний тон Фанни убедил его. Ему постелили в дальней комнате, на громадной кровати — роскошном детище Louis XV.

— Вот и спите здесь, поклонник Франциска Ассизского,— сказала Фанни, прощаясь.— Вы увидите, что это гораздо лучше, чем на соломе, в холодной хижине.

Когда она ушла, Христофоров, раздеваясь, с улыбкой смотрел на резных красного дерева амуров, натягивавших в него свои луки. Ему вдруг представилось, что вполне за св. Франциском он идти все же не может. Погасив свет, он лежал в темноте, на чистых простынях мягкой постели. «Все-таки,— думал он,— слишком я люблю земное». Он долго не мог заснуть. Вспоминался сегодняшний вечер, балет. Анна Дмитриевна, неожиданный ужин, разговор, странное пристанище на ночь. Так и вся жизнь, от случая к случаю, от волны к волне, под всегдашним покровом голубоватой мечтательности. Ему вдруг вспомнилось, как у памятника Гоголю Машура с полными слез глазами сказала, что любит *одного* Антона. Он вздохнул. Нежная, мучительная грусть пронзила его сердце. Отчего до сих пор, до тридцати лет — он один? Милые женские облики, к которым он склонялся... и с некоторой ступени, как сны, они уходили. «А Машура?»

«Одиночество,— говорил другой голос.— Святое или не святое — но одиночество».

Он засыпал.

XI

Довольно долго после встречи с Антоном осенью Машура считала, что ее сердечные дела прочны. Антон был так кроток, предан, такое обожание выдавали его

небольшие глаза, какое бывает у людей самолюбивых и уединенных. И Машуре с ним казалось легко. «Этот не выдаст,—думала она.—Весь действительно мой». Она улыбалась. Но незаметно—в сердце оставалась царапина—недоговоренное слово, мысль невысказанная.

Раз в разговоре, при ней, Наталья Григорьевна назвала одного знакомого, служившего в банке:

— Отличный человек. Типа, знаете ли, семьянина, абсолютного мужа.

Она даже засмеялась, довольная, что нашла слово.

— Именно, это абсолютный муж.

Хотя к Антону эти слова не относились, все же Машуре почему-то были неприятны. «Какие глупости,—говорила она себе.—Разве Антон в чем-нибудь похож на этого банковского чиновника? Абсолютный муж!» Но и самой ей казалось странным, что об Антоне она мало думает. Когда он приходит, это приятно, даже ей скучно, если его нет. Все же... Не совсем то.

Однажды возвращаясь с ним по переулку, морозной ночью, Машура вдруг спросила:

— Это какая звезда?

Антон поднял голову, посмотрел, ответил:

— Не знаю.

— Да, ты не любишь...

Машура не договорила, но почему-то смутилась, ей стало даже немного неприятно. Антон тоже почувствовал это.

— Не все ли равно, как называется эта или та звезда?—сказал он недовольно.—Кому от этого польза?

«Не польза, а хочу, чтобы знал»,—подумала Машура, но ничего не сказала. А час спустя, раздеваясь и ложась спать, с улыбкой и каким-то острым трепетом вспомнила ту ночь, под Звенигородом, когда они стояли с Христофоровым в парке, у калитки, и рассматривали звезду Вегу. «Почему он назвал ее тогда *своей* звездой? Так ведь и не сказал. Ах, странный человек Алексей Петрович!»

Через несколько дней, незадолго до Рождества, Машура медленно шла утром к Знаменке. Из Александровского училища шеренгой выходили юнкера с папками, строились, зябко подрагивая ногами, собираясь в Дорогомилово, на съемку. Машура обогнула угол каменного их здания и мимо Знаменской церкви, глядевшей в окна мерзнущих юнкеров, направилась в переулок. Было тихо, слегка туманно. Галки орали на деревьях. Со двора училища свозили снег; медленно

брел старенький артиллерийский генерал, подняв воротник, шмурыгая закованными калошами. Машура взяла налево в ворота, к роскошному особняку, где за зеркальными стеклами жили картины. Ей казалось, что этот день как-то особенно чист и мил, что он таит то нежно-интересное, что и есть прелесть жизни. И она с сочувствием смотрела на галок, на запушенные снегом деревья, на проезжавшего рысцой московского извозчика в синем кафтане с красным кушаком.

Теплом, светом пахнуло на нее в вестибюле, где раздевались какие-то барышни. Сверху спускался молодой человек в блузе, с длинными волосами à la Теофиль Готье, с курчавой бородкой: вне сомнения, будущий Ван-Гог.

По залам бродили посетители трех сортов: снова художники, снова барышни и скромные стада экскурсантов, покорно внимавших объяснениям. Машура ходила довольно долго. Ей нравилось, что она одна, вне давления вкусов; она внимательно рассматривала туманно-дымный Лондон, яркоцветного Матисса, от которого гостиная становится светлей, желтую пестроту Ван-Гога, примитив Гогена. В одном углу, перед арлекином Сезанна, седой старик в пенсне, с московским выговором, говорил группе окружавших:

— Сезанн-с, это после всего прочего, как, например, господина Монэ, все равно что после сахара а-ржаной хлебец-с...

Тут Машура вдруг почувствовала, что краснеет: к ней подходил Христофоров, слегка покручивая ус. Он тоже покраснел, неизвестно почему. Машуре стало на себя досадно. «Да что он мне, правда?» Она холодно подала ему руку.

— А я,— сказал он смущенно,— все собираюсь к вам зайти.

— Разве это так трудно? — сказала Машура. Что-то кольнуло ей в сердце. Почти неприятно было, что его встретила — или казалось, что неприятно.

— Меня стесняет, что у вас всегда народ, гости...

«Вы предпочитаете tête-à-tête, как в Звенигороде,— подумала Машура.— Чтобы загадочно смотреть и вздыхать!»

Пройдя еще две залы, попали они в комнату Пикассо, сплошь занятую его картинами, где из ромбов и треугольников слагались лица, туловища, группы.

Старик — предводитель экскурсантов снял пенсне и, помахивая им, говорил:

— Моя последняя любовь, да, Пикассо-с... Когда его в Париже мне показывали, так я думал — или все с

ума сошли, или я одурел. Так глаза и рвет, как ножичком чикает-с. Или по битому стеклу босиком гуляешь...

Экскурсанты весело загудели. Старик, видимо не впервые говоривший это и знавший свои эффекты, выждал и продолжал:

— Но теперь-с ничего-с... Даже напротив, мне после битого стекла все мармеладом остальное кажется... Так что и этот портретец,— он указал на груду набегавших друг на друга треугольников, от которых правда рябило в глазах,— этот портретец я считаю почище Монны Лизы-с, знаменитого Леонардо.

— А правда,— спросил кто-то неуверенно,— что Пикассо этот сошел с ума?

Машура вздохнула.

— Может быть, я ничего не понимаю,— сказала она Христофорову,— но от этих штук у меня заболит голова.

— Пойдемте,— сказал Христофоров,— тут очень душно.

Его голубые, обычно ясные глаза правда казались сейчас утомленными.

Спустившись, выйдя на улицу, Христофоров вздохнул.

— Нет, не принимаю я Пикассо. Бог с ним. Вот этот серенький день, снег, Москву, церковь Знамения — принимаю, люблю, а треугольники — Бог с ними.

Он глядел на Машуру открыто. Почти восторг светился теперь в его глазах.

— Я вас принимаю и люблю,— вдруг сказал он.

Это вышло так неожиданно, что Машура засмеялась.

— Это почему ж?

Они остановились на тротуаре Знаменского переулка.

— Вас потому,— сказал он просто и убежденно,— что вы лучше, еще лучше Москвы и церкви Знамения. Вы очень хороши,— повторил он еще убедительнее и взял ее за руку так ясно, будто бесспорно она ему принадлежала.

Машура смутилась и смеялась. Но ее холодность вся сбежала. Она не знала, что сказать.

— Ну, идем... Ну, эта церковь, и объяснения на улице... Я прямо не знаю... Вы какой странный, Алексей Петрович.

На углу Поварской и Арбата, прощаясь с ней, он поцеловал ей руку и сказал, глядя голубыми глазами:

— Отчего вы ко мне никогда не зайдете? Мне

иногда кажется, что вы на меня сердитесь... Но, право, не за что. Кому-кому,— прибавил он,— но не вам.

Машура кивнула приветливо и сказала, что зайдет.

Она шла по Поварской, слегка шмурыгая ботиками. Что-то веселое и острое овладело ею. «Ну, каков Алексей Петрович! Вы очень хороши, лучше Москвы и церкви Знамения!» Она улыбнулась.

Дома все было как обычно. В зале стояла елка, которую Наталья Григорьевна готовила ко второму дню Рождества, для детей и взрослых. Пахло свежей хвоей, серебряные рыбки болтались на ветвях. Машура поднялась к себе наверх. В комнатах ее тепло, светло и чисто, все на своих местах, уютно и культурно. Она молода, все интересно, неплохо... Машура села в кресло, заложила руки за голову, потянулась. В глазах прошли цветные круги. «Ах, все бы хорошо, отлично, если б... Господи, что же это такое? А?» — Стало жутко почему-то, даже страшно.— Что же, я врала Антону? Ну, зачем, зачем... — Острое чувство тревоги и тоски наполнило ее.— Почему все так выходит? Разве я...» Все смешалось в ней, то ясное, утреннее ушло и сменилось сумбуром. Кто такой Христофоров? Как он к ней относится? Что значат его отрывочные, то восторженные, то непонятные, слова? Может быть, все это — одна игра? И как же с Антоном? На нее нашли сомнения, колебания. Она расстроилась. Даже слезы выступили на глазах.

Завтракала она хмурая, в сумерках села к роялю, разбирая вещицу Скрябина, которую слышала в концерте. Но там было одно, здесь же выходило по-другому.

Пришел Антон. Слегка сутулясь, как обычно, он подал ей холодную от мороза руку и сказал:

— Это Шопен? Помню, слышал. Только ты замедляешь темп.

— Вовсе не Шопен,— сухо ответила Машура.

«Он уверен, что все знает, и музыку, и искусство,— подумала она недружелюбно,— удивительное самомнение!»

— Да, значит, я ошибся,— сказал Антон, покраснев,— во всяком случае, темп ты чрезмерно замедляешь.

Машура взглянула на него.

— Я просто плохо читаю ноты.

Он ничего не ответил, но чувствовалось, что остался недоволен.

— Я была нынче в галерее,— сказала Машура, кончив и обернувшись к нему.

— Не знал. Я бы тоже пошел. Отчего ты мне не сказала?

— Просто встала утром и решила, что пойду.

В пять часов они пили чай одни — Наталья Григорьевна уезжала в комитет детских приютов, где работала. Отрезая себе кусок soupe anglaise, Антон сказал, что, по его мнению, все эти кубисты, футуристы, Пикассо — просто чепуха и смотреть их ходят те, кому нечего делать. Машура возразила, что Пикассо вовсе не чепуха, что в галерею ходит много художников и понимающих в искусстве. Например, там встретила она Христофорова.

— Христофоров понимает столько же в живописи, сколько Наталья Григорьевна в литературе,— вспыхнув, ответил Антон.

Машура рассердилась.

— Мама в десять раз образованнее тебя, а ругать моих знакомых — твоя обычная манера.

Антон заволновался. Он ответил, что в этом доме ему давно тесно и душно, что, если бы не любовь к Машуре, он бы здесь никогда не бывал, ибо ненавидит барство, весь барственный склад и действительно не любит их знакомых.

В его тоне было задевающее. Машура обиделась, ушла наверх. Но Антон погружался в то состояние нервного возбуждения, когда нельзя остановиться на полуслове, когда нужно говорить, изводить, чтобы потом в слезах и поцелуях помириться или же резко разойтись. В ее комнате стал он доказывать, что не уверен, любит ли она его по-настоящему, и, во всяком случае, если любит, то очень странно.

Машура сказала, что ничего странного нет, если она случайно встретила Христофорова. Разговор был длинный, тяжелый. Антон накалялся и к концу заявил, что теперь он видит,— во всяком случае Машура дитя своего общества, которое ему ненавистно и где, видимо, иные понятия о любви, чем у него. Тогда она сказала, что Христофоров звал ее к себе и что она пойдет.

— Это гадость, понимаешь, мерзость! — закричал Антон.— Ты делаешь это нарочно, чтобы меня злить.

Он ушел взбешенный, хлопнув дверью. Машура плакала в этот вечер, но какое-то упрямство все сильнее овладевало ею. «Захочу,— твердила она себе, лежа в темноте, в слезах на кушетке,— и пойду. Никто мне не смеет запрещать».

Вернувшись домой, Наталья Григорьевна осталась недовольна. По одному виду Машуры и тому, что был

Антон, она поняла, в чем дело. Эти сердечные столкновения весьма ей не нравились. Со своим покойным мужем она прожила порядочно, как надлежит культурным людям, без всяких слез и сумасбродств. И считала, что так и надо.

На другой день с утра заставила Машуру заняться елкой, распределять подарки, посылала прикупить, чего нужно,— то к Сиу, то к Эйнем. Машура машинально исполняла; в этих мелких делах чувствовала она себя лучше.

Как в хорошем, старом доме, Рождество у Вернадских проходило по точному ритуалу: на первый день являлись священники, пели «Рождество Твое, Христе Боже наш»; Наталья Григорьевна кормила их окороком, угощала наливками, мадерами и теми неопределенно-любезными разговорами, какие обычно ведутся в таких случаях. Она не была поклонницей этих vieux religieux, но считала, что обряды исполнять следует, ибо они — часть культурной основы общежития.

Потом приезжали с бесконечными визитами разные дамы, какие-то старики, подкатывали лицеисты в треуголках, шаркали, целовали ручку и ели торты. Весь день приходили поздравлять с черного хода. Наталья Григорьевна заранее наменивала мелочи.

В этом году все протекало в обычном порядке; как обычно, Машура очень устала к концу первого дня. Как всегда, много было народу и детей на второй день, на елке; было так же парадно и скучновато, как полагается на елках взрослых. Профессор, друг Ковалевского, длинно рассказывал, глотая кофе, что обычай празднования Рождества восходит к глубокой древности, дохристианской. Его прообраз можно найти в римских Сатурналиях, где также дарили друг другу свечи, орехи, игрушки.

Антон не пришел; он не явился и на следующий день и не звонил. Подошел новый год. Машура чокнулась шампанским с матерью, а Антона будто и не было. «Что-то будет в этом году!» — думала она, засыпая после встречи. Чувствовала себя одиноко, то хотелось плакать, то, напротив, сердце останавливалось в истоме и нежности.

И не очень долго раздумывая, вдруг в один морозный, святочный вечер надела она меховую кофточку, взяла муфту и, ничего не сказав матери, по скрипучему снегу побежала к Христофорову.

XII

Христофоров был дома. В его мансарде горела на столе зеленая лампа. Окна заледенели; месяц, еще не полный, золотил их хитрыми узорами. А хозяин, куря и прихлебывая чай, раскладывал пасьянс. Он был задумчив, медленно вынимал по карте и рассматривал, куда ее класть. Валеты следовали за тузами, короли за тройками, в царстве карт был новый мир, отвлеченнее, безмолвней нашего. Всегда важны короли, одинаковы улыбки дам, неподвижно держат свои секиры валеты. Они слагались в таких сложных сочетаниях! Их печальная смена и бесконечность смен говорили о вечном круговороте.

«Говорят,— думал Христофоров,— что пиковая дама некогда была портретом Жанны д'Арк». Это его удивляло. Он находил, что дама червей напоминает юношескую его любовь, давно ушедшую из жизни. И каждый раз, как она выходила, жалость и сочувствие пронзали его сердце.

Он удивлен был легкими шагами, раздавшимися на лесенке, отворилась дверь — тоненькая, зарумянившаяся от мороза, с инеем на ресницах, стояла Машура.

Он быстро поднялся.

— Вот это кто! Как неожиданно!

Машура засмеялась, но слегка смущенно.

— Вы же сами меня приглашали.

— Ну, конечно, все-таки...— Он тоже улыбнулся и прибавил тише:— Я, правду говоря, не думал, что вы придете. Во всяком случае, я очень рад.

— Я была здесь,— говорила Машура, снимая шубку и кладя ее на лежанку,— только раз, весной. Но вас тогда не застала. И оставила еще черемуху... Что это вы делаете?— сказала она, подходя к столу.— Боже мой, неужели пасьянс?

Она захохотала.

— Это у меня тетка есть такая, старуха, княгиня Волконская. У ней полон дом собачонок, и она эти пасьянсы раскладывает.

Христофоров пожал плечами виновато.

— Что поделать! Пусть уж я буду похож на тетку Волконскую.

— Фу, нет, нисколько не похожи.

Христофоров сходил за чашечкой, налил Машуре чаю. Достал даже конфет.

— Вы дорогая гостья, редкая,— говорил он.— Знал бы, что вы придете, устроил бы пир.

Какая-то тень прошла по лицу Машуры.

— Я и сама не знала, приду или нет.

Христофоров посмотрел на нее внимательно.

— Вы как будто взволнованы.

— Вот что,— сказала вдруг живо Машура,— нынче святки, самое такое время, к тому же вы чернокнижник... наверное умеете гадать. Погадайте мне!

— Я все-таки не цыганка! — сказал он и засмеялся. Его голубые глаза нежно заблестели.

Но Машура настаивала. Все смеясь, он стал раскладывать карты по три, подражая старинным гаданиям, и, припоминая значение карт, рассказывал длинную ахинею, где были, разумеется, червонная дорога, интерес в казенном доме, для сердца — радость.

— Вам завидует бубновая дама,— сказал Христофоров и разложил следующую тройку.— Любит вас король треф, а на сердце, да... король червей.

— Это — блондин? — спросила Машура.

Христофоров взглянул на нее загадочно. Она не поняла, всерьез это или шутка.

— Да, блондин. Как я.

Он вдруг смутился, положил колоду, взял Машуру за руку.

— Это неправда,— сказал он,— у червонного короля на сердце милая королева, приходящая святочным вечером, при луне.

Он поцеловал ей руку.

— Или, может быть, снежная фея, лунное виденье.

Машура побледнела и немного откинулась на стуле.

— Может быть, вы исчезнете сейчас, растаете, как внезапно появились,— вдруг сказал Христофоров, тревожно, тихо и почти с жалобой. Голубые глаза его расширились. Машура смотрела. Странное что-то показалось ей в них.

— Вы безумный,— тихо сказала она.— Я давно заметила. Но это хорошо.

Христофоров потер себе немного лоб.

— Нет, ничего... Вы — конечно, это вы, но и не вы.

Они сели на диванчик. Машура положила ему голову на плечо и закрыла глаза. Было тепло, сверчок потрескивал за лежанкой, из окна, золотя ледяные разводы на стекле, ложился лунный свет. Машура ощущала — странная нега, как милый сон, сходила на нее. Все это было немного чудесно.

Христофоров гладил ей руку и изредка целовал в висок.

— Почему мне с вами так хорошо? — шепнула Машура.— Я невеста другого, и почему-то я здесь. Ах, Боже мой!

— Пусть идет все как надо,— ответил Христофоров.

Он вдруг задумался и засмотрелся на нее долго, пристально.

— А?— спросила Машура.

— Вы пришли в мою комнату, Машура, в пустую комнату... И уйдете. Комната останется как прежде. Я останусь. Без вас.

Машура слегка приподнялась.

— Да, но вы... кто же вы, Алексей Петрович? Ведь я этого не знаю. Ничего не знаю.

— Я,— ответил он,— Христофоров, Алексей Петрович Христофоров.

— Все равно, я же должна знать, как вы, что вы... Ах, ну вы же понимаете, что вы мне дороги, а сами всегда говорите... я не понимаю...

Она взяла его за плечи и прямо, упорно посмотрела в глаза.

— Вы мое наваждение. Но я ничего, ничего не понимаю.

Она вдруг закрыла лицо руками и заплакала.

— Прелестная,— шептал Христофоров,— прелестная.

Через несколько минут она успокоилась, вздохнула, отерла глаза платочком.

— Это все сумасшествие, просто полоумие глупой девчонки... Мы друзья, вы славный, милый Алексей Петрович, я ни на что не претендую.

Они сидели молча. Наконец Машура встала.

— Дайте мне шубку. Выйдем. Мне хочется воздуха.

Христофоров покорно одел ее, сам оделся. Машура была бледна, тиха. Когда задул он лампу, в голубоватой мгле блеснули на него влажные, светящиеся глаза.

Они вышли. Тень от дома синела на снегу. Христофоров взял Машуру под руку, свел с крыльца и сказал:

— Тут у нас есть садик. Хотите взглянуть?

Отворили калитку и вошли в тот небольшой, занесенный снегом уголок кустов, деревьев, дорожек, какие попадаются еще в Москве. В глубине виднелась даже плетеная беседка, обвитая замерзшим, сухим хмелем. Они сели на скамейку.

— Здесь видны ваши любимые звезды,— Машура не подымала головы.

С деревьев на бархала рукава слетали зеленовато-золотистые снежинки. Все полно было тихого сверкания, голубых теней.

— Прямо над домом, вон там,— сказал Христофоров, указывая рукой,— голубая звезда Вега, альфа созвездия Лиры. Она идет к закату.

— Помните,— произнесла Машура,— ту ночь, под Звенигородом, когда мы смотрели тоже на эту звезду и вы сказали, что она ваша, но почему ваша — не ответили.

— Я тогда не мог ответить,— сказал Христофоров,— еще не мог ответить.

— А теперь?

— Теперь,— выговорил он тихо,— время уже другое. Я могу вам сказать.

Он помолчал.

— У меня есть вера, быть может, и странная для другого: что эта звезда — моя звезда-покровительница. Я под нею родился. Я ее знаю и люблю. Когда ее вижу, то спокоен. Я замечаю ее *первой,* лишь взгляну на небо. Для меня она — красота, истина, божество. Кроме того, она женщина. И посылает мне свет любви.

Машура закрыла глаза.

— Вот что! Я так и думала.

— В вас,— продолжал Христофоров,— часть ее сиянья. Потому вы мне родная. Потому я это и говорю.

— Погодите,— сказала Машура, все не открывая глаз, и взяла его за руку.— Помолчите минуту... именно надо помолчать, я сейчас...

Где-то на улице скрипели полозья. Слышно было, как снег хрустел под ногами прохожих. Доносились голоса. Но все это казалось отзвуком другого мира. Здесь же, в алмазной игре снега, его тихом и непрерывном сверкании, в таинственном золоте луны, снежных одеждах дерев было, правда, наваждение.

Машура медленно поднялась.

— Я начинаю понимать,— сказала она тихо.

Она открыла глаза, взгляд ее вначале напоминал лунатика. Понемногу он прояснился. Она опустила плечи, взялась рукой за спинку скамейки.

— Вот теперь будто бы яснее.

Она еще помолчала.

— Знаете, мне иногда казалось, что вас забавляет играть... игра в любовь, что ли. В постоянном затрагивании и ускользании... для вас какая-то прелесть. Может быть, жизнь изучаете, что ли, женщину... И я бывала даже оскорблена. Я вас временами не любила.

Христофоров подался вперед, сидел неподвижно, глядя на нее.

— Вдруг, именно теперь, в этот вечер, я поняла, что не права.

Она остановилась, как бы захлебнувшись. И продолжала:

— Вы, может быть, меня и любите...

Христофоров нагнул голову.

— Но вы вообще очень странный человек... возможно, я еще мало жила, но я не видела таких. И именно в эти минуты я поняла, что ваша любовь, как ко мне, так и к этой звезде Веге... ну, это ваш поэтический экстаз, что ли...— Она улыбнулась сквозь слезы.— Это сон какой-то, фантазия, и, может быть, очень искренняя, но это... это не то, что в жизни называют любовью.

— А почему вы думаете,— произнес Христофоров,— что эта любовь хуже?

Машура ступила на шаг вперед.

— Я этого не говорю,— прошептала она. Потом вздохнула.— Может быть, это даже лучше.

— Нет,— сказал Христофоров.— Я вами не играл. Но любовь правда удивительна. И неизвестно, не есть ли еще это настоящая жизнь, а то, в чем прозябают люди, сообща ведущие хозяйство,— то, может быть, неправда... А?

Он спросил с такой простотой и убежденностью, что Машура улыбнулась.

— Вы правы,— сказала она и подала ему руку.— Я, кажется, за этот вечер стала взрослей и старше, чем за много месяцев.

Она провела рукой по глазам.

— Я буду помнить этот странный садик, луну, свою влюбленность... Да, во мне есть, вернее, была влюбленность... я не стыжусь этого сказать. Напротив...

Она направилась к выходу. Христофоров встал. Она вынула часики, взглянула и сказала, что пора домой.

Христофоров проводил ее. Почти у подъезда дома Вернадских встретили они Антона. Он, сутулясь, быстро и решительно шел навстречу. Увидав, поклонился, как малознакомый, и перешел на другую сторону.

Ночью Машура плакала у себя в постели. На Молчановке Христофоров, не раздеваясь, долго лежал на том самом диванчике, где она сидела. Сердце его раздиралось нежной и мучительной грустью.

XIII

Святки в Москве были шумные, как и весь тот год. Гремели кабаре, полгорода съезжалось смотреть танго,— подкрашенные юноши и дамы извивались перед зрителями, вызывая волнение и острую, щемящую тоску. Меценаты устраивали домашние спектакли. В них отличались музыканты, художники, поэты, воспро-

изводя Венецию галантного века. Много было балов. Шли новые пьесы, открывались выставки, клубы работали. Морозной ночью летали тройки и голубки к Яру.

Именно в это время бойкая Фанни, вместе с другими дамами и мужчинами, выдумала устроить маскарад. Собирали деньги, нанимали помещение, музыку; художники писали декорации; дамы шили платья, готовили список приглашенных.

Ретизанов попал туда. Утром приехала к нему Фанни, вручила билет и взяла пятьдесят рублей.

Ретизанов улыбался, глядя на нее.

— Какая вы... быстрая,— сказал он.— Вы ведь меня почти не знаете...

— И тем не менее, вломилась и обобрала? Вас, ангел мой, во-первых, вся Москва знает, второе — вы со средствами, что вам пятьдесят рублей?

— Позвольте,— перебил Ретизанов,— а это интересно? Да, и Лабунская будет танцевать?

Фанни уверила, что сама Вера Сергеевна обещала быть, несравненная, очаровательная.

— Ах, Вера Сергеевна... Нашли кого с Лабунской равнять.

Фанни засмеялась.

— Дело вкуса, голубчик. Не настаиваю.

Уже в передней, подавая ей одеться, Ретизанов сказал:

— Неужели вы серьезно думали привлечь меня этой... Верой Сергеевной?

Фанни хлопнула его слегка муфтой и вышла.

— Вы чудак, ангелочек. Всегдашний чудак. А мне еще в тысячу мест.

И она захлопнула дверь. Ретизанов же пошел пить кофе. Читал газеты и раздражался — ему казалось, что они созданы для опошления жизни. Ничто порядочное не может появиться в них.

В это утро ему пришла мысль о том, что следовало бы заключить союз творцов и людей высшей породы, тайный союз вроде масонского, для охранения духовной культуры, общения между собой и попыток коллективного, но строго аристократического решения дел искусства, философии, поэзии. Мысль его воодушевила. Он бросил кофе, отправился в кабинет, долго ходил из угла в угол, пощелкивая пальцами, бормоча, потом пошел в спальню, для совещания с гениями. Его кровать отделялась занавесью. Он просунул голову между ее складками, погрузил глаза в полумглу, потом закрыл их. Некоторое время молчал, затем, уже против его воли, мозг зашептал бессмысленные слова, пока не

стало казаться, что ни его, ни комнаты нет, все слилось в одно смутное пятно. Гении ответили. Они шептали, слабо и нежно, в оба уха. Он улыбался, кивал. Когда узнал, что нужно и они перестали, он отошел, бледный и усталый, сел на диван и отер лоб. Гении одобрили его. Они сообщили также, что завтра возвращается из Петербурга Лабунская.

В два часа он завтракал, один, в Праге, задумчивый и рассеянный. Когда подали бутылку мозельвейна и он налил вино в зеленоватый бокал, вдруг появился Никодимов.

— Ах, это вы...

Ретизанов даже вздрогнул.

— Ну, присядьте...

— Что вы на меня так смотрите?—спросил Никодимов, холодновато улыбаясь.—Я не кусаюсь.

Ретизанов смутился.

— Нет, ничего. Я вас не боюсь.

Никодимов спросил, пригласили ли его на маскарад.

— Пригласили... А вы откуда знаете, что все это... что это будет?

Никодимов имел нездоровый вид и слегка подрагивал глазом.

— Я знаю потому, что меня именно не пригласили. Всех моих знакомых пригласили, но не меня.

Ретизанов спросил простодушно:

— Почему же не вас? Это странно.

Никодимов ответил не сразу.

— Потому,—сказал он наконец,—что я Никодимов, Дмитрий Павлыч Никодимов. Но я все равно приду.

— Дмитрий Павлыч Никодимов...—протянул Ретизанов.—Как странно... Да, а знаете,—вдруг добавил он задумчиво,—когда вы подошли, мне на минуту стало жутко... Я ощутил... какую-то мертвенную тень на сердце. Будто что-то неживое.

Никодимов поднялся.

— Довольно,—сказал он.—Мне, знаете, все это надоело. Мертвенная или живая тень, мне все равно. Я пока все же человек, а не фигура.

Ретизанов привстал.

— Нет, да я не хотел вас обидеть.

Но Никодимов повернулся и отошел в дальний угол. Там сел один за столик и потребовал водки. Ретизанов же остался в смущении и некоторой тревоге. Что-то его угнетало. Кончив обед, расплатился. На сердце у него было тоскливо. Хотелось какой-то музыки.

Выйдя на Арбат, он взял налево, пересек площадь и мимо хмурого Гоголя пошел Пречистенским бульваром.

Навстречу бежали гимназистки и хохотали. В тире Военного училища, за стеной, шла стрельба. Дети играли у эстрады. На деревьях гомозилось воронье, устраиваясь на ночь; зажигались желтые фонари, да летел снежок, бил в лицо. Чувство глубокой призрачности охватило Ретизанова. Вдруг ему показалось — стоит ветру дунуть, все развеется, как и он сам. Он остановился...

— Может быть, ничего этого и вовсе нет? — спросил он вслух. Дети шарахнулись от высокого, худого, седоватого господина, говорившего с самим собой. Было уже темно, когда он поднялся наверх. У себя он застал Христофорова — в кабинете, в кресле, у камина.

— Камин уже топился,— сказал Христофоров, улыбаясь,— когда я пришел. Я принес вам книжки, которые брал еще до Рождества. И говоря правду — озяб. Потому и сел погреться.

— Вы как будто извиняетесь,— сказал Ретизанов.— Черт знает! Вы должны были заказать себе кофе или еще что вздумается... Но вы вообще очень скромный человек... Когда я вас вижу, мне кажется, что вы хотите стать боком, в тень, чтобы вас не видели.

— Ну, может быть, я вовсе не так скромен, как вы думаете,— ответил Христофоров.

Ретизанов велел подать кофе.

— Вы действуете на меня хорошо,— сказал он.— В вас есть что-то бледно-зеленоватое... Да, в вас весеннее есть. Когда к маю березки... оделись. Говорят, вы любитель звезд?

— Да, люблю.

— В звездах я ничего не понимаю, но небо чувствую и вечность.

Он помолчал, потом вдруг заговорил с жаром:

— Я очень хорошо понимаю вечность, которая глотает всех нас, как букашек... как букашек. Но вечность есть для меня и любовь, в одно и то же время. Или, вернее — любовь есть вечность...

Ретизанов выпил чашку кофе, совсем разволновался. Он нападал на будничность, серое прозябанье, на само время, на трехмерный наш мир и полагал, что истина и величие — лишь в мире четырех измерений, где нет времени и который так относится к нашему, как наш — к миру какой-нибудь улитки.

— Время есть четвертое измерение пространства,— кричал он.— И оно висит на нас, как ветхие, как тяжелые одежды. Когда мы его сбросим, то станем полубогами и одновременно будем видеть события прошлого и будущего — что сейчас мы воспринимаем в

последовательности, которую и называем временем. Впрочем, вы понимаете меня.

Христофоров сидел, молчал и курил. Ему нравилось золотое пламя, беспрерывный, легкий его танец, но с самого того вечера, как Машура приходила к нему, его не покидало чувство острой, разъедающей тоски. Машура жила все тут же, на Поварской. Но у него было ощущение, что она где-то бесконечно далеко. Неужели он подойдет, позвонит у подъезда и взойдет в ее светелку, где она читает или шьет? Это казалось ему невозможным.

Ретизанов наконец умолк. Молча он смотрел в камин, потом вдруг обернулся к Христофорову.

— Вы о чем-то думаете, своем,— сказал он.— Ха! Я волнуюсь, а вы погружены в мысли и как будто печальны.

— Нет,— ответил Христофоров.— Я ничего.

Ретизанов взял щипцы и помешал в камине.

— Печаль, во всяком случае, украшает мир. Он становится не так плосок. Быть может, душа стремится за пределы, одолеть которые дано лишь мудрым.

Он вдруг засмеялся.

— Слушайте, совсем про другое. Хотите идти со мной в маскарад... Такой художественно-поэтический маскарад на днях.

Христофоров вздохнул и улыбнулся.

— Я получил приглашение. Но, во-первых, у меня нет костюма.

— Можно просто во фраке.

Христофоров встал, подошел к нему и, положив руку на плечо, сказал тихо, со смехом:

— Но у меня, дорогой мой хозяин, именно нет фрака.

Ретизанов удивился:

— Да... фрака! Так вы говорите, что у вас нет фрака?

Христофоров, все так же смеясь, уверил его, что не только фрака нет, но и никогда не было.

— Да, и не было...— проговорил Ретизанов с той же задумчивостью и как бы серьезностью, с какой мог говорить о четырехмерном мире.— Ну, если и не было...— вдруг он хлопнул рукой по столу.— Если не было, так возьмите мой!

Христофоров, все улыбаясь, начал было его отговаривать. Но Ретизанов заявил, что если все дело во фраке, он обязательно дает свой, старый, но вполне приличный.

— Позвольте,— кричал он уж у себя в спальне,

снимая с вешалки фрак с муаровыми отворотами, на почтенной шелковой подкладке,— если вы не можете идти, потому что не во что одеться, а какой-нибудь Никодимов, игрок, дрянь, будет... Нет, это уж черт знает что!

Фрак оказался впору. Но Ретизанов так увлекся, что заставил мерить жилет и брюки.

— Послушайте,— сказал он горячо,— я очень вас прошу: наденьте все, здесь фрачная сорочка, галстук, бальные туфли.

Христофоров изумился:

— Зачем?! Для чего же...

— Я хочу поглядеть вас, в параде... Нет, пожалуйста... Вы, может быть, будете другой... Я выйду, вы оденьтесь, приходите в кабинет.

Как ни странно было, Христофоров исполнил просьбу. Когда он повязал белый галстук, оправился перед зеркалом, то и ему самому стало странно: правда, показался он как-то иным, тоньше, наряднее, будто свадебное нечто, торжественное появилось в нем.

«Вот и маскарад,— думал он с горечью и странной нежностью, идя в кабинет.— Вот уж и я — не я!»

— Принц и нищий,— сказал он с улыбкой Ретизанову, войдя в кабинет.

Ретизанов одобрил.

Сговорились так, что в день маскарада, к одиннадцати, Христофоров зайдет к нему и вместе они поедут.

Уже в передней, провожая его, Ретизанов впал в задумчивость.

— А скажите, пожалуйста,— вдруг спросил он,— что, по-вашему, за человек Никодимов?

— Я не знаю,— ответил Христофоров.

Через минуту прибавил:

— По-моему — тяжелый.

— А по-вашему, он на многое способен?

Христофоров несколько удивился.

— Почему вы... так спрашиваете?

— Нет, нипочему. Я его нынче встретил. Вы знаете, что он мне сказал? Что непременно будет на этом маскараде, хотя его и не звали. Нет, невыносимый человек. Я его ощутил сегодня знаете как? Мертвенно. По-вашему, он зачем туда идет?

Христофоров ничего не мог сказать. Ему подали лифт, он поехал вниз плавно и вдруг тоже вспомнил Никодимова, как спускались они утром, летом, в этом же лифте. «А действительно, тяжелый человек»,— подумал он. Вспомнил, как боялся Никодимов лифта. Ему стало даже жаль его.

XIV

Через несколько дней, в назначенное время, Христофоров вновь входил в знакомую квартиру. Ретизанов брился. Он был повязан салфеткой, одна щека гладкая, чуть синеватая, другая вся в мыле. Он оставил острую бородку — лицо его стало еще бледней и худей. Увидев Христофорова, кивнул, улыбнулся с тем жалким видом, какой имеют бреющиеся люди.

— Как по-вашему,— спросил он, стараясь не порезаться,— ничего, что я бородку оставил? Или сбрить?

На него напала нервная нерешительность. Сбрить или не сбрить? Он омыл лицо одеколоном, попудрил так, что большие синие глаза еще лучше оттенялись на белизне, и все колебался.

— Нет, не брить,— тихо сказал Христофоров.

— Так вы думаете — оставить... А знаете...— он вдруг захохотал,— я сегодня, по морозу, ходил мимо дома, где живет Лабунская, и выбирал момент, когда народу меньше. Осмотрюсь и сниму шапку, иду непокрытый. Это было страшно радостно. Вы меня понимаете?

Он вынимал уже обмундировку Христофорова. Слегка стесняясь, тот стал переодеваться. Он был в несколько подавленном настроении — и безучастен. «Хорошо,— думал он, глядя на своего двойника в зеркале и застегивая запонку крахмальной рубашки,— пускай маскарад или что угодно. Что угодно».

— А вдруг,— говорил в это время Ретизанов, повязывая галстук,— я приеду и не узнаю там Лабунской? Черт... все в масках и костюмах... Это может случиться?

— Вы почувствуете ее,— ответил Христофоров.

— Почувствую... я ее чувствую; когда она в Петербурге... Но вдруг нападет слепота... Понимаете, духовная слепота...

В двенадцать были они готовы. Ретизанов надел на гостя шубу, они вышли. Наняли на углу *резвого,* запахнулись полостью и покатили. Рысак, правда, шел резко, но сбивался; снег скрипел; Москва была уже пустынна; по небу, освещенные снизу, летели белые облака, и провалы между ними казались темны. Закутавшись, Христофоров глядел вверх, как в этих глубинах, темно-синих, являлись золотые звезды, вновь пропадали под облаками, вновь выныривали. Привычный взор тотчас заметил Вегу. Она восходила. Часто заслоняли ее дома, но всегда он ее чувствовал.

У большого особняка, на Садовой, сиял молочный

электрический фонарь. Подкатывали извозчики. Вылезали закутанные дамы, мужчины, хлопала дверь. В передней надевали маски. Тут висел голубой фонарь. Из-под шуб, ротонд, саков появлялись испанцы, турки, арлекины, бабы, фавны и менады. Два негра в цилиндрах, в красных фраках отбирали билеты — у входа, декорированного под ущелье. За ущельем шел коридор, драпированный шалями. Здесь, проходя мимо зеркал, где оправляла прическу маленькая венецианка на деревянных башмачках, в черной шали, с розами в смоляных волосах, мельком увидел Христофоров две тени, во фраках, шелковых масочках и безукоризненных манишках. Снова не совсем он узнал себя. Снова подумал — может, так и нужно, если маскарад. И чем дальше шел, тем больше нравилось быть под маской. Точно лоскуток шелка, с бархатной оправой для глаз, становился для него приютом в долгом и пустынном пути; точно из-под его защиты виднее было происходящее и отдаленней; и еще менее участвовал он сам в пестром гомоне карнавала.

Как всегда, первое время был холодок: не все еще съехались, не все узнали друг друга, не разошлись. Маски бродили группами и поодиночке, рассматривали гостиные — увешанные коврами, расписанные удивительными зверями и фигурами, небесным сводом в звездах, магическими знаками. Была комната китайских драконов. Были, конечно, гроты любви. В большой зале началась музыка и танцы. В комнате через коридор, отделанной под нюрнбергский кабачок, за прилавком откупоривали бутылки; цедили пиво из бочки. На стенах кое-где надписи: «Все равны», «Все знакомы», «Прочь мораль».

К двум часам съезд определился. Больше толпились, хохотали, танцевали. Легкая маска, тоненькая, в восточных шальварах и фате, быстро подхватила Христофорова, склонила голову — серые, будто знакомые и незнакомые глаза взглянули на него, будто знакомый голос шепнул:

— Он ходит, он ждет. Но напрасно, напрасно...

И убежала на резвых ногах, замешалась в толпе менад, окружавших розового Вакха, с тирсом, в виноградных лозах.

— Это кто была, по-вашему? — беспокойно спросил Ретизанов.— Что она вам сказала? Нет, куда она делась?

И он бросился искать восточную девушку.

Христофоров же пошел дальше, все так же медленно. «Лабунская? — думал он.— Да, наверно»... Но его

мысли были далеко. Он прошел мимо двери, пред которой на минуту остановился. Вся она закрывалась материями, лишь внизу оставлено отверстие, куда можно пролезть на четвереньках. Он заглянул. Дальше было опять препятствие, так что войти туда могли лишь очень решительные. Танцовщица в коротенькой юбочке и астролог в колпаке со звездами проскользнули все же, хохоча.

В следующей комнате было полутемно. На эстраду вышел худенький Пьеро, с набеленными щеками, и девушка Ночь, в черном газовом платье со звездами, в красной маске. На пианино заиграли танго. Пьеро подал руку Ночи — и они начали этот странный и щемящий, как бы прощальный танец.

Христофоров отошел к стене. Он глядел на эстраду, на толпу цветных масок, толпившихся вокруг, то приливавших, то, смеясь, выбегавших в другие залы. Кто так устал, так измучен, что создал это? Не жизнь ли, человечество остановилось на распутье? Христофорову вдруг представилось, что, сколь ни блестяща и весела, распущенна эта толпа, довольно одного дыхания, чтобы как стая листьев разлетелось все во тьму. Может быть, это все знают, но не говорят — стараются залить вином, танцами, музыкой. Может быть, все сознают, что они — на краю вечности. И торопятся обольститься?

Венецианская куртизанка знакомой, мощной походкой подошла к нему и слегка ударила его веером.

— И ты здесь, поэт?

— Здесь, прекрасная,— ответил он.— Смотрю.

Она засмеялась.

— И прославляешь бедность?

Он придвинулся, заглянул в темные глаза, окончательно узнал Анну Дмитриевну, сказал тихо:

— Ты веселишься? Это правда? — Он сжал ей руку.— Правда?

Она выдернула ее.

— Оставь. Не насмехайся.

Подбежал Ретизанов.

— Слушайте,— закричал он,— я в духовной слепоте. Я ничего не понимаю. Нет, черт, я не могу ее найти. По-вашему, она тут? Да нет, вообще здесь все очень странно. Еще два часа, а уж есть пьяные, теснота. Не пускают Никодимова. Он скандалит. Вам нравится? — обратился он к Христофорову.— А главное, я не могу понять, что со мной сделалось. Я наверно знаю, что она приехала из Петербурга и должна здесь быть. Но где же?

— Ищите девушку в шальварах,— ответил Христофоров,— в низенькой шапочке и фате.

— Да вы почем знаете?! — закричал Ретизанов.— Ах, черт...

Глаза его блестели, он был уже без маски. Что-то нетрезвое, лихорадочное сквозило в нем.

— Мне кажется,— сказал он с отчаянием,— что если сейчас ее не найду, это значит, я погиб.

Христофоров взял его под руку.

— Пойдемте, не волнуйтесь. Она здесь. Мы ее найдем.

Действительно, в третьей же комнате, окруженная толпой, Лабунская танцевала danse de l'ourse с индийской царевной. Христофоров постоял, посмотрел и двинулся дальше. Он не снимал маски.

По-прежнему странное и горькое удовольствие доставляло ему — смотреть, не будучи замеченным. От Лабунской, как и всегда, осталось у него легкое ощущение, будто гений света и воздуха одухотворял ее. Но иной образ стоял в его душе, бесконечно близкий и дорогой — бесконечно далекий. Было что-то родственное меж ними, какая-то нота очарования. Христофоров знал, что сюда Машура не приедет. Все же, бродя, в пестром мелькании масок он искал ее. Это волновало и мучило. Иногда мерещилась она в быстром танце, в блеске глаз из-за кружев, в полуосвещенном углу. Но как мгновенно вспыхивала, так же мгновенно и уходила. Была минута, когда, став в тени портьер, закрыв глаза, усилием воображения он ее вызывал. Она была бледна, тонка, в длинных черных перчатках, с худенькими плечиками. Масочка скрывала среднюю часть лица. «Это ваш поэтический экстаз,— говорила она с улыбкой и слезами,— сон, но не то, что в жизни называется любовью».

Он открыл глаза и тронулся. Машинально пробрался он вперед, и хотя теперь ее не видел, странное ощущение, что она здесь, невидимо, не оставляло его. Свет, люди, шум, изменялись *Ее* присутствием. Хотелось плакать. Сердце ныло нежностью.

В нюрнбергском кабачке очень шумели. Все столики были заняты, скатерти залиты вином. На бочке танцевала маска. Кто-то пытался ораторствовать. Другого собирались качать. У прилавка стоял, очень бледный, Никодимов и допивал коньяк.

— Несмотря на все,— говорил он флорентийскому юноше, с ласковым и порочным лицом,— я здесь... Дмитрий Палыч Никодимов пришел.

Юноша дернул его за рукав.

— Дима,— сказал он тенором, вытягивая звуки.— Не пей. Тебе вредно.

— Да снимите вы маску!— крикнул Христофорову знакомый, веселый голос.

Обернувшись, он увидел Фанни за столом с несколькими евреями. Толстый человек во фраке с ней рядом, куря сигару, говорил соседу:

— Здесь и совсем Парыж!

Христофоров снял маску. Фанни, в предельно декольтированном платье, с чайной розой, хохотала и кричала:

— Садитесь! К нам! Это м-милейшая личность,— обратилась она к друзьям.— Проповедник бедности или любви... чего еще там? Жизни, что ли? Забыла! Но милейшая личность. Давид Лазаревич, налейте ему шампанского!

Давид Лазаревич, с короткими и пухлыми пальцами в перстнях, из тех Давидов Лазаревичей, что посещают все модные театры, кабаре и увеселения, говоря про одни: «это Парыж», а про другие важно: «ну это вам не Парыж»,— отложил сигару и налил *молодому человеку* вина.

Христофоров имел несколько ошеломленный вид. Но поблагодарил и чокнулся.

— Очар-ровательно,— сказала Фанни, щуря продолговатые, подкрашенные глаза.— А откуда такой фрак?

Христофоров нагнулся к самому ее уху с бриллиантовой сережкой и шепнул:

— Чужой, Александра Сергеевна.

— Милый!— закричала она.— Аб-бажаю! Очаровательно, весь в меня. Я такая же. Мы все шахермахеры.

От вина голова Христофорова затуманилась приятным опьянением. Он теперь рад был, что встретил Фанни, сытых израилей, и не отказывался, когда Давид Лазаревич налил ему еще бокал.

— Хорошо, что ушел этот Никодимов,— заболтала Фанни.— Фу! Не люблю таких. Что он из себя изображает? Загадочную натуру? А по-моему — просто темная личность с претензиями. Хоть и дворянин, и барин... И потом, он на меня тоску нагоняет. Что это такое? Нет, я люблю, чтобы весело было и жизненно, без всяких вывертов. Не понимаю тоже и Анну — что она в нем нашла? Ах, бедная женщина. Слоняется тут. Выпьем за нее!

На этот раз она не спрашивала Давида Лазаревича, налила сама. За вином разболтала она многое о своей приятельнице, чего не сказала бы в обычном виде.

Скоро ее позвали — как распорядительница, должна она была устраивать новый номер. Христофоров посидел немного и тоже поднялся.

В сущности, пора уж было уходить, вновь возвращаться в полупустую свою комнату. Для чего был он здесь? Сердце его опять сжалось. Он вспомнил Ретизанова. Все-таки тот встретил свою девушку в шальварах, которую носят по залам гении ветров. Машуры же вновь не было с ним. В сердце пустота и одиночество. Значит, права была Лабунская, шепнувшая свои легкие слова. Значит, надо уезжать.

Он потолкался еще среди масок, по залам, и машинально забрел в темный закоулок у передней, откуда лесенка шла наверх. Он почему-то поднялся — и попал в две полутемные антресоли. В первой шептался в кресле Пьеро с черненькой венецианкой. Христофоров прошел мимо. В дальней сел он на ситцевый диванчик, вздохнул и закурил. Эту комнату не готовили. Не было декорации, мебель обычная. В углу, у иконы, лампадка. Окна выходили в сад. Смутная, синеватая мгла.

Снизу слышался шум, танцы, доносилась музыка. Отсюда видны были деревья в саду, полосы света из нижних окон да кусок неба. Христофоров сидел, курил, смотрел на это небо, на котором увидел голубую звезду Вегу. Она мерцала нежно и таинственно. Среди веток можно было заметить, как по вековому пути движется она, ведя за собой, как странница, светло-золотую Лиру. Голубоватый свет ее успокаивал. Чем дольше смотрел Христофоров, тем более ему казалось, что ее таинственное сияние глубже разливается по окружающему, внося гармонию. Тот же голубоватый отблеск есть и в глазах Машуры, в милой Лабунской. Оцепенение вроде сна овладело им. Призрачней, нежней и туманнее летела музыка. Легче и нечеловечней казались маски. Очаровательней, ближе и дальше, возможней и невозможнее невозможная любовь.

XV

В это время внизу, в небольшой гостиной, уже пустой, стоял у окна Никодимов, тупо смотрел на улицу. Подошла венецианская куртизанка. Он обернулся.

— Дмитрий,— сказала она.— Почему ты здесь?

Он пожал плечами.

— Где же мне быть?

— Для чего ты приехал на этот маскарад?

— Меня об этом спрашивали нынче,— ответил он глухо.— В передней...

Куртизанка сжала пальцы.

— Для чего ты себя унижаешь?

— Этого я не умею тебе сказать.

Она вдруг быстро взяла его под руку и поцеловала.

— Иногда мне кажется, что все твое... всю тоску, скверное, я могла бы взять на себя.

Никодимов перевел на нее темные и мутные глаза. Слабая улыбка появилась на его лице.

— Женщина,— сказал он и вздохнул.— Особенный ваш род.

— И не стыжусь, что женщина. Я, милый мой, тоже много видела стыда на своем веку. Меня не удивишь.

— Ничего,— пробормотал Никодимов.— Ничего. Живу как живу. Ничего не надо. Никаких сентиментальностей.

— Уедем отсюда,— вдруг сказала она.— Я тебя увезу на край света, будем жить у моря, солнца, путешествовать... Ты будешь свободен, но... уедем!

— Фантасмагория!

— Поселимся в Венеции...

Никодимов слегка вздрогнул.

— В Вене я был очень близко к смерти,— сказал он.— Никогда тебе не рассказывал. Во всяком случае, это сильное ощущение.

Он вынул часы.

— Пять.

Глаза его несколько прояснились, он подобрался и оглянулся.

— Поезжай домой. Пора. Видишь, все разъезжаются. А у меня есть еще дело. Я поссорился с одним человеком.

Никодимов поцеловал ей руку с внезапной, но холодной вежливостью и вышел. Куртизанка постояла, села на диван и уткнулась лицом в его спинку.

Никодимов же встретил в зале флорентийского юношу и подошел к нему.

— У меня сегодня дуэль,— сказал он.— Мы заедем домой, ты переоденешься, выпьем кофе, и в половине восьмого должны быть в Петровском парке.

Юноша попятился. Его бархатные, беспокойно-распутные глаза взглянули испуганно.

— Дуэль?— произнес он слабым голосом.— Но тебя могут убить.

— Безразлично,— тихо и слегка задыхаясь ответил Никодимов.— А пока ты — мой... едем.

Юноша пытался возражать. Никодимов властно и нежно взял его под руку, повел к выходу.

Маскарад действительно кончался. В нюрнбергском кабачке орали еще пьяницы. Фанни в передней накидывала свой палантин. Давид Лазаревич подавал ей ботики. По углам гнездились еще пары, не желавшие расстаться. Варили последний кофе — для пьяниц и для неврастеников, которые не могут вернуться домой раньше дня. Последними досиживают они, небольшими компаниями, среди синего утра, разбросанных окурков, облитых вином скатертей, зашарканных паркетов — всегдашней мишуры и убожества финальных часов.

— Где вы? Куда вы пропали? — кричал Ретизанов, поймав наконец Христофорова.— Черт знает, вы сидите здесь... понятия не имеете... А это ужас... Нет, это черт знает что! Такой негодяй...

Путаясь, волнуясь и крича, он объяснил, что полчаса назад Никодимов ни с того ни с сего грубо оскорбил Лабунскую.

— Нет, вы понимаете, это хам, которого раз навсегда надо проучить. Я ему это и сказал. И ударил бы, если бы не помешали. Но теперь — дуэль. Дело решенное. Нет, это давно надо было сделать.

Христофоров был поражен.

— Как... дуэль?! — спросил он.

— Сегодня же, утром, в Петровском парке. Он привезет оружие... Да что вы так удивились? Это давно надо было сделать, я давно собирался от него избавиться. Ничего не значит, что вызов без секундантов... Все равно вы должны присутствовать.

— Я, секундантом?

— Что? Вы не хотите? Нет, это уж дудки-с!

Христофоров совсем потерялся. Что угодно мог он предположить, только не это. Участвовать в дуэли! Но ведь это бесконечно дико. Запинаясь, он старался объяснить, что никакой дуэли быть не должно, что это нелепая ссора и, быть может, Никодимов просто нетрезв...

— Как?! — закричал Ретизанов.— Оскорбить Елизавету Андреевну — нелепая ссора? Вы не понимаете, что уж давно он к этому подъезжает, потому что он темный человек и его бесит любовь, подобная моей. Нелепая ссора! Это должно было произойти, не сегодня, так завтра. Нет, уступить ему... дудки!

Христофоров понял, что теперь остановить его уже нельзя. Они сошли снова вниз, в нюрнбергский каба-

чок. Неврастеники дохлестывали вино. Трое пьяных в углу громко рассуждали, что хорошо бы предпринять кругосветное путешествие.

Ретизанов занял столик, заказал кофе и коньяку. Христофоров молчал. Он чувствовал себя странно. Ему казалось — то необычайное, что вторглось в его жизнь этой зимой и привело, во фраке и маске, в этот кабачок,— владеет им и мчит дальше, по неизвестной ему дороге, навстречу необычным чувствам. Опять ему вспомнилось, как стоял он летом, на утренней заре, на балконе квартиры Ретизанова над спящей Москвой и ощущал великий жизненный поток, несущий его. «Да, может быть, и прав Ретизанов,— думал он.— Может быть, и правда, еще тогда, в ту шумную ночь, зарождались события, которым лишь теперь надлежит вскрыться».

Ретизанов между тем пил кофе, вливая в него коньяк. Он молчал, потом стал улыбаться и полузакрыл глаза рукой. Походило на то, будто он погружается в транс.

— Куба, Ямайка, Гаити и Порторико! — кричал пьяный путешественник.— Иначе не могу, поймите меня, я же не могу... Милые мои, хорошие мои, ну куда же я поеду? — Он хлопнул кулаком по столу, вновь заорал: — Куба, Ямайка, Гаити, Порторико! И никаких шариков.

Ретизанов отнял от лица руки. На глазах его были слезы.

— Гении ответили,— тихо сказал он,— что я не должен никому позволять... даже если бы пришлось умереть. Я должен отразить натиск темных сил. А если Никодимов этот — вовсе не Никодимов, а кто-то другой, более страшный, в его обличье...

Ретизанов говорил все медленнее и тише. Глаза его горели. Сухая нервность была в руках. Христофорову ясно стало казаться, что он не в себе. На мгновение остро его кольнуло — ведь это полубезумный, его надо бы везти домой и в санаторий. Но тотчас же он понял, что сделать этого нельзя. Значит, надо повиноваться.

В начале восьмого они оделись и вышли. Начинало светать — хмурым, неясно-свинцовым рассветом. На бульваре, в деревьях шумел ветер. Фонари гасли. Побежали трамваи, над ними вспыхивала зеленая искра. На Страстной площади было пустынно. Дремал лихач на паре голубков. Лампадка краснела у входа в монастырь, открылась свечная лавочка. На колокольне медленно звонили.

Ретизанов подошел к лихачу и негромко сказал:

— В Петровский парк.

— Пожа-пожалуйте!

Лихач вскочил и бросился снимать с озябших лошадей попоны.

Через минуту они катили по Тверской, по прямой, классической улице кутежей, загородных ресторанов. Иногда навстречу попадались тройки — кутилы шумели, хохотали и в облаке снега уносились. Проревел автомобиль. Лежавший на дне веселый человек приветствовал встречных, выкидывая ноги кверху. Прокатили под Триумфальной аркой, где тяжело летели бронзовые кони побед. Светящиеся часы на вокзале показывали без двадцати восемь.

Христофоров находился в странном, полуотсутствующем состоянии. Он не особенно хорошо понимал, куда и зачем едут. Как будто изменились декорации, но все продолжается его мечтательное созерцание в мансарде — теперь летят навстречу арки, дома, сады — с тоже фантастической бесцельностью. И лишь подо всем, глубоко и жалобно, стонет что-то в сердце. Ретизанов молчал. Он был задумчив и сдержан, как человек, делающий важное, очень серьезное дело. Он указал кучеру, где надо свернуть, за Яром, по какой аллее проехать. Потом остановил его. Они вылезли. Лихач шагом должен был возвращаться в указанное место.

— Вот сюда,— спокойно сказал Христофорову Ретизанов и повел узкой, слегка протоптанной тропинкой на средину поляны. Там росли три огромных пихты, под ними — скамейка. Место было пустынное. Налетал ветер, курил снежком. Тяжело пронеслась, ныряя, ворона. Виднелись забитые и занесенные снегом дачи. Что-то очень суровое и скорбное было в этом утре, сияющем снеге, мертвых дачах.

Ждать пришлось недолго. С противоположной стороны поляны, шагая по цельному снегу, приближалась высокая фигура Никодимова, в николаевской шинели, которую приходилось подбирать. За ним шел военный врач и юноша в пальто со скунсовым воротником, торчавшим веером.

— Вот они где,— сказал круглолицый доктор, настоящий москвич, будто отлично был знаком с сидевшими.— Привет на сто лет! Ну, и пустяковое же дело затеяли, господа!

Христофорову стало очень холодно. Никодимов положил на скамейку два браунинга и обоймы.

— Право,— сказал врач, потирая руки, улыбаясь и слегка пристукивая озябшими ногами.— Бросьте вы

эти, простите меня, глупости. Что такое порядочные люди будут друг в друга из револьверов шпарить!

Ретизанов вдруг взволновался.

— Нет, нет! — закричал он.— Пожалуйста, доктор. Это не шутки.

Христофоров тоже попытался вмешаться. Но ничего не вышло. Никодимов только покачал головой. Пришлось отмеривать дистанцию. Ни Христофоров, ни юноша не умели заряжать.

— Эх, светики, ясные соколы,— сказал доктор и взял обоймы.— Еще называетесь секундантами!

Когда противники взяли оружие, Никодимов вдруг сказал:

— Впрочем, если господин Ретизанов извинится, я готов прекратить.

Ретизанов вспыхнул:

— Извиниться! Нет, это уж черт знает что!

И пошел на свое место. Христофорову ясно представилось, что действительно это маньяк, и если гении сказали ему, что нужно драться, он драться будет. Никодимов снял шинель, стоял высокий, худой, очень бледный, в лакированных сапогах и белых погонах. Он повернулся боком, чтобы меньше была цель. Ретизанов поднял браунинг весьма неуверенно, как вещь совсем незнакомую. Долго водил дулом. Наконец выстрелил.

Христофоров стоял, прислонившись к пихте. Он видел, как вдали, по замерзшему пруду шел мальчик, видимо ученик, с ранцем за плечами. Заметал по поляне снежок. Щипало уши. И казалось, так все необыкновенно тихо, будто нет ни жизни, ни Москвы, а только этот кусок снега с деревьями, идущий мальчик, серый день.

Раздался второй выстрел. Христофоров, не видя и ничего не понимая, пошел вперед. Он заметил, что Ретизанов качнулся, что веселый доктор побежал к нему, схватил под мышки.

— Вот... здесь,— говорил Ретизанов, держа рукой около ключицы. Он был очень бледен.

— Эх, батенька — сказал доктор подошедшему Никодимову.

— Я предлагал бросить,— сухим, срывающимся голосом ответил он. Фуражка его слетела. Ветер трепал завитки прямого пробора. На темных волосах белело несколько снежинок.

Ретизанов очень ослаб. На скамейке, под пихтой, ему сделали первую перевязку. Юноша побежал за лошадьми.

Через четверть часа, на тех же самых голубках, что

везли их сюда, Христофоров с доктором мчались к Триумфальным воротам, поддерживая Ретизанова. Было совсем светло. Артиллерийские офицеры ехали в бригаду. Пришел поезд — с вокзала тянулись извозчики, с седоками и кладью. Тверская и Москва имели будничный, обычный вид. И Христофорову казалось, что лишь они, скакавшие к Страстной площади, везя подстреленного человека, представляют обрывок этой печальной, шумной и сумбурной ночи.

Проезжая мимо Страстного, он снял шапку и перекрестился.

XVI

Дни, что следовали за дуэлью, были тяжелы для Христофорова. Ретизанов, с простреленной ключицей, лежал у себя на квартире. Ему взяли сестру милосердия, но Христофоров бывал у него постоянно, и его угнетало, что в этой бессмыслице, так дорого обошедшейся Ретизанову, принимал участие и он, христианин и враг всякого убийства. «Это, должно быть, все-таки было наваждение»,— думал он с тоскою. Только туманом и мог он объяснить, как не вмешался, как не уклонился, наконец, если не мог помешать.

Ретизанова многие навещали и жалели — в том числе Анна Дмитриевна. Чаще других заезжала Лабунская. Она была мила, внимательна, завезла даже раз цветы. Но Христофорову, глядя на нее, все больше казалось, что взволноваться до конца, страдать, терзаться — не ее область. Чистая, легкая и изящная, проходила она в жизни облаком, созданным для весны, для неба.

— Недавно,— сказала она раз Христофорову, уходя,— я познакомилась с одним англичанином. Ужасно трудно понимать по-английски! С одной стороны, он страшно великолепен — автомобили, шикарные апартаменты... С другой — очень прост и скромен. Вот он и предлагает мне на весну ехать в Париж, а в июне чтобы я в Лондоне выступала. А потом, говорит, будем по Европе кочевать... ну, с танцами, с выступлениями. Мне и Москву жаль бросать, я московская, тут родилась, у меня здесь приятели,— и заманчиво. Все-таки, пожалуй, потанцевать в Европе? А? Как по-вашему?

Христофоров улыбнулся.

— Потанцевать,— ответил он тихо.— Потанцевать, людей посмотреть, себя показать.

Она засмеялась и пошла к двери.

— Вот вы какой, как будто бы и этакий... а одобряете легкомысленные штуки.

— Но не говорите пока об этом Александру Сергеевичу,— сказал Христофоров.

Она взглянула на его лицо, на глаза, ставшие серьезными, вздохнула, махнула муфтой.

— Не скажу.

Ее посещения вообще волновали Ретизанова. Он принимался говорить, спорить, доказывать. Поднималась температура. А это было для него очень многое.

Раз Христофоров, подойдя на звонок к телефону, услышал голос Никодимова. Тот спрашивал о здоровье раненого. Христофоров ответил.

Узнав, кто с ним говорит, Никодимов несколько оживился.

— Если вы свободны,— сказал он,— то зайдите както-нибудь ко мне днем. Если, конечно,— прибавил он холодней,— к тому нет особых препятствий. Я хочу вас видеть.

Христофорову показалось это несколько странным. Но он ответил, что зайдет. Ретизанову он сказал лишь, что противник осведомился о здоровье.

— Ха! — засмеялся Ретизанов.— Сначала убьют, а потом справляются, хорошо ли убили.

Помолчав, он прибавил:

— Но Никодимов меня ранил, это естественно. А насчет Елизаветы Андреевны,— он опять раздражился,— это гадость, гадость!

Дня через два, в пятом часу, Христофоров спускался по лестнице, чтобы идти к Никодимову. Был конец февраля. Светило солнце, с крыш капало. В окне синел кусок неба. Бледное облачко пролетало в нем.

На одном марше лестницы, быстро сходя вниз, он чуть не столкнулся с Машурой. Она шла вверх медленно, опустив голову. Увидев его, остановилась. Они поздоровались.

— Вы к Александру Сергеевичу? — спросил Христофоров.

— Да.

Машура слегка побледнела, но лицо ее, обычно худенькое, остроугольное, имело печать спокойствия. Лишь в огромным глазах трепетало что-то.

— Это хорошо,— сказал Христофоров сдавленным голосом,— что вы идете к нему. Он будет очень рад.

Машура поклонилась и тронулась дальше.

— Скажите,— спросила она, сделав несколько шагов,— правда, что он стрелялся из-за Лабунской?

Она слегка сдвинула брови. Что-то сдержанно-горькое показалось ему в этом лице.

— Правда...

Христофоров замялся и вдруг сказал:

— Вы не были ведь... там? На маскараде?

Машура несколько удивилась.

— Почему вы думаете? Нет, не была.

Христофоров хотел еще что-то сказать. Но промолчал. Машура вздохнула, медленно стала подыматься. Он так же медленно спускался, всем существом ощущая, как растет между ними высота. Сойдя в вестибюль, почувствовал усталость. Швейцара не было. Он сел на его стул, у стены, и закрыл глаза. В голове шумело. Куда-то выше, все выше всходила сейчас Машура, как кульминирующая звезда, удаляясь в неведомые и холодные пространства. Хлопнула наверху дверь,— замолкли ее шаги. Вошел кто-то снизу, с парадного. Христофоров встал, вышел и двинулся к Пречистенскому бульвару.

Там шагал он по правому, высокому проезду, где важны тихие дома, греет солнце, золотеет купол маленькой церкви Ржевской Б. Матери.

Над Гагаринскими, Сивцевыми, Арбатами дымно сияло золотистое, уже весеннее небо Москвы, с розоватыми тучками. Начинался один из романтических закатов Арбата. Христофоров вспомнил — еще гимназистом ходил он тут, и такие же были эти закаты, так же томилось его сердце; как и теперь, был он полон призраков, обольстительных и кочующих, владевших им всю жизнь, лаская, мучая. Голубые глаза его раскрылись шире, с тем несколько безумным выражением, какое принимали иногда... И он шел, мало замечая прохожих, сам — призрак собственных же, далеких дней, о которых нельзя было сказать, куда развеялись они, как и нельзя было удержать фантасмагорию его любвей, рассеявшихся в мире.

Так прошел он по Никитскому бульвару, по Тверскому, где Пушкин стоял, спокойный и задумчивый, глядя на мелькающую толпу. На колокольне Страстного, сиявшей розовым в закате, перезванивали. На площади торговали водами, папиросами. Мальчишки с цветами бежали за экипажами. Звенели трамы. Шли, ехали, сновали. На бульваре белел еще снег.

Машинально вошел Христофоров в ворота монастыря, под башней, пересек небольшой дворик со старыми деревьями и поднялся в церковь. Она была обширна и светла. Служба только что началась. Хор монахинь выходил с клиросов, они расположились на амвоне,

развернули ноты. Одна, довольно полная, немолодая, была за регента. Очень высокий, нежный, но однообразный хор вторил возгласам ектинии. Затем бледная монашка, в черном клобуке, читала у аналоя, при восковой свече. Весенний свет наполнял церковь. Свечи золотились. Женский голос, без конца и начала, читал святую книгу. Христофоров стоял рядом со старухой и двумя солдатами. Вечность и тишина были тут. Вечность и тишина.

Часы на колокольне указывали половину шестого, когда он вышел. Никодимов жил недалеко. Пройдя несколько переулков, Христофоров оказался перед гигантским домом. В вестибюле с колоннами, как в дорогом отеле, бродило несколько швейцаров. Джентльмен в широком пальто сидел на диване и нетерпеливо постукивал ногами. Зеленовато-розовый рефлекс весны ложился чрез зеркальные двери.

Христофоров бессмысленно, отсутствуя, сидел в лифте, напоминавшем каюту. С ним подымались иностранного вида обитатели и разбредались по бесчисленным коридорам дома — океанского корабля.

Никодимов, в расстегнутой тужурке, отворил сам.

— А,— сказал он,— очень рад.

Христофоров разделся в передней и вошел в большую комнату, полную розового света.

— Значит, все-таки собрались,— сказал Никодимов, усмехаясь.— Сюда пожалуйте, к столу. Хотите вина?

Христофоров отказался. Хозяин налил себе стакан рейнвейна и выпил.

— В этом доме,— сказал он,— живут иностранные комми, клубные игроки, актрисы, художники и такие личности, как я. Я занимаю студию. Здесь раньше жил художник.

Христофоров смотрел на него очень пристально, разглядывая белую рубашку под тужуркой и ворот видневшейся тоненькой фуфайки.

— Чего вы на меня так смотрите?— вдруг спросил Никодимов и опять засмеялся.— Изучаете?

Христофоров смутился:

— Нет, ничего.

— Меня изучать, может быть, и интересно,— сказал он,— может быть — нет. Зависит от точки зрения. Я сегодня пью с утра, что, впрочем, делаю нередко. Да, я вас звал...— Он вдруг впал в задумчивость.— Я ведь вас звал для чего-то... Может быть, вы обидитесь. Но знаете — не для чего. У меня нет к вам никакого дела.

Теперь улыбнулся Христофоров.

— Значит, почему-то все-таки вам хотелось меня видеть?

— Да, хотелось, хотелось.

Он говорил рассеянно, будто это совсем не нужно было.

— Какой вы... странный человек,— сказал Христофоров.

— А что,— спросил Никодимов, довольно безразлично,— выживет Ретизанов?

Христофоров ответил, что опасности нет.

— Все это необыкновенно глупо,— задумчиво произнес Никодимов,— как и очень многое в моей жизни. Я бы не весьма пожалел, если бы убил его, но и то, и другое было бы совершенно ни к чему. Бес-смы-слица!— раздельно выговорил он.

Дверь из соседней комнаты отворилась; оттуда вышел, в шелковом халатике, завитой, со слегка подкрашенными глазами, юноша, бывший на дуэли.

— Дима,— сказал он,— затопи ванну. А то я до театра не успею одеться.

Никодимов заторопился и побежал в маленькую комнатку, рядом с прихожей.

— Постоянной прислуги здесь нет,— зевая, сказал юноша.— Приходится самим возиться. Ах, да,— вдруг оживился он,— как страшно было тогда! Я думал, что Диму убьют. Но этот господин совершенно не умел стрелять.

Потом он заговорил о балете, осуждал Веру Сергеевну, о Ненароковой отозвался кисло. Вспомнил, как занятно было в Париже, два года тому назад, на русском сезоне.

— Мы и теперь собираемся в Париж, но Дима должен выиграть и взять отпуск. Или там без отпуска, мне все равно. Дима ленив. Все обещает выиграть... и вечно мы без денег. Впрочем, вот взгляните, он мне подарил.

Юноша показал на пальце перстень, с тонкой и прозрачной камеей.

— Это голова Антиноя,— сказал он.— Император Адриан любил одного юношу, Антиноя. Во время прогулки по Нилу тот утонул. А-а... Император был страшно огорчен, и велел обожествить Антиноя. На его вилле... знаменитой, под Римом, было найдено множество статуй и бюстов... а-а... юного бога. Вам нравится?

Он снял перстень и поцеловал камею.

— Очень мило.

И с тем же ленивым и несколько покровительствен-

ным видом, с сознанием изящества, превосходства поплелся брать ванну.

Христофоров встал и подошел к окну. Еще более, чем от Ретизанова, была видна отсюда Москва, облекавшаяся, в глубине улиц, в синеватый сумрак и красневшая в закате верхушками домов. Купола золотели. Та же пестрота красного кирпича, зеленых садов, острых башен и колоколен Кремля, дальних труб на заводах. Темнели Сокольники. За Кремлем виднелась равнина, уводящая на юг, уже туманившаяся, с далекой, освещенной церковью села Коломенского. Внизу, у памятника Пушкину, казавшегося крошечным, зажглись белые фонари.

— Все деньги, деньги,— бормотал сзади Никодимов.— Париж. Вот, если банк хороший сорву...

Христофоров обернулся. Лицо Никодимова в сумерках приняло фиолетовый оттенок.

— Что,— спросил Христофоров,— играть очень интересно?

— Да-а...— протянул Никодимов.— Играть... Игра, кроме волнений, хороша еще тем, что необыкновенно отрывает от обычной жизни. Я играю всегда в полусне... особенно, когда уж поздно. Только карты, они сменяются, так, этак, вами овладевает оцепенение...

— Я это понимаю,— тихо ответил Христофоров.

— Понимаете! Вот бы уж не поверил. Ваша жизнь мало похожа на мою.

Христофоров согласился.

— Я,— сказал вдруг Никодимов,— то, что называется темная личность.

Он налил себе вина и выпил.

— Мне это нередко говорят. Например, тогда, на маскараде. И — правы. Я не отрекаюсь. Хоть иногда это утомляет. Меня в корпусе еще мальчишки не любили. Звали: «Орлик доносчик, собачий извозчик». Я иногда плакал, иногда их бил. Но кончил хорошо, чуть не первым. Был честолюбив. Мечтал о славе, читал о Наполеоне, итальянские походы знал наизусть. Поступил в Николаевскую Академию. Там мне тоже устраивали бойкот. Так, особняком, и держался. Но опять кончил, тоже недурно. Служил по генеральному штабу. Знаете мою специальность? Вместо полководца — военный шпион. Сначала в Австрию командировки. Я ходил в штатском, зарисовывал местности, около крепости. Потом получил назначение в Вену, в нашу военную миссию. Там жилось весело. Я знал Ягича, знаменитого предателя. Он нам продал мобилизационные планы. Дороговато обошлось. Но на случай вой-

ны — небесполезно. Это дело, частью, через меня делалось. Ягича я обхаживал... Да, но не совсем удалось, не совсем удалось!

Пока он рассказывал о Ягиче, юноша плескался в ванне. Он вызвал к себе Никодимова; долетали какие-то разговоры, опять слово *деньги,* затем, снова в халатике, он проследовал в свою комнату, одеваться.

Христофоров сидел в кресле, спиной к окну, в смутных, весенних сумерках, и думал о том, каких только людей и дел нет на свете. Его не возмущал и не раздражал Никодимов. Он замечал даже в себе странное любопытство. Хотелось дальше слышать о его жизни.

Никодимов извинился, что задерживается. И действительно, вернулся, лишь проводив друга.

— Что же дальше было с Ягичем? — спросил Христофоров.

Никодимов сел и помолчал.

— Ягича открыли свои же, австрийские офицеры. Однажды, поздно ночью, они нас арестовали в одном... теплом месте. И привезли в отель. Ему дали револьвер, отвели в соседнюю комнату и предложили застрелиться. Был момент, когда они собирались разделаться и со мной — я был в штатском, как настоящая темная личность. Я тогда чудом уцелел. Но вообще мне не повезло. Наши тоже косо на меня взглянули.

Он хрустнул пальцами.

— Стали подозревать, что я же и выдал Ягича. Знаете, эта игра всегда двусмысленна... Одним словом, карьера моя прогорела. Я все-таки служу, но это безнадежно. Вы понимаете, на имени моем — пятно... вот что. Нет, вы не из нашей компании, вы из так называемых проповедников,— прибавил он вдруг живо и резко.— Не поймете.

— Я не знаю,— тихо ответил Христофоров,— из каких именно я. Но то, что вы мне рассказали, все понятно. Можно ведь все это понять и... ведя другую жизнь.

— Хотели сказать: и не будучи прохвостом! — Никодимов захохотал.

— Вы принимаете все очень болезненно,— с грустью ответил Христофоров..

Никодимов налил себе вина и выпил.

— Болезненно! Вздор! — бормотал он.— Ничего нет хорошего. Разве Юлий... Этого мальчика,— сказал он, указывая на комнату юноши,— зовут Юлием. Я подарил ему перстень с головой Антиноя.

Через час он провожал гостя. Довел его до лифта и

простился. Уже входя в каюту, Христофоров заметил, как содрогнулся Никодимов при виде этой машины.

В десять Никодимов поехал в клуб. Там он играл с ушастыми игроками, с седыми дамами в наколках, с содержанками; еще пил, погружаясь в карточный туман. Так было в этот вечер, и в следующий, и еще в следующий. Выигрыш не приходил. Антиной кис. Он развлекал все же Никодимова. Но тоска не унималась. Проходя ночью по пустынным переулкам, Никодимов думал, что его жизнь, с самой ранней юности, была чем-то непоправимо испорчена, и теперь чем дальше, тем труднее ее влачить. Пустые дни, пустые действия, мелкие выигрыши, мелкие проигрыши чередовались утомительно. «Все это вздор, все гадость,— думал он.— Как скучно!»

Приступы беспредметной, леденящей тоски бывали столь остры, что опять вспоминал он о Вене, туманном утре, когда в закрытом автомобиле везли их австрийские офицеры, о комнате отеля, где он ждал судьбы, о глухом выстреле за стеной. Может, было бы лучше...

В одну из таких ночей, подойдя к подъезду своего дома, он думал об Анне Дмитриевне и усмехался. «Добрые души, добрые души, спасительницы, женщины». Он машинально вошел, машинально побрел к лифту. Зеленоватый сумрак был в вестибюле. Уже подойдя к самой двери, он на мгновение остановился, охнул. Рядом, улыбаясь, сняв кепи, стоял знакомый швейцар из Вены и приглашал войти. Никодимов бросился вперед. С порога, сразу он упал в яму, глубиною в полроста. Дверца лифта не была заперта. Он очень ушиб ногу, вскрикнул, попытался встать, но было темно и тесно. Сзади в ужасе закричал кто-то. Сверху, плавно, слегка погромыхивая, спускался лифт. Никодимов собрал все силы, вскочил, до груди высунулся из люка.

Его отчаянный вопль не был уже криком человека.

XVII

Несколько времени после того, как навестила Христофорова, Машура провела очень замкнуто. Видеть никого не хотелось. Она сидела у себя наверху и разыгрывала Баха, Генделя. На дворе шел снег, бродили куры, кучер запрягал санки, а Машуре казалось, что со своей сонатой ut.— min. она отделена от всего мира тонкой, но надежной стенкой.

Перед маскарадом заезжала Анна Дмитриевна и звала ее. Машура отказалась. Наталья Григорьевна это

одобрила. Машуру считала она безупречной и потому именно не сочувствовала выезду на фривольный бал художников. Она советовала ей лучше — читать Стендаля. Сама же, среди многих своих домашних дел, заканчивала реферат для Литературного Общества.

Общество собиралось на Спиридоновке, в доме графини Д. Оно было старинно и знаменито. Некогда читались там стихи юноши Пушкина; выступал Лев Толстой и Тургенев. В новое же время — обязательный этап жизни литератора — в некоторый вечер, в низкой, темноватой зале, среди белых стариков и важных дам, приват-доцентов, скромных барышень, студентов — прочесть новейшее свое творение.

Для Натальи Григорьевны этот экзамен прошел давно. Но к выступлению отнеслась она серьезно, много обдумывала и обрабатывала, не желая ударить лицом в грязь пред почтенными слушателями.

Туда Машура не могла не поехать. Мать несколько волновалась. Даже румянец показался на старческих щеках; в черном шелковом платье, с чудесной камеей-брошью, в очках и седоватых локонах, Наталья Григорьевна была внушительна. Как только кучер подвез их и они вышли, сразу почувствовалось, что все прочно, по-настоящему, что для дел Общества именно нужна Наталья Григорьевна своей солидностью, образованностью и умеренными взглядами. Это не выскочка. Она читала ровным, несколько монотонным голосом, но культурно, то есть так, что в зале веяло серьезностью, едва ли переходящей в скуку, и если переходящей, то лишь для очень молодых. Люди же зрелые — их было большинство — сидели в сознании, что об истинно литературных вещах с ними беседует истинно литературный человек.

Машура тоже покорно слушала. Вернее, мамины слова входили в ее душу и выходили так же легко, как выдыхается воздух. Глядя на свои тонкие, очень выхоленные руки, сложенные на коленях, Машура почему-то подумала, что мама хорошо все-таки ее воспитала. В сущности, что дурного в том, что она была у Христофорова, а вот теперь она считает уж себя виновной, выдерживает некоторую епитимью. Мать говорила о поэме «Цыганы», а Машуре стало вдруг так грустно и жаль себя, что на глазах выступили слезы.

Когда Наталья Григорьевна кончила, ей аплодировали не больше и не меньше, чем следовало. Седой профессор, которого Ретизанов называл дубом, подошел и поцеловал ручку. Наталья Григорьевна пригласила его в среду на блины. Покончив с текущими делами,

члены Общества стали разъезжаться так же чинно, как и съезжались. Машура с матерью села в санки с высокой спинкой и покатила по Поварской.

Дома она обняла мать и сказала:

— Милая мама, ты очень хорошо читала.

Наталья Григорьевна была смущенно-довольна.

— Там у меня,— сказала она, сняв очки и протирая их,— было одно место недостаточно отделанное.

Машура засмеялась.

— Ах ты мой Анатоль Франс!

Она обняла ее и засмеялась. Опять на глазах у нее блеснули слезы.

— Антон у нас очень долго не был,— сказала Наталья Григорьевна.— Что такое? Эти вечные qui pro quo между вами! Вы, как культурные люди, должны бы уже это кончить.

— Мамочка, не говори! — сказала Машура, всхлипнув, обняла ее и положила голову на плечо.— Я ничего сама не знаю, может быть, правда, я во всем виновата.

Но тут Наталья Григорьевна совсем не согласилась. В чем это Машура может быть виновата? Нет, так нельзя. Если уж кто виноват, то Антон. Нельзя быть таким самолюбивым и бешено-ревнивым. Человек культурный должен верить близкому существу, давать известный простор. У нас не Восток, чтобы запирать женщин.

И она решила, что завтра же позовет Антона, *обязательно,* на эти блины.

— Если он хочет,— сказала Машура,— может сам прийти.

— Оставь, пожалуйста. Это все — нервы.

И на другой день, как предполагала, Наталья Григорьевна отправила к нему девушку Полю с запиской.

Кроме истории, социологии, профессор любил и блины. Наталья Григорьевна знала его давно, хорошо помнила, что блины должны быть со снетками. С утра в среду человек ходил в Охотный, и к часу на отдельных сковородках шипели профессорские блины, с припеченными снетками.

Профессор приехал немного раньше и, слегка разглаживая серебряную шевелюру, главную свою славу, сказал, что в Англии считается приличным опоздать на десять минут к обеду, но совершенно невозможным — явиться за десять минут до назначенного.

— Благодарю Бога, что я в Москве,— добавил он тем тоном, что все-таки все, что он делает, хорошо.— В Англии меня сочли бы за обжору, которому не терпится с блинами.

Антон, напротив, поступил по-английски, хотя и не знал этого: явился, когда профессор запивал рюмкой хереса в граненой, хрустальной рюмке первую серию блинов. Антон покраснел. Он думал, что опаздывать неудобно, и невнятно извинился. За столом был молчалив. Иногда беспричинно краснел и вздыхал. Машура тоже держалась сдержанно. Выглядела она несколько худее и бледнее обычного.

Затем заговорили о литературе. Профессор называл возможных кандидатов в Академию. Хвалил научность и обоснованность реферата в Литературном Обществе. Наталья Григорьевна говорила, что сейчас ее интересуют те малоизвестные французские лирики XVII века, которых можно считать запоздалыми учениками Ронсара и которые несправедливо заглушены ложноклассицизмом. В частности, она занимается Теофилем де Вио. Профессор съел еще блинов и одобрил.

После завтрака Машура позвала Антона наверх. Был теплый, полувесенний день. Навоз на дворе порыжел. В нем разбирались куры. С крыш капало. Легок, приветливо светлел в Машуриной чистой комнате масленичный день.

Она довольно долго играла Антону сонату Баха. Он сидел в кресле, все молча, не совсем для нее понятный. Кончив, она свернула ноты и сказала:

— Я перед тобой во многом виновата. Если можешь, прости.

Антон подпер голову руками.

— Прощать здесь не за что. Кто же виноват, что я не загадочный герой, а студент-математик, ничем еще не знаменитый... И никто не виноват, если я... если у меня...

Он взволновался, задохнулся и встал.

— Я не могу же тебя заставить,— говорил он через несколько минут, ломая крепкими пальцами какую-то коробочку,— не могу же заставить любить меня так, как хотел бы... И даже понимать меня таким, какой я есть. Ты же все-таки меня всего не знаешь или не хочешь знать.

Он опять горячился.

— Ты считаешь меня ничтожеством, я в твоих глазах влюбленный студент, которого приятно держать около себя...

Машура подошла к нему, положила руки на плечи и поцеловала в лоб.

— Милый,— сказала она,— я не считаю тебя ничтожеством. Ты это знаешь.

— Да, но все это не то, не так...— Антон опять сел, взял ее за руку.— Тут дело не в прощении...

Машура молчала и смотрела на него. Потом вдруг улыбнулась.

— У тебя страшно милый вихор,— сказала она, взялась за кольцо волос на его лбу и навила на палец.— Он у тебя всегда был, сколько я помню. И всегда придавал тебе серьезный, важный вид.

Антон поднял голову.

— Может быть, я не умею причесываться...

— Нет, и не надо. Так гораздо лучше. Наши девчонки, гимназистки, очень уважали тебя именно за голову. Ты так Сократом и назывался.

Антон улыбнулся.

— Сократ был лысым, а ты гов ришь, вихор...

— Это ничего не значит. Тебе и не надо быть лысым.

Она подала ему зеркальце, он посмотрелся. Машура зашла сзади кресла, засмеялась, схватила его за уши и стала слегка раскачивать голову.

— Говорят, что женщины — кокетки, а по-моему, у вас, мужчин, кокетства даже больше, только как-то это не считается.

Антон стал защищаться, но несколько сконфузился.

Машура же продолжала, что любовь любовью, но в каждом есть, как она выразилась, шантеклер, петух, распускающий хвост.

— Например, это безобразие,— продолжала она,— ты знаешь, маскарад, на который меня звала Анна Дмитриевна, кончился-таки дуэлью. Бедного Ретизанова подстрелили, и, конечно, из-за женщины.

Машуре стало почти весело. Был ли тут светлый, веселый день, или устала она тосковать и брала в ней свое молодость, но захотелось даже подурить, покривляться.

Она стала пред Антоном на колени и сказала:

— Ваше превосходительство, а ничего, что я навестила раненого Ретизанова? И даже обещалась еще зайти?

Антон засмеялся опять смущенно, но чем-то был доволен.

— Я знаю только одно,— сказал он, краснея,— что если нас ты укоряешь в шантеклерстве, то в вас, отродьях Евы, есть-таки нечто... от древнего Змия.

Через час Антон уходил от нее взволнованный и смущенный, но по-радостному. Он не совсем отдавал себе отчет, и некая прежняя тяжесть сидела в нем, но этот день и в его мрачную жизнь внес как бы просвет.

Ничего не было говорено всерьез, но вновь он уносил в душе обаяние Машуры, которая и мучила, и восхищала его столько времени.

Машура же ни о чем особенно не думала, разыгрывала своего Баха, ходила на заседания «Белого Голубя» и иногда в теплые, светлые дни по-детски радовалась весне, шагая где-нибудь по Никитскому бульвару мимо дома, где умер Гоголь. Все-таки прочности не было в ее душе.

В один из таких дней зашла она на Пречистенку, к Ретизанову.

Его здоровье то улучшалось, то ухудшалось, опасность прошла, но в общем он сильно изнемог. С его худого лица торчали седоватые усы; глаза казались еще больше.

— Вы очень добры,— сказал он, приподнимаясь на постели.— Ха! Мне очень нравится, что вот вы взяли и пришли... во второй раз.

Машура поставила ему на стол букетик живых цветов.

— Мне хочется взглянуть, как вы...

— И еще принесла цветов!

Он улыбнулся, взял и понюхал.

— Этой зимой я посылал много цветов в Петербург, Елизавете Андреевне. Ха! Она меня отдаривала, когда я вот так... захворал. Но последнее время редко стала заходить.

— Да ведь она...— Машура чуть было не договорила — «уезжает», но вовремя остановилась.

Как раз неделю назад, на собрании «Белого Голубя», она прощалась надолго, сказала, что едет за границу. Машура знала даже с кем. Она слегка вздохнула и сказала:

— Вероятно, очень занята.

Ретизанов оживился и стал рассказывать о ее танцах. По его мнению, из нее выйдет великий художник. Ритм и божественная легкость составляют основу ее существа. Другие ходят, говорят, смеются — в ней же присутствует богиня, и лишь острый взгляд посвященного может понять всю ее прелесть. Грубых людей, как Никодимов, такие существа раздражают. Потому он и вел себя с ней так в маскараде.

— В Елизавете Андреевне,— говорил Ретизанов,— необыкновенно чисто проявилась стихия женственности. Голубоватое эфирное существо, полное легкости и света.

— Голубая звезда,— сказала Машура и вдруг покраснела.

— Что?! — вскрикнул Ретизанов.— Как вы сказали?

Машура повторила.

— Голубая звезда! — произнес он в изумлении.— Нет, позвольте... в каком смысле?

— Можно думать,— запинаясь ответила Машура,— что одна звезда... она называется Вега и светит голубоватым светом... ну, одним словом, что образ этой Веги есть образ женщины... в высшем смысле. И что, обратно, в некоторых женщинах есть отголосок ее света...

Ретизанов слушал с возрастающим изумлением.

— Позвольте! — закричал он.— Это не женские мысли! Это говорил мужчина.

Машура покраснела.

— Даже если б и так.

— Вам это говорил мужчина?

— Да,— ответила Машура уже сдержаннее,— один знакомый развивал мне эту теорию.

Ретизанов несколько минут молчал, потом вскрикнул:

— Христофоров! Это он! Ах, черт возьми, он предвосхитил мои мысли.

Когда Машура вышла от него, был прозрачный стеклянно-розовеющий вечер. Бледно-золотистая Венера сопровождала ее путь по бульвару, плывя над домами, цепляясь за голые ветки деревьев. Машура глядела на нее и думала, что это тоже звезда любви, быть может, таинственная устроительница сердечных дел. Быть может, и ее, Машуры, земная судьба связана с велениями неведомых, дивных богов.

Ретизанов же, после ухода Машуры, долго не мог успокоиться. Мысль о голубой звезде волновала и радовала его. Наконец он накинул халат и, слабый, слегка еще задыхаясь, с кружащейся головой, пробрел в кабинет. Там опять подошел к занавеске, раздвинул ее и, закрыв глаза, отдался общению с гениями. Он стоял так довольно долго, блаженно улыбаясь. Затем медленно возвратился к себе.

В то время, как звезда его укладывала чемоданы, чтоб начать светлое и бездумное странствие, гении дали радостнейшие ответы. Ретизанов лежа бормотал что-то, мечтал, и его душа была полна счастия и надежды.

XVIII

Постом Машура говела, слушала изумительные мефимоны, которые читал священник в черной ризе с серебряными цветами, канон Андрея Критского.

Исповедовала нехитрые свои грехи под душной епитрахилью о. Симона, невысокого, немолодого и строгого священника с большой головой и седоватыми волосами. Со смутным, мистическим волнением причащалась.

Дома все шло как-то само собой. Как бывало и раньше, к ним приходил Антон. Как и прежде, косился он и фыркал на солидность Натальи Григорьевны, с Машурой бывал то нежен, то дерзок. Иногда, глядя на него, она думала: «Если я выйду за него замуж, он станет вытворять невероятные вещи, и с ним не очень будет легко. Может быть, именно так и должно случиться».

Наталья Григорьевна не была поклонницей страстных романов, страстных браков.

— Жизнь в браке,— говорила она,— это совместное творчество того общения, которое называется семьей. Семья же есть ячейка культуры, заметь себе это,— она целовала Машуру в лоб,— ячейка культуры, то есть порядка.

Машура улыбалась.

— Ах, мама, когда мне будет шестьдесят, то, наверно, и я буду интересоваться культурой, ячейками и порядком.

Она вздохнула и не стала более распространяться. За дни весны, которая в этом году была прекрасна, Машура много ходила по Москве, по бульварам. Думала она о себе, своей жизни. Теперь не было уж у нее ощущения вины пред Антоном, того двойственного и странного, в чем жила она почти целый год. Не было к нему и никаких дурных чувств. Она его знала, знала насквозь, и иногда он казался ей очень мил, как очень свой, давно родной человек. «Ну и что же, и это все?— думала она с улыбкой.— Брак есть совместное творчество общения, называемого семьей?» Ей стало почти смешно и почти горько. «Ячейка культуры, порядка? Нет, это все что-то не то, не так... Недаром и Антон это чувствует». Она вспомнила свое вечернее посещение Христофорова, тот садик, луну, вечер, и ее сердце забилось волнением и истомой. В горле остановилась горькая спазма. Слезы выступили на глазах. «Нет,— через силу, как бы запинаясь, сказала она себе,— если нет, если этого нет, то и ничего не надо. Иначе ложь». «Ложь, ложь,— твердила она позже, уже подходя к своему дому и слегка задыхаясь.— И не надо скрываться, называть это жалкими словами». Раздевшись, она быстро прошла в кабинет Натальи Григорьевны. Та сидела за письменным столом, в очках, и

старческой, бледной рукой с голубыми жилами писала отчет по детским приютам, где состояла в комитете. Весеннее солнце золотистым ковром легло по креслу, углу стола, пестрому леопарду в ногах, блестело в золотом тиснении переплетов в шкафах. Машура обняла мать сзади, поцеловала около уха.

— Мама, я сейчас почувствовала одну вещь и должна тебе сказать.

Наталья Григорьевна отложила перо, взглянула на нее, сняла очки. Она видела, что Машура возбуждена. Ее остроугольное лицо было насыщено какой-то нервной дрожью.

— Ну, ну, говори.

Машура было начала, горячо и спутанно, что она виновата пред Антоном в том, что долго держала его около себя, и почему-то вышло, что они стали считаться женихом и невестой, но на самом деле это ошибка.

Тут она заплакала, обняла Наталью Григорьевну и, всхлипывая, сидя на ручке кресла, сквозь слезы бормотала, что надо все это выяснить, раз навсегда кончить, чтобы не мучить ни его, ни себя ложью...

Наталья Григорьевна изумилась. Не то чтобы она была на стороне Антона, но во всем этом ей не нравился беспорядок, то шумное и нервное, что вносила с собой Машура.

— Успокойся,— говорила она,— не плачь, и тогда можно будет обсудить положение.

Она дала ей валерьянки, и когда солнечная полоса несколько передвинулась, прямо поставила ей вопрос: любит ли она Антона? На что Машура ответила, что и любит, как товарища и друга детства, но не так... и вообще это не то... именно теперь она убедилась...

Тогда Наталья Григорьевна со свойственной ей твердостью и логикой спросила: не любит ли она другого? Машура было смутилась, но мгновенно овладела собой и ответила: *нет*. Наталье Григорьевне показалось, что это не совсем так, но настаивать и выпытывать она не захотела. И в заключение сказала, что в таком важном и серьезном деле нельзя спешить.

— Не нервничай, не волнуйся,— говорила она,— если ты убедишься, что истинного чувства к Антону у тебя нет, то не силой же станут тебя за него выдавать. Все в твоих руках. Ты должна поступить прямо, честно. Но не опрометчиво, не поддаваясь минуте.

Слезы и разговор несколько облегчили Машуру. В сумерках она играла у себя наверху на пианино и думала, что пускай она и будет жить в этой светлой и

чистой своей комнате, ни с кем не связанная, ровной и одинокой жизнью. «Если любовь,— говорила она себе,— то пусть будет она так же прекрасна, как эти звуки, томления гениев, и если надо, пусть не воплотится. Если же дано, я приму ее вся, до последнего изгиба».

В этот вечер Антон не пришел. Она просидела одна, рано легла спать и спала спокойно.

Следующий день был четверг Страстной недели, знаменитый день Двенадцати Евангелий, длинных служб, вечернего шествия с огоньками. Часа в три, в мягком опаловом свете дня, Машура вышла из дому по направлению к Кремлю. Шла она не к Двенадцати Евангелиям, а просто побродить, поглядеть Москву. Кремль был очень хорош. Тускло сияла позолота соборов, часы на Спасских воротах били мерно и музыкально. Золотоверхие башни казались влажными, над Замоскворечьем синела дымка весны; внизу, на Москве-реке половодье; река бурно катила шоколадные воды. От памятника Александру II видела Машура внизу милую и ветхую церковь Константина и Елены, покривившуюся, осененную несколькими деревьями. Заходила в Архангельский собор, где под каменными надгробьями в медных оправах спят великие князья и цари, в мрачном полусвете; веет там седой и страшной стариной. И затем — уже совсем случайно, мимо Успенского Собора, забрела в мироваренную палату, при церкви Двенадцати Апостолов. Был день того двухлетия, когда на всю Россию варят миро. Машура поднялась во второй этаж, взяла налево и оказалась в невысокой, светлой и обширной зале. По стенам стояли зрители, а в правом углу, на некотором подобии плиты, в серебрянных вделанных чанах варился священный состав. Непрерывно шла служба. Диаконы и священники в светлых ризах мешали серебряными ковшами. Худенький квартальный просил публику *не наседать*. Стоял теплый, необыкновенно дурманящий запах — редких масел, цветов, старинных благовоний. Диаконы, медленно чередуясь, подымали и опускали свои ковши. Кадили кадильницы. Свечи золотели. Непрерывный, однообразный голос читал у аналоя.

В Успенском Соборе побыла она недолго. Смешанное чувство Италии и Византии, домосковской Руси охватывало там еще сильней. На паперти, под дивным порталом столкнулась она, выходя, с Анной Дмитриевной.

— Нам везет встречаться у святых мест,— сказала Анна Дмитриевна с улыбкой.— Помните Звенигород?

Она сильно похудела, была одета в темном. Большие ее глаза глядели утомленно.

Они медленно пошли вместе через площадь.

— Господи,— сказала Машура,— я не могу вспомнить о Дмитрии Павловиче. Какая ужасная судьба...

Она закрыла даже на мгновение глаза.

— Сегодня двадцатый день его смерти,— ответила Анна Дмитриевна.

Помолчав, она прибавила:

— В церкви все-таки мне легче.

Машура взяла ее за руку, крепко пожала.

Они посидели немного в галерее памятника Александру.

Начинало смеркаться. Сизая мгла спускалась на Замоскворечье. Белел еще Воспитательный дом, золотели купола в Кадашах.

— Его судьба,— сказала Анна Дмитриевна,— так же страшна, печальна и непонятна, как была и жизнь. Во всяком случае, это был очень несчастный человек.

Машура вернулась домой в особенном, несколько приподнятом настроении. Она застала Антона. С ним держалась просто и добро, но самой ей казалось, что тонкая, как бы прозрачная и прочная стена выросла между ними. «Может быть,— думала она, ложась спать,— это ушло мое отрочество, домашние, простые, детские чувства?»

В субботу в их доме усиленно готовились к празднику. Чистили, мыли, Машура сама красила яйца, готовила пасху. Знаменитый окорок одевали в бумажные кружева. В духовке сидели золотые куличи. Все это напоминало детство и имело свою особенную прелесть.

Как и раньше бывало, к вечеру пришел Антон — обычно они ходили с ним в Кремль к заутрене, смотреть иллюминацию, дышать тем удивительным воздухом, которым в эту ночь бывает полна Москва. Они отправились и теперь. Машура шла с ним под руку, но в Кремль они не попали, а часов с одиннадцати стали бродить по Москве, от церкви к церкви. В тихой, чуть туманной ночи видели они рубиновые в иллюминациях очерки колоколен, сияющие кресты; на папертях и в церковных двориках, иногда под деревьями, расставленные для освящения куличи и пасхи. По улицам непрерывно шли. Слышался негромкий говор. Иногда рысаки неслись, ехали кареты. Все было сдержанно, торжественно, тьма и золото огней господствовали над городом. Приближалась величественная и прекрасная минута.

Ровно в двенадцать в Кремле ударили — густым,

гулким тоном. Неторопливо и радостно завторили все знаменитые сорок сороков. Тотчас двинулись крестные ходы, золотые стяги Спасителя поднялись во тьме ночи; на мгновение все снова стали братьями.

«Христос воскрес!», «Воистину воскрес!»

Машура похристосовалась с Антоном, нежно и дружески. Слезы выступили у ней на глазах. Ее душа опять открылась на мгновение, вспомнились годы верной любви Антона, его сумрачной, нелегкой жизни.

Она перевела дух и отвернулась. Да, но не надо медлить, не надо тянуть и запутывать!

Она несла домой зажженную свечу, слегка прикрывая ее ладонью, казавшейся в свете прозрачно-розовой. Тысячи людей так же шли, и весь город был полон весеннего тумана; сверху светили звезды, а внизу растекались по переулкам золотые огоньки. Машура загадала, что, если до дому свеча не потухнет, все будет правильно, как надо.

Ночь была очень тиха.

Свеча не погасла.

Наталья Григорьевна встречала Пасху в церкви своего приюта. Она вернулась позже, очень парадная, в орденах и бриллиантах. Была ровна, покойна; на ее культурных чертах великий праздник не начертал своего духовного волнения.

На другой же день, когда вся Москва заливалась дружным, светло-радостным звоном, когда катили лихачи с визитерами, по улицам брел и ехал расфранченный народ, Машура сидела у себя в мансарде и писала Антону. Она старалась собрать все силы души и ума, чтобы написать получше, ясней и тверже высказать то, что, как она полагала, сложилось в ней окончательно.

Подписавшись, встала. Из окна, уже раскрытого, пахнуло на нее весной, апрелем, тополевыми почками. С необычайной ясностью она почувствовала, что теперь начинается для нее новое. Что именно — она не знала.

XIX

Конец апреля Христофоров проводил в имении Анны Дмитриевны, в средней полосе России. Выдались две дивных недели, какие бывают иногда пред холодноватым и переменчивым маем.

С июня Христофоров получал работу в крупной библиотеке южного города.

Сейчас был доволен, что временно можно отдохнуть, пожить спокойно и собраться с мыслями. Зима во

многом для него была необычайна. В своем роде это была даже единственная зима. Бродя один по весенним, нежно зеленеющим полям, он вспоминал ее как нечто бурное, цветное, ворвавшееся в его жизнь. Он сам крутился в этом потоке, то как участник, то как зритель, и теперь, коснувшись привычной, тихой земли, чувствовал как бы некоторое головокружение. «Может быть, это и суета, и возможно, я бывал не прав, все же...» Он не досказывал, но душой не отказывался от пестрого, быстро летящего карнавала бытия.

Анну Дмитриевну он жалел искренно. Но и в ней ему нравились некоторые, теперь сильнее выступавшие черты. Явно стала она покойнее, как бы сдержаннее. Несколько облегчилась, прояснела.

— С меня долго надо смывать, ах, как долго смывать прежнее,— сказала она раз.— Голубчик, мне оттого с вами легко, что вы не теперешний, древний человек...

Она засмеялась.

— Уж и сейчас похоже, что мы удалились с вами в пустыню, но это только первые шаги. Ах, иногда я мечтаю о настоящей Фиваиде, о жизни в какой-нибудь бла-аженной египетской пустыне, наедине с Богом. Еще неизвестно, еще неизвестно... Помните наш разговор у Фанни о богатстве? Не подумайте, ваши слова очень запали мне тогда.

— Да,— сказал Христофоров.— Но и сам я не знаю, до какого предела идут эти слова. Уж никак я не за богатство... но и рабский, подневольный труд... это я тоже отвергаю.

Через минуту он прибавил:

— Человек не может представить себе времени, когда *его* не будет. Нельзя вообразить смерть как засыпание или сон, которому нет пробуждения. В то же время трудно понять, чтобы здесь, на земле, мы могли вечно жить. Вот недавно, на днях,— продолжал он, и его голубые глаза расширились,— я испытал странное чувство. На минуту я ощутил себя блаженным и бессмертным духом, существующим вечно, здесь же, на земле. Жизнь как будто бы проносилась предо мной миражем, вечными сменами, и уходящих миражей мне не жаль было, а будущие — я знал, придут. Я забывал о прошлом и не думал о будущем. Быть может, такое состояние, со всегдашним ощущением Света, то есть Бога, и есть райская жизнь, о которой говорит Библия.

Анна Дмитриевна усмехнулась.

— Да, уж тут отпадает богатство, бедность...

— Это человеческие слова,— сказал Христофо-

ров,— мы считаемся с ними в нашей... ограниченной все же, трехмерной жизни.

В один из тех нежно-голубых, очаровательных дней, когда кажется, что ангел Божий осенил мир, Христофоров получил письмо из Крыма, от Натальи Григорьевны. С Пасхи жила она там с Машурой. Она сообщила, что Машуре юг очень полезен, что они одни тут, Антон остался в Москве и вряд ли вообще приедет. «Должна добавить,— писала она,— еще одну печальную новость. На днях умер здесь Александр Сергеевич Ретизанов, простудившись, как это ни странно Вам покажется,— в благословенной Тавриде. Машура была очень подавлена. Она ходила к нему. Из ее слов я поняла, что, кроме болезни, на него подействовало еще известие об одной танцовщице, Лабунской, которую, видимо, он любил. Лабунская только что уехала за границу с каким-то англичанином».

— Покойный Дмитрий Павлыч,— сказал Анне Дмитриевне Христофоров,— назвал раз Ретизанова дон Алонзо-Кихада дель Ретизанов. И выходит, что отчасти он прав. В общем же, судьбы их разны и одинаковы.

— Умер Ретизанов...— Анна Дмитриевна задумалась.— Это тоже был несовременный человек.

Вечером этого дня Христофоров, в своем потертом пиджачке и мягкой, видавшей виды шляпе, вышел из усадьбы. Глаза его были несколько расширены, и голубизна апрельского дня удваивалась в их природной голубизне. Из фруктового сада, где на яблонях наливались почки, он спустился в овражек; там стояли белые березы, уже одетые зеленоватым облаком. Дубы еще голы; кое-где на них темно-коричневая листва; вечерний ветерок звенел в ней слабо, таинственно. Сухие листья шуршали под ногой. Влагой и весенней прелью пахло у ручейка. Напоминая соловьев, стрекотали дрозды-пересмешники.

За овражком начиналось поле. Здесь по зеленям шныряли мышки. Белый лунь, их враг, низко и бесшумно плыл над землей.

Обернувшись назад, сквозь тонкую сетку полуголых деревьев увидел Христофоров дом Анны Дмитриевны и занимавшийся над ним золотисто-оранжевый закат. Этот закат, с нежно пылающими краями облаков, показался ему милой и чудесной страной былого. Он шел дальше. Странное чувство истомы и как бы растворения, того полубезумного состояния, которое иногда посещало его, овладело и теперь. Казалось, что не так легко отделить свое дыхание от плеска ручейка в

овраге, ноги ступали по земле, как по самому себе, голубоватая мгла внизу, над речкой, была частью его же души и он сам — в весенней зелени зеленей.

Он прошел так некоторое время и присел у межевой ямы, где кончалась земля Анны Дмитриевны. Несколько мышек высунулось из нор, проделанных под комками пахоты; повертели мордочками и сверкнули домой. Тихо, медленно летела на болото цапля. Было видно довольно далеко. Поля, лесочки и деревни, две белых колокольни, вновь поля, то бледно зеленеющие, то лиловые. Весенняя пелена слабых, чуть смутных испарений, все смягчающих, смывающих, как в акварели.

Христофоров лег на землю. Долго лежал так, опьяняясь вином, имени которого не знал. Сердце его билось нежностью и любовью, раздирающей грустью и нежностью. Голубая бездна была над ним, с каждой минутой синея и отчетливей показывая звезды. Закат гас. Вот разглядел уж он свою небесную водительницу, стоявшую невысоко, чуть сиявшую золотисто-голубоватым светом. Понемногу все небо наполнилось ее эфирной голубизной, сходящей на землю. Это была голубая Дева. Она наполняла собою мир, проникала дыханием стебелек зеленей, атомы воздуха. Была близка и бесконечна, видима и неуловима. В сердце своем соединяла все облики земных любвей, все прелести и печали, все мгновенное, летучее — и вечное. В ее божественном лице была всегдашняя надежда. И всегдашняя безнадежность.

Когда Христофоров возвращался, ручей в овраге журчал той же смутностью и беспредельностью. Хоркая, тянул вальдшнеп. Рожок месяца, бледно-серебряный и тонкий, пересекался кружевом ветвей.

Москва, 1918 г.

УЛИЦА СВ. НИКОЛАЯ

I

Образ юности отошедший, жизни шумной и вольной, ласковой сутолоки, любви, надежд, успехов и меланхолий, веселья и стремления — это ты, Арбат. По тебе снегом первым летят санки, и сквозь белый флер манны сыплющейся огневисто золотеют все витрины, окна разные Эйнемов, Реттере, Филипповых, и восседает Прага, сладостный магнит. В цветах и в музыке,

бокалах и сиянье жемчугов, под звон ножей, тарелок веселится шумная Москва, ни о чем не гадающая, нынче живущая, завтра сходящая, полумиллионная, полубогемская, сытая и ветром подбитая, и талантливая и распущенная. Гремят и вьюги над Арбатом, яростно стуча по крышам, колотясь в двери облаками снега. Но сквозь мглу и вой метели невозбранно проплывает седенький извозчик в санках вытертых, на лошаденке Дмитровской, Звенигородской, как корабль нехитрый, но и верный. К Рождеству елки на Арбатской площади — зеленым лесом. Приезжают дамы в соболях; везут чиновники, тащит рабочий елочку на праздник детям. И отбушевавши новый год, в звоне ль шампанского, в гаме ли водочки с селедкой, входят в ледяной январь, бегут, краснея носом, с усами заиндевелыми, обдуваясь паром,— кто на службу, кто торговать, по банкам и конторам. Кто и по трактирам. Ночью же остро, хрупко-колюче горит Орион семизвездием тайно прельщающим над кристаллом снегов.

Не навсегда! Не навсегда! Там февраль, там и март с теплым ветром, с буйным дыханием; весна, грязь и лужи, блеск, солнце, первый разрыв лазури над Арбатом, ведущим к югу, к Брянску, Киеву, Одессе. И поэт золотовласый, чуть прихрамывая, припадая на одну ногу, в черной шляпе художнической, бежит по тротуару, приветствуя весну и милых женщин. А поэт бирюзоглазый, улетающий и вечно проносящийся и в жизни, и в пространствах, точно облако белеющее, также пробегает по другому тротуару и приветствует лазурь, и ждет пришествия, и изнывает от томлений по закатам огненно-златистым над Арбатом — там, в конце, где он спускается к Москве-реке, в ней утопая. Смутны, и волнующи, и обещающи закаты эти! Чище, и хрустальнее, и дивно облегченнее те миры, что там рисуются, в фантазмах златоогненных.

А когда апрель настанет, то растают почки в многочисленных садах вокруг Арбата и зеленое благословение выльется — душистым, милым оперением. В старых тополях грачи вьют гнезда. Голубым оком глянет весна, заблестит в крыльях пролеток, в лакированных штиблетах и в зеркальных окнах и в глазах веселых и воздушных. Мягко треплет ветерком — локоны девушек, бороды мужчин; смеется и перебегает по Арбату в блеске луж, в криках мальчишек, предлагающих фиалки.

Лето насыщает Арбат зноем и оцепенением. Маркизы магазинов никнут под огнем небесным. Налетает пыль — тучкой азиатской. И к вечеру Арбат замучен.

Млеют служащие в магазинах; барышни обрадовались блузочкам своим легчайшим. Но нет поэтов — ни златоволосого, бегущего Арбатом слева, ни бирюзоглазого — Арбатом справа. Улетели, как и их друзья, как и те жители, что занимают целые квартиры в домах с лифтами,— кто на море, кто в деревню, кто на дачу. Врачи и адвокаты сладкогласные умчались за границу. «Ах, Карлсбад! Нет, Киссинген! Ну разве можно же сравнить!» И многих обитателей Арбата поразносят и международные вагоны по углам богатой, сытой и самодовольно-крепкой бабушки Европы. Сапожники же, медники и парикмахеры, кондуктора трамваев, булочники, мясники и бакалейщики сидят все лето, душное ль, дождливое ль, все на своих насестах, не подозревая о Карлсбадах и об ожиреньях сердца. Священники звонят в церквах Арбата — Никола Плотник, Никола на Песках и Николай Явленный,— спокойные и важные, звоном малиновым, в ризах парчовых, вековечных, венчавшие и хоронившие тузов, и знать, и бедноту. Привыкшие к молебнам, требам, к истовому пению и жизни истовой, замедленной в бездвижности, и с ожиреньем сердца.

Гудят колокола, поют хоры, гремит трамвай, звенит румын в летнем зале Праги пышноволосой. Солнце восходит, солнце заходит, звезды вонзаются и над Арбатом таинственный свой путь ведут. И жизнь прядет, и все как будто чинно, все так крепко, и серьезно, и зажиточно, благонамеренно. Строят дома — сотни квартир с газом и электричеством; новые магазины — роскошь новая; новые мостовые, новый, не русский шик города. Льют свежий асфальт, и белят стены, и возятся, и пьют, и накопляют, ходят в церковь и венчаются, и любятся, и умирают между трех обличий одного святителя — Николы Плотника, Николы на Песках и Николая Чудотворца. Зима, весна и лето, хлад и жар, и мленье и закаты — все себе равно или кажется таким.

II

Первые грозы, полумладенческие бури! Немотствовавший великан пытается сказать, выкрикивает и грозит и смутно встряхивается — впотьмах и наудачу. И пылают барские усадьбы, останавливаются дороги, и рабочие выходят с фабрик — демонстрации идут Арбатом. «Господа» банкеты собирают и изящно бреют

русское самодержавие, между икрой и балыком, меж Эрмитажем и Прагою. Ах, конституция, парламент, Дума, новая Россия! А те, кто помоложе и попроще, кому до Эрмитажей далеко, торопятся, им некогда, все совершить бы завтра, всю бы жизнь вверх дном перевернуть. И митинги гудят, толпы чернеют, и кричат газеты об одном: вперед, вперед!

А там дружинники уже засновали по Арбату — и в папахах, и в фуражках; дворники, мальчишки помогают выворачивать столбы фонарные — для баррикад. Веселый рыцарь, Дон-Жуан и декадент, он же — издатель и спирит, и мистик — собственноручно водружает красный флаг на баррикаде у Никольского; флаг — юбка женина. Большевики, эсеры, анархисты и художники, и гимназисты, и студенты пробуют себя: вместо «Моравии», где пропивали по рублю на пиво и закуски, целятся из маузеров из-за поваленных трамваев и калиток, снятых с петель, опутанных проволокой телефонною. Седой и старенький извозчик, годы плетшийся Арбатом, обликом похожий на св. Николая, затруднен теперь: от баррикады — лишь до баррикады. А там нужно санки перетаскивать. Да и под пулю угодишь как раз. Но все-таки он ездит, ровный и покойный, как патрон его, святой из Мирликии. Поэт златоволосый не сражается, но на словах громит, анафематствует жандармов, губернатора, властей — заочно и в лицо. Поэт бирюзоглазый ждет пришествия иной культуры, вспоенной громами бурь, кипением и массой. Но массе — еще рано. Еще сильно былое, крепок штык, тверда шеренга. И в декабрьский день, морозный, заревом пылает Пресня под шрапнелями семеновцев. Бегут папахи. Спрятались и маузеры, и карабины. Москва затихла. Молодежь по тюрьмам, кое-кто погиб. Серо, туманно, пасмурно и на Арбате. Будто б окончился спектакль, где нашумели, наскандалили ребята, а в конце прогнали их. И вот — распутывают проволоку заграждений, чинят фонари, ездят патрули и гвардейцы офицеры, победители на нынче, пьянствуют по Метрополям, Прагам, Эрмитажам. Лавочки открылись на Арбате, магазины, снова свет и сутолока, веселье, блеск — одним забава — труд, забота для других. А седенький извозчик снова невозбранно проплывает по Арбату, снимает шапку у Николы Плотника, и крестится, и крестится на углу Серебряного, где Николай Явленный. Священники же рады, что все кончилось: опять привычное, все то же, вековое и непотрясаемое.

Положим, что есть Дума, что там говорят, и критикуют, и постановляют. Но ведь это *так*, все

только *так,* для формы. Прежнее — все то же. И городовой, и мирное служенье, и богатство треб, и пышность похорон. И лик св. Николая в трех церквах все тот же — строгий и покойный лик.

И снова — строятся дома, фабрики, возрастают, везут зерно на вывоз и приходят в порты русские из дальних странствий корабли с товарами: как будто крепнет, богатеет Русь. Как будто процветает и Арбат. Не нынче завтра весь он будет вымощен гранитом, как в Европе; и кафе его сияют, и огромный дом воздвигнется на углу Калошина, с бронзовым рыцарем в нише. Рыцарь задумчив, задумчив рыцарь. И стало уже тесно в Праге — думают надстроить новое святилище — выводят стены. И как будто весело, благополучно. Бегают художники, писатели и декаденты, процветают и шумят по клубам, по эстрадам, маскарадам. Сколько лирики! И темной, светлой, тонкой, уснащенной и скользящей, нежной и летящей! Поэт золотовласый улетел в Париж изгнанником — за резкости о троне. Но другие мифотворствуют и богоборствуют и препираются, и лекции читают, а иные, как поэт бирюзоглазый, все чего-то ждут. Идет ли? Не идет ли? Начинают уставать, и хриплые рога услышал уже кто-то. Ах, да так ли все благополучно? Нет ли тлена легкого, но острого, под танцем жизни?

И повсюду, на Тверской и в Камергерском, на Воздвиженке и на Арбате,— смутный, соблазнительный и наглый, разлагающий, дурманящий и за собой влекущий — над великой пустотой поднявшийся:

«Танго».

И пляшут его пары на Тверской, и на Воздвиженке, и на Арбате. Сумрак! Сладко утомление. Танго, танго! И ничего не надо. Ни страстей, ни действий и ни силы любви, ни долга и восторга творчества, бессмертия, свободы — сладкий плен полуразврата — полукрасоты.

III

Страшный час, час грозный. Смертный час — призыв. Куда? Вперед. Вперед, и в ногу, в ногу, и под барабан. Вперед. О, содрогнулась Русь, оделась в серую шинель и, смертно лоб перекрестивши, руки сжавши, тяжко в ряды стала, тяжко марширует сапогом тяжелым: раз-два, раз-два! А черно в сердце и мила Москва и горько — уходить. Идет Арбатом серый, крепкий строй; и на Угодника, что на углу Серебряного, взглянет ненароком проходящий, под винтовкой,

ненароком перекрестится — и далее шагает. Раз-два, раз-два. Вот и Спасопесковский, с красным домом угловым, Никольский, где Никола Плотник, с позолоченной главой, за ним Смоленский, на углу толпа, и машут, слезы блестят; а там — дорожка ниже, ниже, на Москву-реку к вокзалу — голову клони, солдат. Уж дожидаются вагоны, паровозы, быстрые еще и аккуратные; там снова — бабий вой, крик и рыданье; и влекут тебя, во мгле слепой, на жертву. Велика твоя повинность родине.

Родина же притихла. И насупилась. И затрезвела даже. Пьет — из-под полы и удивляет старую Европу воздержанием. Надолго ли? Ну, там посмотрим. А пока — поблекли Праги, Метрополи, Эрмитажи и все блекнут, задыхаясь в худосочии. Голубки все реже мчатся по Тверской, Арбату. И все больше лазаретов — знак кровавого креста над ними, знак печали-милости — и чаще попадаются их вывески в укромных переулках вкруг Арбата. Старые хоромы, гнезда дворянские, видевшие Герценов и Хомяковых, наполняются людьми в халатах, с лицами серо-бледнеющими, и в повязках, и на костылях. Серый суп, смутность, дрема, бледная тень жизни бедной! Хочется ль чего? Нет. Жалко ли чего? Нет, тоже нет — и все как было и как будет — тихий затон в буре страшной.

Буря же бурлит. Яростны люди, свирепы пушки, пули бессчетны и бессчетна смерть, в поле реющая — и в лесах, горах, ущельях и окопах. Волна мрака накопилась, облака и тучи, гремит, гремит бессмысленный Дракон, и пожирает, и других зовет; калек, усталых и полуживых, на родину, посмеиваясь, направляет. И идут полки вниз по Арбату, на Дорогомилово, а возвращаются в вагонах санитарных, по трамвайной линии, из-за реки.

Сердобольные ж хлопочут дамы, посещают, навещают, развлекают, музицируют и умиляются на «мощь героя серого». Серый же герой еще покорен. Все еще вытягивается и козыряет и безмолвно умирает на полях далеких, неизвестно за кого и за что. Но еще крестится, на углу Серебряного, на древний образ Николая Чудотворца, глядит еще почтительно на две иконы, что под тротуаром,— святитель Николай, спасающий матроса и освобождающий пленного в темнице. Слушает еще и всенощные, и обедни на полях Галиции, и в Польше, и под Ригой.

Но клонится к закату, внутренне склоняется, сгнивая, старое. И бесподдержно, и вдруг, бесповоротно расползается сам трон, и нету больше древних генера-

лов, губернаторов и полицеймейстеров, и гимна, и сурового орла монархии.

Все быль, сон былой — и новый сон уж начинается, пока лишь многословно-легкомысленно-пустопорожний. Молчали долго — и заговорили! Хочется сказать, и здесь и там, у памятника Скобелеву и под Пушкиным, и на Арбатской площади, и где угодно. Все серые шинели, серые герои, и один лепечет за другим, все тем же еще получленораздельным звуком, все о том же, о войне, свободе, революции. О том же говорят, и так же длинно, но изящнее и грамотнее, и бесконечные политики с Арбата, адвокаты, инженеры и военные, ныне страной правящие. О русские интеллигенты, о слова, слова, прекраснодушие, приятность, барственность, народолюбие! Сурова жизнь, и не приятна, и не прекраснодушна. Но профессора, экономисты из соседних переулков, получившие портфели министерские, гласные *свободной* Думы, из домовладельцев и врачей, еще надеются на что-то, думают управиться с героями в шинелях серых, воевать до одоления врага, и все тому подобное. Лишь более прозорливые, из богатых, денежки пересчитав, проверив — утекают, кто в Японию, а кто на запад.

И во́время, и во́время! Ведь надоело словопрение, шатание, незнание. И надоело жить в окопах, видеть смерть и ждать ее, и надоело зрелище богатых рядом с бедными, и так отлично — прекратить все это, отобрать, что можно, поделить, с кем нужно, и, на белый свет провозгласивши братство всех трудящихся, из ничего стать всем. И вал растет, буря идет. Поделена земля и допылали те усадьбы, что не тронуты двенадцать лет назад. Разведен скот, диваны вытащены, зеркала побиты и повырублены кое-где сады. Библиотеки отпылали, сколько надо — в пламени ль пожаров, в мирных ли цигарках. И ты идешь домой, *серый герой,* трудно ведь на войне сидеть, когда в Рязанской, Тульской и Тамбовской, до́ма, *добро делят.* Ну-ка, господин буржуй, иди кому угодно, под шрапнели, в мерзлые окопы, в вонь, ко вшам, на смерть? И облепились уже вагоны воинами без щитов, пустеет дикое и горестное поле бранное. Но вряд ли надоело драться. Драться — да не там, не так.

И ты увидел наконец, Арбат, опять войну — не детскую, как прежде, не задорно шуточную, нет, но настоящую войну, братоубийственную, с треском пулеметов, с завыванием гранат. Туго пришлось тебе, твоим спокойным переулкам, выросшим на барственности, на библиотеках и культурах, на спокойной сытости, изящ-

ной жизни. Неделю ты прислушивался, как громили бомбами — ныне не Пресню уж, а самый Кремль. И за дверьми, за ставнями шептал: «Не может быть, нет, невозможно!»

Но пока шептал, уж новое пришло на твои камни, в серенькие дни ноябрьские, спустилось крепкой, цепкой лапой, облепило стены сотнями плакатов и декретов, выпустило новые слова, слуху несвычные, захватило банки, биржи, магазины, и твои, спокойный, либеральный и благополучный думец, сейфы и бриллианты.

Ты же протирал глаза, о обыватель, гражданин и пассажир международных lux'ов, посетитель вод, Карлсбадов, Киссингенов; ты, страдавший ожиреньем сердца, ощутил, что все заколебалось в смутном дьявольски-бесовском танце. Проносились новые автомобили, грузовые, полные людей вооруженных, тех же *серых все героев;* заработала машина смерти; заработала машина голода. И прежние подвальники, и медники, и вся мастеровщина, туго жизнью пригнетенная, из щелей повыползала, из темных нор своих, и вверх задвигалась. «Попировали, и довольно! Нынче наш черед!»

Выходи, беднота, тьма, голь и нищенство, подымай голос, нынче твой день.

IV

В январе толпы *героев серых,* возвращающихся с брани. Ночью, отлипая смутными гурьбами от площадок, крыш вагонов, буферов тех поездов, что добирались кое-как до Брянского, хмурые и молчаливые, с котомками через плечо, валят они валом неслабнущим, в темноте Арбата, к площади. «Эй, товарищ, как к Рязанскому?» Все Русь и Русь. Рязань, Тамбов, Саратов, все спешат домой, подальше от окопов, смерти хладной, голода. Грязь, вши и мрак. Грязь, хлад в Москве, стон, вой и мерзость и в вагонах тех, куда спешат, стремятся на родину — в ту же мразь беспросветную. Арбатский житель, с ними повстречавшись, пожимается, карманы попридерживая,— впрочем, пусто в них, как и в желудке,— но сермягам и не до его карманов. Может быть покоен. А последнее пальтишко стащат с него в переулке, вежливо прикладывая дуло револьвера к уху. Ну, что ж, давать, так отдавать! Все равно нету ничего. Ни дров, ни хлеба, ни угла — скитайся, голь, святая бедность! И скитаются и мерзнут темной ночью, в сумраке пустынных ветров.

Но и утро занимается над городом. Пробрели все серые герои, призакончились убийства, грабежи и казни — солнце продирается в туманах инея, в огнезлатистых пеленах, столбах жемчужно-радужных. Пар от всего валит, что дышит. Как много серебра, как дешево оно! И на усах, и на обмызганных воротниках пальтишек людей жизни новой. Люди новой, братской жизни, парами и в одиночку, вереницами, как мизерабли долин адских, бегут на службу, в реквизированные особняки, где среди тьмы бумаг, в стукотне машинок, среди брито-сытых лиц начальства в куртках кожаных и френчах, будут создавать величие и благоденствие страны. Вперед, вперед! К светлому будущему! Братство народов, равенство, счастье всесветное. А пока что все ворчат. И все как будто ненавидят ближнего. Тесно уж на тротуарах, идут улицей. Толкаются, бранятся. Барышня везет на саночках поклажу. Малый со старухой, задыхаясь, тащит на веревке толстое бревно, откуда-то слимоненное. А магазины, запертые сплошь, уныло мерзнут промороженными стеклами. И лишь «Закрытые распределители» привлекают очереди мизераблей дрогнущих — за полуфунтом хлеба. Да обнаженные витрины двух иль трех советских лавок выставляют пустоту свою. Но не задумывайся, не заглядывайся на ничто: как раз в морозной мгле ты угодишь под серо хлюпающий, грузный грузовик с торчащими на нем солдатами, верхом на кипах, на тюках материи иль на штанах, сотнями сложенных. А может задавить автомобиль еще иной — легкий, изящный. В нем, конечно, комиссар — от военно-бритых, гениальных полководцев и стратегов, через товарищей из слесарей, до спецов, совнархозов — эти буржуазней и покойней. Но у всех летящих общее в лице: как важно! как велико! И сиянье славы и самодовольства освещает весь Арбат. Проезжают и на лошадях. Солдат на козлах или личность темная, неясная. В санях, за полостью — или второстепенный спец, или товарищ мастеровой, но тоже второстепенный, в ушастой шапке, вывороченной мехом куртке. Это начальство едет заседать, решать, вязать. С утра весь день будут носиться по Арбату резвые автомобили, снеговую пыль взрывая и гудя. Чтоб не было для них ухабов, обыватель, илот робкий разгребает и вывозит снег. Барышни стучат лопатами; гимназисты везут санки. И солидные буржуи, отдуваясь, чистят тротуар. Профессора, семьями тусклыми, везут свои пайки в салазках; женщины бредут с мешками за плечами — путешественницы за картофелем, морковью. В переулках близ Смоленского

торгуют молоком, дровами, яйцами. Мальчишки выкликают: «Папиросы рассыпные, Реже, Ява, Ира!» И краснощекие красноармейцы, молодые люди в галифе, бристо-сытые, с красной пентограммой на фуражках, отбирают себе Иру. Полусумасшедшая старуха, в рваной кофте и матерчатых полусапожках, широко расставив ноги, бредет с палкой и бессмысленно бормочет: «Помогите! Помогите!» — и протягивает руку. Старый человек, спокойный, важный, полузамерзающий, в очках, сидит на выступе окна и продает конверты — близ Никольского. А у Николы Чудотворца, под иконой его, что смотрит на Арбат, в черных наушниках и пальто старовоенном, с золотыми пуговицами, пристроился полковник, с седенькими, тупо заслезившимися глазками, побелевшим носом, и неукоснительно твердит: «Подайте полковому командиру!» Рыцарь задумчивый, задумчивый рыцарь с высот дома в Калошином, вниз глядит, на кипение, бедный и горький бег жизни на улице и цепенеет, в седой изморози, на высоте своей. А внизу фуры едут, грузовики с мебелью. Столы, кровати, умывальники; зеркала нежно и небесно отблескивают, покачиваясь на толчках. Люди в ушастых шапках, в солдатских шинелях, в куртках кожаных въезжают и выезжают, из одних домов увозят, а в другие ввозят, вселяют, выселяют, все перерывая, вороша жизнь старую. Туго старой жизни; притаилась в тихих переулках, думает, гадает, выселяется и тащит на Смоленский кружева, браслеты, чашки, шали, юбки, мундштуки, подсвечники и кольца и спускает мужичкам, красноармейцам, спекулянтам, чтобы купить проклятой пшенки, радости советской. И все ждет и надеется: «Ну, теперь уж близко!», «Слышали,— ведь заговор. Нет-с, когда и среди них пошли раздоры, это агония!». Но от разговоров не слабей морозы, не дешевле дрова краденые — и дороже пшенка.

И теперь узнал поэт золотовласый, что есть печка дымная, что есть работа в одной комнате с женой и дочкой, что есть пуд картошки мерзлой, на себе тащимой с Курского вокзала. Но все так же, не теряя жизненности, силы и веселья, пробегает он по правой стороне Арбата, ловя взоры девушек. По левой же — все так же пролетает и поэт бирюзоглазый, сильно поседевший, в пальто рваном и шапчонке тертой — он спешит на лекцию, на семинарий, в пролеткульт и пролетдрам, политотдел и наробраз и в словах новых будет поучать людей новейшим, старым откровениям писаний.

Так идет, скрипит, стонет и ухает, гудит автомобилями, лущится семечками, отравляется денатуратом, выселяется и арестуется, жиреет и околевает с голоду жизнь на улице-долине, в улице, ведущей от Николы Плотника к Николе на Песках и далее к Николаю Явленному. Средь горечи ее, стонов отчаяния, средь крови, крика, низости, среди порывов, деятельности, силы и ничтожества, среди всех образов и человека, и животного — всегда, в субботний день пред вечером, в воскресный — утром, гудят спокойные и важные колокола Троих Никол, вливаясь в сорок сороков церквей Москвы. На зов их собирается различный люд. И старый, молодой, и бедный, и богатый. Из холодающих углов идут старухи, чья судьба недолга; из уплотненных, некогда покоев важных — фрейлины, аристократки. Лавочники лысые и мелкие служащие, и девушки, какие-то из скромных — может быть, из тех, что надрывались днем, таща бревно, работая на кухне, добывая пшенку. Интеллигент русский, давняя Голгофа родины, человек невидный и несильный, перекрестит лоб. И матери, и сестры, и невесты, что оплакивают ближних, пожранных свирепой жизнью. Наконец, даже и ты, солдат-красноармеец, воин новой жизни. Все сюда собрались, все равны здесь, равенством страдания, задумчивости, равенством любви к великому и запредельному, общего стояния пред Богом.

Служат старые священники. Есть, впрочем, также молодые, но иные уж, чем раньше; все иное. Все попроще, побледней и будто строже. Будто многое отмылось, вековое, цепеневшее. И будто бы Никола сам, помощник страждущим, ближе сошел в жизнь страшную.

Колокола звонят. Свечи теплятся. Ризы сияют на иконах, хор поет. Любовь, спокойный, светлый мир зовет. «Приидите ко Мне вси труждающиеся и обремененные, и Аз упокою Вы». И снова, и снова, как Рахиль древняя, как Мария Матерь Господа, омывает мать слезами постаревшее свое лицо, мать над сыновним трупом, над женихом невеста и сестра над братом. И сердца усталые, души, в огне мятущиеся, души, грехом палимые, изнемогшие под грузом убиенных,— все идут сюда, быть может, и палач и жертва, и придут, доколе живо сердце человеческое.

Хор поет призывно: «Слава в вышних Богу и на земле мир, в человеках благоволение». Девушки в платочках беленьких, как сестры милосердия, прислуживают при служении.

V

Образ юности отошедшей, жизни шумной и вольной, ласковой сутолоки, любви, надежд, успехов и меланхолий, веселья и стремленья — это ты, Арбат. Ты и шумел и веселился, богател и беззаботничал — ты поплатился. По тебе прошли метели страшные, размыли тебя и замертвили, выели все тротуары твои, омрачили, холоду нагнали по домам, тифом, холодом, голодом, казнями пронеслись по жителям твоим и многих разметали вдаль. Залетел опять, как некогда, поэт золотовласый в чуждые края; умчался и поэт бирюзоглазый к иностранцам. Многие поумирали. А кто выжил, кто остался, те узнали, жизнь, грозный и свирепый лик твой. Из детей стали мужами. Окрепли, закалились, поседели. Некогда уж больше веселиться и мечтать, меланхоличничать. Борись, отстаивай свой дом, семью, детей. Вези паек, тащи салазки, разгребай сугробы и коли дрова, но не сдавайся, русский, гражданин Арбата. Много нагрешил ты, заплатил недешево. Но такова жизнь. И не стоит на месте. Налетела буря, пронеслась, карая, взвешивая, встряхивая — стала тихнуть. Утомились воевать и ненавидеть; начал силу забирать обычный день — атомная пружина человечества. Снова стал ты изменяться, сам Арбат. И с удивлением взирает рыцарь в латах, рыцарь задумчивый с высот Калошина, что человек опять закопошился за витринами магазинов и за дверками лавчонок, мастерских; что возится и чинит плотник, и стекольщик заменяет пулями пробитый бём на новый, и старательно расписывает живописец вывеску над булочной. Вновь толпа нарядней. Вновь стремятся женщины к одеждам, а мужчины к деньгам. Вновь по вечерам кафе сияют, и из книжных магазинов книги смотрят, и извозчики снуют. Блестит Арбат, как полагается, по вечерам. И тот же Орион, семизвездием тайнопрельщающим, ведет свой путь загадочный в пустынях неба, над печально-бурной сутолокой людей.

А ты живешь в жизни новейшей, вновь беспощадной, среди богатых и бедных, даровитых и бездарных, неудачников, счастливцев. Не позабывай уроков. Будь спокоен, скромен, сдержан. Призывай любовь и кротость, столь безмерно изгнанных, столь поруганных. Слушай звон колоколов Арбата. В горестях, скорбях суровых, пей вино благости, опьянения духовного, и да будет для тебя оно острей и слаще едких слез. Слезы же прими. Плачь с плачущими. Замерзай с замерзшими и голодай с голодными. Но не гаси себя и не

сдавайся плену мелкой жизни, мелкого стяжательства ты, русский, гражданин Арбата.

И Никола Милостивый, тихий и простой святитель, покровитель страждущих, друг бедных и заступник беззаступных, распростерший над твоею улицей три креста своих, три алтаря своих, благословит путь твой и в метель жизненную проведет. Так расцветет мой дом, но не заглохнет.

А старенький, седой извозчик, именем Микола, проезжавший некогда на санках по Арбату на клячонке Дмитровской, тот немудрящий старичок, что ездил при царе и через баррикады, не боясь пуль и лишь замолк на время — он уж едет снова от Дорогомилова к Большому Афанасьевскому.

Москва, 1921 г.

БЕЛЫЙ СВЕТ

Бедная жизнь, малая жизнь, что о тебе сказать, чем порадовать? Не сердись и не обижайся. Будем скромней. Ведь в тебе несусь, ты принимаешь, и снежок зимний на Арбате зимнем посыпает и меня, да и тебя, ветер завивает и уносит, все уносит, рады мы или не рады.

Ты хотела б быть пышней, нарядней и могущественней. Может быть, и я бы превзошел себя.

Но есть Судьба. Тебе и мне. Хочешь не хочешь, ее примешь. Я — уж принял. Я живу в ней, в ней иду. Прохожу сквозь тебя, жизнь, и посматриваю. Печаль, веселье и трагедия, цена на молоко, очередь в булочной, новый декрет, смех, смерть, пирожные и муки голода — все вижу я и, пожалуй, знаю.

Заповеди счастия:

I. Помни о печке. Сложи каменную. Не забудь о дымоходе, полюби дрова, знай смысл полена. Если нет дыму и тепло, то ты в преддверии.

II. Ешь. Продавай штаны, женину юбку, книги, старые подсвечники и этажерку, только не ослабевай, иначе уж не встанешь.

III. Спи, или ты не выдержишь. Но выдержать ты можешь, должен. Ведь другие же выдерживают, да и мудрость, правда, уж не так огромна.

Снег, пушисто на Арбате. Мягкий скрип саней, автомобиль несется. «Чайная-столовая», «Гастрономия

Н», папиросы и пирожные. «Есть свежие булочки». «Извозчик, на Солянку!» — «Полтинник, барин».

Галифе с дамой румяною в многомиллионом палантине катят.

У стены политики газету поедают. «Крах капитализма», «Надо бить в набат», «Держите порох сухим».

И летит ворона, села на крест церкви Николы Явленного, покаркивает себе. Белый же снежок все посыпает, и меня, и тебя, и коммуниста, и спекулянта в соболях, и чудака с моноклем, в рваном котелке, опорках, с мешком рухляди, и с видом элегантно-стынущим — деловито шествует он улицей, невдалеке от тротуара.

Бело, пустынно. Ты идешь. Страдал ли ты, был счастлив, строил планы? Надеялся, мечтал? Но тут ты кланяешься: много на Арбате ведь знакомых.

И дальше, в белых буднях. Дни твои восстают, умирают, виденьями скромными, между хозяйством и литературой, Арбатом, лавкою книжною, книгами и газетами, в вихре политики, рушащегося и строящегося. Снова: будь скромен и не заносись, приказчик за прилавком.

— Есть учебники?

— Древний мир, Иванова?

— А-а, скажите, нет ли о театре?

— Хозяин, азбуку.

Барышни—Блока. Ахматову. Актрисы — Уайльда. Философы — о Гегелях, дамы постарше — в детском.

Важный субъект:

— Нет ли восемнадцатого века?

Хлопает и затворяется входная дверь, потрескивает печка, издатели приходят, философы беседуют — о выдаче пайка. Нуждающиеся в пшенке тащут свои книги, другие оставляют сотни тысяч и выносят связки книг, дверь все хлопает и затворяется, дамы, мальчики, снобы, студенты, поэты, техники, букинисты... где конец? где начало?

А за кассою твердою рукою ведет дела дома торгового ясноокая Паллада. Вспыхнет электричество в четыре, в шесть погаснет. Тьма, снежок. Хладные улицы, зеленые огни.

Сиянье дальних океанов, древние наречия, озера, тонкий свет пейзажа, поля риса и монастыри буддистов, перезвон неведомых колоколов и легкий танец радости и сонный плеск весла бамбукового. Изящно-краткий звук стиха. Лепестки вишен, падающие в фарфоровую чашечку вина златистого.

Малые основы жизни:

I. Пайком не брезгай (не гордись). Разговаривай о нем почтительно, не пропускай буквы своей, записывайся до свету; бери достаточно с собой бечевок и мешки. Не позабудь бутылок. Осмотри санки. Терпи в очереди, не кричи, что дали масло горклое или мясо с костью. Не волнуйся и не нервничай.

II. Почитай примус. Он твой домашний лар. Наблюдай за жизнию его. Чисти иглой. Поршень, если ослабел, размачивай в стакане с кипятком. Делай возлияния ему — чистейшим газолином.

III. Затыкай все щели. Вентиляции ведь хватит. Холод же придет наверно.

Хочешь похворать? Что же, ложись. Сначала это странным может показаться. Жена тоже больна, и некому ходить за хлебом, скромно мерить Арбат зимний, ждать у касс, получать сдачу. Некому отправить девочку в училище, затопить печь, готовить. Ты ложишься, не без удивления. Знобит. Устало тело. Белый, зимний день в окне, и снег попархивает. Но покойно в сердце! Что ж, ты невиновен. Сколько мог, трудился. Ставил самовар. Мыл посуду. Распалял примус — человечье имя у него — Михаил Михайлыч. Но вот наконец настигли и тебя. Неважно. Даже славно, отдохнуть и ни о чем не думать. Жизнь же? Жизнь наладится, наверно. Велика Москва, любвеобильна. Не покинут добрые.

С улыбкой думаешь: «В Москве, да чтобы дали сгинуть? Вряд ли».

И действительно, устроишься. Кто-нибудь пойдет к аптекарю, кто-нибудь самовар наладит. Добрая душа уберет комнату, сготовит на печурке, подаст градусник — и ты уж жив — житель беспечный на волнах хаоса,— вот и день твой малый отшумел.

И хоть в хаосе — все же протекут, как надо, дни болезни, и ты встанешь и с кувшином синим из-под молока, с корзиночкой побредешь Арбатом зимним, утренним за малыми делами жизни. Тысячи, и сотни лет трудилось человечество, изо дня в день. Возьми и ты уголок бремени. Это — чтоб не заносился ты, не важничал.

Если заспался, молоко уже раскуплено. Тогда — к Смоленскому, приюту верному. Свернешь направо, мимо двух лачужек, пустыря, где дом стоял, а ныне дерево одно торчит, увешанное тряпками.

Худая собачонка бродит, разбирая что-то в куче. Наигрывая на гармошке, шагают четверо парней, в тулупчиках, с лицами ясно-веселыми. С душой голубоокою поют.

Вспомню, вспомню, вспомню я,
Как отца зарезал,
А любовницу свою
На дуге повесил.

Старуха на углу, сияя в снегу, со щекой подвязанной, клонится поклоном низким, древне-убого-покорным, руку протягивает — «Подайте милостыньку»...

В конце Толстовского, преддверия рынка, бабы-молочницы с флягами. Тощему интеллигенту, барыне в салопе льют кружками белую жидкость со льдинками — в кувшины, кастрюлечки, махотки.

Смоленский! Средоточие Москвы, знамя политики, сердце всех баб, солдат и спекулянтов, родина слухов, гнездо фронды, суета, базар, печаль, ничтожество и безобразие убогой жизни. Кишит толпа, вечно кишит, с утра до вечера. Ее разгонят, оберут, засадят кой-кого — вновь собираются, торгуют в переулках, откупаются,— но все-таки торгуют, все же норовят друг друга объегорить, где-нибудь сорвать, на чем-нибудь нажиться. Долго разгоняли — но неутомимый, юркий бес все ж одолел — и невозбранная гудит мамона. В палатках продают духи и гвозди, мыло, башмаки и бриллианты, статуэтки и материи, торговцы опытные; а напротив длинными рядами вытянулись мизерабли, на себе принесшие отребья. На снегу — чернильница и дамские чулки; старинная миниатюра; кружева. Вот женская рука вытягивается, в перчатке черной — кольца на ней нацеплены; старенькая дама стынет, леденеет над такими же, как она, старыми книжонками. Две девушки накинули сверх шубок платья; бритый барин в котелке предлагает тряпочные куклы. И временами все сторонятся — тарахтит форд, прокладывая вольную дорогу, путь начальства, власти, самоопьянения.

Опять сомкнутся вновь безмолвные ряды просящих лиц, сизых носов, глаз слезящихся, вновь ходят по рядам дамы нарядные, скупщики, спецы — без конца и без начала человечья орда — сутолка, под серым небом с пролетающими галками, снежком, зигзагом реющим. Галдят, торгуются, пробуют материи, едят на лотках ситный, жуют свинину, разбирают сахар краденый, завертывают масло.

Вблизи молочниц, на снегу улицы — в раме гравюра. Отдых Пречистой на пути с Иосифом в Египет. Богородица уснула. Лишь Младенец тянется к двум ангелам,— один протягивает ему плошку, а другой дает еду. Иосиф в отдалении. И справа, за скалой, где приютились путники, спокойный, мирный слон.

«Buturum et mel comedet ut sciat reprobare malum et eligere bonum» — подпись.

А внизу:

«Ferdinando III Austriaco Magno Etruriae Duci — Nicolaus Poussin».

Так вот где Ты, Спаситель, и Египет, и Пуссэн, Этрурия! Так вот где. Смотрим и молчим, проходим с только что добытым молоком, которое снесем домой и будем аккуратно кипятить, задабривая газолином свежим нашего Михаила Михайловича, чтоб не спесивился и загорался пламенем изжелта-голубеющим.

— Забубнил, Михаил Михайлыч!

Но тогда не упускай минуты, путник, мешай ложкой молоко свое, чтобы не пригорело, не ушло, не хлынуло волной кипящей. Этого не любит наш Михаил Михайлович. Он обидится, и сам же ты потащишь прочищать его к старичку на Арбат.

Дубы оракула в Додоне, снега Парнаса, мед гиметский, Ликабета холм над Афинами, сумрак вечерний и огоньки в городе — дальний, безбрежный вздох ветра с гор. Стрекотанье цикад. Запах тмина. Круг моря, смутно висящего, нас сторожащего, гор оцепленье.

Мраморы Элевзина! Плеск волны, Нереиды и розы, гробницы Аттические. Медленный лет пчелы.

Идем и покупаем новую бутылку красного вина. И — легкий дым забвения и возбужденья в пути полуденном — туманные очарованья.

Михаил Михайлович, ты не плох, ты друг. Печь — ты помощница. Дрова — союзники. Стены — защита. Окна — глаза наши в белую улицу, со снегом и зимой, бегом саней, ходом людей, мало-печально-радостной жизнью нашей.

Здравствуй, чистильщик сапог, болгарин жуковидный на углу Кривоарбатского. Пирожницы и дамы папиросные, счастьеискательницы, мерзнущие на морозе. И кассирши в гастрономиях, и девочка, сбирающая корки за зеркальной дверью булочной. Мизерабли, дрогнущие в очереди к хлебу, и убогие старухи, руки тянущие, и приказчики, и буржуа в своих лавчонках,— здравствуйте.

Ну что же, где же драмы, и томления, и страсти сердца, и любви мечтанья? Как пустынно! Как легко идти!

Белое небо, белый снег порхающий, белая жизнь, белая душа. И летит бойкий автомобиль, трамвай гремит. А навстречу ему баба, впряжена в рекламу. На тележке надписи. Там и актеры, пение и кабаре. Подвалы, *радость.* Может быть, вино?

Сумерки, церковь Николы Плотника. Можно бы и зайти. Открыта дверь. Сумрачно тоже и холодно. Несколько человек. Гроб посредине, маленький. Весь в цветах. Свечи — смутное золото. Смутно и темно — холодно по углам. Двое у изголовья девочки, вечные двое — отец, мать... Поправила складку на покрове, цветы передвинула, а рука держит свечку, не бросит. И все только смотрит на кудерьки черные, на узенький, на лбу, венчик, провалы глаз. Девушка плачет. Красноармеец у двери. Священник в серебряной ризе и дьякон.

Долгим лобзанием поцеловала, припала, крестом смертным осенила. Вновь цветы поправила.

Крышку наставили — и застучали.

Вот она, Властная, в маленькой, бедной жизни нашей. Тысячи тысяч косит, купается, радуется, мы же идем да идем. И смеемся, работаем, пьем. Живем *ежедневно*. Вон спец в меховой куртке, желтых ботфортах, зашел пообедать в столовую. С военным бежит в кино советская барышня, румянощекая, на крепких, как свайки, ножках.

А нищие? Дети вспухающие? А людоеды? Нищему — подаяние. Людоеды — не тем будь помянуты к ночи. И дальше: весна придет. Растет снежок арбатский. Вперед, все дальше, несется.

Судьба? Так что ж. Терпи, трудись спокойно, в области высокой. И надейся. Мечтай: об океанах, о далеком, о неведомом. Не всегда же Арбат. Иди в прохладном свете зрелости, с улыбкою печали-радости. Малая жизнь, ты не Верховная. Не связать тебе путника. Он смотрит, но он жив, *желает*.

И средь трагедий и фарса, цены на молоко, возни с обедом, очереди в булочной, средь смеха, смерти, сладких пирожков и рева голода подъемлет свой бокал с вином, крови подобным.

Белый же свет смутно, бережно нас осыпает крылом хладным.

Москва, 1921 г.

АВДОТЬЯ-СМЕРТЬ

I

Через два дня как выпал снег, когда в комнатах стало светлее и вместо тряской, мерзлой земли розвальни заскользили по белеющей прохладе, когда за-

пахло до слез остро снегом и пронзительно-горестно выступили свинцовые дали,— в деревушке Кочках у комиссара Льва Головина появилась баба. Лев, человек огромный, вялый, с грыжей, с большим носом, с рыжеватой бородой, привык ничему не удивляться. Он неторопливо копошился у розвальней, ладя по-новому оглоблю, когда высокая, тощая баба окликнула его.

— Мы самые и есть,— ответил Лев, с усилием, изо всех сил затягивая петлей веревку.— А ты кто же будешь?

— Что ж, милок, или меня не узнал? Еще Матюшкина-то вдова, вашего же, кочкинского? А как я теперь без пропитания да бабка на руках слепая — разрази ее Господь — да Мишка несмышленый, жрать-то нечего, прямо как рыбочка бьешься...

Баба мало была похожа на рыбочку, говорила низким, почти мужским голосом, но всхлипывала искренно.

— Ну, вот, я сюда и подалась, и подбежала...

— Та-ак...— Лев равнодушно почесался.— Матюшкина вдова. Да он что ж, у нас жил? Он у нас, почитай, и не жил. Все в городе околачивался.

— Как так околачивался? Забыл ты все, милок, и меня, тетку Авдотью, не признал...

— Тебе чего же надо?

За плечами у Авдотьи висела котомка. Худа она была до чрезвычайности. Опираясь на длинную палку, пристукнув ею, придвинулась шага на два.

— Как чего? Вы-то небось барскую землю забрали, а ведь я тоже обчественная, как рыбочка бьюсь, бабка слепая, Мишка несмышленый...

Дело было ясное, несмотря на множество ненужных слов. Она хотела, чтобы ей прирезали земли. Лев это сразу понял, но сначала сделал вид, что не понимает, а когда долее не понимать стало нельзя, принялся равнодушно объяснять, что хоть и правда, взяли землю у господ, но ее стало даже меньше. Лев Головин глубоко был уверен в правде своих слов. Но сразить Авдотью тоже нелегко. На слово она отвечала десятью, бледные ее губы дрожали, мужской голос хрипел свое, она пристукивала палкой и плотнее наседала на Льва.

— Тогда уж надо обчеству... как обчество тебе решит, так и быть.

Под «тогда» Лев разумел: если уж ты такая стерва, что от тебя мне не отделаться, так пускай обчество отделывается.

И как ни безразличен, медлен, от ноющей грыжи ни меланхоличен был комиссар Лев Головин, все же ему пришлось под вечер созвать сход и доложить о деле. Никому не было оно в радость. Но Матюшка правда некогда жил в Кочках. У него нашлись даже родственники. Авдотья, как приблудный пес, сидела на крыльце и грызла корку.

— Я это, значит, оглоблю лажу,— рассказывал комиссар медленно и грустно,— а она вот как вот... И откуда ее принесло? Из-под земли выскочила! Или уж ее ветром к нам надуло, со снегом, по первопутку?

— Ее надуешь! — сказал кривенький мужичонко Кузька.— Она сама, смотри, какого ходока задает. Я видел. Я с ней говорил. Прямо... Из ноздрей огонь. Что твой скакун.

— Как ее упокойный муж, действительно сказать, был наш кочкинский, то не миновать нам дать ей землицы, что мы на этом сходе и должны привести в действие,— бойко произнес одутловатый человек с шарфом на шее, бывший приказчик, а ныне состоятельный крестьянин Федор Матвеич — и этим решил дело.

Постановили земли дать, на одну душу. Поселить в бывшей господской молочной.

Узнав об этом, Авдотья перекрестилась, низко поклонилась мужикам и, взяв свою палку, огромными шагами зашагала первопутком к станции — за Мишкой и бабкой.

— Видишь, как чешет,— сказал Кузька.— За ней на мерине не угонишься.

Авдотья быстро скрылась во мгле.

II

«Бывшая господская молочная» — значило небольшая изба, с земляным полом, где некогда гудел сепаратор. Рукоятку его вертела тогда Маша Головина, она же наливала фляги Николая Степановича и отправляла их на станцию. От этого былого, как от романа Маши с Пермяковым, мало что осталось, кроме самой избы. Крестьяне деревушки Кочки давно забрали барских коров и с огорченьем сами вынуждены были их отдать в совет. Сепаратор продали куда-то. Николай Степанович, столь любивший чинность и порядок, так и умер в очках и старой своей форменной тужурке. И из большого дома, со второго этажа которого был виден

пруд, угол липового парка и бугор перед глазами, замыкавший горизонт, Варвара Андреевна не по своей воле переселилась во флигель. Но как раз она и изменилась меньше всех. Хотя владела лишь наделом (считаясь членом кочкинского общества), но так же строго и спокойно принимала кочкинского комиссара Льва Головина на кухне, говорила ему «ты» и в бобровой шапке, шубке, с палочкой, медленно и властно обходила прежние свои владенья, заглядывала в амбар, половину которого — в награду за боевые заслуги — увез летом красноармеец Филька, подкармливала кур и голодных стариков, занимавших часть большого дома, продавала мельнику соседу кое-что из старья и, как и встарь, обладала непререкаемым авторитетом. Лиза за это время потеряла мужа. Возвратилась на родное пепелище, в прежней девической своей комнатке учила кочкинских детей — все как по-старому.

Когда в один прекрасный день Авдотья со слепою бабкой, с Мишкой, двумя петухами, сундуком и разным жалким скарбом ввалилась в усадьбу, Варвара Андреевна не удивилась. Она вообще была выдержанна, за это же время ее старые, некогда очень красивые глаза привыкли все принимать как должное.

— Еще одна пан-сионерка у нас появилась,— сказала она Лизе, отдавая комиссару ключ от избы.— В молочной будет жить.

Варвара Андреевна произносила «пан-сионерка» с французским выговором, так учили ее некогда в Петербурге, в пансионе мадам Труба. Но мало похожа Авдотья на прежних ее сотоварок.

— Подумать только, что вот и эта Авдотья была молода... Может, любила кого, замуж выходила...

— Ну, это ничего не значит. Знаешь, как у них: нужна работница в дом. А невеста смотрит, какая у жениха стройка.

Варвара Андреевна вообще была скептик. На многое, что волновало или восторгало Лизу, смотрела равнодушно. Лиза так привыкла, что всегда мать для других жила — для отца, для нее, Лизы,— так ей было ясно, что некрупная старушка эта есть образец безупречный, что даже этот холодок был свой, давно привычный. Как привычно, хоть и грустно было то, что мать безразлична к вере.

Авдотья же не занималась тонкостями, нежностями. Она кипела. Ей все равно, верит или нет слепая бабка. Но огорчало, выводило из себя, что бабка «много жгрет».

— Ах ты, пралик тебя расшиби, волосатик тебя заешь,— кричала она мужским голосом,— да что ж мне на тебя, на старую кобылу, милостынку собирать? Я бегаю, бегаю, прошу у добрых людей, все ножки отбегала, а она жгрет да жгрет, знай лопает, у-у, вредная, стерва...

Стерва безответно сидела на завалинке, пялила слезящиеся бельма и ждала, когда дочь даст ей по уху. Ждала не напрасно. Мишку Авдотья трепала за уши, а бабку била кулаком, иногда палкой, прямо по лицу. Бабка стонала — по старости громко кричать не могла. На другой день лицо ее покрывалось зелеными пятнами.

На одну из таких расправ наткнулась случайно Лиза. Как и в детстве при виде жестокостей и надругательств, вся побелела и сразу почувствовала тошноту.

— Что вы делаете, Авдотья...

Обернувшись, та увидела «молодую барыню» — и сама испугалась: не грозности этой барыни, а того, что она все-таки «барыня».

И отскочила от бабки.

— Да я, милок, я это маленько... только что поучила... У-у, она вредная... вы ее, барыня, не знаете.

— Да ведь она вам мать...

— Только и делает, жгрет с утра до вечера, а уж я и все ноженьки отмотала... Ты чего, паршук, смотришь,— крикнула на Мишку, с любопытством взиравшего, как «учат» бабушку.— Я тебе задницу-то надеру, колесом у меня пойдешь, сукин кот...

— Сама сука...— Мишка осмелел, что рядом Лиза, и, шморгнув носом, стреканул ко флигелю.

Лиза почувствовала, что дальше ничего сказать не может, расплачется — и, махнув рукой, пошла к себе во флигель.

Варвара Андреевна много спокойнее отнеслась к делу.

— Ты очень жалостливая и всегда такая была. С ними нужно крепче нервы. Они все такие. А ты думаешь, другие лучше? Они не так чувствуют, как ты...

— Ах, мама... бабка старая, слепая. И с каким ожесточением она ее колотит...

— Ну, кто же говорит! Кто это одобряет! Вот придет ко мне, я ей такой реприманд сделаю...

Авдотья заявилась в тот же день, в сумерки. Клуб пара и холода ворвался в кухню, когда, костлявою рукой резко дернувши входную дверь, она вошла с

мороза. В руках длинная палка. Как всегда, рваный тулуп, глаза белесы, беспокойны.

— Я к вашей милости, матушка барыня. Там вот это, позади хригеля вашего березочка одна такая... на кой она вам? А я прямо мерзну, силушки моей нет, пол холодный, бабка жалится.

Варвара Андреевна стоит посреди кухни, около плиты, и смотрит, как вскипает каша.

— Нет, нет, березку не позволю. Это баловство. Руби хворост в овраге. Там сколько угодно. Да вот еще что: если ты у меня в усадьбе будешь драться, так смотри...

— Что вы, что вы, милок барыня, какое драться, я и отродясь-то не дралась, я смирная бабочка.

— Если будешь со своей старухой скандалить, так и духа твоего здесь не окажется...

Авдотья продолжает уверять, что она самая тихая бабочка. Но для барыни готова даже не учить свою стерву, а в овраг, что ж, в овраг, конечно, можно сходить порубиться...

Тон Варвары Андреевны действует. Быть может, кажется Авдотье, что если барыня так властно говорит, значит, и власть имеет выставить ее из молочной. Соображает ли о том, что самое Варвару-то Андреевну и Лизу много легче вышвырнуть из флигеля, чем ее из молочной? Как бы то ни было, по остатку ли боязни, в надежде ли на мелкие подачки — их делают на кухне постоянно,— Авдотья удаляется покорно. Смирно меряет саженными шагами путь домой. Из окна смотрит Лиза, сумрачно, с задумчивым недоумением.

После ужина мать в столовой под висячей лампою раскладывает свой пасьянс. Лиза говорит:

— Знаешь, когда она так шагает, и с этою палкой... ну, точно смерть. Прямо скелет, кости гремят, и за плечами коса.

Варвара Андреевна из-под пенсне поднимает на нее красивые и строгие глаза:

— Ну, какая там смерть. Просто попрошайка. Это тебе все кажется.

III

Николай Степаныч лежал за церковью на кладбище, под белым березовым крестом. Зимний ветер трепал тонкую кожицу бересты, наносил сугроб, заметал засохшие цветы и мелкой снежной пылью пел вечную

песнь печали и бренности. Лиза иногда заходила к отцу. Пробиралась полузанесенной тропкою, стояла, разгребала цветы, поправляла перекладину, крестилась и так же истово и медленно шла домой. Нечто монашеское в ней проступало.

Близ ограды парка, из-за поворота вдруг вынырнула, как со дна морского, длинная и тощая фигура с палкой и котомкой за плечами.

— А я, милок барыня, в Аленкино добежать, сказывают, мануфактуру привезли, по полтора аршинчика выдают... Я тут одним махом, к обеду домой...

«В Аленкино...— Лиза медленно подходила к дому.— Десять туда, десять обратно, к обеду домой...» И обычная тоскливость, тяжесть встречи легла на сердце.

Авдотья же в это время, на длинных своих ногах, точно бы на ходулях, неслась в горку за речкой, откуда виднелась и церковь, и парк, и двухэтажный «господский» дом. Если бы обернулась, увидела бы и крест Николая Степаныча, но оборачиваться ей некогда, впереди поля, белые и холодные, дальние, с резкой поземкой по насту, летящей и вьющейся ледяными струями — как они извиваются, то вздувают сугроб вокруг елочки-вешки, то сметают с обледенелой лысины все дочиста! То шагает она по дороге почти что скользкой, то вдруг вязнет чуть не по колено — в малейшем ложочке. А времени небогато, засветло обернуться, да по дороге, в Кунееве, хлебушка раздобыться... хоть горбушку — и самой голодно, да и Мишка все ноет, и бабка...

— О, Господи, да убери ты их от меня, окаянных праликов! Заточили треклятущие!

После «реприманда» Варвары Андреевны Авдотья первое время была потише, но потом приловчилась и била старуху с не меньшим усердием, но тайно и запирала в избе, пока синяки не сходили. Била за все — за разбитую по слепоте чашку, за то, что обмочилась, что дверь не прикрыла. В этом-то исходила некая сила, гнездившаяся в поджаром Авдотьином теле, та сила, что гнала за десятки верст по снегам за аршинчиком ситца, краюшкою хлеба для той же «стервы». Она и сражалась, носилась, выклянчивала — в этом кипении жизнь.

И вот наступило время, когда предназначено было бабке отдохнуть от войны и боя. Авдотья в то время рыскала далеко. Мишка же с любопытством и в одиночестве слушал, как бабка стонала, охала, смешно икала. Пользуясь тем, что нет матери, Мишка босой

вылетал из молочной, с криком победы, марш-марш проносился взад-вперед по дороге. Это казалось ему смелым, прекрасным.

Когда в последний раз он вскочил в избу, бабка уже не икала. Мишка потрогал ее за рукав, она не шевелилась. Он испугался, побежал «к барыне».

На другой день с утра Авдотья заявилась к Варваре Андреевне.

— Барыня, дозвольте ту сосенку-то, во-о, над прудом, мужичкам срезать, там аккурат моей гроб выйдет — ох уж долгая же уродилась, прости Господи...

Авдотья была сумрачна и озабочена и опять недовольна — да и правда, выросла же бабка такая «долгая», чуть ли не полсосны под гроб... Да еще захотят ли «мужички», а за попом... Ах, жизнь каторжная!

— Да-а,— говорил под вечер Лев Головин, со всегдашней медленностью и грустью, плотнику Григорию Мягкому, который пилил с Кузькой доски на гроб.— Вот и накрыла бабенка. Теперича она на нас поедет. То ей подводу дай, то дровец наруби, то вот зачнут помирать, тут и гробов не наготовишься.

— Где наготовишься,— мрачно сказал Мягкий.

— Ты погоди, вот придет весна, ты на нее напашешься. Земли ей дай, лошадь скородить дай... ты ей все дай, а она тебе знай как домовой кружить будет. Ныне тут, завтра в Аленкине, а там, смотри, до Страхова докинется...

Лев Головин вздохнул.

— И как это она тогда, точно из-под земли выскочила... Или ее ветром надуло?

Голодный поп быстро отпел бабку в нетопленой церкви. Бабка лежала в гробу мерзлая, синяки на лбу и щеке пожелтели, и все то худое, костлявое и очень длинное, что когда-то носило имя Елены и пело песни, быть может, любило — на серых суровых полотнищах сошло в глубь земли, рядом с Николаем Степанычем. Лиза бросила ей — первая — горсть земли. И Авдотья завыла: так полагалось в деревне, а может быть, не только что и полагалось...

Мишку весьма занимало, куда прячут бабку, но мешал кашель, начинавшийся с раннего утра. Мишка зяб, дрожал. Вернувшись с похорон, забился на печку, где прежде грелась бабка.

— У-у, дармоед, знай по лежанкам лазить!

Авдотья гремела посудой, скребла, терла, видно, была в сильном возбуждении, сама как будто бы не знала твердо, плакать ей или ругаться. На всякий

случай дала Мишке подзатыльника, чтобы не «лаял». А он лаял здорово, всю ночь. Авдотья даже иногда сквозь сон слышала кашель и с остервенением переворачивалась — поспать не даст, пралик! Вообще тяжело как-то и скверно было. Мерещился все холод, и поля, свист ветра, белые змеи метелей... В избе сильно дуло из окон и снизу, с полу.

На другой день Мишка не поднялся. Авдотья было разозлилась, но, увидев, что он весь горячий, кашляет и глаза мутные, не тронула. Укрыла его бабкиным тулупом, а сама пошла «к барыне» за подмогой.

— Он у тебя босиком по улице носится, вот и дождалась,— сказала строго Варвара Андреевна.— Смотри, чтоб воспаление легких не схватил.

— Да что мне, барыня милок, что мне со стервецом поделать? Я уж ему и то говорю: запорю, сукин кот, сиди дома, уши оборву...

— Нет, нет, ты, пожалуйста, потише. Здесь не кабак.

Лиза заходила к Мишке несколько раз.

— Как у них ужасно,— говорила потом матери.— Воздух... грязь, какой-то мрак, холод... Я прямо боюсь этой Авдотьи.

— Ты всегда была такая нервная. Ну а уж теперь, после смерти мужа... Авдотью бояться! Противная баба, больше ничего.

Лиза решила — правда, стыдно так бояться и не любить. Надо за нее молиться. И с этого дня стала она в одинокой своей молитве, поминая ближних и дальних, прибавлять имя Евдокии. Когда мысленно, стоя на коленях, в темноте, называла ее, казалось, что это не совсем та, Евдокия была как-то лучше, благообразней, чем Авдотья-смерть. И после, раздумывая, Лиза даже стыдилась, что назвала ее смертью. «Господи, вот святые лобызали прокаженных...» И содрогалась. Если представить себе, что надо поцеловать эти белые губы Авдотьи, костяной оскал с запахом гнили, могилы, с фосфорическим блеском глаз полуголодных... Нет, видно, она недостойна!

Мишке давали что нашлось в старой аптеке: хину, аспирин. Но он непрерывно кашлял. Метался, хрипел, и сама Авдотья вдруг стала понурой, тише мерила ходулями своими землю. Все-таки ухитрялась «добегать» к соседям, за две версты к мельнику, в Козловку к Аксюше Лапочке.

Однажды, в холодный предрождественский день, пробежавши верст шесть, в сумерки возвращалась она домой, таща за плечами, в котомке, кое-что снеди.

Привычно полаяли на нее собаки в Кочках, привычно шумели березы по канаве, окружавшей усадьбу. Странным казался лишь слабенький отблеск в окне молочной. «Не спалил бы, пралик...» И она наддала ходу. Костлявой рукою крепко двинула дверь. Мишка лежал на спине неподвижно, красные его ручки сложены крестообразно, в головах теплится свечка. И Лиза. В руках у нее Псалтырь.

Авдотья не сразу сообразила. Холодная струя ворвалась за ней, она не успела захлопнуть двери, остановилась, смотрела бессмысленно на остренький носик Мишки, на бледную Лизу с глазами во влажном блеске, и вдруг вопль, хриплый, глухой, поразил смрадный воздух — как стояла, рухнула Авдотья с палкою своей, с котомкой, к холодным ручонкам сына.

— Сокол ты мой ясный, орел золотой, дитя ненаглядное...

IV

Дитя ушло, не много вкусив в жизни. И не велик был гроб, из той же сосны, творенье тех же старческих рук Григория Мягкого. Он лег рядом с бабкою, в нескольких шагах от Николая Степаныча.

— Ну, теперь ей будет послободней,— сказал Лев Головин, возвратившись с кладбища,— двух ртов нету. Это уж куда слободнее!

Но мужичонка Кузька заметил скептически:

— Смотри, дядя Левон, она теперь бобылкой будет, вовсе нас окрутит. То ты за нее подводу в город, по весне ты на нее паши... Нет, нам не отвертеться.

Авдотья правда стала теперь посвободнее. Не было двух праликов — и никого на свете больше не было. Незачем волноваться, некого бить, не на кого жаловаться, но и не с кем дома сказать слова.

Встретив как-то Лизу, Авдотья сапнула носом:

— Вот, барыня милок, и дождалася... Враз и отчистилась...

Дома Лиза, сидя с матерью за обедом, сказала внезапно:

— Все-таки мне очень жаль Авдотью.

Варвара Андреевна повернула к ней свой тонкий профиль и взглянула темными, красивыми глазами.

— Ведь она сама того хотела. Сколько раз говорила. А старуху, в сущности, заколотила.

— Да, но все-таки...

Лиза осталась при своем.

— Ты всегда, с детства была мягкосердечна...

Разговор был разговором, канул, как и все, в пучину дней. Дни же набегали, пролетали. Мужики в Кочках хозяйничали, бабы возились с горшками и печками, Лиза учила, Варвара Андреевна наблюдала, Авдотья, как и раньше, все носилась. Казалось иной раз при виде поджарой бабы с котомкой и палкой, без устали над снегами шагающей, что и правда сам ветер несет ее...

Наступал Новый год. Ледяное встает солнце, в молочно-розовеющем дыму, с востока ветер, обжигающий как пламенем, снег на буграх блестит чешуйками, режущими глаза, нет сил смотреть, только бы укрыться, отвернуть голову в затишье поднятого воротника. Но какой скрип саней! Какая музыка шипенья, визгов, свиста!

Она иной бывает в дни метели. Тогда гудят какие-то могучие басы, и ухает, и бьет — на флигель, где ютятся Лиза с матерью, вдруг налетит целая рать бешеная, хлопнет, затрясет крышей, ахнет в трубе, смолкнет на мгновение, чтобы дать место следующей, и к утру так навьет сугроб у сеней, что не отворить двери — откапывают.

В такой день возвращалась Авдотья домой из Аленкина. Вышла сразу же после обеда. Было бело, дымно-молочно, не очень уж холодно — она зашагала своими ходулями, но через час приустала. Забрела в Выселки, к тетке Агафье, погреться, вздохнуть. Агафья дала ей даже чайку. Выпив, та вовсе воспрянула. Хоть и темнело, решила идти.

— Я тут, милок, одним духом... Рощицу пробегу, а уж там все под горку, так ветром домчит.

Рощицей, недавно вырубленной, а теперь заросшей тонкими осинками, орешником, дубками идти было сносно. Метель бесновалась по верхам, рвала, расшвыривала по всему полю бурые листики, уцелевшие на дубках, свистела в голых ветках, наметала сугробы у штабелей дров на просеке. Но в поле пощады не было. Авдотья все же резво и упрямо шагала под гору, там в двух верстах внизу Кочки. Лесок быстро исчез, и ветер как-то бил с разных сторон. Снег залеплял глаза, иной раз и дыханье захватывало. Вдруг стало по колено, следующий шаг — по пояс. Попробовала повернуть. Несколько шагов верных — снова сбилась. Туда, сюда, везде «глыбко». Помучилась, побилась, и решила взять направо, целиком, и до ложочка. А ложочек прямо к Кочкам.

Добралась до куста и обрадовалась — ну, сейчас

ложочек, и все ясно. Ухнула за кустом в овраг — так и надо, отлично. Стало как будто тише, но уж очень много снегу...

В этот же вечер, перед сном, стояла на молитве Лиза. Было темно, ревела за окном метель. Лиза клала поклоны, молилась за убитого мужа, за мать, за себя. Поминала и Мишку, и бабку. Дойдя до Евдокии, вдруг увидела: ложбинка, вся занесенная снегом, и белые вихри, и змеи, фигура высокая, изможденная, с палкой в руке, котомкою за плечами, отчаянно борется, месит в овраге снег и в белом, в таком необычном свете Мишка и бабка вдруг появляются, берут под руки, все куда-то идут... Господи, заступи и спаси!

На этот раз напрасно плакался Кузька. Гражданам деревни Кочки не было уж никаких забот и никаких хлопот с Матюшкиной вдовой Авдотьей.

Париж, 1927 г.

Преподобный
Сергий
Радонежский

Св. Сергий родился более шестисот лет назад, умер более пятисот. Его спокойная, чистая и святая жизнь наполнила собой почти столетие. Входя в него скромным мальчиком Варфоломеем, он ушел одной из величайших слав России.

Как святой, Сергий одинаково велик для всякого. Подвиг его всечеловечен. Но для русского в нем есть как раз и нас волнующее: глубокое созвучие народу, великая типичность — сочетание в одном рассеянных черт русских. Отсюда та особая любовь и поклонение ему в России, безмолвная канонизация в народного святого, что навряд ли выпала другому.

Сергий жил во времена татарщины. Лично его она не тронула: укрыли леса радонежские. Но он к татарщине не пребыл равнодушен. Отшельник, он спокойно, как все делал в жизни, поднял крест свой за Россию и благословил Димитрия Донского на ту битву, Куликовскую, которая для нас навсегда примет символический, таинственный оттенок. В поединке Руси с Ханом имя Сергия навсегда связано с делом созидания России.

Да, Сергий был не только созерцатель, но и делатель. П р а в о е д е л о, вот как понимали его пять столетий. Все, кто бывали в Лавре, поклоняясь мощам Преподобного, всегда ощущали образ величайшего благообразия, простоты, правды, святости, покоящейся здесь. Жизнь «бесталанна» без героя. Героический дух средневековья, породивший столько святости, дал здесь блистательное свое проявление.

Автору казалось, что сейчас особенно уместен опыт — очень скромный — вновь, в меру сил, восстановить в памяти знающих и рассказать незнающим дела и жизнь великого святителя и провести читателя чрез ту особенную, горнюю страну, где он живет, откуда светит нам немеркнущей звездой.

Присмотримся же к его жизни.

Париж, 1924 г.

ВЕСНА

Детство Сергия, в доме родительском, для нас в тумане. Все же общий некий дух можно уловить из сообщений Епифания, ученика Сергия, первого его биографа[1].

По древнему преданию, имение родителей Сергия, бояр Ростовских Кирилла и Марии, находилось в окрестностях Ростова Великого, по дороге в Ярославль. Родители, «бояре знатные», по-видимому, жили просто, были люди тихие, спокойные, с крепким и серьезным складом жизни. Хотя Кирилл не раз сопровождал в Орду князей Ростовских, как доверенное, близкое лицо, однако сам жил небогато. Ни о какой роскоши, распущенности позднейшего помещика и говорить нельзя. Скорей напротив, можно думать, что домашний быт ближе к крестьянскому: мальчиком Сергия (а тогда — Варфоломея) посылали за лошадьми в поле. Значит, он умел и спутать их, и обротать. И подведя к какому-нибудь пню, ухватив за челку, вспрыгнуть, с торжеством рысцою гнать домой. Быть может, он гонял их и в ночное. И, конечно, не был барчуком.

Родителей можно представить себе людьми почтенными и справедливыми, религиозными в высокой степени. Известно, что особенно они были «страннолюбивы». Помогали бедным и охотно принимали странников. Вероятно, в чинной жизни странники — то начало ищущее, мечтательно противящееся обыденности, которое и в судьбе Варфоломея роль сыграло.

Есть колебания в годе рождения святого: 1314—1322[2]. Жизнеописатель глухо, противоречиво говорит об этом.

Как бы то ни было, известно, что 3 мая у Марии родился сын. Священник дал ему имя Варфоломея, по дню празднования этого святого.

Особенный оттенок, отличающий его, лежит на ребенке с самого раннего детства.

[1] Примечания помещены в конце произведения.

Семи лет Варфоломея отдали учиться грамоте, в церковную школу, вместе с братом Стефаном. Стефан учился хорошо. Варфоломею же наука не давалась. Как и позже Сергий, маленький Варфоломей очень упорен и старается, но нет успеха. Он огорчен. Учитель иногда его наказывает. Товарищи смеются и родители усовещивают. Варфоломей плачет одиноко, но вперед не двигается.

И вот, деревенская картинка, так близкая и так понятная через шестьсот лет! Забрели куда-то жеребята[3] и пропали. Отец послал Варфоломея их разыскивать. Наверно, мальчик уж не раз бродил так, по полям, в лесу, быть может, у прибрежья озера ростовского и кликал их, похлопывал бичом, волочил недоуздки. При всей любви Варфоломея к одиночеству, природе и при всей его мечтательности он, конечно, добросовестнейше исполнял всякое дело — этою чертой отмечена вся его жизнь.

Теперь он — очень удрученный неудачами — нашел не то, чего искал. Под дубом встретил «старца черноризца, саном пресвитера». Очевидно, старец его понял.

— Что тебе надо, мальчик?

Варфоломей сквозь слезы рассказал об огорчениях своих и просил молиться, чтобы Бог помог ему одолеть грамоту.

И под тем же дубом стал старец на молитву. Рядом с ним Варфоломей — через плечо недоуздки. Окончив, незнакомец вынул из-за пазухи ковчежец, взял частицу просфоры, благословил ею Варфоломея и велел съесть.

— Это дается тебе в знак благодати и для разумения Священного Писания. Отныне овладеешь грамотою лучше братьев и товарищей.

О чем они беседовали дальше, мы не знаем. Но Варфоломей пригласил старца домой. Родители приняли его хорошо, как и обычно странников. Старец позвал мальчика в моленную и велел читать псалмы. Ребенок отговаривался неумением. Но посетитель сам дал книгу, повторивши приказание.

Тогда Варфоломей начал читать, и все были поражены, как он читает хорошо.

А гостя накормили, за обедом рассказали и о знамениях над сыном. Старец снова подтвердил, что теперь Варфоломей хорошо станет понимать св. Писание и одолеет чтение. Затем прибавил: «Отрок будет некогда обителью Пресв. Троицы; он многих приведет за собой к уразумению Божественных заповедей».

С этого времени Варфоломей двинулся, читал уже

любую книгу без запинки, и Епифаний утверждает — даже обогнал товарищей.

В истории с его учением, неудачами и неожиданным, таинственным успехом видны в мальчике некоторые черты Сергия: знак скромности, смирения есть в том, что будущий святой не мог естественно обучиться грамоте. Заурядный брат его Стефан лучше читал, чем он, *его* больше наказывали, чем обыкновеннейших учеников. Хотя биограф говорит, что Варфоломей обогнал сверстников, но вся жизнь Сергия указывает, что не в способностях к наукам его сила: в этом ведь он ничего не создал. Пожалуй, даже Епифаний, человек образованный и много путешествовавший по св. местам, написавший жития свв. Сергия и Стефана Пермского, был выше его как писатель, как ученый. Но непосредственная связь, живая, с Богом, обозначилась уж очень рано у малоспособного Варфоломея. Есть люди, внешне так блестяще одаренные,— нередко истина последняя для них закрыта. Сергий, кажется, принадлежал к тем, кому обычное дается тяжко, и посредственность обгонит их — зато необычайное раскрыто целиком. Их гений в иной области.

И гений мальчика Варфоломея вел его иным путем, где менее нужна наука: уже к порогу юности отшельник, постник, инок ярко проступили. Больше всего любит он службы, церковь, чтение священных книг. И удивительно серьезен. Это уже не ребенок.

Главное же: у него является *свое.* Не потому набожен, что среди набожных живет. Он впереди других. Его ведет — призвание. Никто не принуждает к аскетизму — он становится аскетом и постится среды, пятницы, ест хлеб, пьет воду, и всегда он тихий, молчаливый, в обхождении ласковый, но с некоторой *печатью.* Одет скромно. Если же бедняка встретит, отдает последнее.

Замечательны и отношения с родными. Конечно, мать (а может, и отец) давно почувствовала в нем особенное. Но вот казалось, что он слишком изнуряется. Она его упрашивает не насиловать себя. Он возражает. Может быть, из-за его дарений тоже выходили разногласия, упреки (лишь предположение), но какое чувство меры! Сын остается именно *послушным сыном,* житие подчеркивает это, да и факты подтверждают. Находил Варфоломей гармоничность, при которой был самим собой, не извращая облика, но и не разрывая с тоже, очевидно, ясными родителями. В нем не было экстаза, как во Франциске Ассизском. Если бы он был блаженным, то на русской почве это значило б:

юродивый. Но именно юродство ему чуждо. Живя, он с жизнью, семьей, духом родного дома и *считался*, как и с ним семья считалась. Потому к нему неприменима судьба бегства и разрыва.

А внутренно, за эти годы отрочества, ранней юности, в нем накоплялось, разумеется, стремление уйти из мира низшего и среднего в мир высший, мир незамутненных созерцаний и общенья непосредственного с Богом.

Этому осуществиться надлежало уж в других местах, не там, где проходило детство.

ВЫСТУПЛЕНИЕ

Трудно вообще сказать, когда легка была жизнь человеческая. Можно ошибиться, называя светлые периоды, но в темных, кажется, погрешности не сделаешь. И без риска станешь утверждать, что век четырнадцатый, времена татарщины, ложились камнем на сердце народа.

Правда, страшные нашествия тринадцатого века прекратились. Ханы победили, властвовали. Относительная тишина. И все же: дань, баскаки, безответность и бесправность даже пред татарскими купцами, даже перед проходимцами монгольскими, не говоря уж о начальстве. И чуть что — карательная экспедиция: «егда рать Ахмулова бысть», «великая рать Туралыкова»,— а это значит: зверства, насилия, грабеж и кровь.

Но и в самой России шел процесс мучительный и трудный: «собирание земли». Не очень чистыми руками «собирали» русскую землицу Юрий и Иван (Калита) Даниловичи. Глубокая печаль истории, самооправдание насильников — «все на крови!». Понимал или нет Юрий, когда при нем в Орде месяц водили под ярмом его соперника, Михаила Тверского, что делает дело истории, или Калита, предательски губя Александра Михайловича? «Высокая политика», или просто «растили» свою вотчину московскую — во всяком случае уж не стеснялись в средствах. История *за* них. Через сто лет Москва незыблемо поднялась *над* удельною сумятицей, татар сломила и Россию создала.

А во времена Сергия картина получалась, например, такая: Иван Данилыч выдает двух дочерей — одну за Василия Ярославского, другую — за Константина Ростовского,— и вот и Ярославль, и Ростов подпадают Москве. «Горько тогда стало городу Ростову, и особен-

но князьям его. У них отнята была всякая власть и имение, вся же честь их и слава потягнули к Москве».

В Ростов, воеводою, прибыл некий Василий Кочева, «и с ним другой, по имени Мина». Москвичи ни перед чем не останавливались. «Они стали действовать полновластно, притесняя жителей, так что многие ростовцы принуждены были отдавать москвичам свои имущества поневоле, за что получали только оскорбления и побои и доходили до крайней нищеты. Трудно и пересказать все, что потерпели они: дерзость московских воевод дошла до того, что они повесили вниз головою ростовского градоначальника, престарелого боярина Аверкия... и оставили на поругание. Так поступали они не только в Ростове, но по всем волостям и селам его. Народ роптал, волновался и жаловался. Говорили... что Москва тиранствует».

Итак, разоряли и чужие, и свои. Родители Варфоломея, видимо, попали под двойное действие, и если Кирилл тратился на поездки в Орду с князем (а к поездкам относились так, что, уезжая, оставляли дома завещания), если страдал от «Туралыковой великой рати», то, конечно, Мины и Кочевы тоже были хороши. На старости Кирилл был вовсе разорен и лишь о том мечтал, куда бы выйти из Ростовской области.

Он вышел поселенцем в село Радонеж, в 12 вер. от Троице-Сергиевой Лавры[4]. Село Радонежское досталось сыну Калиты, Андрею, а за малолетством его Калита поставил там наместником Терентия Ртища. Желая заселить дикий и лесистый край, Терентий дал переселенцам из других княжеств льготы, что и привлекло многих. (Епифаний упоминает густые имена ростовцев: Протасий Тысяцкий, Иоанн Тормасов, Дюденя и Онисим, и др.)

Кирилл получил в Радонеже поместье, но сам служить уже не мог, по старости. Его замещал сын Стефан, женившийся еще в Ростове. Младший сын Кирилла Петр тоже женился. Варфоломей продолжал прежнюю жизнь, лишь настоятельней просился в монастырь. Если всегда его душа была отмечена особенным влечением к молитве, Богу и уединению, то можно думать, что и горестный вид жизни, ее насилия, неправды и свирепость лишь сильнее укрепляли его в мысли об уходе к иночеству. Возможно, что задумчивый Варфоломей, стремясь уйти, и чувствовал, что начинает дело крупное. Но представлял ли ясно, что задуманный им подвиг не одной его души касается? Что, уходя к медведям Радонежским, он приобретает некую опору для воздействия на жалкий и корыстный

мир? Что, от него отказываясь, начинает длительную, многолетнюю работу просветления, облагораживанья мира этого? Пожалуй, вряд ли. Слишком был он скромен, слишком погружен в общенье с Богом.

В самой истории ухода снова ярко проявился ровный и спокойный дух Варфоломея.

Отец просил его не торопиться.

— Мы стали стары, немощны; послужить нам некому; у братьев твоих немало заботы о своих семьях. Мы радуемся, что ты стараешься угодить Господу. Но твоя благая часть не отнимется, только послужи нам немного, пока Бог возьмет нас отсюда; вот, проводи нас в могилу, и тогда никто не возбранит тебе.

Варфоломей *послушался.* Св. Франциск ушел, конечно бы, отряхнул прах от всего житейского, в светлом экстазе ринулся бы в слезы и молитвы подвига. Варфоломей сдержался. Выжидал.

Как поступил бы он, если бы *надолго* затянулось это положение? Наверное, не остался бы. Но, несомненно, как-нибудь с достоинством устроил бы родителей и удалился бы без бунта. Его тип иной. А отвечая типу, складывалась и судьба, естественно и просто, без напора, без болезненности: родители сами ушли в монастырь (Хотьковский, в трех верстах от Радонежа; он состоял из мужской части и женской)[5]. У Стефана умерла жена, он тоже принял монашество, в том же Хотькове. А затем умерли родители. Варфоломей мог свободно осуществить замысел.

Он так и сделал. Верно, все-таки привязан был к семье: и в этот час, последний пребывания в миру, вспомнил о Петре, брате, имущество оставшееся завещал ему. Сам же отправился в Хотьков, к Стефану. Как будто не хотелось действовать и тут без одобренья старшего. Стефана убедил, и вместе тронулись они из Хотькова в недалекие леса.

Лесов тогда было достаточно. Стоило пожелать, и где угодно можно было ставить хижину, копать пещеру и устраиваться. Не вся земля принадлежала частным лицам. Если собиралось несколько пустынников и нужно было ставить церковь, прочно оседать, то спрашивали разрешенья князя и благословенье у местного святителя. Освящали церковь — и обитель возникала.

Варфоломей и Стефан выбрали место в десяти верстах от Хотькова. Небольшая площадь, высившаяся как маковка, позже и названная Маковицей. (Преподобный говорит о себе: «аз есмь Сергие Маковскый».) Со всех сторон Маковица окружена лесом, вековыми сос-

нами и елями. Место, поразившее величием и красотой. Летопись же утверждает, что вообще это особенный пригорок: «глаголеть же древний, видяху на том месте прежде свет, а инии огнь, а инии благоухание слышаху».

Тут братья поселились. Сложили из ветвей шалаш («прежде себе сотвориста одриную хизину и покрыста ю»), потом срубили келийку и «церквицу». Как они это делали? Знали ли плотничество? Вероятно, здесь, на Маковице, пригласив плотника со стороны, и учились рубить избы «в лапу». В точности мы этого не знаем. Но в подвижничестве Сергия дальнейшем это плотничество русское и эта «лапа» очень многознаменательна. В сосновых лесах он возрос, выучился ремеслу, через столетия сохранил облик плотника-святого, неустанного строителя сеней, церквей, келий, и в благоуханье его святости так явствен аромат сосновой стружки. Поистине преподобный Сергий мог считаться покровителем этого великорусского ремесла.

Как осторожен и нетороплив Варфоломей в выполнении давнего намеренья, так же он скромен и в вопросе с церковью. Как назовут ее? Он обращается к Стефану. Стефан вспомнил слова таинственного старца, встреченного им под дубом: церковь должна быть во имя Св. Троицы. Варфоломей принял это. Так дело его жизни, столь уравновешенно-покойное, приняло покровительство Триединства, глубочайше внутренно уравновешенной идеи христианства. Далее мы увидим, что у Сергия был культ Богоматери. Но все-таки в пустынях Радонежа не Пречистая и не Христос, а Троица вела святого.

Митрополит Феогност, к которому отправились они пешком, в Москву, благословил их и послал священников с антиминсом и мощами мучеников — церковь освятили.

Братья продолжали жить на своей Маковице. Но жизнь их не совсем ладилась. Младший оказался крепче и духовней старшего. Стефану пришлось трудно. Может быть, он и вообще пошел в монахи под влиянием смерти жены. Возможно (и почти наверно) — у него характер тяжкий. Как бы то ни было, Стефан не выдержал суровой и действительно «пустынной» жизни. Ведь уединение полнейшее! Едва достать необходимейшее. Пили воду, ели хлеб, который приносил им, временами, вероятно, Петр. Даже пройти к ним нелегко — дорог да и тропинок не было.

И Стефан ушел. В Москву, в Богоявленский монастырь, где жили легче. Варфоломей же в полном одиночестве продолжал полуночный свой подвиг.

ОТШЕЛЬНИК

Недалеко от пустыни жил игумен-старец Митрофан[6], которого Варфоломей, по-видимому, знал и ранее. В летописи есть упоминание, что Варфоломей «на обедню призываша некоего чюжого попа суща саном или игумена старца, и веляше творити литургию». Возможно, именно игумен Митрофан и приходил к нему для этого. Однажды он попросил игумена пожить с ним в келии некоторое время. Тот остался. И тогда отшельник открыл желание свое — стать иноком. Просил о пострижении.

Игумен Митрофан 7-го окт. постриг юношу[7]. В этот день Церковь празднует свв. Сергия и Вакха, и Варфоломей в монашестве стал Сергием — воспринял имя, под которым перешел в Историю.

Совершив обряд пострижения, Митрофан приобщил Сергия св. Таин. Затем остался на неделю в келии. Каждый день совершал литургию, Сергий же семь дней не выходя провел в «церквице» своей, молился, ничего не «вкушал», кроме просфоры, которую давал Митрофан. Всегда такой трудолюбивый, теперь Сергий, чтобы не развлечься, прекратил всякое «поделие». С уст его не сходили псалмы и песни духовные. А когда пришло время Митрофану уходить, просил его благословения на жизнь пустынную.

— Ты уже уходишь и оставляешь меня одиноким. Давно я желал уединиться и всегда просил о том Господа, вспоминая слова Пророка: се удалихся бегая, и водворихся в пустыне. Благослови же меня, смиренного, и помолись о моем уединении.

Игумен поддержал его и успокоил, сколько мог. И молодой монах один остался среди сумрачных своих лесов.

Можно думать, что это — труднейшее для него время. Тысячелетний опыт монашества установил, что тяжелее всего, внутренно, первые месяцы пустынника. Не легко усваивается аскетизм. Существует целая наука духовного самовоспитания, стратегия борьбы за *организованность* человеческой души, за выведение ее из пестроты и суетности в строгий канон. Аскетический подвиг — выглаживание, выпрямление души к единой вертикали. В таком облике она легчайше и любовнейше соединяется с Первоначалом, ток божественного беспрепятственней бежит по ней. Говорят о теплопроводности физических тел. Почему не назвать духопроводностью то качество души, которое дает ощущать Бога, связывает с Ним. Кроме избранничества, благодати,

здесь культура, дисциплина. Видимо, даже натуры, как у Сергия, ранее подготовленные, не так скоро входят в русло и испытывают потрясения глубокие. Их называют искушениями.

Если человек так остро напрягается вверх, так подчиняет пестроту свою линии Бога, он подвержен и отливам, и упадку, утомлению. Бог есть сила, дьявол — слабость. Бог — выпуклое, дьявол — вогнутое. У аскетов, не нашедших еще меры, за высокими подъемами идут падения, тоска, отчаяние. Ослабшее воображение впадает в вогнутость. Простое, жизненно-приятное кажется обольстительным. Духовный идеал — недостижимым. Борьба безнадежной. Мир, богатство, слава, женщина... и для усталого миражи возникают.

Отшельники прошли через это все. Св. Василий Великий, вождь монашества, оставил наставление пустынникам в борьбе со слабостями. Это — непрерывное тренированье духа,— чтение слова Божия и житий святых, ежевечернее размышление о своих мыслях и желаниях за день (examen de conscience католиков), мысли о смерти, пост, молитва, воспитание в себе чувства, что Бог непрерывно за тобою смотрит, и т. д.

Св. Сергий знал и пользовался наставлениями кесарийского епископа, но все же подвергался страшным и мучительным видениям. Жизнеописатель говорит об этом. Возникали пред ним образы зверей и мерзких гадов. Бросались на него со свистом, скрежетом зубов. Однажды ночью, по рассказу Преподобного, когда в «церквице» своей он «пел утреню», чрез стену вдруг вошел сам сатана, с ним целый «полк бесовский». Бесы были все в остроконечных шапках, на манер литовцев[8]. Они гнали его прочь, грозили, наступали. Он молился. («Да воскреснет Бог, и да расточатся врази Его».) Бесы исчезли.

В другой раз келия наполнилась змеями — даже пол они закрыли. Снаружи раздался шум, и «бесовские полчища» как будто пронеслись по лесу. Он услышал крики: «Уходи же, прочь! Зачем пришел ты в эту глушь лесную, что хочешь найти тут? Нет, не надейся долее здесь жить: тебе и часа тут не провести; видишь, место пустое и непроходимое; как не боишься умереть здесь с голоду или погибнуть от рук душегубцев-разбойников?»

Видимо, более всего подвергался Сергий искушению страхом, на древнем, мило-наивном языке: «страхованием». Будто слабость, куда он впадал, брошенный братом, была: сомнение и неуверенность, чувство тоски и одиночества. Выдержит ли в грозном лесу, в убогой келии? Страшны, наверно, были осени и зимние метели

на его Маковице! Ведь Стефан не выдержал же. Но не таков Сергий. Он упорен, терпелив, и он «боголюбив». Прохладный и прозрачный дух. И с ним Божественная помощь, как отзыв на тяготенье. Он одолевает.

Другие искушения пустынников как будто миновали его вовсе. Св. Антоний в Фиваиде мучился томленьем сладострастия, соблазном «яств и питий». Александрия, роскошь, зной Египта и кровь юга мало общего имеют с Фиваидой северной. Сергий был всегда умерен, прост и сдержан, не видал роскоши, распущенности, «прелести мира». Святитель-плотник радонежский огражден от многого — суровою своей страной и чинным детством. Надо думать, что вообще пустынный искус был для него легче, чем давался он другим. Быть может, защищало и природное спокойствие, ненадломленность, неэкстатичность. В нем решительно ничего нет болезненного. Полный дух Св. Троицы вел его суховатым, одиноко-чистым путем среди благоухания сосен и елей Радонежа.

Так прожил он, в полном одиночестве, некоторое время. Епифаний не ручается за точность. Просто и прелестно говорит он: «пребывшу ему в пустыни единому единствовавшу или две лете, или боле или меньши, Бог весть». Внешних событий никаких. Духовный рост и созревание, новый закал пред новою, не менее святой, но усложненной жизнью главы монастыря и дальше — старца, к голосу которого будет прислушиваться Русь. Быть может, посещенья редкие и литургии в «церквице». Молитвы, труд над грядкою капусты и жизнь леса вокруг: он не проповедовал, как Франциск, птицам и не обращал волка из Губбио, но, по Никоновской летописи, был у него друг лесной. Сергий увидел раз у келии огромного медведя, слабого от голода. И пожалел. Принес из келии краюшку хлеба, подал — с детских ведь лет был, как родители, «странноприимен». Мохнатый странник мирно съел. Потом стал навещать его. Сергий подавал всегда. И медведь сделался ручным.

Но сколь ни одинок был Преподобный в это время, слухи о его пустынничестве шли. И вот стали являться люди, прося взять к себе, спасаться вместе. Сергий отговаривал. Указывал на трудность жизни, на лишения, с ней связанные. Жив еще был для него пример Стефана. Все-таки — уступил. И принял нескольких: немолодого, с верховьев реки Дубны Василия Сухого. Земледельца Якова, братия называла его Якута; он служил вроде рассыльного. Впрочем, посылали его редко, в крайности: старались обходиться во всем сами.

Упоминаются еще: Онисим, дьякон, и Елисей, отец и сын, земляки Сергия, из Ростовской земли. Сильвестр Обнорский, Мефодий Пешношский, Андроник.

Построили двенадцать келий. Обнесли их тыном для защиты от зверей. Онисима, чья келья находилась у ворот, Сергий поставил *вратарем.* Келии стояли под огромными соснами, елями. Торчали пни только что срубленных деревьев. Между ними разводила братия свой скромный огород.

Жили тихо и сурово. Сергий подавал во всем пример. Сам рубил келии, таскал бревна, носил воду в двух водоносах в гору, молол ручными жерновами, пек хлебы, варил пищу, кроил и шил одежду, обувь, был, по Епифанию, для всех «как купленый раб». И наверно, плотничал теперь уже отлично. Летом и зимой ходил в той же одежде, ни мороз его не брал, ни зной. Телесно, несмотря на скудную пищу (хлеб и вода), был очень крепок, «имел силу противу двух человек».

Был первым и на службах. Службы начинались в полночь (полунощница), затем шли утреня, третий, шестой и девятый час. Вечером — вечерня. В промежутках частые «молебные пения» и молитва в келиях, работы в огородах, шитье одежды, переписыванье книг и даже иконописание. Литургию служить приглашали священника из соседнего села, приходил и Митрофан, постригший в свое время Сергия. Позже он тоже вошел в состав братии — был первым игуменом. Но прожил недолго, вскоре умер.

Так из уединенного пустынника, молитвенника, созерцателя вырастал в Сергии и деятель. Игуменом он еще не был и священства не имел. Но это уже настоятель малой общины, апостольской по числу келий, апостольской по духу первохристианской простоты и бедности и по роли исторической, какую надлежало ей сыграть в распространении монашества.

ИГУМЕН

Так шли годы. Община жила неоспоримо под началом Сергия. Он вел линию ясную, хоть и не так суровую и менее формалистическую, чем, напр., Феодосий Киево-Печерский, ставивший подчинение себе основой. Феодосий требовал точнейшего исполнения приказаний. Но Феодосий, не снимавший власяницы, выставлявший себя на съеденье комарам и мошкам, был и в аскетическом подвиге страстнее — это опять иной облик. Жизненное же и устроительное дело

Сергия делалось почти *само собой,* без видимого напора. Иногда же, как в истории с игуменством, как будто даже против его воли.

Монастырь рос, сложнел и должен был оформиться. Братия желала, чтобы Сергий стал игуменом. А он отказывался.

— Желание игуменства,— говорил,— есть начало и корень властолюбия.

Но братия настаивала. Несколько раз «приступали» к нему старцы, уговаривали, убеждали. Сергий сам ведь основал пустынь, сам построил церковь; кому же и быть игуменом, совершать литургию.

(До сих пор приходилось приглашать священника со стороны. А в древних монастырях обычно игумен был и священником.)

Настояния переходили чуть не в угрозы: братия заявляла, что, если не будет игумена, все разойдутся. Тогда Сергий, проводя обычное свое чувство меры, уступил, но тоже относительно.

— Желаю,— сказал,— лучше учиться, нежели учить; лучше повиноваться, нежели начальствовать; но боюсь суда Божия; не знаю, что угодно Богу; святая воля Господа да будет!

И он решил не прекословить — перенести дело на усмотрение церковной власти.

Митрополита Алексия в то время не было в Москве. Сергий с двумя старейшими из братии пешком отправился к его заместителю, епископу Афанасию, в Переяславль-Залесский[9].

Явился он к святителю рано утром, перед литургией, пал на колена и просил благословения. В век, когда святые ходили пешком и когда к Лавре вряд ли и проезжая была дорога, когда к епископу, наверно, обращались без доклада, мало удивляет, что епископ спросил скромного монаха, запыленного, в грязи, кто он.

Все же имя Сергия было ему известно. Он без колебаний *повелел* принять игуменство. Сергий уж не мог отказываться. Все произошло просто, в духе того времени. Афанасий со своими священнослужителями тотчас пошел в церковь, облачился, велел Сергию вслух произнести Символ веры и, осенив крестом, поставил в иподиакона. За Литургией Сергий был возведен в иеродиакона. Священство получил на другой день. И еще на следующий — сам служил Литургию, первый раз в жизни. Когда она окончилась, епископ Афанасий произнес над ним молитвы, полагающие во игумена. Затем, после беседы в келии, отпустил.

И Сергий возвратился, с ясным поручением от Церкви — воспитывать, вести пустынную свою семью. Он этим занялся. Но собственную жизнь, в игуменстве, не изменил нисколько: так же продолжал быть «купленым рабом» для братии. Сам свечи скатывал, варил кутью, готовил просфоры, размалывал для них пшеницу.

В пятидесятых годах к нему пришел архимандрит Симон из Смоленской области, прослышав о его святой жизни. Симон — первый принес в монастырь и средства. Они позволили построить новую, более обширную, церковь Св. Троицы.

С этих пор стало расти число послушников. Келии принялись ставить в некотором порядке. Деятельность Сергия ширилась. Был введен богослужебный устав Феодора Студита, тот же, что и некогда в Киево-Печерской Лавре.

Сергий постригал не сразу. Наблюдал, изучал пристально душевное развитие прибывшего. «Прикажет,— говорит Епифаний,— одеть пришельца в длинную свитку из грубого, черного сукна и велит проходить какое-нибудь послушание, вместе с прочими братиями, пока тот не навыкнет всему уставу монастырскому; потом облечет его в одежду монашескую; и только после испытания пострижет уже в мантию и даст клобук. А когда видел, что который-либо инок опытен уже в духовном подвиге, того удостоивал и св. схимы».

Несмотря на постройку новой церкви, на увеличение числа монахов, монастырь все строг и беден. Тип его еще — «особножитный». Каждый существует собственными силами, нет общей трапезы, кладовых, амбаров. Несомненно, кое-что из собственности появилось — напр., у арх. Симона, у Пересвета и др. До времени Сергий не запрещал этого. Но за духовной жизнью братии наблюдал пристально и вел ее. Во-первых, был духовником — ему исповедовались. Он определял меру послушания сообразно силам и способностям каждого. Это — внутреннее его общение. Но следил и за внешней дисциплиной. Было положено, что у себя в келии инок проводит время или за молитвой, или за размышлением о своих грехах, проверкой поведения, или за чтением св. книг, переписыванием их, иконописью — но никак не в разговорах.

По вечерам, иногда даже ночью, окончив свои молитвы, Преподобный обходил келии и заглядывал в «волоковые»[10] оконца. Если заставал монахов вместе, то стучал им палкою в окошко, а наутро звал к себе, «увещевал». Действовал спокойно и не задевая, более

всего стараясь убедить. Но иногда налагал и епитимии. Вообще же, видимо, обладал даром поддерживать благообразный и высокий дух просто обаянием облика. Вероятно, как игумен, он внушал не страх, а то чувство поклонения, внутреннего уважения, при котором тяжело сознавать себя неправым рядом с праведником.

Трудолюбие мальчика и юноши Варфоломея оставалось неизменным и в игумене. По известному завету ап. Павла, он требовал от иноков труда и запрещал им выходить за подаянием. В этом резкое отличие от св. Франциска. Блаженный из Ассизи не чувствовал под собой земли. Всю недлинную свою жизнь он летел, в светлом экстазе, *над землей*, но летел «в люди», с проповедью апостольской и Христовой, ближе всех подходя к образу самого Христа. Поэтому и не мог, в сущности, ничего на земле учредить (учредили за него другие). И труд, то трудолюбие, которое есть корень прикрепления, для него несущественны.

Напротив, Сергий не был проповедником, ни он и ни ученики его не странствовали по великорусской Умбрии с пламенною речью и с кружкою для подаяний. Пятьдесят лет он спокойно провел в глубине лесов, уча *самим собою*, «тихим деланием», но не прямым миссионерством. И в этом «делании» наряду с дисциплиною душевной огромную роль играл тот черный труд, без которого погиб бы он и сам, и монастырь его. Св. Сергий, православный глубочайшим образом, насаждал в некотором смысле западную культуру (труд, порядок, дисциплину) в радонежских лесах, а св. Франциск, родившись в стране преизбыточной культуры, как бы на нее восстал.

Итак, Сергиева обитель продолжала быть беднейшей. Часто не хватало и необходимого: вина для совершения Литургии, воска для свечей, масла лампадного, для переписывания книг, не только что пергамента, но и простой харатьи[11]. Литургию иногда откладывали. Вместо свечей — лучины. Образ северный, быт древний, но почти до нас дошедший: русская изба с лучиной с детства нам знакома и в тяжелые недавние годы вновь ожила. Но в Сергиевой пустыни при треске, копоти лучин читали, пели книги высшей святости, в окружении той *святой бедности*, что не отринул бы и сам Франциск. Книги переписывали *на берестах* — этого, конечно, уж не знал никто в Италии блаженно-светлой. В Лавре сохранились до сих пор бедные деревянные чаша и дискос, служившие при Литургии, и фелонь Преподобного — из грубой крашенины с синими крестами. Питались очень дурно. Нередко не было ни

горсти муки, ни хлеба, ни соли, не говоря уже о приправах — масле и т. п.

Следующие два рассказа изображают материальное положение монастыря и роль игумена — верно, немыслимую для Запада.

В одну из затруднительных полос Пр. Сергий, проголодав три дня, взял топор и пошел в келию к некоему Даниилу.

— Старче, я слышал, что ты хочешь пристроить себе сени к келии. Поручи мне эту работу, чтобы руки мои не были без дела.

— Правда, — отвечал Даниил, — мне бы очень хотелось построить их; у меня все уже и для работы заготовлено, и вот поджидаю плотника из деревни. А тебе как поручить это дело? Пожалуй, запросишь с меня дорого.

— Эта работа не дорого тебе обойдется, — сказал ему Сергий, — мне вот хочется гнилого хлеба, а он у тебя есть; больше этого с тебя не потребую. Разве ты не знаешь, что я умею работать не хуже плотника? Зачем же тебе звать другого плотника?

Тогда Даниил вынес ему решето с кусками гнилого хлеба (*«изнесе ему решето хлебов гнилых посмагов»*)[12], которого сам не мог есть, и сказал: вот, если хочешь, возьми все, что тут есть, а больше не взыщи.

— Хорошо, этого довольно для меня; побереги же до девятого часа: я не беру платы прежде работы.

И, крепко подтянув себя поясом, принялся за работу. До позднего вечера пилил, тесал, долбил столбы и окончил постройку. Старец Даниил снова вынес ему гнилые куски хлеба как условленную плату за труд целого дня. Только тогда Сергий поел.

Итак, игумен, духовник и водитель душ в личном своем деле оказывается последним, чуть что действительно не «купленым рабом». Старец Даниил начинает с того, что опасается, как бы Пр. Сергий не «взял слишком дорого». Почему он решил, что Сергий возьмет дорого? Почему допустил, чтобы *игумен* трудился на него целый день? Почему просто не поделился своим хлебом? (Даже не «поделился»: сказано, что сам он этого хлеба не мог есть.) Не указывает ли это, что сквозь воспитание и воздействие Преподобного в отдельных иноках прорывалось самое обычное, житейское, до черствости и расчета? Старец, приходивший к Сергию на исповедь, за душой и благочестием которого тот следит, считает правильным заплатить ему за труд целого дня негодным хлебом — плотник из села к нему и не притронулся бы. А Сергий, очевидно, выделяет

деятельность духовную, водительную, от житейских отношений. Скромность — качество его всегдашнее. Здесь блистательное проявление его.

Другой рассказ связан тоже с бедностью монастыря, силою веры, терпением, сдержанностью самого Сергия рядом с большей слабостью некоторых из братии.

В один из приступов нужды в обители нашлись недовольные. Поголодали два дня — зароптали.

— Вот,— сказал Преподобному инок от лица всех,— мы смотрели на тебя и слушались, а теперь приходится умирать с голоду, потому что ты запрещаешь нам выходить в мир просить милостыни. Потерпим еще сутки, а завтра все уйдем отсюда и больше не возвратимся: мы не в силах выносить такую скудость, столь гнилые хлебы.

Сергий обратился к братии с увещанием. Но не успел он его кончить, как послышался стук в монастырские ворота; привратник увидел в окошечко, что привезли много хлеба. Он сам был очень голоден, но все же побежал к Сергию.

— Отче, привезли много хлебов, благослови принять. Вот, по твоим святым молитвам, они у ворот.

Сергий благословил, и в монастырские ворота въехало несколько повозок, нагруженных испеченным хлебом, рыбою и разной снедью. Сергий порадовался, сказал:

— Ну вот, вы алчущие, накормите кормильцев наших, позовите их разделить с нами общую трапезу.

Приказал ударить в било, всем идти в церковь, отслужить благодарственный молебен. И лишь после молебна благословил сесть за трапезу. Хлебы оказались теплы, мягки, точно только что из печки.

— Где же тот брат, что роптал на заплесневевшие хлебы? — спросил Преподобный за трапезою.— Пусть войдет и попробует, какую пищу послал нам Господь.

Спросил и о том, где же привезшие. Ему ответили: по словам возчиков, это — дар неизвестного жертвователя. А возчики должны ехать дальше, не имеют времени остаться. И они уже уехали.

Случай с хлебами, прибывшими так вовремя, остался в памяти у братии и перешел в житие как проявление Промысла, поддержавшего Преподобного в тяжелую минуту. Нас же он подводит уж вплотную к чудесам его.

СВ. СЕРГИЙ
ЧУДОТВОРЕЦ И НАСТАВНИК

Можно рассуждать так: Бог тем более поддерживает, окрыляет и заступается за человека, чем больше устремлен к нему человек, любит, чтит и пламенеет, чем выше его духопроводность. Ощущать действие этого Промысла может и просто верующий, не святой. Чудо же, нарушение «естественного порядка» (внешней, тонкой пленки, где все совершается по правилам и под которой, глубже, кипит царство сил духовных) — чудо «просто смертному» не дано (как не дано ему и истинных видений). Чудо есть праздник, зажигающий будни, ответ на любовь. Чудо — победа сверхалгебры, сверхгеометрии над алгеброй и геометрией школы. Вхождение чудесного в будни наши не говорит о том, что законы буден ложны. Они лишь — не единственны. То, что называем мы «чудесным» — совершенно «естественно» для мира высшего, чудесно же лишь для нас, живущих в буднях и считающих, что, кроме буден, ничего и нет. Для моллюска чудом было бы услышать музыку Бетховена, для человека в некотором смысле чудо — капелька воды под микроскопом (простым глазом не видно!), видение будущего и физически невидимого, и, главное чудо, наименее приемлемое — мгновенная *отмена* нашего *маленького* закона: воскресение по смерти. Это, конечно, величайшая буря любви, врывающаяся *оттуда,* на призыв любовный, что идет *отсюда.*

Даже Преп. Сергий, в ранней полосе подвижничества, не имел видений, не творил чудес. Лишь долгий, трудный путь самовоспитания, аскезы, самопросветления приводит его к чудесам и к тем светлым видениям, которыми озарена зрелость. (Замечательно, что пугающих видений, ужаса, потрясавшего юные годы отшельничества,— нет в старости Сергия, когда дух его приобрел абсолютную гармоничность и просветленность.) В этом отношении, как и в других, жизнь Сергия дает образ постепенного, ясного, внутренно-здорового движения. Это непрерывное, недраматическое восхождение. Святость растет в нем органично. Путь Савла, вдруг почувствовавшего себя Павлом,— не его путь.

Спокойно, внутренно дозрев, он совершает чудо с источником. Оно связано с обычными, житейскими делами. Пока Преподобный жил один на своей Маковице, вопрос о воде не смущал его. Был ли около монастыря маленький родник, недостаточный для мно-

гих? Или родник *вообще* был не так близко и, не смущая Сергия, вызывал недовольство братии — неизвестно. Во всяком случае, появились разговоры, что носить воду трудно.

Тогда Сергий, взяв одного из иноков, спустился вниз от обители и, найдя небольшую лужу дождевой воды, стал пред ней на молитву. Он молился, чтобы Господь дал им воду, как некогда послал ее по молитве Моисея. Осенил место крестным знамением, и оттуда забил ключ, образовав ручей, который братия назвала было *Сергиевой рекой.* Но он запретил называть его так[13].

Второе чудо Сергия относилось к ребенку. В это время многие уже знали о нем как о святом и приходили с поклонением и за советами, а главное, со своими бедами. Епифаний рассказывает, как один человек принес ему тяжелобольного своего ребенка. Пока он просил Сергия помолиться за него и пока Преподобный готовился к молитве, ребенок умер. Отец впал в отчаяние. Стал даже укорять Сергия: лучше бы уж ребенок умер дома, а не в келии святого: по крайней мере, вера не убавилась бы.

И отец вышел, чтобы приготовить гробик. А когда вернулся, Сергий встретил его словами:

— Напрасно ты так и смутился. Отрок вовсе и не умирал.

Ребенок был теперь действительно жив. Отец пал к ногам Сергия. Но тот стал успокаивать его и даже убеждать, что дитя просто было в сильном припадке, а теперь обогрелось и отошло. Отец горячо благодарил Преподобного за его молитвы. Но тот запретил ему разглашать о чуде. Узналось же это впоследствии, утверждает бл. Епифаний, от келейника Пр. Сергия. Его рассказ и приводит Епифаний.

Он передает еще о тяжелобольном, который три недели не мог спать и есть и которого исцелил св. Сергий, окропив святой водой. О знатном вельможе, бесноватом, привезенном с берегов Волги, куда уже проникла слава Сергия как чудотворца. Вельможу повезли насильно. Он слышать не хотел о Сергии, бился, рвался, пришлось сковать его цепями.

Уже перед самою обителью он в ярости разорвал цепи. Крик слышали в монастыре. Сергий велел ударить в било и братии собираться в церковь. Начался молебен — о выздоровлении. Понемногу он стал успокаиваться. Наконец Преподобный вышел к нему с крестом. Лишь только осенил его, тот с воплем бросился в лужу: «Горю, горю страшным пламенем!»

И выздоровел. Позже, когда рассудок вернулся к нему, его спросили, почему он бросился в воду. Он ответил, что увидел «великий пламень», исходивший от Креста и объявший его. Он и хотел укрыться в воде.

Такие исцеления, и облегчения, и чудеса широко разносили славу Сергия. К нему, как мудрецу и святому, шли люди разных положений — от князей и до крестьян. Пусть рос и богател монастырь, Сергий оставался тем же простым с виду «старичком», кротким и покойным утешителем, наставником, иногда судьей.

Житие приводит два случая, когда чрез Сергия как бы действовали и силы карающие.

Вблизи монастыря богатый отобрал у бедного свинью. Потерпевший пожаловался Сергию. Тот вызвал обидчика и долго убеждал — возвратить взятое. Богатый обещал. Но дома пожалел и решил не отдавать. Была зима. Свинью он только что зарезал, она лежала у него в клети. Заглянув, он видит, что вся туша уж изъедена червями.

Другой рассказ — о внезапной слепоте греческого епископа, сомневавшегося в святости Сергия, — слепоте, поразившей его, как только он подошел к Преподобному в ограде монастыря. Сергий должен был за руку ввести его к себе в келию. Там он признался в своем неверии и просил заступничества. Сергий, помолившись, исцелил его.

Вероятно, таких «посетителей» и «просителей заступничества» было много. Несомненно, очень многие приходили просто за советами, каялись в делах, томивших душу: обо всем не может же сказать Епифаний. Он передает о наиболее запомнившемся.

Вообще в живой душе крепко сидит стремленье к очищению и «направлению». На наших глазах совершались бесконечные паломничества в Оптину — от Гоголя, Толстого, Соловьева, со сложнейшими запросами души, до баб — выдавать ли замуж дочку да как лучше прожить с мужем. А в революцию и к простым священникам приходили каяться красноармейцы — и в кощунствах, и в убийствах.

С половины жизни Сергий выдвинулся на пост всенародного учителя, заступника и ободрителя. В его времена «старчества» еще не было. «Старцы» в православии явились поздно, в XVIII веке, с Паисием Величковским. Но самый тип «учительного старца» древен, он идет из греческих монастырей, и у нас в XV веке известен, например, учительный старец Филофей Псковский.

В позднейших монастырях старцы выделились в

особый разряд — созерцательных мудрецов, хранящих традицию истинного православия, мало прикасающихся к монастырской жизни.

Сергий был и игуменом, и, как увидим,— даже и общественным и политическим деятелем. Но может считаться и основоположником старчества.

ОБЩЕЖИТИЕ И ТЕРНИИ

Не совсем ясно, были ли, при жизни Сергия, у обители его жалованные села. Скорее — нет. Считается, что запрета *принимать* даренья он не делал. Запрещал *просить*. На крайней же, францисканской точке (ее не выдержали сами францисканцы), видимо, и не стоял. Непримиримые решения вообще не в его духе. Быть может, он смотрел, что «Бог дает», значит, надо брать, как принял он и повозки с хлебом, рыбою от неизвестного жертвователя. Во всяком случае, известно, что незадолго до смерти Преподобного один галичский боярин подарил монастырю половину варницы и половину соляного колодезя у Соли Галицкой (нынешний Солигалич).

Монастырь не нуждался уже теперь, как прежде. А Сергий был все так же прост — беден, нищ и равнодушен к благам, как остался и до самой смерти. Ни власть, ни разные «отличия» его вообще не занимали. Но этого он не подчеркивал. Как удивительно естественно и незаметно все в нем! Отделяют пятьсот лет. О, если бы его увидеть, слышать. Думается, он ничем бы сразу и не поразил. Негромкий голос, тихие движения, лицо покойное, святого плотника великорусского. Такой он даже на иконе — через всю ея условность — образ невидного и обаятельного в задушевности своей пейзажа русского, русской души. В нем наши ржи и васильки, березы и зеркальность вод, ласточки и кресты и несравнимое ни с чем благоухание России. Все — возведенное к предельной легкости, чистоте.

Долго прожившие с ним старцы говорили Епифанию, что никогда Преподобный не носил новой одежды, но «сермяжную ткань из простой овечьей шерсти, да притом ветхую, которую, как негодную, другие отказывались носить». Чаще всего шил сам одежду. «Однажды не случилось хорошего сукна в его обители; была одна лишь половинка, гнилая, какая-то пестрая («пелесоватая») и плохо сотканная. Никто из братии не хотел ею пользоваться: один передавал другому, и так

обошла она до семи человек. Но Пр. Сергий взял ее, скроил из нее рясу и надел, не хотел уже расставаться». Через год она развалилась вовсе.

Ясно, что по виду нетрудно было принять его за последнего из монастырских послушников.

Привожу почти дословно рассказ Епифания. Он просто и ярко рисует святого в обители.

Многие приходили издали, чтобы только взглянуть на Преподобного. Пожелал видеть его и один простой земледелец. При входе в монастырскую ограду он стал спрашивать братию: где бы повидать их славного игумена? А Преподобный в это время трудился в огороде, копая заступом землю под овощи.

— Подожди немного, пока он выйдет оттуда,— отвечали иноки.

Крестьянин заглянул в огород через отверстие забора и увидел старца в заплатанной одежде, трудившегося над грядкой. Он не поверил, что этот скромный старичок и есть тот Сергий, к которому он шел. И опять стал приставать к братии, требуя, чтобы ему показали игумена.

— Я издалека пришел сюда, чтобы видеть его, у меня есть до него важное дело.

— Мы уже указали тебе игумена,— ответили иноки.— Если не веришь, спроси его самого.

Крестьянин решил подождать у калитки. Когда Пр. Сергий вышел, иноки сказали крестьянину:

— Вот он и есть, кого тебе нужно.

Посетитель отвернулся в огорчении.

— Я пришел издалека посмотреть на пророка, а вы показываете какого-то нищего! Но я не дожил еще до такого безумия, чтобы счесть этого убогого старичка за знаменитого Сергия.

Иноки обиделись. Только присутствие Преподобного помешало им выгнать его. Но Сергий сам пошел ему навстречу, поклонился до земли, поцеловал. Потом повел за трапезу. Крестьянин высказал свою печаль: не пришлось ему видеть игумена.

— Не скорби, брате,— утешил его Преподобный,— Бог так милостив к месту сему, что никто отсюда не уходит печальным. И тебе Он скоро покажет, кого ищешь.

В это время в обитель прибыл князь со свитою бояр. Преподобный встал навстречу ему. Прибывшие оттолкнули крестьянина и от князя, и от игумена. Князь до земли поклонился святому. Тот поцеловал его и благословил, потом оба они сели, а все остальные «почтительно стояли вокруг».

Крестьянин ходил среди них и все старался рассмотреть, где же Сергий. Наконец снова спросил:

— Кто же этот чернец, что сидит направо от князя?

Инок с упреком сказал ему:

— Разве ты пришлец здесь, что не знаешь Преподобного отца Сергия?

Только тогда понял он свою ошибку. И по отъезде князя бросился к ногам Сергия, прося прощения.

Разумеется, «нищий» и «убогий старичок» не был к нему суров. У Епифания приведены его слова:

— Не скорби, чадо; ты один справедливо рассудил обо мне, ведь они все ошибаются.

Есть мнение, что Епифаний даже сам наблюдал эту сцену, потому так тщательно и написал ее.

Как удивительно прост и серьезен в ней святой! Конечно, «житие» всегда иконность придает изображаемому. Но насколько можно чувствовать Сергия, чрез тьму годов и краткие сообщения, в нем вообще не было улыбки. Св. Франциск душевно улыбается — и солнцу, и цветам, и птицам, волку из Губбио. Есть улыбка — теплая и жизненная — у св. Серафима Саровского. Св. Сергий ясен, милостив, «страннолюбив», тоже благословил природу, в образе медведя близко подошедшую к нему. Он заступился перед братией и за простого человека. В нем нет грусти. Но как будто бы всегда он в сдержанной, кристально-разреженной и *прохладной* атмосфере. В нем есть некоторый север духа.

Мы видели, что *князь* приехал к Сергию. Это уж время, когда «старичка» слышно на всю Россию, когда сближается он с митр. Алексием, улаживает распри, совершает грандиозную миссию по распространению монастырей.

Между тем в собственном его монастыре не все спокойно — именно, идет борьба за и против общежития.

Исторически к нам пришло монашество *особножитное* из Греции. Антоний и Феодосий Печерские ввели *общежитие*, но позже вновь оно было вытеснено особностью, и Пр. Сергию принадлежит заслуга окончательного восстановления общежития.

Это далось ему не сразу.

Вначале монастырь на Маковице тоже был особножитный. Уже упоминалось, что до поры до времени Пр. Сергий дозволял монахам даже некоторую собственность в келиях. Но с ростом монастыря и братии это становилось неудобным. Возникала разность в положении монахов, зависть, нежелательный дух вооб-

ще. Преподобный хотел более строгого порядка, приближавшего к первохристианской общине. Все равны и все бедны одинаково. Ни у кого ничего нет. Монастырь живет общиною.

В это время Сергий, игумен, друг митрополита Алексия, уже чувствовал, что дело Лавры — дело всероссийское и мессианское. Обитель-родоначальница сама должна принять неуязвимый облик.

Житие упоминает о видении Преподобного — первом по времени — связанном именно с жизнью обители.

Однажды, поздно вечером, стоя у себя в келии, как обычно, на молитве, он услышал голос: «Сергий!» Преподобный помолился и отворил оконце келии. Дивный свет льется с неба, и в нем Сергий видит множество прекрасных, неизвестных ему раньше птиц. Тот же голос говорит:

— Сергий, ты молишься о своих духовных детях: Господь принял твою молитву. Посмотри кругом — видишь, какое множество иноков собрано тобою под твое руководство во имя Живоначальныя Троицы.

А птицы летают в свете и необычайно сладостно поют.

— Так умножится стадо учеников твоих, и после тебя они не оскудеют.

Преподобный в великой радости позвал арх. Симона, жившего в соседней келии, чтобы и ему показать. Но Симон застал лишь конец видения — часть небесного света. Об остальном Преподобный ему рассказал.

Это видение, быть может, еще больше укрепило Сергия в необходимости прочных, правильных основ — и для его монастыря, и для рождающихся новых.

Полагают, что митр. Алексий помогал, поддерживал его намерения — был *за* реформу. А в самом монастыре — многие против. Можно думать, что митр. Алексий проявил тут некоторую дипломатию: по его просьбе патриарх Кир Филофей прислал Пр. Сергию послание и подарки — крест, параманд и схиму. В грамоте ясно советовалось ввести общежитие («Но едина главизна (правило) еще не достаточествует ти: яко не общее житие стяжасте». И далее: «Потому же и аз совет благ вам даю: послушайте убо смирения нашего, яко да составите общее житие»). Такая грамота укрепляла положение Сергия как реформатора. И он ввел общежитие[14].

Не все были довольны им в монастыре. Некоторых это и связывало, и стесняло. Кое-кто даже ушел.

Деятельность Сергия нововведение расширяло и усложняло. Нужно было строить новые здания — трапезную, хлебопекарню, кладовые, амбары, вести

хозяйство и т. п. Прежде руководство его было только духовным — иноки шли к нему как духовнику, на исповедь, за поддержкой и наставлением. Теперь он как бы отвечал за самый быт монастыря.

Все способные к труду должны были трудиться. Частная собственность строго воспрещена.

Чтобы управлять усложнившейся общиной, Сергий избрал себе помощников и распределил между ними обязанности. Первым лицом после игумена считался *келарь.* Эта должность впервые учреждена в русских монастырях Пр. Феодосием Печерским. Келарь заведовал казной, благочинием и хозяйством — не только внутри монастыря. Когда появились вотчины, он ведал и их жизнью. Правил и судебные дела. Уже при Сергии, по-видимому, было собственное хлебопашество — вокруг монастыря являются пахотные поля, частью обрабатываются они монахами, частью наемными крестьянами, частью — желающими поработать на монастырь. Так что у келаря забот немало. Одним из первых келарей Лавры был преп. Никон, позже игумен.

В *духовники* назначали опытнейшего в духовной жизни. Он — исповедник братии. Савва Сторожевский, основатель монастыря под Звенигородом, был из первых духовников. Позже эту должность получил Епифаний, биограф Сергия.

За порядком в церкви наблюдал *екклезиарх.* (Исполнение церк. устава. Вначале Студийский[15], более простой, а теперь Иерусалимский, более торжественный: литургию совершали каждый день, т. к. священников было уже достаточно.) Меньшие должности: параэкклезиарх — содержал в чистоте церковь, канонарх — вел «клиросное послушание» и хранил Богослужебные книги.

Порядок жизни в келиях остался прежний: молитва и работа. Как обычно, Сергий первый подавал пример. Мы видели уже, как крестьянин застал его в огороде. Кроме того — шил обувь и одежду братии. Готовил «кануны», особый вид кутьи. Нигде не говорится, что он переписывал книги, занимался иконописью. Это подтверждает, что книжным человеком Преподобный не был никогда. Сергий — плотник, огородник, пекарь, водонос, портной и не художник, не «списатель». А в монастыре именно явились и иконописцы, и «списатели». Племянник Сергия Феодор, в юности постриженный, овладел иконописью в Лавре. И есть мнение, что искусство иконописи перенесено оттуда в Андрониев монастырь, в Москве, где жил и знаменитый Андрей Рублев.

«Списание книжное» в Лавре процветало. В ризнице осталось много книг и оплетенных в кожу рукописей того времени. Напр., Евангелие Пр. Никона, Служебник, писанный его же рукой в 1381 г., на пергаменте, «Поучения Аввы Дорофея», 1416 г., «рукою многогрешного инока Антония», «Лествица», 1411 г., «списанная рукою грубого и худого, странного, последнего во иноцех, смиренного многыми грехи Варлаама».

И многие другие, некоторые с удивительными заставками в красках и с золотом — напр., Псалтырь, писанная при игумене Никоне.

Так жили и трудились в монастыре Сергия, теперь уже прославленном, с проложенными к нему дорогами, где можно было и остановиться, и пробыть некоторое время — простым ли людям, или князю. «Странноприимство» ведь традиция давнишняя самого Преподобного, вынесенная еще из мира, от родителей. А теперь она давала повод правильно тратить избытки накоплявшиеся. Считают вероятным, что первая лаврская богадельня возникла при Сергии. Во всяком случае — он зачинатель монастырской благотворительности. А она возможна только при общежитии.

Однако — мы уже говорили — в этой чинной и спокойной общине не все шло гладко. Не все в братии были святые, как игумен Сергий. В сущности, с первых шагов «пустынной» жизни Преподобный жил именно с людьми, хотя и в облике монашеском. Ушел же некогда от него брат Стефан. Другие угрожали, что уйдут, когда он не хотел принять игуменства, когда бывало голодно в обители. Третьи ушли при введении общежития. Были недовольные и из оставшихся. Какая-то глухая борьба шла. Она и объясняет то тяжелое событие, которое произошло в монастыре.

Мы ничего не знаем ясно о «трениях» из-за общежития. Ни Епифаний, ни летопись ничего не говорят об этом — может быть, Епифаний и нарочно пропускает: легче говорить о светлом, чем о «слишком человеческом». И рассказ о происшедшем не вполне подготовлен, слишком внезапно выплывает с фона неразработанного.

Связан он опять со Стефаном.

Раз на вечерне — Пр. Сергий сам служил ее, был в алтаре — Стефан, любитель пения, стоял на клиросе. Преподобный услыхал голос брата, обращенный к канонарху.

— Кто тебе дал эту книгу?

— Игумен.

На это Стефан резко, в раздражении:

— Кто здесь игумен? Не я ли первый основал это место?

И в таком роде далее. («И ина некая изрек, их же не лепо бе».) Что именно «не лепо бе», нам неизвестно.

Дослужив службу, Преподобный не вернулся в келию. Он вышел из монастыря и пешком двинулся по пути в Кинелу, никому ни слова не сказав. Оставлял обитель, им основанную, чуть не собственноручно выстроенную, где провел столько святых лет — из-за резких слов собственного брата? Это, разумеется, не так. Мы знаем ясность и спокойствие Сергия. Поступок «нервный», вызванный внезапным, острым впечатлением, совсем не идет Сергию — не только как святому, смиренно бравшему от Даниила гнилой хлеб, но и характеру его человеческому, далекому от неожиданных, порывистых движений. Конечно, случай в церкви — лишь последняя черта. Конечно, Сергий давно чувствовал, что им недовольны некоторые, не один Стефан, за общежитие, за подвиг *трудной жизни,* куда звал он. И что *надо что-то сделать.*

С точки зрения обыденной он совершил шаг загадочный. Игумен, настоятель и «водитель душ», как будто отступил. Оставил пост. Оставил и водительство. Трудно представить на его месте, напр., Феодосия Печерского. Конечно, он *смирил* бы недовольных. Нельзя думать, чтобы и у католиков произошло подобное. Виновных наказали бы, а игумен, ставленный самим архиепископом, никак не бросил бы монастыря.

Но русский смиренный и «убогий» старичок, которого и крестьянин-то приезжий не хотел признать игуменом,— в хмурый вечер вышел с палкою из Лавры, мерил старческими, но выносливыми, плотницкими ногами к Махрищскому монастырю дебри Радонежа. Никому он не сдавался, ни пред кем не отступал. Как можем мы знать его чувства, мнения? Мы можем лишь почтительно предполагать: так сказал внутренний голос. Ничего внешнего, формального. Ясная, святая вера, что «так будет лучше». Может быть, вопреки малому разуму, но — лучше. Чище. Если зажглись страсти, кто-то мне завидует, считает, что ему надо занять место мое, то пусть уж я уйду, не соблазняю и не разжигаю. Если меня любят, то любовь свое возьмет — пусть медленно. Если Бог так мне повелевает, значит, Он уж знает — нечего раздумывать.

И вот глухая ночь застала на пути — молитва в лесу, краткий сон. Разве боялся Св. Сергий леса этого — пустынник, друг медведей? А наутро, как и некогда перед епископом в Переяславле-Залесском, забрызган-

ный и запыленный, он у врат Махрищской обители. Ее игумен-основатель, постриженник Киево-Печерской Лавры и друг Преподобного, Стефан, узнав, что Сергий посетил его, велел ударить в «било» и со всей братией вышел. Они кланяются до земли друг другу, ни один не хочет подыматься первый. Но Сергию пришлось уступить. И он встает, благословляет,— дорогой, почетный гость в монастыре.

Он остается у Стефана некоторое время. А затем, с монахом Симоном, опять пешком, опять лесами, трогается в новые края, для основания новой пустыни. Он и нашел их, на реке Киржач. Там Пр. Сергий поселился.

Но недолго пробыл в одиночестве. Разумеется, произошло смятение на Маковице. Большинство было огорчено — глубоко. Отправились за Преподобным. В Махрищском монастыре один из иноков узнал, что Сергий ушел дальше. Он вернулся в Лавру, рассказал об этом. И мало-помалу на Киржач стали пробираться преданные Сергию. Так было с ним всегда: любовь, почтение и поклонение к нему влекли. Он никого не приневоливал. Но если и хотел, не мог уйти от подлинной своей славы — чистой и духовной. Нигде в лесах один остаться он не мог, хотя всегда искал уединения, всегда отказывался властвовать и более всего молился и учил, работал.

Он взялся за топор и на Киржаче. Помогал монахам строить келии, копал колодезь, просил митр. Алексия поставить церковь — и поставил. Помогали в этом и со стороны, конечно, присылали подаяния. Ввел общежительный устав и здесь.

Но этим дело все-таки не кончилось. В Лавре не мирились с тем, что его нет. Старцы отправились к митрополиту, прося о воздействии. Может быть, и его уход изобразили не совсем точно, смягчили. Все же очевидно, что без Сергия им было неприятно. Митрополиту это тоже мало нравилось. И он отправил двух архимандритов, Павла и Геронтия, с увещанием к Сергию. Вероятно, это был полусовет, полуприказ. Возник из-за просьбы братии. Как ничего внешнего — в уходе Сергия, так же свободно, в сущности, и возвращение. Сергий пробыл на Киржаче 3—4 года. Митрополит мог бы давно силой возвратить его оттуда. Этого не случилось. Оба ждали, чтоб назрело время, разрешили жизненную трудность в духе вольности и любви. Правда, Алексий предлагал Сергию удалить недовольных общежитием. Но к этому не прибегали. Это *не* стиль Сергия. Ведь если бы он захотел, гораздо раньше мог бы сделать это,— Алексий глубоко чтил его.

Киржачский монастырь был освящен и назван Благовещенским. Митрополит прислал церковную утварь, рукоположил в «строители» ученика Сергия — Романа.

А Сергий возвратился в Лавру. Епифаний вновь подробно, как бы очевидцем, описал нам это возвращение. «Умилительно было видеть, как, одни со слезами радости, другие со слезами раскаяния, ученики бросились к ногам святого старца: одни целовали его руки, другие — ноги, третьи самую одежду его; иные, как малые дети, забегали вперед, чтобы полюбоваться на своего желанного авву, и крестились от радости; со всех сторон слышались возглашения: Слава Тебе, Боже, обо всех промышляющий! Слава Тебе, Господи, что сподобил Ты нас, осиротевших было, вновь увидеть нашего отца...» И дальше в столь же патетическом тоне.

Если тут есть след и собственного красноречия (к чему вообще склонен Епифаний), то, несомненно, возвращение святого, чистого и знаменитого игумена в обитель, им основанную, им прославленную, игумена, ни за что обиженного, не могло и не взволновать. В общем — сцену эту мы прекрасно видим.

Стефан тут не присутствовал. Был ли он в Москве, в своем монастыре Богоявленском? Неизвестно. Знаем лишь, что после смерти Сергия он снова в Лавре. От него знал Епифаний и о детстве Преподобного.

Сергий победил — просто и тихо, без насилия, как и все делал в жизни. Не напрасно слушался голоса, четыре года назад сказавшего: «Уйди». Победа пришла не так скоро. Но была полна. Действовал он тут не как начальник, как святой. И достиг высшего. Еще вознес, еще освятил облик свой, еще вознес и само православие, предпочтя внешней дисциплине — свободу и любовь.

ПР. СЕРГИЙ И ЦЕРКОВЬ

История ухода Преподобного подводит к отношениям его с церковью, его месту в православии.

Можно так вкратце определить положение церкви времен Сергия: мир в идеях, действенность в политике.

Идейных разномыслий мало. Стригольники не сильны. Раскол, жидовствующие, Иосиф Волоколамский, Никон и старообрядцы — все придет позднее. Не от кого защищаться, не на кого нападать. Но есть русские князья и есть татары, есть вообще Россия, едва держащаяся, чуть не поглощаемая. И национальная

задача — отстоять ее. Борьба за государство. Церковь вмешана в нее глубоко.

Два митрополита, оба замечательные, наполняют век: Петр и Алексий. Игумен ратский Петр, волынец родом, первый митрополит русский, основавшийся на севере — сначала во Владимире, потом в Москве. Петр первый благословил Москву. За нее, в сущности, положил всю жизнь. Это он ездит в Орду, добывает от Узбека охранительную грамоту для духовенства, непрерывно помогает Князю, закладывает с ним в 1325 г. первую каменную церковь, гордость нашего Кремля — Успенский Собор. Архангельский, с гробницами царей, монастырь Спаса на Бору (единственные каменные стены, уцелевшие с тех пор) — все нас подводит к легендарному палладиуму Москвы — св. митр. Петру, тоже «собирателю», борцу, политику, миссионеру и целителю, судье и дипломату. Петр не видал еще свободы. На своих крепких и первосвятительских плечах он вынес самые тяжелые, предрассветные времена родины. Но не погнулся, не поддался.

Митрополит Алексий — из сановного, старинного боярства города Чернигова. Отцы его и деды разделяли с князем труд по управлению и обороне государства. На кафедре митрополита всероссийского Алексий шел воинственным путем, это «ecclesia militans», преемственный советник трех князей Московских, руководитель Думы, дипломат в Орде и ублажитель ханов, суровый и высокопросвещенный пастырь, карающий, грозящий отлучением, если надо. На иконах их изображают рядом: Петр, Алексий, в белых клобуках, потемневшие от времени лица, узкие и длинные, седые бороды... Два неустанных созидателя и труженика, два «заступника» и «покровителя» Москвы.

Пр. Сергий при Петре был еще мальчиком, с Алексием он прожил много лет в согласии и дружбе. Но св. Сергий был пустынник и «молитвенник», любитель леса, тишины — его жизненный путь иной. Ему ли, с детства отошедшему от злобы мира сего, жить при дворе, в Москве, властвовать, иногда вести интриги, назначать, смещать, грозить! Нет, он послушный сын церкви, но не генерал ее. Очарованье православия — не полководец. Святой, но не хранитель догматов. Митрополит Алексий часто приезжает в его Лавру — может быть, и отдохнуть с тихим человеком — от борьбы, волнений и политики. А Сергий не имеет ни малейшей склонности к Москве. Он никуда не *ездит,* только *ходит,* но туда лишь, куда вызывают или если обстоятельства велят.

Замечателен один его вызов — митрополитом Алексием.

Алексий чувствовал себя тогда уже стареющим и слабым — размышлял, кому передать кафедру по смерти. Некогда Феогност заранее наметил и его — себе на смену. Но теперь положение сложнее: Великий Князь Димитрий очень хотел возвести в митрополиты новоспасского архимандрита Михаила (его прозвали почему-то *Митяем*). Алексий этого не одобрял. Говорил: «Митяй еще недавний монах, надобно ему запастись духовным опытом и потрудиться в монашестве».

Без одобрения патриарха он Митяя благословить не хотел. При этом один митрополит — Киприан — для Западной Руси уж был, его поставили по желанию литовских князей. После Алексия он должен был стать Всероссийским, жить в Москве. Но его не хотел Великий Князь. Митяй считался гордым и самонадеянным, Алексий, вероятно, чувствовал, что недостоин он занять кафедру св. Петра. Киприан не подходил Вел. Князю — тот хотел верного и знакомого человека. Да Киприан считался и врагом Алексия.

Зная чистоту, святость, славу Сергия, Алексий *его* выбрал.

Когда явился Сергий, то Алексий велел принести золотой «парамандный»[16] крест митрополичий, с драгоценными камнями. Отдал его Преподобному.

Но святой просто ответил:

— От юности я не был златоносцем, а в старости тем более желаю пребывать в нищете.

— Знаю,— ответил митрополит,— всегда ты жил так. Но теперь покажи послушание, прими от меня этот крест.

И сам надел его на Сергия, «как бы в знак обручения святительского сана». Объяснил, что Киприану он не может доверять, а его, Сергия, прочит на свое место. И это одобряют все, от простых людей до князя. Сначала он получит сан епископа, а затем митрополита.

Из предыдущей жизни Сергия мы знаем, что *хотел* он только уйти из родительского дома в лес и быть постриженным в монахи. Игумена Митрофана, старичка, постригавшего юношу на безвестный подвиг, он позвал некогда сам. Епископ Афанасий возводил его в игумены после великого сопротивленья. Но прославленный митрополит Алексий, его личный друг, Кремль, золотой крест в драгоценностях и сан митрополита — здесь поседелый, скромный, но и опытный уже Сергий проявил такую твердость, что сломить ее не удалось

Алексию. Он отказался наотрез. В конце беседы сказал другу и начальнику:

— Если не хочешь отгонять моей нищеты от твоей святыни, то не говори больше об этом. Не дозволяй и другим побуждать меня, невозможно найти во мне то, чего желаешь ты.

Сергий уходил уже однажды на Киржач. И теперь мог взять посох, на шестом десятке лет так же спокойно и не говоря ни слова тронуться в далекие леса. Алексий понял это. Не настаивал и отпустил. Так было лучше. Сергий лучше всякого другого знал себя, мог делать только то, к чему был призван. И, как всегда, внутреннему голосу больше всего придавал цены.

Он никогда не восставал на Церковь и глубоко почитал иерархию. Но убедил Алексия, что и для Церкви лучше, если он будет делать свое дело.

Так что свою церковную «карьеру» он пресек. Спокойно удалился от того, чего другие добивались так усердно.

И только выиграл на этом. Когда Алексий умер (1378 г.), началась десятилетняя борьба за митрополичью кафедру. Действующие лица ее: Митяй, еп. Дионисий, Киприан, арх. Пимен. Это печальные страницы церкви. Русские показывают себя здесь не лучше греков, греки в патриарших канцеляриях открыто продают митрополию. Ярче, интереснее других все же Митяй, бурный и «дерзкий» духовник Вел. Кн. Димитрия, а затем условно князем же (до утверждения патриархом) «назначенный» митрополитом. Его фигура не совсем ясна и необычна. Никонова летопись клеймит его (на митрополичьем дворе «незнаемо здея страшно некако и необычно»), другие думают, что, наоборот, арх. Михаил был человек больших талантов и пытался обновить церковь[17].

Как бы то ни было, все претенденты, грызшие друг друга, всячески старались привлечь к себе Сергия — его авторитет моральный. Сергий был против Митяя — в этом следовал Алексию и всему складу образа собственного: был ли Митяй просто великим честолюбцем или же и даровитым реформатором, во всяком случае духу Сергиевой простоты и скромности никак не отвечал. Сергий обновлял свой монастырь любовью, миром. А Митяй наказывал не только архимандритов, но и епископов. На Дионисия Суздальского кричал: «Я спорю твои скрижали». Такому нраву у монаха вряд ли Преподобный мог сочувствовать.

В борьбе Митяя с Дионисием Сергий встал на

сторону последнего: когда его арестовали, Преподобный поручился за него. Епископа освободили. Это — дело тишины и доброты святителя. Дионисий доброты не оправдал. Он тотчас же обманул («преухитрил») Вел. Князя — вновь, несмотря на обещанье не ходить,— Волгой бежал в Константинополь добиваться митрополии. Это страшно раздражило Митяя на Сергия. Он грозил разрушить его монастырь.

«Преподобный же игумен Сергий рече: молю Господа Бога моего сокрушенным сердцем, да не попустит Митяю хвалящусь разорити место сие святое и изгнати нас без вины».

Митяю ничего не удалось сделать. Неожиданно в Константинополе он умер, греки же за деньги возвели в митрополиты его спутника арх. Пимена, у которого и началась борьба с Киприаном. Роль митр. Западных Церквей Киприана во всех этих интригах тоже не из светлых. И он тоже обращался к Сергию в тяжелые минуты (когда в восьмидесятых годах его с позором, обобрав, какой-то боярин Никифор выгнал из Москвы, на жалких клячах, «в обротех лычных», без обуви и без сорочек). Сохранилось несколько его посланий к Сергию. Он жалуется, просит помощи и утешения. Вот именно *утешить* Сергий мог. И сделал это. Тут он в своей области, и видно еще раз, как мудро и со знанием себя, своего дела и судьбы он поступил, сняв парамандный крест митрополита.

СЕРГИЙ И ГОСУДАРСТВО

Преподобный Сергий вышел в жизнь, когда татарщина уже надламывалась. Времена Батыя, разорения Владимира, Киева, битва при Сити — все далеко. Идут два процесса: разлагается Орда, крепнет молодое русское государство. Орда дробится, Русь объединяется. В Орде несколько соперников, борющихся за власть. Они друг друга режут, отлагаются, уходят, ослабляя силу целого. В России, наоборот,— восхождение. Некогда скромная *Москва* (выражение жития: *«честная кротостью»* и *«смиренная кротостью»*), катясь в истории как снежный, движущийся ком, росла, наматывая на себя соседей. Это восхожденье трудное, часто преступное. Мы знаем, как в свирепой борьбе Москвы с Тверью Юрий (брат Ив. Калиты) ведет против тверичей татар. И Калита татарами же усмирял восставшего Александра Михайловича. Попутно и свое добро растил: Углич, Галич, Белозерск

перешли к нему. Знаем, как Юрий удушил рязанского князя Константина, взятого отцом и жившего в плену. Как происками москвичей гибли в Орде князья Тверские. Вся их история полна трагедий. Шекспировским ужасом веет от старого Михаила Тверского, которому в Орде надели ярмо на шею и водили месяц, выставляя на «правеж». Потом — убили. Развязка здесь тоже шекспировская: его сын, Димитрий Грозные Очи, в той же ставке ханской убивает Юрия, убийцу своего отца,— сам погибает, а другой тверской князь, знавший, что идет в Орду на гибель, и пошедший все же? Волга не хотела пропускать его. Пока плыл он русскими землями, ветер был противный — повернулся, лишь когда Россия кончилась. В Орде князь мужественно ждал погибели. Последние три дня молился и пред самой казнью ездил все на лошади, спрашивал: «Когда ж меня убьют?»

При *поэтическом* подходе тверитяне затмевают хитрых и коварных москвичей. В них все же есть дух рыщарский, быть может, и ушкуйнический. Московские Даниловичи — лишь политики и торгаши. Но тверитяне взяли ложную линию движения — она их привела к погибели. Делу же общерусскому они вредили. А москвичи — сознательно или нет, шли *большаком* русской государственности — и себя связали с нею навсегда.

Союзницей москвичей была и Церковь. Митрополитов Петра и Алексия мы уже поминали. Для них борьба за Москву была борьбой за Русь. Петр, по преданию, предсказал Москве величие. Но жил во время безраздельной и могущественной еще Орды. Алексий уже видел проблески. А Сергию довелось благословить на первое поражение татар.

Преподобный не был никогда политиком, как не был он и «князем церкви». За простоту и чистоту ему дана судьба, далекая от политических хитросплетений. Если взглянуть на его жизнь со стороны касанья государству, чаще всего встретишь Сергия — учителя и ободрителя, миротворца. Икону, что выносят в трудные минуты и идут к ней сами.

Разумеется, не в молодые годы выступал он так. Первое упоминание — 1358 г., при Иване, сыне Калиты. Преподобный путешествует в Ростов, родной свой город, убеждает Константина Ростовского признать над собой власть Великого Князя. Но через два года Константин выхлопотал себе в Орде грамоту на самостоятельный удел — и в 1363 г. Сергий вновь идет на «богомолие к Ростовским чудотворцам» — видимо,

вновь убеждает Константина не выступать против Великого Князя. И это снова удалось ему.

В 1365 г. князь Борис Константинович Суздальский захватил у своего брата Димитрия Нижний Новгород. Димитрий признавал главенство Московского князя (Дм. Донского) и пожаловался ему на брата. Москве никак не могло нравиться, чтобы Борис устраивался в Нижнем самовольно. И распоряжением Алексия Преп. Сергий снова послан миротворцем. Но с Борисом трудно было сладить даже Сергию.

Пришлось действовать строже: он закрыл церкви в Нижнем. Димитрий двинул войско. Борис уступил. Это единственный случай, когда Сергий вынужден был наказать. По тем кровавым временам какое, в сущности, и наказанье?

В этих выступлениях Сергием руководил Алексий. Мы приближаемся к тем действиям общественным святого, которые предприняты по смерти митрополита.

Несколько слов истории. Главным предметом внутрирусской драмы в этот век была борьба Москвы и Твери. Началась она при братьях Юрии и Иване (Калите) Даниловичах, а кончилась при Димитрии, победою Москвы. Княжение Калиты, несмотря на Тверь,— первое сравнительно покойное. Удавалось отклонять татар от экзекуций. Приходилось зато раболепствовать перед ними. Политика Алексия и Димитрия впервые попыталась взять иное направление, самозаконное. Для этого надо было сломить Тверь.

Первым открытым выступлением Димитрия в самодержавном духе было возведение «каменного города Москвы», т. е. Кремля (1367 г.). Ясно, делалось это не зря. «Всех князей русских стал приводить под свою волю, а которые не повиновались его воле,— говорит летопись,— на тех начал посягать».

В это время главным «внутренним» его противником был внук Михаила Тверского, тоже князь Михаил, женатый на сестре Ольгерда Литовского, последний яркий представитель буйного трагического рода. Дважды водил он под Москву литовцев. Димитрий отсиживался в каменном Кремле. Больше того — Михаилу удалось выхлопотать себе великокняжеский ярлык, но Димитрий уж не так с Ордой считался. Приводил к присяге и владимирцев, и других, не обращал внимания ни на какие ярлыки. Переломилась психика. Проходил страх, ясным становилось, что Москва есть Русь. Петр и Алексий угадали. Михаил же делал противонациональное. Общественное мнение не за него.

И когда в 1375 г. Димитрий двинулся на «узурпато-

ра», его поддерживало все «великорусское сердце»: князья и рати суздальские, нижегородские, ростовские, смоленские и ярославские и др. Он взял Микулин, осадил Тверь, вынудил Михаила к унизительному миру и отказу от всех притязаний.

В Орде между тем выдвинулся Мамай, стал ханом. К поражению Твери спокойно отнестись Мамай не мог — слишком заносчив становился Димитрий. Мамай посылал карательные отряды на нижегородцев, новосильцев за их помощь Димитрию. В 1377 г. царевич Арапша разбил суздальско-нижегородскую рать на реке Пьяне, разграбил Нижний. В следующем — выслал мурзу Бегича против Димитрия. Но Димитрий энергичным маршем за Оку предупредил его. 11 авг., на Воже, татары в первый раз были разбиты.

Мамай решил вообще покончить с непокорным Димитрием, напомнить «времена батыевщины». Собрал всю волжскую Орду, нанял хивинцев, ясов и буртасов, сговорился с генуэзцами, литовским князем Ягелло — летом заложил свой стан в устье реки Воронежа. Поджидал Ягелло.

Время для Димитрия опасное. Митрополит Алексий уже умер. Димитрий действовал на собственный страх. В Москве вовсе не было митрополита — Михаил (Митяй) уехал к Патриарху.

Здесь и выступает снова Сергий. Т. е., сам он никуда не выступает, а к нему в обитель едет Димитрий за благословением на страшный бой.

До сих пор Сергий был тихим отшельником, плотником, скромным игуменом и воспитателем, святым. Теперь стоял пред трудным делом: благословения на кровь. Благословил бы на войну, даже национальную, Христос? И кто отправился бы за таким благословением к Франциску? Сергий не особенно ценил печальные дела земли. Самый отказ от митрополии, тягости с непослушными в монастыре — все ясно говорит, как он любил, ценил «чистое деланье», «плотничество духа», аромат стружек духовных в лесах Радонежа. Но не его стихия — крайность. Если на трагической земле идет трагическое дело, он благословит ту сторону, которую считает правой. Он не *за* войну, но раз она случилась, *за* народ и *за* Россию, православных. Как наставник и утешитель, «Параклет» России, он не может оставаться безучастным.

18 августа Димитрий с князем Серпуховским Владимиром, князьями других областей и воеводами приехал в Лавру. Вероятно, это было и торжественно, и глубоко серьезно: Русь *вправду* собралась. Москва, Владимир,

Суздаль, Серпухов, Ростов, Нижний Новгород, Белозерск, Муром, Псков с Андреем Ольгердовичем — впервые двинуты такие силы. Тронулись не зря. Все это понимали.

Начался молебен. Во время службы прибывали вестники — война и в Лавру шла, — докладывали о движении врага, предупреждали торопиться. Сергий упросил Димитрия остаться к трапезе.

Здесь он сказал ему:

— Еще не пришло время тебе самому носить венец победы с вечным сном; но многим, без числа, сотрудникам твоим плетутся венки мученические.

После трапезы Преподобный благословил князя и всю свиту, окропил св. водой. Замечательно, что летопись и тут, в минуту будто бы безнадежную, приводит слова Сергия о мире. Преподобный будто пожалел и Русь, и все это прибывшее, должно быть, молодое и блестящее «воинство». Он сказал:

— Тебе, Господин, следует заботиться и крепко стоять за своих подданных, и душу свою за них положить, и кровь свою пролить, по образу Самого Христа. Но прежде пойди к ним с правдою и покорностью, как следует по твоему положению покоряться ордынскому царю. И Писание учит, что если такие враги хотят от нас чести и славы — дадим им; если хотят золота и серебра — дадим и это; но за имя Христово, за веру православную подобает душу положить и кровь пролить. И ты, Господин, отдай им и честь, и золото, и серебро, И Бог не попустит им одолеть нас: Он вознесет тебя, видя твое смирение, и низложит их непреклонную гордыню.

Князь отвечал, что уже пробовал, и безуспешно. А теперь поздно.

— Если так, — сказал Сергий, — его ждет гибель. А тебя — помощь, милость, слава Господа.

Димитрий опустился на колени. Сергий снова осенил его крестом.

— Иди, не бойся. Бог тебе поможет.

И, наклонившись, на ухо ему шепнул: «Ты победишь».

Великий князь «прослезился». Так это или нет, теперь сказать уже трудно, а поверить следует: Димитрий шел действительно на «смертный бой». Есть величавое, с трагическим оттенком — в том, что помощниками князю Сергий дал двух монахов-схимников: Пересвета и Ослябю. Воинами были они в миру и на татар пошли без шлемов, панцирей — в образе схимы, с белыми крестами на монашеской одежде. Очевидно,

это придавало войску Димитрия священно-крестоносный облик. Вряд ли двинулись бы рыцари-монахи в мелкую войну из-за уделов.

20-го Димитрий был уже в Коломне. 26—27-го русские перешли Оку, рязанскою землею наступали к Дону. 6-го сентября его достигли. И заколебались. Ждать ли татар, переправляться ли?

Каков бы ни был Димитрий в иных положениях, здесь, перед Куликовым полем, он как будто ощущал полет свой, все вперед, неудержимо. В эти дни — он гений молодой России. Старшие, опытные воеводы предлагали: здесь повременить. Мамай силен, с ним и Литва, и князь Олег Рязанский. Димитрий, вопреки советам, перешел через Дон. Назад путь был отрезан, значит, все вперед, победа или смерть.

Сергий в эти дни тоже был в подъеме высочайшем. И вовремя послал вдогонку князю грамоту: «Иди, Господин, иди вперед, Бог и св. Троица помогут!»

8-е сентября 1380 года! Хмурый рассвет, Дон и Непрядва, Куликово поле и дух Слова о полку Игореве. Русь вышла снова в степь, мериться со зверем степи. Как все глубоко напряженно и серьезно! Перед сражением молятся. Читают «ратям» грамоту Преподобного. Над ставкой черный стяг великокняжеский с золотым образом Спасителя. Осенние туманы, медленный рассвет, хладно-серебряный. Роса, утренний холод. За Непрядвой не то стоны, не то грохот дальний. Люди умываются, подтягивают у коней подпруги, надевают чистые рубахи и в последний раз оружие свое отрагивают. Строятся. Идут на смерть. Грусть и судьба — и неизбежность. Ясно, что возврата нет.

Единоборство Куликова поля вышло из размеров исторических. Создало легенду. В ней есть и несуразное. Подробности пусть отпадут, но, разумеется, миф лучше чувствует душу события, чем чиновник исторической науки. Можно отвергать известие, что Димитрий отдал мантию великокняжескую Бренку, а сам дрался простым воином, что, раненный, был найден на опушке леса после тридцативерстного преследования. Вряд ли мы знаем, сколько войска было у Мамая, сколько у Димитрия. Но уж конечно, битва-то была особенная и с печатью рока — столкновение миров.

К полудню показались и татары. Димитрий выехал драться лично, «в первом суйме», передовой стычке. Таков обычай. Ранен не был, но доспех помяли. Тут же, по преданию, на зов татарского богатыря выскакал Пересвет, давно готовый к смерти, и, схватившись с Челибеем, поразив его, сам пал.

Началась общая битва, на гигантском по тем временам фронте в десять верст. Сергий правильно сказал: «Многим плетутся венки мученические». Их было сплетено немало.

Преподобный же в эти часы молился с братией у себя в церкви. Он говорил о ходе боя. Называл павших и читал заупокойные молитвы. А в конце сказал: «Мы победили».

С детства навсегда запомнился рассказ о Куликовской битве. Как прорвали «сыроядцы» русский фланг и наши стали отступать, а рядом в роще из засады наблюдали — князь Владимир Серпуховский с воеводою Боброком и запасным корпусом. Как рвался и томился князь, Боброк же сдерживал: «Погоди, пусть ветер повернет на них». Как все сильней бежали русские и били их татары, но Боброк выдержал, пока враги не обнажили тыл — тогда ударили в него. Тут начался разгром Мамая. У татар не было резервов. Дикари безудержно кинулись на Европу, и Европа вместе с воодушевлением показала и древнейше ей известный, с Аннибала, маневр охвата фланга.

Преследованье — вероятно конницей, шло целый день, до реки Красивой Мечи. Предсказанье Сергия исполнилось: Димитрий возвратился в Москву победителем и вновь посетил Преподобного. Служили вновь молебны, но и панихиды. Потери были колоссальны. Церковь не забыла убиенных. С тех пор по всей России служатся особенные панихиды, в «дмитриевские субботы», около 26-го октября, дня св. Димитрия — отголосок той великой грусти, что сопутствовала битве.

Самая победа — грандиозна, и значение ее прежде всего моральное: доказано, что *мы*, мир европейский, христианский, не рабы, а сила и самостоятельность. Народу, победившему на Куликовом поле, уже нельзя было остаться данником татарщины.

Но не быстра история. Жизнь поколения — ничто. Ни Преп. Сергий, ни Димитрий не дождались полного торжества России, оно замедлилось на годы. Они же вновь стали свидетелями ужасов: нагрянул Тохтамыш. Димитрий не успел отбить его, бежал на север. Кремль был предательски захвачен, все укрывшиеся перебиты, пригороды выжжены, монастыри Симонов, Чудов, Андрониев разграблены. Погибли Боровск, Руза и Можайск, Звенигород. Когда Димитрий, собиравший «рати» в Костроме, вернулся, от Москвы остались лишь развалины. Кремль полон трупов — за очистку заплатил он 300 руб., по рублю за 80 трупов.

Сам Преподобный с братией должен был удалиться — «и от Тохтамышева нахождения — бежа во Тферь».

Трагическая неудача стоила России новой дани, Димитрию — вновь путешествий, унижений и низкопоклонства.

Татары Тохтамыша не добрались до монастыря Сергия. Он возвратился.

Глубокой осенью 1385 г. пешком идет святой в Рязань, миротворцем к Олегу Рязанскому — давнишнему, упрямому врагу Москвы, союзнику Твери, Мамая и Ольгерда. Олег был крепкий, вероломный, закаленный в трудных временах князь типа тверитян. Вся жизнь его прошла в интригах и походах. Ему случалось бить и москвичей, терпеть и «нахождения» татар. Чтобы спасать своих рязанцев, живших на пути татарском в глубь России — унижаться, предавать. Быть может, его старость, после бурной и тяжелой жизни, была нелегка. Как бы то ни было, победил Сергий — старичок из Радонежа, семидесятилетними ногами по грязям и бездорожью русской осени отмеривший верст двести!

Вот рассказ летописи:

«Преподобный игумен Сергий, старец чудный, тихими и кроткими словесы... беседовал с ним о пользе душевной и о мире, и о любви. Князь же великий Олег преложи свирепство свое на кротость и утишись, и укротись, и умились вельми душою, устыде бо столь свята мужа, и взял с Великим Князем Дмитрием Иванычем вечный мир и любовь в род и род». Так было и на самом деле. Чтобы закрепить союз, Олег женил на дочери Димитрия своего сына.

А в жизни Преподобного это последний выход в область «государства».

Как ободритель и как миротворец, Сергий выступал всегда от Москвы, значит — и России. Подымал свой крест и свой негромкий, но правдивый голос только за дела правдивые. Меньше всего был он орудием — власти ли церковной или государственной. Бедность, старость, простота и равнодушие к успехам, вечное стоянье «пред лицом Бога», труд, молитва, созерцание делали его так же свободным, как и Феодосия Печерского, не побоявшегося назвать князя Святослава, за убийство брата, Каином. Св. Сергию не приходилось обличать. Но Радонежского отшельника, отринувшего митрополию, ясно намекавшего Алексию, что уйдет в

леса; игумена, приютившего опального Дионисия; открытого противника Митяя; святого, прежде чем благословить Димитрия, советовавшего *избежать войны*,— можно ли было Сергия *заставить* сделать что-нибудь такое, что противилось бы «гласу Божию», который шел к нему так невозбранно?

Уж конечно нет.

Князь Святослав раз погрозил Феодосию, что сошлет его. Тот ответил:

— Я этому рад. Для меня это лучшее в жизни. Нагими пришли мы в мир, нагими и выйдем из него.

Жизнь Преп. Сергия слагалась и покойней, и ясней. Никто ему не угрожал. Но, если бы пришлось, он на своем спокойном и немногословном языке нашел бы нужные слова — ответил бы не хуже Феодосия.

Но наступал уже закат. В его судьбе этого не понадобилось.

ВЕЧЕРНИЙ СВЕТ

Люди борьбы, политики, войны, как Димитрий, Калита, Олег, нередко к концу жизни ощущают тягость и усталость. Утомляют жалкие дела земли. Страсти расшатывают. Грехи томят. В то время многие князья на старости и вблизи смерти принимали схиму — крепкий зов к святому, после бурно и греховно проведенной жизни.

Димитрий сгорел рано. Его княженье было трудным и во многом неудачным. Он умирал в момент удачи Тохтамыша — преждевременно надломленный всей ношей исторической. После Куликова поля он сближается теснее с Преподобным: в 1385 г. Сергий крестит его сына, в 1389-м, умирая, Димитрий пишет завещание «перед своими отцы, перед игуменом перед Сергием, перед игуменом перед Савостьяном». В этом завещании особенно подчеркивается единовластие — идея, за которую Димитрий воевал всю жизнь. Он уже считает себя русским государем. Старший сын наследует отцу. Ни о каких уделах и борьбе за княжеский стол больше нет и речи. Порядок этот и установился на столетия, создав великую монархию.

Димитрий отошел в тяжелую минуту. В памяти Истории, однако, позабылись промахи его и неудачи, он остался лишь героем Куликова поля, молодым и смелым, первым поваливших зверя степи.

Судьба Сергия, конечно, уж иная. В годы Куликовской битвы и дальнейшие он признанный облик благо-

честия и простоты, отшельник и учитель, заслуживший высший свет. Время искушений и борьбы — далеко. Он — живая схима. Позади *крест деятельный,* он уже на высоте *креста созерцательного,* высшей ступени святости, одухотворения, различаемой в аскетике. В отличие от людей миро-кипучей деятельности здесь нет усталости, разуверений, горечи. Святой почти уж *за* пределами. Настолько просветлен, пронизан духом, еще живой преображен, что уже выше человека.

Видения и чудеса Сергия относятся к этой, второй половине жизни. А на закате удостоился он и особенно высоких откровений.

Из них есть связанные с Литургией. Так, Пр. Сергий должен был благословить ученика своего Исаакия на «подвиг молчания». Подвиг этот очень труден. Преподобный сказал Исаакию:

— Стань завтра после Литургии у северных врат, я благословлю тебя.

В условленное время Исаакий встретил его там. Сергий перекрестил его с особой, напряженнейшей молитвой. И тогда увидел Исаакий, что из руки Преподобного «исходит пламень и объемлет его». Он стал молчальником. Когда хотелось говорить, молитва Сергия и пламень руки ограждали его. Но и об этом случае, и о другом ему дано было сказать.

Однажды Литургию служили Сергий, брат его Стефан и племянник Феодор. Вдруг Исаакий видит в алтаре четвертого, в блистающих одеждах. На малом выходе, с Евангелием, четвертый шел за Сергием и так сиял, что Исаакий должен был прикрыть глаза рукой. Он спрашивает у Макария, соседа — кто бы это мог быть? Макарий тоже видел священнослужителя, ответил: вероятно, кто-нибудь из приехавших с князем Владимиром Андреевичем. Князь находился тут же. Но ответил — никого не привозил. Макарий с Исаакием после службы обратились к Сергию, сказали, что, наверно, ангел ему сослужил. Сергий сначала уклонялся. Но затем, когда они настаивали, то признал:

— Если уж Господь открыл вам эту тайну, то могу ли я скрыть ее? Тот, кого вы видели, действительно ангел. И не теперь только, а и всегда, когда я совершаю Литургию, мне, недостойному, бывает такое посещение. Но вы храните это в тайне, пока я жив.

Свет и огонь! Легкий небесный пламень как бы родствен, дружен теперь с Преподобным. «Друг мой свет», «друг мой пламень», — мог сказать пронизанный духовностью, наполовину вышедший из мира Сергий. И не удивит рассказ экклезиарха Симона, видевшего, как

огонь небесный сошел на Св. Дары при освящении их Сергием, «озаряя алтарь, обвиваясь около св. трапезы и окружая священнодействующего Сергия».

В эти годы светлого своего вечера Пр. Сергий имел еще одно «виденье, непостижное уму».

За всю почти восьмидесятилетнюю жизнь его нигде, ни на одном горизонте не видна женщина. Юношей отошел он от главнейшей «прелести» мира. В ранних искушениях на Маковице женщина не упомянута. Все «житие» нигде женщиной не пересечено — даже настоятельницей монастыря соседнего, поклонницею и «женою мироносицей», как св. Клара в жизненном пути Франциска. В прохладных и суровых лесах Радонежа позабыто само имя женщины. Приходят за благословением и укреплением князья, игумены, епископы, митрополиты и крестьяне. Сергий примиряет споры, творит чудеса. Но ни одной княгини, ни одной монахини, крестьянки. Как будто Сергий-плотник — лишь мужской святой, прохладный для экстаза женщины и женщин будто вовсе не видавший. Конечно, это только впечатление. Но — остается.

Однако же в его духовной жизни культ Жены существовал. Культ Богоматери, Мадонны — в этом смысле Пр. Сергий был типическим средневековым человеком в русском облике. Глубокой ночью ежедневно в келии он пел акафист и молился Богородице. В закате земной жизни, на призыв стремлений многолетних Непорочная, по житию, сошла к нему.

Посещение произошло рождественским постом, в ночь с пятницы на субботу — при колебании в годах: между 1379—1384.

Преподобный, как обычно, пел в келии акафист и молил Св. Деву за обитель. Кончив, сел приотдохнуть. Вдруг он сказал келейнику Михею:

— Ободрись. Сейчас будет чудесное.

И услышал голос:

— Пречистая грядет.

Преподобный встал и вышел в сени. В ослепительном свете перед ним явилась Богоматерь с Ап. Петром и Евангелистом Иоанном. В ужасе он пал на землю. Но Св. Дева ободрила его, сказала, что всегда будет заступницей обители, пусть не тревожится он. Его молитвы до Нее дошли.

И удалилась.

Сергий встал, возвратился в келию. Михей тоже лежал, закрыв глаза одеждой. Он не видел Богородицы, лишь свет и ужас. Преподобный отправил его за Макарием и Исаакием. Когда они явились, рассказал

им о видении. И все стали на «молебное пение» Пресвятой Деве, а Сергий и остаток ночи уж не спал — размышлял и вновь переживал пережитое.

На высоте, достигнутой им, Преподобный долго жить не мог. За полгода до смерти он уж знал о ней. Собрал учеников и управление обителью передал Никону. А сам «начал безмолвствовать».

В сентябре[18] тяжко заболел. Еще раз он собрал всю братию. Произнес ей наставление — об иноческой жизни, мире и любви, о «страннолюбии» — с детства особенно ценимой добродетели — и, причастившись св. Тайн, 25-го отошел.

Он и в последнюю минуту прежний Сергий: завещал похоронить себя не в церкви, а на общем кладбище, среди простых. Но эта воля его не была исполнена. Митрополит Киприан разрешил, по просьбе братии, положить останки Преподобного именно в церкви.

ДЕЛО И ОБЛИК

Сергий пришел на свою Маковицу скромным и безвестным юношей Варфоломеем, а ушел прославленнейшим старцем. До Преподобного на Маковице был лес, вблизи — источник, да медведи жили в дебрях по соседству. А когда он умер, место резко выделялось из лесов и из России. На Маковице стоял монастырь — Троице-Сергиева Лавра, одна из четырех Лавр[19] нашей родины. Вокруг расчистились леса, поля явились, ржи, овсы, деревни. Еще при Сергии глухой пригорок в лесах Радонежа стал светло-притягательным для тысяч. Через тридцать лет по смерти были открыты мощи Сергия — и на поклоненье им ходили богомольцы нескольких столетий — от царей до баб в лаптях, проложивших тропки торные по большаку к Сергиеву Посаду. И получилось так: кто меньше всех «вкусил меда» от жизни — более всех дал его другим — но в иной области.

Присмотримся немного, что же он оставил.

Прежде всего — монастырь. Первый крупнейший и прекрасный монастырь северной России.

На юге, в Киеве, эту задачу выполнили Антоний и Феодосий. Киево-Печерская Лавра, несомненно, прародительница всех русских монастырей. Но Киев и киевская культура слишком *эксцентричны* для России, слишком *местное.* Особенно в татарщине это заметно: Киев от нее, в сущности, так и не оправился, представлять великую державу никогда не смог, не нес и

тяжести собирания земли — все это отдал он Москве. Она его затмила и как государство, и святыней. Уже в XIII веке митрополитам всероссийским нельзя было оставаться в Киеве. Он слишком надломился. Десятинная церковь в развалинах, Киево-Печерская Лавра пустынна, от Св. Софии — одни стены. И митрополиты Кирилл и Максим, считаясь киевскими, в Киеве не жили. С Петром кафедра митрополичья окончательно перемещается на север — во Владимир и затем — в Москву.

Так что весь ход сложения русской земли вел к тому, чтобы на севере возник и новый центр духовного просветительства — в то время это были лишь монастыри. Митрополичья кафедра в Москве — узел управления. Сергиева Лавра под Москвой — узел духовного излучения, питательный источник для всего рождающегося государства. В этом — судьба самого Сергия и его Лавры. Он по природе вовсе не был ведь политиком — ни по церковной, ни по государственной части. Но фатально — вся жизнь и его и Лавры переплетена с судьбой России того времени. Во всех страданиях и радостях ее — и он участник. Не имея власти даже и церковной, неизменно словом, обликом, молитвой он поддерживает Русь, государство. Это получается свободно: Сергий — человек эпохи, выразитель времени — существо предопределенное.

Сергий основал не только свой монастырь и не из него одного действовал. Если келии Лавры он рубил собственноручно, если сам построил Благовещенский монастырь на Киржаче, то бесчисленны обители, возникшие по его благословению, основанные его учениками — и проникнутые духом его.

Авраамий Галицкий, один из ранних его постриженцев, удаляется в глухой Галичский край и живет пустыннически на горе у Чудского озера, близ найденной им чудотворной иконы *Умиление сердец*, поставленной в часовне. Слава иконы идет по окрестности, и князь призывает Авраамия в Галич. Пустынник в лодке везет образ Богоматери через озеро! По преданию, и сейчас видна особая струя на воде — след от проплывшей лодки. Авраамий основал в Галиче монастырь Успения Богородицы; потом отошел верст на тридцать и основал обитель Положение пояса Богородицы. Как только вокруг собирались ученики, он двигался дальше. Так учредил на реке Воче мон. Собора Богоматери и Покрова Богородицы — верный рыцарь св. Девы.

Прекрасно названа одна обитель: *Пешношская,* за рекой Яхромой. «Пустыннолюбивый» Мефодий для постройки церкви в ней таскал на себе бревна через

речку вброд, *пеший носил,* помнил, как учитель Сергий строил Лавру. «Тихий и кроткий» Андроник заложил монастырь на Яузе — в те времена *под Москвой,* а Москва нынешняя далеко обогнала смиренного Андроника! Но и сейчас с холма Яузы смотрит на далекий Кремль белый монастырь, вскормивший знаменитого Рублева, чей образ Троицы в Лаврском Соборе выше высшего. Симонов монастырь за Москвой-рекой — дело рук преп. Феодора, племянника и любимого ученика Преподобного. И куда бы из Москвы в окрестности ни двинуться — всюду следы Сергия: чудеснейший Звенигород с вековым бором, на круче у Москвы-реки — преп. Савва Сторожевский создал монастырь Рождества Богородицы. В Серпухове, пред просторами и голубыми далями Оки, Высоцкий монастырь белеет на песках, на фоне сосен — Афанасий учредил его, тот ученик Преподобного, кто был усерднейшим «списателем». Голутвинский монастырь в Коломне — преп. Григорий. Все Подмосковье, и на север, и на юг, пронизали монастыри Сергия. Южный предел — Боровенский монастырь в Калужской губернии. Северный — Ферапонтов и Кирилло-Белозерский. Трудно перечислить все, и как прекрасны эти древние, густые имена основателей: Павел Обнорский, Пахомий Нерехотский, Афанасий Железный Посох, Сергий Нуромский — все пионеры дела Сергиева, в дальние и темные углы несшие свет. Это они трудятся и рубят «церквицы» и келии, устраивают общежития по образцу Сергиеву, просвещают полудикарей, закладывают на культуре духа и основу государственности. Ибо ведь они — колонизаторы. Вокруг них возникает жизнь, при них светлей, прочней духовно чувствуют себя и поселенцы. Монастыри «сергиевские» — их считают до сорока, а от себя они произвели еще около пятидесяти — в огромном большинстве основаны в местах пустых и диких, в дебрях. Не они пристроены к преуспевавшей жизни — жизнь от них родится в лесных краях, глухоозерных. Для новой жизни эти монастыри — защита и опора, истина и высший суд. Само хозяйство иногда ими определяется. Впоследствии у Сергиевой Лавры были десятки тысяч десятин земли, вотчины, села, варницы и мельницы, только своей монеты не было. В кассах Лавры государи в трудные минуты берут в долг, келари — министры сельского хозяйства и финансов целых областей. На севере же в некоторых местах монастыри — уж просто маленькие государства.

Развитие монастырей по этой линии шло уже после смерти Преподобного. При жизни он был лишь в

общении духовном со своими вскормленниками, такими же нищими, как он. Так, посещал Мефодия Пешношского, которому советовал построить церковь в более сухом месте, Сергия Нуромского, провожавшего его на две трети пути к Лавре. Но большинство, конечно, посещало самого Сергия. К зрелым и старческим годам он вырос вообще в учителя страны. Мы видим у него не только собственных учеников-игуменов, являющихся из новоустроенных монастырей, но и князей, и воевод, бояр, купцов, священников, крестьян, кого угодно. Он, разумеется, тот тип «учительного старца», который возник в Византии и оттуда перешел к нам. Как «институт», старчество во времена Сергия не существовало. Его идея очень приходилась по душе народу и высоко соответствовала православию. Фактически оно укрепилось много позже — с XVIII века и Паисия Величковского идет его традиция непрерываемая. Для жителя средней России навсегда врезались образы старцев Оптиной Пустыни, вблизи Козельска — Амвросиев, Нектариев, тех скромных и глубоких мудрецов, гениальный образ которых навсегда написан Достоевским (старец Зосима). Сергий — их далекий, не формальный, но духовный прародитель. В темные времена, когда Россия так подавлена татарщиной, как будто и просвета нет, когда люди особенно нуждаются и в ободрении и в освежении, как горожанину замученному нужен озон леса, паломничество к Сергию приобретает всероссийски укрепляющий смысл. Сергий сам — живительный озон, по которому тосковали и которым утолялись. Он давал ощущение истины, истина же всегда мужественна, всегда настраивает положительно, на дело, жизнь, служение и борьбу. Исторически Сергий воспитывал людей, свободных духом, не рабов, склонявшихся пред ханом. Ханы величайше ошибались, покровительствуя духовенству русскому, щадя монастыри. Сильнейшее — ибо духовное — оружие против них готовили «смиренные» святые типа Сергия, ибо готовили и верующего, и мужественного человека. Он победил впоследствии на Куликовом поле. Душевное воздействие святого сыграло роль в истории России, как сыграло свою роль само распространение монастырей.

Итак, юноша Варфоломей, удалившись в леса на «Маковицу», оказался создателем монастыря, затем монастырей, затем вообще монашества в огромнейшей стране. Меньше всего думал об общественности,уходя в пустыню и рубя собственноручно «церквицу», а оказался и учителем, и миротворцем, ободрителем князей и судьей совести: ведь к совести рязанского Олега

обращался, как и к совести скупого, завладевшего сиротской «свинкой», не хотевшего ее вернуть. Участник и политики и малых дел житейских, исцелитель, чудотворец, «старичок» обители, принятый крестьянином за последнего работника, неутомимый труженик и визионер, за много верст приветствующий Стефана Пермского, друг легкого небесного огня и радонежского медведя, Преподобный Сергий вышел, во влиянии своем на мир, из рамок исторического. Сделав свое дело в жизни, он остался обликом. Ушли князья, татары и монахи, осквернены мощи, а облик жив и так же светит, учит и ведет.

Мы Сергия видели задумчивым мальчиком, тихопослушным; юным отшельником, и игуменом, и знаменитым Сергием-старцем. Видели, как спокойно, неторопливо и без порывов восходил мальчик к святому. Видели в обыденности, за работой и на молитве, и на распутиях исторических, на рубежах двух эпох. Из тьмы времен, из отжившего языка летописей иногда доносились слова его — может быть, и неточные. Мы хотели бы услышать и голос его. Это заказано, как не дано нам проникнуть в свет, легкость, огонь его духа.

Но из всего — и отрывочного, и случайного, неточного — чистотой, простотой, ароматнейшей стружкой веет от Преподобного. Сергий — благоуханнейшее дитя Севера. Прохлада, выдержка и кроткое спокойствие, гармония негромких слов и святых дел создали единственный образ русского святого. Сергий глубочайше русский, глубочайше православный. В нем есть смолистость севера России, чистый, крепкий и здоровый ее тип. Если считать — а это очень принято,— что «русское» гримаса, истерия и юродство, «достоевщина», то Сергий — явное опровержение. В народе, якобы лишь призванном к «ниспровержениям» и разинской разнузданности, к моральному кликушеству и эпилепсии, Сергий как раз пример, любимейший самим народом,— ясности, света прозрачного и ровного. Он, разумеется, заступник наш. Через пятьсот лет, всматриваясь в его образ, чувствуешь: да, велика Россия. Да, святая сила ей дана. Да, рядом с силой, истиной мы можем жить.

В тяжелые времена крови, насилия, свирепости, предательств, подлости неземной облик Сергия утоляет и поддерживает. Не оставив по себе писаний, Сергий будто бы ничему не учит. Но он учит именно всем обликом своим: одним он утешение и освежение, другим — немой укор. Безмолвно Сергий учит самому простому: правде, прямоте, мужественности, труду, благоговению и вере.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Епифаний — монах Троице-Сергиевой Лавры. В молодости путешествовал на Восток, был в Иерусалиме. Просвещенный человек, довольно искусный писатель, склонный к ораторству и многословию, как по его временам и полагалось. Был дружен со св. Стефаном Пермским, житие которого тоже написал.

При жизни Преп. Сергия — он диакон («Преп. Епифаний Премудрый, ученик св. Сергия Чудотворца»). Автор древнейшего, написанного по личным впечатлениям, рассказам Преподобного и близких к нему, жития Сергия, главнейшего источника наших сведений о святом. Написано оно не позже 25—30 лет по смерти Сергия. Труд этот дошел до нас в обработке серба Пахомия. Пахомий кое-что сократил в житии, кое-что добавил. По желанию троицких властей, по-видимому, было выброшено место, сохранившееся в Никоновской летописи из подлинного жития: после введения общежития некоторые монахи ушли вовсе из монастыря. Это место могло быть неприятно для монастырских властей XV в.— Епифаний умер в 1420 г., приблизительно 75-ти лет. Не менее 16—17 лет провел при святом.

[2] Хронология жизни Преп. Сергия.— О рождении Сергия Епифаний говорит неопределенно: «в княжение великое Тверское, при Великом Князе Дмитрии Михайловиче, при Архиепископе Петре Митрополите всея Руси, егда рать Ахмулова бысть». В. князем Дмитрий Мих. сделался в 1322 г., Ахмыл ордынский грабил низовые города в том же году, митр. Петр 1308—1326 гг. Исходя из этого, митроп. Макарий, Ключевский, Иловайский и иером. Никон, автор обширного труда о Сергии, принимают год его рождения — 1319. С другой стороны — митр. Филарет, П. С. Казанский и новейший исследователь проф. Голубинский считают — 1313—14. Они основываются на указании того же Епифания, что Преподобный умер 78-ти лет, год же смерти его, 1392, не возбуждает сомнений. По Казанскому, гораздо прочнее опираться на этот факт: Сергий, наверно, не раз говорил старцам о том, сколько ему лет. Епифаний жил при Сергии последние годы и мог лично это слышать. Таким образом, Епифаний противоречит себе: исходя из него, с одинаковым правом можно принять и 1313—14 и 1319—22. Защитники 1319-го сомневаются в подлинности упоминания о 78-ти годах жизни Сергия, Ключевский и архим. Леонид считают это место позднейшей вставкой (анализ стиля). Но Голубинский думает, что сама вставка все же взята Пахомием из текста Епифания и лишь неловко сделана, при сокращении.

Положиться на Епифания в хронологии вообще довольно трудно, т. к. он делает, например, явную ошибку, относя рождение Сергия ко времени патр. Каллиста (а тот был от 1330 по 1363). Так что вопрос, в сущности, не решен, но в лице проф. Голубинского новейшее исследование склоняется довольно упорно к 1314 году, смело исправляя дальнейшие указания и Епифания, и Никоновой летописи.

[3] О жеребятах: «на взыскание клюсят» — очень старинное слово, собств. «лошадей». Епифаний любил такие архаизмы, иногда щеголял даже знанием греческого языка. О медведе, например, выражается: «зверь, рекомый *аркуда,* еже сказается медведь».

[4] Переселение родителей Преподобного в Радонеж, по Епифанию,— 1330—31 гг. Еще в Ростове, уговаривая мальчика не поститься чрезмерно, мать Сергия говорила: «Тебе нет еще двенадцати лет от роду, а ты уже рассуждаешь о грехах». В Радонеж перебрались позже, следовательно, в 1330—31 Сергию не могло быть меньше 14—15 лет. Если же принять год его рождения 1319—22, то выйдет, что из Ростова он уехал 8—10-ти лет — косвенное подтверждение взгляда о 1314 годе.

[5] Прямого свидетельства, что Кирилл и Мария ушли в Хотьковский монастырь, нет. Но они там погребены, из чего и заключают, что в Хотькове они жили. Древность знала монастыри для монахов и монахинь, общие. Соборное определение 1504 г. запретило это. Родителям Преп. Сергия при их предсмертном пострижении в монашество, вероятно, были изменены имена. Кирилл и Мария — мирские имена или монашеские? Известный историк церкви, автор специального труда о Сергии проф. Голубинский считает, что вернее — монашеские.

[6] «Допускалось, чтобы священниками приходских церквей служили иеромонахи; если эти иеромонахи были и духовниками окрестного населения (право духовничества давалось не всем священникам, а только достойнейшим), то они назывались игуменами, игуменами-старцами; эти игумены-старцы могли постригать в монахи желающих монашествовать (не в монастырях, где были свои игумены, а при мирских церквах, в мирских домах, вообще в миру, что тогда допускалось» *(Голубинский).*

Таким образом, «игумен-старец Митрофан» не был игуменом монастыря, а, по-видимому, именно сельским иеромонахом-духовником, имевшим право пострижения.

[7] Пострижение Сергия и освящение «церквицы»: «священа бысть церкви при Великом Князе Симеоне Ивановиче, мню убо, еже рещи в начало княжения его». Если принять это свидетельство, то выйдет, что пострижение Преподобного относится к сороковым годам (по иером. Никону освящение церкви 1340, пострижение — 1342 г.). Но сторонники более ранней даты *рождения* Сергия придвигают на несколько лет ближе и дату *пострижения.* Известно, что Сергий принял постриг на 23-м году жизни. Исходя из года рождения в 1314 — получим 1337. В подтверждение приводят еще следующее: Стефан присутствовал при освящении «церквицы», а затем ушел от

Сергия в Богоявленский монастырь в Москве. Там застал св. Алексия, с которым некоторое время и прожил. Алексия в 1340 году вызвали уже к митр. Феогносту, и он оставил монастырь. Значит, жить вместе и узнать друг друга они могли только ранее 1340 года, а значит, и ушел Стефан, и освятили церковь, и постригли Сергия — раньше. Утверждение же Епифания «при В. К. Симеоне» сделано с оговоркой «мню убо» и как *не* категорическое — отвергается. (Иеромонах Никон, впрочем, считает оговорку относящейся ко второй половине фразы — «в начало княжения его».)

[8] «Бесы были все в остроконечных шапках на манер литовцев».— Трудно представить себе, чтобы сейчас «литовец» мог пугать кого-нибудь под Москвою. Но в XIV веке было по-другому. Не раз литовцы наступали на Москву, разоряли и жестоко грабили целую область. Ольгерд водил их к самой Москве (в 1368 г. и в 1370). Дмитрий Донской, победитель Мамая, должен был отсиживаться за московскими стенами перед литовским князем!

Простонародье ненавидело и боялось литовцев не меньше татар. Преп. Сергий много, вероятно, о них слышал, если даже в кротком уединении бесы примерещились ему в облике литовцев.

[9] Снова вопрос хронологии, и снова странный. По Епифанию, еп. Афанасий поставил Сергия в игумены во время отсутствия св. Алексия — тот якобы уезжал в Константинополь. Иеромонах Никон принимает это целиком и повторяет рассказ Епифания. Так как Алексий был в Константинополе в 1353—54 гг., то на это время и приходится поставление Сергия в игумены. Вряд ли, однако, это можно принять. Даже если предположить, что Сергий родился в 22-м году, он был бы пострижен в монахи (на 23-м) — в 1345. От пострижения до игуменства прошло около 3-х и не более 4-х лет. Следовательно, в 1348—49. А при предположении о 1314 — поставление в игумены придется на 1340—41. Как раз в это время митрополит Феогност ездил в Новгород и Орду; за его отсутствием епископ Афанасий и поставил Сергия в игумены *(Голубинский).*

[10] «Волоковые» оконца — окно, оконце или проем четверти в полторы, с *волоком,* задвижным изнутри ставнем.

[11] «Харатья», хартия (лат. charta), стар.— папирус, пергамент — все, на чем встарь писали, и самая рукопись.

[12] «Изнесе ему решето хлебов гнилых посмагов» — последнего слова Епифаний мог бы и не прибавлять. «Посмаги» — значит именно «хлебы», на старинном языке. Видимо, опять для «изукрашения» стиля.

[13] Передавая рассказы Епифания о чудесах святого, автор делает это с верою в то, что св. Сергию дана была способность прорывать будничный покров жизни. Но из этого не следует, чтобы каждый *данный* рассказ биографа о совершении чуда был безусловно точен и не содержал легендарных черт. Если мы видели, что утверждения Епифания иногда неправильны для самых обычных фактов, то известный «коэффициент поправок» надо допустить и в изложении им «чудесных» событий. Есть противоречие и в его

рассказе о чуде с источником. Можно представить себе дело так: когда Сергий со Стефаном поселились на Маковице, какой-нибудь ручеек или ключ вблизи существовал,— трудно думать, чтобы они основались вдали от воды. Но, вероятно, для целого *монастыря* он оказался недостаточным, и оттого, что часто приходилось брать воду, его забили, замутнили. Возможно, что монахи отыскали родник в другом месте, но туда далеко было ходить — отсюда и неудовольствие на Сергия. Тогда он и прибег к молитве.

Сохранился ли до наших дней Сергиев источник? Неясно. По мнению проф. Голубинского, так наз. Пятницкий колодезь нельзя считать Сергиевым. Если даже предположить, что он искусственно обращен позже из источника в колодезь, то непонятно, почему он так далеко от монастыря. Осенью и весной низина к нему обращалась, наверно, в непроходимое болото. Если чудесный источник не закрылся и не исчез бесследно, то единственно вероятное — видеть его в колодце, который находится за южной стеной монастыря в Пафнутьевском саду, от стены в 5—6 саженей.

Иером. Никон принимает ручей Кончуру за реку «Сергиеву», основываясь на одном древнем списке жития, приводимом А. В. Горским, где сказано: «Другая же река, яже ныне под монастырем течет, на том же месте от искони река не бяше».

[14] Введение общежития. Согласно Епифанию (повторено у иером. Никона), это относится ко 2-му патриаршеству Кира Филофея — 1364—1376. Монастырь был основан в 1339—40 гг., значит, монахи жили без общежития не менее 25-ти лет. Это кажется исследователям маловероятным. Затем: св. Алексий построил Андрониев монастырь в 1358—59 гг., а там, прямо по построении, говорит Епифаний, было введено общежитие. Следовательно, в Троице-Сергиевой Лавре, откуда и вышел «смиренный» Андроник, оно существовало уже раньше.

Вероятнее всего, что и Преп. Сергий, и митр. Алексий прибегли к авторитету патр. Филофея. Надо думать, что Алексий просил его написать послание к Сергию, когда был в Константинополе (1353—54). Сам патриарх знать Сергия не мог. Послание было привезено греками, сопровождавшими Алексия в Россию по поставлению его в митрополиты (осень 1345). Они же и передали его Сергию, но не в 1375 г., а в 1354.

Есть еще факт, подтверждающий такое предположение: существует грамота патр. Каллиста I к неназываемому русскому игумену (это мог быть *только* Сергий), содержащая увещание к братии о повиновении игумену — по существу, явный ответ высшей церковной власти на неудовольствие и раздор монахов из-за общежития. Она относится к 1360-м годам. Опять, значит, общежитие уже *существовало.*

[15] Монашеские уставы: первый, древнейший, Пахомия Великого — четвертый век. До Пахомия монастырей вообще не существовало. Он первый создал монастыри в Европе и оставил им правило жизни. Затем идет Василий Великий, еп. Кесарийский, автор дидактического труда о монашестве, так сказать, «теоретик» монашества и

аскетизма. Более поздние уставы: Иерусалимской обители Саввы Освященного — шестой век, Константинопольский Федора Студита, или Студийский,— девятый век. Студийский монастырь славился святостью подвижников и ревностью их к православию во время иконоборства. Студийский устав был заимствован и русскими монастырями — его ввел первый Преп. Феодосий Печерский у себя в Лавре, затем Преп. Сергий в своем монастыре. Известен еще Афонский устав, или Святые Горы,— десятый век.

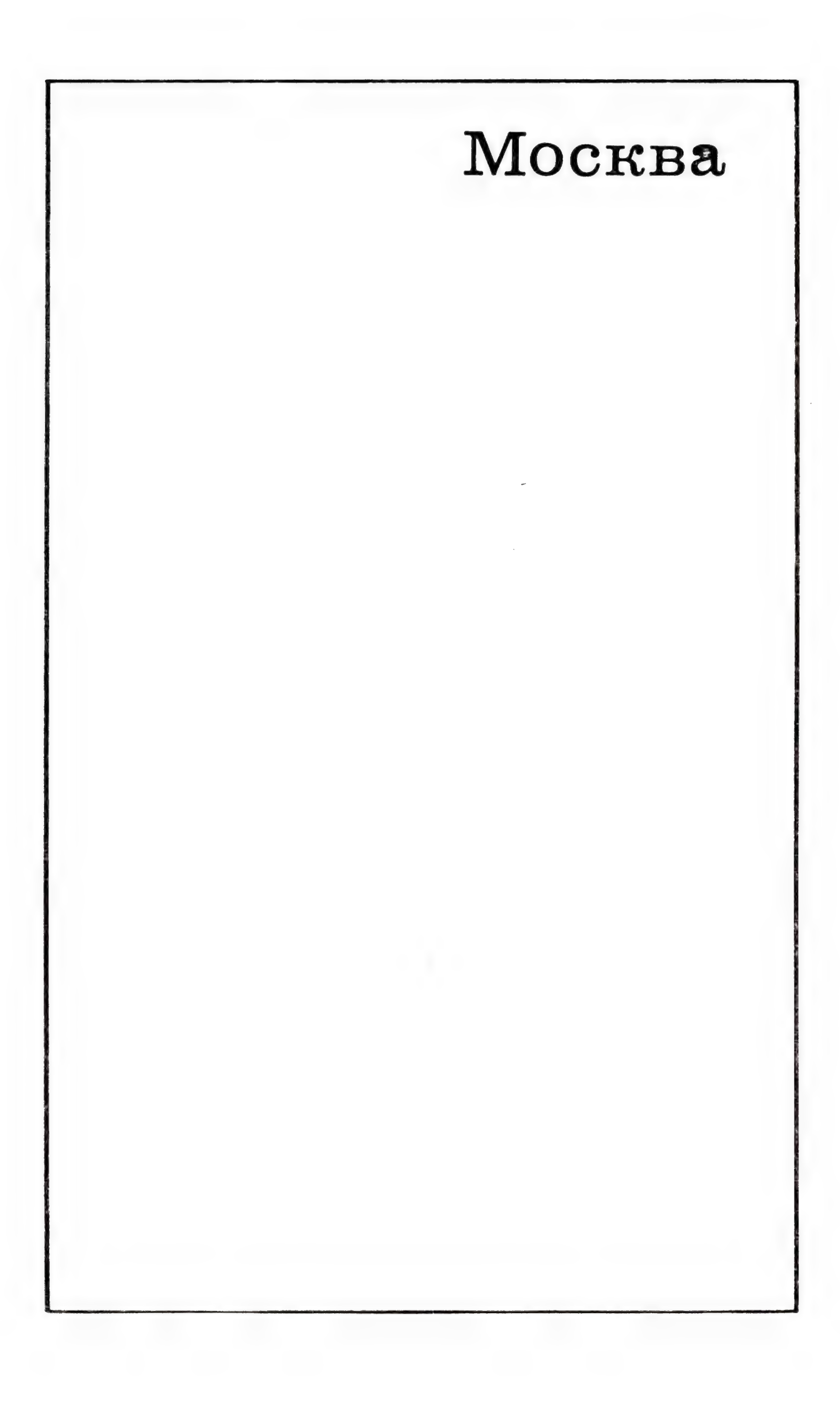
[16] «Парамандный крест». «В древности у архиереев, кроме параманда монашеского, который носили по рубашке, был еще параманд служебный, который при богослужении и надевался ими на стихарь или подризник. Этот параманд и разумеется в нашем случае» *(Голубинский).*

[17] Архим. Михаил.— В конце концов, мы так мало о нем знаем, что трудно решить, был ли он просто честолюбцем, талантливым и бурным по натуре, или и новатором, реформатором церкви. Последнего мнения держится проф. Голубинский в своей истории церкви, но не приводит никаких фактов. Что и как реформировал «Митяй»? Голубинский *предполагает,* что потому он и ссорился с духовенством и круто обращался с ним, что пытался вводить новшества. Но разве это доказательство? Для нас, во всяком случае, ясно, что идеалу святости и монашества, *по Сергию,* он не соответствовал. И более чем трудно чувствовать симпатию к человеку, грозившему разорить Троице-Сергиеву Лавру!

[18] Преп. Сергий скончался 25 сент. 6900 г. от С. М.— Приблизительно в это же время было у нас изменено летосчисление — год стали начинать не с марта, а с сентября. Если смерть Преподобного записана по-старому, то получится от Р. Х.— 1392-й, если по-новому, сентябрьскому,— то 1391 г. По указанию летописей, запись сделана по-старому, следовательно, Преподобный умер в 1392 г.

[19] Лавра — слово греческое, значит — улица, тесная улица, переулок или вообще уединенное место. Греки так и применяли его к монастырям. Лаврами назывались у них монастыри, где каждый монах жил отдельно в келии, отделенный от других некоторым пространством, жил как бы затворником, анахоретом, в полном разобщении с другими братиями монастыря, сходясь с ними только в субботы и воскресенья на богослужении.

В России название Лавра употребляется в смысле большого монастыря, богатого и знаменитого. Тогда Лавр было довольно много, и так же Троице-Сергиев монастырь назван еще Епифанием Лаврой. Но позже Лаврами дают право называться только прославленным монастырям, в наше время лишь четырем: Киево-Печерская Лавра, Троице-Сергиева авра, Александро-Невская и Почаевская. Время этого официального названия — вероятно, с XVII века, с царской и патриаршей грамоты Киево-Печерскому монастырю в 1688 г.— Троице-Сергиева Лавра — указом Елизаветы Петровны 8-го июня 1744 г. *(Голубинский).*


Москва

Москва представлена в этой книге не во всей ее полноте, она взята лишь в связи с жизнью пишущего. Соответственно с этим сделан и выбор зарисовок, и характер их: люди, дела, пейзаж Москвы.

Если слова автора дадут Москву почувствовать (а может быть, и полюбить), то и хорошо, цель достигнута.

Париж, ноябрь 1938 г.

I

ПАМЯТИ ЧЕХОВА

Человеку семнадцать лет. Он кончает гимназию. Отец только что назначен в Москву управлять огромным заводом. И вот первые рождественские каникулы... Человек дик, застенчив, самолюбив. Он провинциал, но куда едет, где будет жить две блаженных, свободных недели? В самой Москве!

И Москва не обманула. Сколько нового, необыкновенного! Из уютного дома на заводе Гужона каждый день возит извозчик Сергей, в санках, по декабрьскому снегу, мимо Андрониева монастыря, Николо-Ямскою — на Кузнецкий, Петровку, Театральную площадь. Старый портной Кан, на Рождественке, примеряет первый «штатский» костюм, ползает на коленях, чиркает мелом брюки, пыхтит, косым, солидным глазом осматривает художество свое. На Кузнецком стрижет парикмахер Теодор. У Зимина в кассе можно купить билет на начинающего Шаляпина, у Трамблэ сесть за столик и выпить чашку шоколада в накуренной, небольшой комнате. По зимним тротуарам на Петровке идут дамы — с картонками, покупками. Зажигаются фонари, летят снежинки. Елки у Большого театра, толпа — все кажется нарядным и волшебным: это не что-нибудь, это столица. Необычные люди, неизвестные красавицы, сияющие театры, балет. Дворянское собрание, рестораны, куда можно заглянуть лишь, когда старый Кан пришьет последнюю пуговицу. Но какое счастье на том же Сергее катить через два дня Солянкою домой — уже в мерлушковой шапке, пальто, в черном костюме — взрослым, свободным!

Дома — особняк на заводе. Камин потрескивает и пылает у отца в кабинете, в столовой матовая люстра — электрическая. Сквозь зеркальные стекла видны осненные деревца сада. За забором паровозик-кукушка тащит три вагона с болванкой: дом вздрагивает, когда он проходит у самой стены.

Новый мир продолжается. У того же камина, впервые в руках новая книжка: Антон Чехов, «Хмурые люди». Оторваться нельзя. Все особенное. Люди, манера, язык. И сам автор особенный, ни на кого не похожий. Тургенев, Толстой — уже известны. И хотя Толстой жив, но он и легенда: «классик», Синай, облака над горой. Чехов же «молодой» автор, вот тут, чуть не рядом, в этой самой волшебной Москве живущий. Первая встреча с ним: юность и жажда, счастье и неутолимое стремление.

Собинов распевает на утренниках Большого театра (ложа бельэтажа, позолота, тяжеловесный красный бархат, вековая пыль, капельдинеры, похожие на министра,— величавое дыхание Империи). У Зимина Шаляпин дьявольски хохочет в красном Мефистофеле или лениво возлежит, как огромный тигр, в шатре Олоферна. Но Антон Чехов *за* этим и *под* этим, уже где-то в сердце — скромный и как будто незаметный: но вошел, покорил и отравил.

* * *

Слава его развилась быстро, в сравнительно ранние годы,— ему не было и сорока (да и краткой жизнь оказалась!) — славу эту дала и питала Москва, наиболее — Художественный театр. Много тогда шумел Горький, но по-другому, шумом мутным и безвкусным, как безвкусен, груб, плебейски плосок был всегда. Чехова Москва полюбила чистою, застенчивою любовью. Лавры ему несла незапятнанные — да и он никогда поз не принимал. Покашливал, говорил баском, пенсне надевал-снимал. Долгие годы стоял у меня на столе портрет его, тех времен (в революцию погиб): слегка растрепанные волосы, умные русские глаза, интеллигентское пенсне, бородка, прямой, стоячий воротничок... крестьянской семьи человек и без капли плебейства. То же *народное в нем,* как и в Толстом,— одинаково они «первоначальной» стихии.

Чехов был из Таганрога, но Москвой крещен, кончил университет Московский, ладом своим, складом сдержанно-великорусским очень к Москве подошел и не зря дал сестрам в пьесе знаменитый клич: «В Москву, в Москву!» — для многих непонятный.

В эти годы, конца прошлого, начала нового столетия, было у него именьице под Москвой, близ станции Лопасня Курской дороги, Мелихово. Там он и жил, благотворил — как русский писатель. Ему и подобало продолжать давний завет нашей литературы.

Мой отец вздумал тоже купить имение. Чехова же в это время врачи направили на юг, в Крым, так что Мелихово продавалось. Мы вычитали о продаже из газет, отец списался с Чеховым, а я — тогда уже студент, тайно писавший,— вызвался Мелихово осмотреть.

Повидать Чехова. С Чеховым познакомиться! Я уже знал его теперь насквозь, видел и «Чайку», «Дядю Ваню», поклонение мое росло. Значит, надо устроить паломничество.

Лопасня верстах в семидесяти от Москвы. Березовые леса, поля, перелески — пейзаж средней России, мягкий и приветливый, и «ничего особенного». На станции пара лошадей в тележке, выбитые колеи, езда трусцой, в пыли, с кнутиком, поля, деревни и, наконец, это самое Мелихово. Вот уж тоже «ничего особенного». Толстому и Тургеневу — барские дома с колоннами, парки, пруды, александровских времен церкви. Чехов устроился в тесноватой усадьбе с небольшим садом вокруг дома да флигельком в стороне. В саду забор, под густыми елями, а рядом еще чье-то именьице, с темной аллеей. Пруд свежевыкопанный. Мутная вода в нем. Но самое оказалось смешное, когда бричка моя подкатила к крыльцу: хозяина дома нет. Вот так Чехов! Я его не предупредил, он уехал в Москву.

Меня встретила Марья Павловна, его сестра, будто давно знакомого, оставила обедать. Мы обедали на стеклянной террасе дома, опрятного и аккуратного, даже довольно весело. Была молодая художница Хотяинцева, смешливая и приветливая, с высоким узлом волос на голове, еще кто-то, старушка матушка Антона Павловича. Думаю, во мне быстро разглядели не столь «покупателя», как поклонника. Разговор вертелся вокруг Чехова. После обеда показывали его флигель, где в одиночестве работал он. Кажется, там была маленькая вышка-балкончик, куда он подымался и любил сидеть по вечерам, рассматривая ночное небо, звезды.

— Здесь у нас бывал Станиславский,— говорила Мария Павловна,— особенно перед постановкой «Чайки».

(Какая-то ель в саду, скамеечка, лужайка очень напомнили первый акт «Чайки» — улыбка Марьи Павловны дала понять, что корни этих декораций тут.) Даже в заборе и в усадьбе рядом что-то «треплевское» показалось. Вообще, хоть и не увидал хозяина, все же его облик в незатейливом, но слаженном, обсиженном гнезде сильно почувствовал.

Было ясно, Мелихово нам не подходит. Все-таки я

ходил с каким-то старостой, глубокомысленно осматривал «Вишневый сад», про себя же решил Чехова непременно повидать.

...Через несколько дней это произошло — уже в Москве, в жаркий, пыльный летний день. Человек со слегка растрепанными волосами, в пенсне, скромном пиджачке отворил мне дверь квартиры на Дмитровке, закрывая поднятым воротником костюма шею, и баском, приветливо сказал:

— Пожалуйте, пожалуйте...

Это мой грех перед ним. Я наверно уж знал, что Мелихова мы не купим, все же делал вид, что нужны справки. Обманул ли я его? К нему много ходило молодых людей, и по тому, как упорно сводил я разговор на писательство, вероятно, быстро он разобрал, что за гусь перед ним. Все-таки «секрета» своего я не выдал. И на этот раз Бог уберег его от моей рукописи.

* * *

Курский вокзал в Москве, вечер, ресторан, отец за кружкой пива. Сейчас подадут севастопольский курьерский поезд. Новенький китель, вензеля Горного института на плечах, фуражка с белым верхом — первый раз один, в Ялту, на виноградный сезон. Артельщик, чемодан, веселое лицо отца на перроне, поцелуи, прощанье — и купе первого класса с синей занавеской фонаря. Поезд трогается. Плавно идет, постукивая на стрелках. Огни чертят в окне дуги. Сейчас слева запылают сталелитейные печи Гужона, белые электрические фонари — и уже кончилась Москва. Впереди Лопасня, мимо нее пролетим с грохотом, а там неведомое: юг, Севастополь, Ялта... Все опять подстроено, чтобы повидать Чехова. Но теперь на дне чемодана рукопись, теперь уж ему не уйти.

Ночью не сразу заснешь от сладкого волнения — хоть и целый мягкий диван для тебя. Но день меж Орлом и Лозовой, в жарких, дымных степях успокоит. И наутро солнце, другой воздух, тополя, кипарисы, полутатарские деревушки, минареты Бахчисарая, долины, горы, белые скалы Инкермана и как дышащее темно-синее небо — море... От окна не оторвешься. Белоснежный Севастополь с белоснежными моряками. Колыхание синих бездн моря, душаще-опьяняющий ветер — закричал бы от радости. Влага, ласка, беспредельная широта ветра, пронзенного солнечным туманом, пахнущего йодом, солью — над блестящими волнами в белой пене проносящегося.

...«Пушкина» сильно качало. Дамы на палубе изнемогали. Чемодан мой подбрасывало, но рукопись от этого не стала ни лучше, ни хуже. Проходили слева красные глинистые берега. Георгиевский монастырь белел. Из всех пассажиров нырявшего парохода один разбойник гимназист, возвращавшийся в Ялту, ел в столовой за четверых. Остальные в лучшем случае «удерживали позиции». Шли долго. Но у мола Ялты, в темноте блестевшей по горе огоньками, все огорчения забылись.

И началась мирная южная жизнь.

Гостиница моя «Гранд Отель» — не из первых, но мне все нравилось: и Ялта, и гостиница, и сплошной балкон по фасаду на море, и само море, и паруса на нем. Я объедался сладкою шашлой, кофе пил на набережной, вечером сидел в городском саду на музыке, но думал все об одном: о чеховской даче в Аутке (над Ялтой).

...И вот вызвали меня однажды к телефону, низкий глуховатый голос сказал:

— Да, да, получил рукопись... Приезжайте, потолкуем.

Он назвал меня по имени и отчеству. Я был в восторге — «помнит, не забыл!».

Часов в пять подвозил меня ялтинский парный извозчик к даче Чехова. Я позвонил. Дверь открылась, такой же юноша, как и я, но с трубкой рукописи под мышкой, вышел на крыльцо, за ним слегка сгорбленная, знакомая фигура. Мы прошли в кабинет.

Из большого окна видны горы. На стенах фотографии, левитановский пейзаж. В нише — мягкий турецкий диван, туда Чехов и забрался, а у меня плыло в глазах. На письменном столе лежала моя рукопись.

Чехов покашлял, помолчал.

— Это у вас в форме дневника... Вы туда можете что угодно всунуть. Вы вот мне повесть напишите...

Для него я готов был написать и роман, и стихи, что угодно.

— Очень уж мрачно. Это от молодости. А так... ничего.

(Он прибавил несколько «ободряющих» слов.) Я всплывал, начинал дышать.

Пенсне он свое подергивал, продолжал сидеть глубоко на диване, замолчал. Стало опять жутко. Чтобы как-нибудь сдвинуться, попробовал я спросить, как сам он пишет: «с натуры или воображением»?

Должно быть, о таких глупостях спрашивали его не раз. Он мрачно ответил:

— Если у меня на руке пять пальцев, не могу же я сказать, что шесть.

И замолчал совсем. Я не знал, как дальше поддержать разговор.

Но вдруг сам он заговорил — приветливее, мягче: стал расспрашивать, сколько мне лет, где учусь, хочу ли и где напечатать свою вещь. И сразу простой естественный тон возник. Правда, я недолго его мучил. Минут через двадцать выходил в ту же дверь, окрыленный, сияющий, навсегда окончательно уже Чеховым «взятый».

Я встречал его еще несколько раз — в городском саду, в ресторане. Он нередко сидел за столиком, пил красное вино, в пальто с поднятым воротником (вечера бывали прохладны). Раз, довольно поздно, натолкнулся я на него в уединенном конце набережной, он сидел на скамейке, тоже в пальто, глубоко шляпу надвинув. Очень к нему шло одиночество, пустынное море, шумевшее в скалах, ночь, звезды... Так и остался в памяти Чехов ялтинский: надломленным и кашляющим, одиноким, прохладным, со складкою задумчивости, грусти. Он уже сильно был болен. Временами шла горлом кровь. Дамы, поклонницы, поклонники, общее внимание на музыке в городском саду вряд ли особенно и развлекали. Любимый журавль, собачка на даче, ночное море... Он писал в это время «Трех сестер». Жить ему оставалось три года.

* * *

Именно эти три года — наибольшая его слава, проявление любви к нему, даже обожание. «Три сестры» и «Вишневый сад», прелестные вещи, как «Архиерей»... и болезнь, быстро съедавшая. Чехов жил в Аутке, как в санатории. В Москву всегда его тянуло, особенно зимой, когда театр: там и играла О. Л. Книппер, на которой только что он женился. Иногда он в Москву «сбегал», всегда к ущербу для здоровья. В Москве любил то, чего теперь как раз нельзя было: морозы, ресторан «Эрмитаж», красное вино.

И когда раз зимой, кажется в 1903 году, встретил я его на «Среде» у Телешова, Чехов был неузнаваем. В огромную столовую Николая Дмитриевича на Чистых прудах ввела под руку к ужину Ольга Леонардовна поседевшего, худого человека с землистым лицом. Чехов был уже иконой. Вокруг него создавалось некое почтительное «мертвое пространство» — впрочем, ему трудно было бы и заполнить его, по слабости. Он сидел

в центре стола. За веселым ужином почти и не ел, и не пил. Только покашливал да поправлял волосы на голове. В январе 1904 года, в день его именин шел впервые с триумфом «Вишневый сад». Чехов кланялся со сцены, через силу улыбался. А спустя полгода, в Баденвейлере сказал: «Ich sterbe» *,— вздохнул и умер.

Мы хоронили его в Москве в светлый день июля. На руках несли гроб с Николаевского вокзала и много плакали. Плакать было о ком — не пожалеешь тех слез. Долго шла процессия, через всю Москву, которую так любил покойный. Служили литии — одну у Художественного театра. И лег прах его в родную землю Новодевичьего монастыря. Дождь прошумел на кладбище, а потом светлей закурились в выглянувшем солнце купола. И ласточки над крестами прореяли.

НАЧАЛО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕАТРА

Константин Васильевич Мошнин, веселый и красивый барин, слегка заикающийся, профессор механики в Александровском училище и страстный охотник, был приятелем моего отца. Отец управлял заводом Гужона. Мы жили в директорском особняке при заводе. Константин Васильевич у нас бывал, и мы у него. Однажды в светлой нашей столовой с окнами в сад, за завтраком, обратился он к отцу:

— Ко-Константин Николаевич, а у меня но-вость. Я ведь театр сдал... У меня новая т-труппа сняла.

Ему принадлежал дом в Каретном ряду, и такой невредный, что помещался там целый театр «Эрмитаж». Летом при нем открывался и сад со всякими увеселениями. Зимой больше оперетка, легкая комедия. Но вот тут появилось что-то другое...

— Неосновательный народ актеры. (Отец из какой-то причуды делал ударение на первом слоге.) Что же они у вас будут изображать, тезка?

— Что-то но-овое. Да вы приезжайте погляде-деть. У меня пообедаем, а потом прямо в ли-терную ложу, она за м-мной...

Отец налил ему рюмку водки.

— Пустое дело, тезка. Поедем лучше на волчью облаву. Чего там с актерами возиться. Ну-ка, чи-ик!

Отец любил только деревню и охоту. И разговор тотчас перепрыгнул на то, как стреляет Алексей

---

* Я умираю (*нем.*).

Николаевич Милюков, на Катуара, на обед в клубе и тому подобное.

Все-таки сообщением своим Константин Васильевич заинтересовал женскую половину и молодежь. Сестра моя училась у Игумнова в Консерватории, у нас всегда бывали ее приятельницы, жених сестры и я — студенты, нас больше занимал театр, чем отцова охота. Мать поддержала нас. И вышло так, что однажды на трех извозчиках двинулись мы перед вечером в Каретный ряд.

Квартира у Мошнина была огромная, с явно охотничьим выражением лица: бесконечные чучела, шкуры, рога, ружья, патронташи. Произошло опять то же деление: на охотников и «штатских». Обед для последних не столь веселый, но около восьми Константин Васильевич поднялся, не обманув надежд:

— Ну, а теперь по-осмотрим...

Дом был так устроен, что надо пройти коридорами, разными закоулками и переходами довольно далеко — потом вдруг оказываешься у литерной ложи. Она совсем рядом со сценой. Занавес только что поднялся, рампа резко делит театр на две части: справа темная зала судей и зрителей, слева... там бояре, пир, вид на Москву — «Царь Федор Иоаннович». Константин Васильевич был прав: театр, конечно, оказался «новым» и по постановке, и по игре. Всю левую часть сцены занимала крытая терраса «в русском духе», от зрителя ее отделяла балюстрада, срезавшая наполовину туловища артистов. Слуги подавали огромные блюда, на которых во весь рост — свиньи, гуси, куски быка; вкатывались бочки с вином. Споры, балагурство бояр, подписывавшихся под челобитной царю, красавица княжна Мстиславская, обходившая гостей с кубком,— все это особенное, ни на что ранее виденное не похожее — живое, в старую Москву переносящее. И наконец, сам герой дня, молодой, никому тогда еще не известный Москвин — царь Федор — «я царь или не царь?» — первый неврастеник на русском троне, обаятельный и несчастный родственник «идиота» Достоевского, дальний предшественник несчастного царя Николая. Неохотники так и впились в спектакль. Охотники сидели в глубине, посмеивались. В антракте публика аплодировала, но выходить на вызовы в этом театре не полагалось.

— Хо-хотят все по-особен-ному,— говорил Мошнин.— Стани-с-славский — Алексеев, он сам с Таганки, Хи-вы, купеческого рода, но б-большой чудак.

— Пойдемте, тезка, лучше пиво допивать,— говорил

отец.— А актеры пусть доигрывают. Вы мне ружья нового еще не показали, где левый ствол чок-бор.

И охотники ушли допивать пиво, а нам, оставшимся, показывал «большой чудак» Яузский мост с нищими и слепым певцом-гусляром. Толпился народ, вели на казнь Шуйского, окруженного стрельцами. Сторонники Шуйского пытались его отбить, стрельцы одолевали. Бабы целовали руки своему герою, прощались с ним. Опять это было совсем не то, к чему привыкли мы в Малом театре или у Корша (не говоря уже об опере).

* * *

Вот что рассказывает сам Станиславский о первом представлении «Царя Федора»: «Стараясь подавить в себе смертельный страх перед грядущим, представляясь бодрым, веселым, спокойным и уверенным, я перед третьим звонком обратился к артистам с ободряющими словами главнокомандующего, отпускающего армию в решительный бой. Нехорошо, что голос мне то и дело изменял, прерываясь от неправильного дыхания... Вдруг грянула увертюра и заглушила мои слова. Говорить стало невозможно, и ничего не оставалось сделать, как пуститься в пляс, чтобы дать выход бурлившей во мне энергии, которую я хотел тогда передать моим соратникам и молодым бойцам. Я танцевал, подпевая, выкрикивая ободряющие фразы с бледным, мертвенным лицом, испуганными глазами...»

* * *

Картина получилась, вероятно, «достойная кисти Айвазовского». Действительно, чудак,— но чудак оказался особенный, перворазрядный, создатель лучшего русского театра. А в тот вечер, 14 октября 1898 года, режиссер Александров с позором изгнал его со сцены.

«Константин Сергеевич, уйдите! Сейчас же! И не волнуйте артистов»...

«Мой танец прервался на полужесте, и я, изгнанный и оскорбленный в своих режиссерских чувствах, заперся у себя в уборной». Горько ему было, что вот он столько сил отдал этому спектаклю, а его гонят, точно постороннего!

Но своим «Художественно-Общедоступным» театром заварил Станиславский кашу. Успех был большой, очень бурный. Отцы и дети разделились. Отцы или оказались холодны (как мой, например, любивший литературу, но театр находивший вообще слишком

«преувеличенным» и «театральным»), или прямо враждебны, особенно поклонники Малого театра. Мы — т. е. студенты, барышни, разные молодые экзальтированные дамы, затем все интеллигенты-провинциалы (без «традиций» театральных), сразу театром пленились. Вот именно его *полюбили,* как любили тогда Чехова, некую особую линию в московской — и общерусской — культуре.

* * *

В том же сезоне шел «Потонувший колокол» Гауптмана,— мы смотрели его из той же литерной ложи. Бурджалов гоготал лешим, М. Ф. Андреева носилась по сцене феей Раутенделейн. Отец из ложи довольно громко и весело задавал ей разные вопросы — приходилось его унимать, и в конце концов все-таки не досидел, ушел сговариваться о лосиной облаве с Мошниным и Милюковым. А колокол на сцене вызванивал, что полагается.

Но «Потонувший колокол» не был боевым спектаклем. Боевою оказалась чеховская «Чайка». Она дала лицо театру, окончательно завоевала Москву.

История этой «Чайки» известна: предварительный провал в Александринском театре, колебания Художественного — большое желание Немировича-Данченко поставить пьесу и некое сопротивление (вначале) Станиславского. У самого Чехова как раз обострился туберкулез, близкие очень боялись, что неуспех пьесы может совсем дурно на него повлиять,— приезжала даже в Москву Мария Павловна, настаивала на отмене спектакля. Но спектакль был театру необходим — и решили рискнуть.

Чуть не сорок лет тому назад мы с сестрой, в юной компании, без взрослых, сидели в ложе бенуара справа — в обыкновенной ложе, сообща купленной. Ни о каких волнениях автора и театра не знали. Даже не знали, что пьеса провалилась уже в Петербурге (у нас Москва, мы только своим интересуемся). Занавес поднялся — на сцене полутемно, какой-то парк, прямо перед зрителем скамейка. Говорят и ходят довольно странно какие-то люди. Наконец выясняется, что молодой писатель, нервный и непризнанный, ставит тут же, в саду, свою декадентскую пьесу. Молодая актриса, закутанная в белое, читает нечто лирико-философское о мировой душе... На скамье сидят зрители — спиною к публике...

Все это поначалу показалось очень уж причудли-

вым. Публика молчала в недоумении. Но чем дальше шел первый акт, тем сильнее сочилось со сцены особенное что-то, горестно-поэтическое, сжимающее сердце. Что? Не так легко и определить. Внесловесное, может быть, музыкальное,— но некая *власть* шла оттуда — зрительный зал подпадал сладостному наркозу искусства. Как удалось уловить «им» внутренний звук пьесы, ее стон, ритм? Это уж загадка художества, живого и органического, т. е. очень таинственного дела. Пьеса, как говорят в театре, «дошла». Занавес опустился. Зрительный зал молчал. За сценой актеры умирали со страху. Одна из актрис упала в обморок.

Молчание зрителей было плодоносное, самое дорогое для театра: настолько сильно впечатление и волнение, что не сразу и вырывается в аплодисмент. Зато, вырвавшись, долго не смолкает.

...Нечего актрисе было падать в обморок. Первый акт имел огромный успех — он и нарастал до самого конца.

* * *

В «Чайке» театр показал основные свои черты: единство спектакля, его музыкальную цельность, как бы оркестровый характер. Показал и основное ядро своих сил.

Играли: сам Станиславский, Лужский, Вишневский, Артем, Книппер, Лилина. Все это — будущая слава театра, художники, которым предстоял живой, естественный рост. Чудесного Артема, к сожалению, нет уже в живых, нет и Лужского, остальные здравствуют, напоминая собой о прекрасных, героических временах московского театра.

Странна судьба двух участников первого представления «Чайки» — Мейерхольда и Роксановой.

Мейерхольд играл отлично — неудачника. Треплев — Мейерхольд стреляется по пьесе. Нервное, и одаренное, и *недоодаренное* дал Мейерхольд в этой фигуре: сыграл как бы себя самого. Черты талантливости без некоего «Божьего благословения», нервность без влаги, головная, сухая возбужденность и неспособность к творчеству органическому, из почвы, подсознания идущему,— это, кажется, и есть Мейерхольд. Он ушел довольно скоро от Станиславского. Как актер ничего не дал. Как режиссер обнаружил много и выдумки, и изящества — прямо даже дарования («Балаганчик» Блока — замечательная постановка). Но, в общем, неблагодатность и бесплодие определили путь этого незауряд-

ного человека. Он стал врагом Станиславского, врагом Москвы, корней, истинных соков русской земли. В жилах его будто не кровь, а клюквенный сок блоковского «Балаганчика». Как многие неудачники и полунеудачники, примкнул сразу, с бешенством и яростью, к коммунизму. Сделал одну-две интересных постановки и прославился «переделками» (искажениями) классических пьес. Сейчас, кажется, и у советской власти не в почете...* А во всяком случае: как был, так и остался в безвоздушном пространстве.

Роксанова... Станиславский в воспоминаниях перечисляет актрис, выдвинувшихся в «Чайке» (Книппер и Лилина). О Роксановой — самой Чайке — не сказано. И не мог он сказать: она просто плохо играла. Единственный слабый пункт пьесы — сама Чайка! В тех же воспоминаниях говорится, что Чехов был в отчаянии от «одной актрисы»... Он даже требовал, чтобы у ней взяли роль. Она тоже не удержалась в театре, не прижилась в нем. Какова ее судьба дальнейшая, не знаю.

...Не она ли и упала в обморок после первого акта? Если да, то о пьесе ошиблась, а о себе — нет.

ЛЕОНИД АНДРЕЕВ

Кажется, в жизни Андреева (писательской, а может быть, и личной) годы 1901—1906 были самыми полными, радостными, бодрыми. Все его существо летело тогда вперед; он полон был сил, писал рьяно; несмотря на самые мрачные «Бездны», на «Василия Фивейского» — полон был надежд, успехов, и безжалостная жизнь не надломила еще его. Он только что женился на А. М. Виельгорской, нежной и тихой девушке. Светлая рука чувствовалась над ним. На его бурную, страстную натуру, очень некрепкую, это влияние ложилось умеряюще. Слава же росла, шли деньги; Андреевы жили шире; давно была оставлена квартирка на Владимиро-Долгоруковской, где мы познакомились. Квартиры становились лучше; появился достаток. Часто люди бывали, чтения. В те времена процветал в Москве литературный кружок «Среда». По средам собирались у Н. Д. Телешова, у С. С. Голоушева и у Андреева. Бывали: Бунин Иван, Бунин Юлий, Вересаев, Белоусов, Тимковский, Разумовский и др. Из заезжих: Чехов,

* Строки эти были написаны до гибели Мейерхольда от руки Советов. Как именно он погиб, в точности не знаю.

Горький, Короленко. Бывали и Бальмонт и Брюсов. Каждый раз что-нибудь читали. Много прочитал Андреев — думаю, всех больше. Он читал сдержанно, несколько однообразно, иногда поправляя густые волосы, свешивающиеся на лоб; в левой руке папироса; иногда помахивал ею в такт и из-под опущенного лба вдруг быстро взглядывал горячими своими глазами.

Меня, наверно, он гипнотизировал. Мне все нравилось, и безраздельно, в нем и его писании. В спорах о прочитанном я всегда был на его стороне. Впрочем, и вообще он имел тогда большой успех, очень всех возбуждал, хотя образ его писаний мало подходил к складу слушателей. Но на «Среде» держались просто, дружественно; дух товарищеской благожелательности преобладал. И тогда даже, когда вещь корили, это делалось необидно. Вообще же это были московские, приветливые и «добрые» вечера. Вечера не бурные по духовной напряженности, несколько провинциальные, но хорошие своим гуманитарным тоном, воздухом ясным, дружелюбным (иногда очень уж покойным). Входя, многие целовались; большинство было на «ты» (что особенно любил Андреев); давали друг другу прозвища, похлопывали по плечам, смеялись, острили и в конце концов, по стародавнему обычаю Москвы, обильно ужинали.

Можно сказать: Москва старинная, хлебосольная и благодушная. Можно сказать и так, что писателю молодому хотелось больше молодости, возбуждения и новизны. Все же свой, великорусский, мягкий и воспитывающий воздух «Среда» имела. Знаю, что и Андреев любил ее. А судьба решила, что из членов ее он ушел первый — один из самых младших.

Иногда я ходил к нему по утрам — это значит о чем-нибудь хотелось говорить; как порядочный писатель русский, он вставал поздно; как москвич — бесконечно распивал чаи, наливал на блюдечко, дул, пил со вкусом; к приходившему относился с великим дружелюбием. Может быть, и нехорошо было идти к человеку утром; может быть, и необязательно разговаривать так много; все же вспоминаешь с удовольствием об этих утренних русских разговорах где-нибудь на Пресне, при белом свете с улицы, деревцах вдоль тротуаров, низком лете ворон с веток на крышу дома. Говорили о Боге, смерти, о литературе, революции, войне, о чем угодно. Куря, шагая из угла в угол, туша и зажигая новые папиросы, Андреев долго, с жаром ораторствовал. Говорил он неплохо. Но имел привычку злоупотреблять сравнениями и любил острить. Юмор

его был какой-то странный: и была в нем эта жилка, и чего-то не хватало. И во всяком случае, в его *писании* юмор несвободен. Он не радует.

В три Андреев обедал, а потом ложился спать, черта не европейская, как и во всем, был он весьма далек от европейца. (Носил поддевку, а позднее ходил в бархатной куртке. Среди «передовых» писателей была у нас тогда мода одеваться безобразно, дабы видом своим отрицать *буржуазность*.) Проснувшись вечером, часов в восемь, опять пил крепкий чай, накуривался и садился на всю ночь писать. Тут он разогревался; голова накалялась и легко, непроизвольно родила образы страшные, иногда чудовищные. Писание было для него опьянением, очень сильным; в молодости, впрочем, он вообще пил; и, как рассказывал, наибольшая радость в том заключалась, что уходил мир обычный. Он погружался в бред, в мечты; и это лучше выходило, чем действительность. Студентом, после попойки, в целой компании друзей, таких же фантасмагористов, он уехал раз, без гроша денег, в Петербург; там прожили они, в таком же трансе, целую неделю; собирались даже чуть не вокруг света.

Не удивительно, что писания утреннего, трезвого, как и вообще дисциплины, он не выносил. Ночь, чай, папиросы — это осталось у него, кажется, на всю жизнь. Иногда он дописывался до галлюцинаций. Помню его рассказ, что когда он писал «Красный смех» и поворачивал голову к двери, там мелькало нечто, как бы уносящийся шлейф женского платья. Бредовое писание не было для него выдумкою или модой: такова вся его натура. Его развязанное подсознание всегда стремилось в ночь, таков его характер; но устремление это было подлинное, и его не без основания ставили рядом с Эдгаром По, которого он знал, любил.

Он нравился ему за то, что говорил о Ночи.

Андреев сам чувствовал Мировую Ночь и ее выразил — писанием своим.

Но не надо думать, что эта Ночь им вполне владела. Я уже говорил, что был в Андрееве мягкий орловец, он любил теплый домашний быт, никогда в нем не умирала жилка московского студента легендарных времен, он любил русское, нашу природу, пруды и влажные, благоуханные вечера после дождя в Царицыне (под Москвою, где он жил летом), белые березки и поля Бутова; любил закаты с розовыми облаками; да и в писании его кое-где, например в «Жили-были», есть и свет, и цветущие яблони, и славный дьякон. Я вспоминаю о нем часто и охотно так: мы идем где-нибудь в

белеющем березовом лесочке в Бутове. Май. Зелень нежна, пахуча. Бродят дачницы. Привязанная корова пасется у забора; закат алеет, и по желтой насыпи несется поезд в белых или розовеющих клубах. С полей веет простором и приветом родной России. Мы же идем легко, быстро и говорим взволнованно. Вот он меня провожает на платформе — в своей широкополой артистической шляпе, в какой-нибудь синей рубашке, с летящим галстуком, с возбужденными, черноблистающими глазами. Это оживление и возбуждение так молодит! И так хороша молодость пылкими разговорами, одушевлением, легкой влюбленностью. Поезд, зарей вечерней, летит в Москву; смотришь в окно, вновь переживаешь пережитое и дома, возвратясь, заснешь не сразу.

При мне Ночь, которую так чувствовал Андреев (и оттого на Бога восставал, много шумел), — эта Ночь впервые на него дохнула. В 1906 году умерла его жена, от родов, в Берлине. Мы хоронили ее в Москве, в Новодевичьем, при жестокой стуже. Андреев же остался за границей. Из Германии попал на Капри. Жил там тяжко, бурно. Вот отрывок из его письма, 9 января 1907 года: «Для меня жизнь так: несколько людей, которых я люблю, а за ними города, народы, поля, моря, наконец, звезды, и все это чужое. И если бы все люди, немногие, кого я люблю, вдруг умерли бы или забыли меня — я оглянулся бы и завыл бы от ужаса и одиночества». Далее говорит, что хорошо, если бы мы с женой приехали туда, и прибавляет вновь:

«Здорово я тут один, несмотря на Горького. С вами бы я мог говорить о смерти Шуры, постараться понять ее».

Мне и пришлось встретиться с ним в Италии, в мае того же года; но говорить о том, о чем он писал, не случилось. Перебирая его письма, я наткнулся на открытку во Флоренцию: «Еду из Неаполя в Берлин безостановочно, так что во Флоренции можем увидаться только на минутку на вокзале... Пожалуйста, приходи с Верой хоть на минутку!» Это «хоть на минутку!» и сейчас колет сердце: вот и не увидишь его больше, даже «на минутку!».

Мы с женой в светлый, жаркий флорентийский вечер вышли встретить его, принесли букет роз красных (ими полна благословенная Флоренция). В грохоте, с пылью влетел на скромный вокзал международный экспресс, из первого класса выскочил тот же Андреев, в широкополой шляпе, с летящим галстуком, в артистической бархатной куртке, как знавал его я в Бутове, в

Москве. Как и тогда, он ни слова не знал «по-заграничному»; в купе оказалась матушка его,— ни себе, ни ей за весь день он не мог достать стакана чая. Матушка охала. Сам он задыхался от жары в бархате своем, но глаза его так же блестели, как и в былые годы. Он нюхал наши розы; говорили мы быстро, бестолково, ибо некогда было, и через несколько минут он махал нам букетом из окна поезда уходящего. На мгновение я его увидал, и снова забурлил и загромыхал европейский экспресс, унося людей московско-орловских. А сейчас, вспоминая те семнадцать лет, что знал Андреева, я чувствую, что рядом с бесконечностью, нас разлучившею, те года, куда легла чуть ли не вся его художническая жизнь,— не длинней краткой минутки на вокзале во Флоренции в знойный, чудесный итальянский вечер.

С этого года Андреев переехал в Петербург. Может быть, тяжело ему было заводить в Москве прочную, оседлую жизнь. Его душевное настроение было бурно-мрачное, с какими-то срывами. Перегорало горе, разъедало. Но натура живая, страстная гнала вперед. Он никак еще не знал, что сделать, как наладиться. «Опять с некоторого времени,— пишет он от 17 августа 1907 года,— день мой, каждый мой день и каждая ночь — до краев налиты тоской. Что делать, я не знаю, ибо убивать себя не хочу, в сумасшедший дом тоже не хочу, а жизнь не выходит, а тоска, поистине, невыносимая. И все о том же, о той же — Шуре, о ее смерти. Отпустила было не на долгое время, а теперь снова гвоздят одни и те же мысли и сны. Сны! Ужасная, брат, вещь эти сны,— в которых она воскресает и всю ночь поит меня дикою радостью, а наутро уходит».

В Москву он наезжал довольно часто. Нередко останавливался в «Лоскутной», вблизи Иверской и Исторического музея. Живший там П. Д. Боборыкин не без ужаса рассказывал: «Представьте, я встаю в шесть утра, к девяти поработал уже: а *он* в девять только возвращается». Петр Дмитрич, никогда за полночь не ложившийся, пивший минеральные воды, носивший ослепительные воротнички, и наш Леонид Андреев... О, Русь!

В это время помню я Андреева всегда на людях, в сутолоке, с интервьюерами, в угаре. Это был год, когда впервые он вступил на путь театра,— путь, давший ему славу еще шумнейшую, но и тернии очень острые. «Жизнь человека» была первая его символическая трагедия, в чертах схематически-условных обнимавшая жизненный путь и судьбу «человека вообще». Это вещь

роковая для него. Можно ее любить или не любить, но с душевной, и писательской, и человеческой судьбой Андреева связана она неразрывно. В ней кончился один период, начался другой. Кончилась молодость Андреева, возросла схема, патетизм, и яснее означился надлом в душе его. В ней есть и нечто пророческое о самой жизни автора — если пророчественность понимать широко. Умер Леонид Андреев не так, как погибает Человек, и в бедность не впал, но некоторый *наклон* жизни своей почувствовал.

«Жизнь человека» имела крупный успех — в Москве в Художественном, в Петербурге у Мейерхольда. Андреев более и больше увлекался театром. И более и больше укреплялся в Петербурге. Стал очень близок сильно успевавшему издательству «Шиповник», в альманахах издательства слыл гвоздем. «Шиповник» же издавал его книги. К нам, к «Москве», он питал чувства дружественные по-прежнему; когда бывал, сам читал свои пьесы, или присылал читать рукописи на «Средах». Но находил, что Москва — это «милая провинция», благодушная и теплая. Ему казалось в Петербурге попрохладней и построже. Ему *казалось,* что воздух севера, воды Финляндии, ее леса и сумрак ему ближе, чем березки Бутова. Верно, что в «Жизни человека» не было уж места для березок. Все-таки обращать Андреева, русака, бывшего московского студента, в мрачного отвлеченного философа, решающего судьбы мира в шхерах Финляндии с помощью Мейерхольда, было жаль. Никто не вправе сказать, каким должен был быть путь его. Ему виднее было самому. Но можно, кажется, заметить, что его натура не укладывалась вся в Финляндию и Мейерхольда.

С весны 1908 года он поселился на своей даче у Райволы, на Черной Речке. Эта дача очень выражала новый его курс; и шла и не шла к нему. Когда впервые подъезжал я к ней летом, вечером, она напоминала мне фабрику: трубы, крыши огромные, несуразная громоздкость. В ней жил все тот же черноволосый, с блестящими глазами, в бархатной куртке, Леонид Андреев, но уже начавший жизнь иную: он женился на А. И. Денисевич, заводился новым очагом, был полон новых планов, более грандиозных, чем ранее, и душа его была смятена славой, богатством, жаждой допить до конца кубок жизни,— кубок, казавшийся теперь неосушимым. Обстановка для писателя (в России) — пышная. Дача построена и отделана в стиле северного модерна, с крутою крышей с балками под потолком, с мебелью по рисункам немецких выставок.

Мы много говорили, очень дружественно, мне хорошо было с Андреевым, но жилище его говорило о нецельности, о том, что стиль все-таки не найден. К стилю не шла матушка из Орла, Настасья Николаевна, с московско-орловским говором; не шли вечные самовары, кипевшие с утра до вечера, чуть не всю ночь; запах щей, бесконечные папиросы, нервность, мягкая развалистая походка хозяина, добрый взгляд его глаз, многие мелочи. Правда, стремление к грандиозу находило некое применение: нравилось смотреть с башни в морской бинокль на Финский залив, наблюдать ночью звезды. Но как раз рано утром следующего дня, проснувшись в боковой комнате для гостей, не совсем еще отделанной, я услыхал, как двое маляров, снаружи малевавших на подмостках, напевали неторопливую, простую, славную нашу песню. Вот в ней — земля Москвы, березки Бутова, поля Орла. И нет Финляндии. Нет майоликовых отделок, матовых кубов, нет модерна. Нет и «Жизни человека».

На этой новой даче написал Андреев «Царь-Голод», «Черные маски», «Анатэму», «Океан» и другое. Хорошо было удалиться из столицы, но это не было удалением в Ясную Поляну, столица перекочевала к нему в самом суетном и жалком облике; взвинчивала, гнала к успеху, славе, шуму и обманывала. Кто не любит обольщения успеха? Андреев жадно его вкусил и не мог уже забыть; не мог уже жить, чтобы о нем не писали, не шумели, не хвалили. Не знаю даже, мог ли он теперь писать лишь для себя, вне публики. Он ненавидел публику и поклонялся ей. Он презирал газетчиков, освободиться же от них не мог. Для славы нужны были журналисты, налетавшие роями, которым он рассказывал о своей жизни, замыслах, писаниях; сердился, что рассказывает, а назавтра вновь рассказывал. Они печатали нелепые интервью, раздражавшие друзей Андреева, а врагам дававшие материал для издевательства. Вся эта чушь газетная, в море вырезок, с отчетами о пьесах, отзывами, критиками, бранью, клеветой, заметками, каждый день притекала к нему и одурманивала душу. Вряд ли чувствовал он себя хорошо. Тем более что все настойчивее в критике твердили об упадке его дарования.

За всей этой горькой мишурой у него был и свой мир. Вот что говорит он в письмах этого периода *о второй действительности.* «С каждым уходящим годом я все равнодушней к первой действительности, ибо в ней только я раб, муж и отец, головные боли и «с прискорбием извещаем». Сама природа,— все эти моря,

облака и запахи я должен приспособить для приема внутрь, а в сыром виде они слишком физика и химия. То же и с людьми: они становятся интересны для меня с того момента, как о них начинает писаться история, то есть ложь, то есть все та же наша единственная правда. Я не делаю из этого теории, но для меня воображаемое всегда было выше сущего, и самую сильную любовь я испытывал во сне. Поэтому я, пока не сделался писателем и не освободил в себе способности воображения, так любил пьянство и его чудесные и страшные сны».

Флобер, столь бесконечно далекий от Андреева, говорит где-то в письме: «La vie n'est supportable qu'en travaillant» *; и правда, одурманивал себя работой. Для Андреева, как писателя настоящего, смысл этих лет, годов зрелости, так же, видимо, сводился к работе, как наркозу, уводящему от *скучной* действительности. «Сколько скучных дней и просто неинтересных людей в первой действительности! А в моей все дни интересны, даже дождливые, и все люди интересны, даже самые глупые. Сейчас за окнами моросит, просто моросит, и нет ничего, кроме просто мокрой Финляндии и озноба в спине,— а начни описывать, и получится интересно, явится настроение; и чем правдивее я буду изображать, тем меньше останется правды. *Ибо само слово принадлежит ко второй действительности,* само по себе оно картина, рассказ, сочинение».

Впрочем, он оговаривается: не вся действительность презренна.

«...Не скажу даже, чтобы я был прав, так настоятельно и убежденно предпочитая воображаемое сущему, и если устроить между ними состязание, то *окончательная, последняя* красота будет на стороне последнего. Но такая красота — моменты, далеко разбросанные в пространстве и времени. Не только собрать, а можно прожить всю жизнь и ни одного не встретить. Немало на свете красивых людей, а расстояние между ними — словно между звездами; и один еще не родился, а другой давно умер. Пусть даже живет, но или он далеко бесконечно, либо говорит на другом языке, либо я совсем не знаю о его существовании. Ведь все эти, кого мы любим и считаем настоящими друзьями: Данте, Иисус, Достоевский — существуют только в воображении нашем, во второй действительности, во сне».

---

* Жизнь невыносима без труда (*фр.*).

В первой же действительности, несмотря на славу, деньги, шум и суету вокруг, вряд ли Андреев чувствовал себя теперь хорошо. Он не производил такого впечатления. Во всяком случае, видимо, становится он одиноче. О дружбе, о «мужской, крепкой, .глубокой, серьезной дружбе», он говорит теперь с горечью («Как странно звучит слово «дружба» — ты помнишь, что оно означает? Я забыл». 8 июля 1909 года). И еще: «...Заметил ли ты... что дружба — ранняя ягода и приходит прежде других? Любовь, как тень, сопровождает, пока есть свет, а для новой дружбы положен ранний предел. И если не захватил друга из юности, то нового не жди; да и старого-то не удержишь. И не случайность для меня, что кончилась моя дружба с Горьким — все писатели дружат в юности, а со зрелостью приходит к ним неизбежное одиночество. Так оно и надо, пожалуй» (23 июня 1911 года).

Кажется, за эти годы Леонид Андреев и действительно новых друзей не приобрел, а от старых отдалился, находясь в Финляндии. Кажется, жизнь его там ограничивалась кругом (важнейшим, разумеется) семьи. В Москве он появлялся редко. В Петербурге литературных друзей и всегда у него было мало; а в литературе критической к нему относились теперь дурно. Вообще же в его литературной судьбе много *русского:* безудержное возношенье, столь же беспощадная брань. Ни шум, ни гонорары, ни интервью не могли скрыть резкого охлаждения к нему публики. Та исключительность его, что раньше восторгала, теперь сердила. Чем громче он старался говорить, тем раздраженней слушали. И за короткий срок своих удач и поражений мог бы вспомнить покойный слова Марка Аврелия: «Судьба загадочна, слава недостоверна». Или же обратиться к собственной «Жизни человека».

За это время мало приходилось его видеть. Доходили временами письма, но все реже. Я знал, что он обрился, что завел лодку моторную и скитается по шхерам. Мореходские инстинкты пробудились в нем внезапно; нравились брызги, пена, шум ветра, одиночество. Быть может, нечто байроническое мерещилось ему в этих одиноких блужданиях. Вызов жизни, людям, гордость, честолюбие надломленное.

Я видел его в последний раз в Москве, осенью 1915 года. Шла его пьеса «Тот, кто получает пощечины». Вряд ли она удача, вряд ли совершенна, как и вообще мало совершенного оставил Леонид Андреев. Хаос, торопливость и несдержанная пылкость слишком видны в его писании. Но как и во всем главнейшем, что

он написал, есть в этой пьесе андреевское, очень скорбное, сплошь облитое ядом горечи...

Тяжкая душа, израненная и больная, мне почувствовалась и в самом авторе. Это иной был Андреев; не тот, с кем философствовали мы некогда на Пресне, бродили в Бутове. Надлом, усталость, тяжко бьющееся сердце, тягостная раздраженность. И лишь глаза блестели иногда по-прежнему.

— Пьесу испортили,— говорил он.— Сгубили. Главная роль не понята. Но посмотри,— он указывал на ворох вырезок,— как радуются все эти ослы. Какое наслаждение для них — лягаться.

Он уехал в Петербург смутный и подавленный, хоть иногда и много смеялся и острил. Мы же, прощавшиеся с ним тогда в Москве, его немногие друзья, вряд ли угадывали будущее, вряд ли и думали, что живого, настоящего Андреева, в бархатной куртке и с черными глазами, не «сон» и не «мечту» второй действительности, нам уже не увидеть.

И мне трудно говорить об этих заключительных годах земного странствия Андреева.

Знаю только одно: с октября 1917 года он не возвращался даже в Петербург, жил в Финляндии. Революция задела его чрезвычайно. Он ее проклял. Пережить ее ему не удалось. Он скончался в сентябре 1919 года от припадка сердца — сердце у него всегда было больное и нервное.

Когда мысленно я вызываю образ Андреева, он представляется мне молодым, чернокудрым, с остро блистающими, яркими глазами, каким был он в годы Грузин, Пресни, Царицына. Он лихорадочно говорит, курит, стакан за стаканом пьет чай где-нибудь на террасе дачи, среди вечереющих берез, туманно-нежных далей. С ним, где-то за ним, тоненькая, большеглазая невеста в темном платье, с золотой цепочкой на шее. Молодая любовь, свежесть, сиянье глаз девических, расцвет их жизни.

И наверно, не могу я говорить с холодностью и объективностью об Андрееве, ибо молодая в него влюбленность на всю жизнь бросила свой отсвет, ибо для меня Андреев ведь не просто талант русский, тогда-то родившийся и тогда-то умерший, а, выражаясь его же словами, *милый призрак*, первый литературный друг, литературный старший брат, с ласковостью и вниманием опекавший первые шаги. Это не забывается. И да будут эти строки, сколь бы бедны они ни были, дальним приветом чужестранной могиле твоей, Леонид.

— Да вот что,— сказал Андреев, блестя своими черными, удивительными глазами,— вы зайдите к Сергеичу, обязательно! Надо познакомиться. И ваш рассказ у него. Сборник редактирует он, я и Тим-Тим (Тимковский).

Андреев дал мне письмецо, и я отправился. Сергей Сергеич Голоушев, среди друзей «Сергеич», по литературе Сергей Глаголь, жил в Хамовниках, в месте странном: помещении Хамовнической части! Был он полицейский врач и занимал квартиру во втором этаже, с окнами на площадь.

Я попал к нему во врачебный кабинет. Мягкая зеленая мебель, книги, картины, жуткий гинекологический эшафот, машина с кругом, беспорядок, сумеречно-синеватый свет из окна, откуда белел снег и над снегом, над каланчой, тучею галки — за бархатной портьерой плесканье воды в умывальнике.

Потом оттуда выглянул высокий, очень стройный и широкоплечий человек в ослепительной рубашке и, вытираясь полотенцем, откинувши назад длинные волосы движеньем головы, пристально добрыми глазами на худощавом, в морщинах, лице взглянул на меня.

— А-а, душка, знаю. Садитесь, сейчас разговаривать будем.

Так, зимними сумерками, в Москве очень далеких лет, началось мое знакомство, перешедшее скоро в дружбу, со всему городу известным Сергеичем. Через десять минут казалось уж, что он мне родственник, такая простота, открытость и широкий жест, чуть и картинный, были в нем. Конечно, к нему можно с чем угодно прийти — и с болезнью, и с рассказом, и с картиной,— чем только не занимался Сергеич?

В юности, сидя на козлах, мчал Веру Засулич из суда в карете, спасая ее. Побывал в «местах не столь отдаленных» ссыльнопоселенцем. Политическую «левизну» свою там и оставил. Занялся живописью. Дружил с Серовым, Левитаном и Коровиным. В Третьяковской галерее есть его этюд лошади. Стал писать. Лечил дам. Статьи печатал и о живописи, о театре, о литературе. В том же сборнике, из-за которого я пришел к нему, был и его рассказ — не хуже других. Он интересовался психиатрией, был друг всех Россолимо и Токарских, яростно превозносил Андреева, работал по гравюре и офорту — что-то изобрел даже в этом деле. Жил холостяком. Всегда к кому-нибудь пылал. Да женщинам и не мог не нравиться, если б и захотел,—

что-то изящное и суховато-мужественное в нем было, и безупречное, и бескорыстное. Он много говорил, слегка даже витийствовал, то собирал, то распускал морщины на остроугольном лице и широким жестом откидывал волосы седеющие. Но как принять его за старика! Вот, умер старым, в памяти остался молодым.

Он был душой «Среды». Для меня, только что принятого, эти собрания, в частности дом Сергеича, навсегда связаны с первыми литературными шагами, первыми встреченными писателями, первыми чтениями — в полутемном кабинете Сергеича, под бледным кругом лампы с зеленым абажуром, перед старшими художниками дела нашего, некоторые из которых вызывали восхищение и жуткое волненье. Очень страшно так читать, впервые, не забудешь... Небольшая, полная этюдов Васнецова, Поленова, Левитана квартира Сергеича наполнялась, сидели и в гостиной под какими-то персидскими щитами, у бухарских копий, в кабинете на гинекологическом ложе, спорили о символистах, декадентах (тогда модный спор), быте, реализме и т.п. А потом слушали — очень часто читал Андреев. Реже Бунин, Телешов, я и другие. Кончалось все ужином. Сергеич сам готовил удивительнейшую селедку, хоть бы в «Прагу». Разные водки в графинчиках, пироги, грибы, заливные... вообще Москва — то русское тепло и тот уют, немножко лень, беспечность, «миловидность», что и есть старая Русь.

Расходились поздно. По скрипучему снегу, под холодными звездами шли пешком, хохотали, досказывали недосказанное, дразнили друг друга. Иногда старый писатель Гославский, с серебряной бородой — его звали Богом Саваофом за торжественный вид,— сильно подвыпив, начинал бранить кого-нибудь, меня например, неизвестно за что. Звали ваньку, усаживали Гославского, кто-нибудь вроде безответного Ивана Алексеича Белоусова, в хохлацкой шапке и шевченковских усах, и увозил его.

Сергеича я полюбил скоро и крепко. Да и как было не любить этого славного и такого открытого — весь нараспашку — «прелестника» из Хамовников? Он был мне старший, вроде дядюшки и заступника. Если какая беда, затруднение или болезнь, он тут как тут, зимой в серой мерлушковой шапке, всегда живой и картинный, многоречиво-приветливый. Правда, он больше сам говорит. Слушает неохотно, рассеянно. Чувствуешь, что только скользит по нем...

На «Среде» мы с ним и Андреевым были «крайняя левая», т.е. защитники символистов: тогда здесь и был

«ключ позиции». Сергеича же и вообще постоянно тянуло к новизне, молодости. Наша «Среда» была весьма пожилая, степенная. Это его не вполне насыщало. И он водился с художниками младшего возраста. (Например, с Петровым-Водкиным, тогда юношей. И разумеется, покровительствовал ему.) Милая странность Сергеича в том состояла, что, никак не будучи «инфернальным», он очень любил в литературе всякие «бездны», «тайны», достоевско-андреевское... и для чего это ему надо было? Весь он так хорош был простосердием и чистодушием, а любил «жуть». В тех долгих годах, что я его знал, за эту самую «жуть» он меня много бранил. Ему нравились, он всегда защищал мои «мрачные» вещи, а другую сторону писанья — не одобрял.

— Зайчик,— говорил, как обычно, откидывая рукой волосы, глядя из-под пенсне серыми, живыми глазами из глубоких впадин, весь вытягиваясь сухим, остроизящным лицом, всегда напоминавшим мне симпатичного пса,— душка, ты опять мармелад свой развел? — И щелкал пальцем по книжке.— Ты мне дай, чтобы с жутью... Понимаешь, писатель, вот как Леонид, он должен опускаться вглубь, в психологию, и разворачивать перед нами тайны и провалы души...

Я улыбался, частью виновато, частью безнадежно: что же делать, каждый пишет по-своему. И если быть вполне искренним, то в делах своего ремесла (или искусства?) и я слушал Сергеича не очень внимательно, как славного дядюшку, но не как *мэтра.* Для мэтра был он слишком поверхностен, слишком *между прочим* в нашем занятии, которому или всего себя надо отдать, или уж за него и не браться.

В Сергеиче была какая-то неаккуратность и забывчивость, барски просторная рассеянность. Это касалось, впрочем, мелочей. Если ж в беде нужна поддержка, нужно через всю Москву ехать к больному — этого Сергеич никогда не забывал. Много людей московских, из которых первый я, добрым словом помянут бессребреника.

А жизнь его была полет сумбурный, в этом основная черта натуры: не было центра, точки, куда била бы вся сила его существа. Дилетантизм — вот слово, говорящее о несобранности души, о ее некотором распылении. Сергеич все умел делать, от гинекологии до гравюры, и все делал даровито, *замечательно* же ничего сделать не мог, ибо безраздельно ничему не отдавался. Его след не начерчен в истории ни одной из тех деятельностей, коими он занимался. В нем, в его

вкусах, жестах, картинности, доброй беспорядочности — Русь, Москва.

Бедный Сергеич! На его закатные дни легла страшная лапа истории. Узнал бывший студент в плаще семидесятых годов, спаситель Веры Засулич — на себе испытал новое царство. Сергеича в Москве взяла смерть — среди бедствий, голода, холода и унижений. Тяжело вспоминать об этом. И как часто бывает, ущемляется сердце сознанием, что вот ушел человек, доброе от него брал как должное, а сам что давал? Мало дано, долг остался.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ КРУЖОК

Николай Николаевич Баженов — психиатр, гастроном, Дон Жуан, холостяк — с лицом жирным и заплывшим, маленькими глазками, с толстыми губами и огромным кадыком,— он и водрузил клубно-литературное знамя над Москвой.

Считался парижанином (и парижским москвичом) — из Парижа вывозил галстуки, анекдоты, моды. Имел к литературе отношение — какое? Не совсем понятно: кажется, интересовался ею. И другие нашлись «интересующиеся»: актеры, литераторы, адвокаты, зубные врачи. Соединенными усилиями сложившись, подписавшись, соорудили в переулке с Тверской на Дмитровку свое учреждение. Начали скромно, а потом разрослись, даже в историю литературы в некотором смысле попали.

Рядом с Филипповым, с калачами и булками, с шумной кофейной (чуть не самой большой тогда в Москве), где заседали барышники, коммивояжеры, беговые жучки и прочее мелкое, но приличное население, открылся Литературный кружок, начались его вторники. Они очень совпали с оживлением литературным: выступал символизм, появились писатели особенного оттенка.

В «Скорпионе» Поляков («нежный, как мимоза») издавал Бальмонта, Брюсова, выпускал «Северные цветы», Кнута Гамсуна, Пшибышевского... «Homo sapiens» — кто из барышень не зачитывался этим романом? («Встал. Вскочил. Выпил рюмку коньяку» — через несколько строк: «Сел. Лицо искривилось гримасой. Выпил рюмку коньяку».) За мирного и прелестного гамсуновского «Пана» дочерей чуть не выгоняли из родительских домов (с Таганок, Сыромятников, «чтобы не зачитывались чепухой»). Впрочем... и Иван Бунин в

«Скорпионе» выпустил «Листопад». А совсем юный Белый, тогда студентик голубоглазый,— «Золото в лазури» и «Симфонии».

Но главенствовали Бальмонт и Брюсов. «Будем, как солнце», «Только любовь», «Горящие здания» — Бальмонта в Москве сразу приняли и полюбили (молодежь, конечно). Брюсова не любили, но вокруг себя он сумел создать некую «магическую» славу. Его боялись. И прислушивались к его теориям художническим. Он редактировал «Весы», тоже журнал скорпионский.

Революция так революция... В литературе она начиналась, хоть и благоразумно советовал Бальмонт поклонникам: «Тише, тише совлекайте с древних идолов одежды». Молодежь есть молодежь. Благоразумием она не отличалась никогда. Идолов типа Потапенки и Боборыкина волокли не без жару, да и другим доставалось — во славу символизма и «декадентства».

Вот для этих сражений Кружок подоспел кстати. В небольшой зале Козицкого переулка, на эстраде, перед рядами зрителей, заседал в каком-нибудь кофейном жакете с красной бутоньеркой, в белых гетрах Николай Николаевич Баженов — председатель, а Бальмонт читал, скажем, об Уайльде — тогда тоже новшестве и пугале,— Бальмонт, молодой, горячий, «златовласый», читал остро и с задором. Главное задор. Он являлся непроизвольно, из ощущения, что говоришь о новом, спорном, что одни тебе будут яростно рукоплескать, другие свистать. И действительно, зал разделялся. «Старшие» ужасались, молодежь ликовала. Получался отчасти митинг, но скорее веселый. Вот как описывает это летописец: «Благородные зубные врачи и статистики призывали к заветам, Некрасову, шестидесятым годам. Юноши в красных галстуках — к Уайльду. Публика свистала, это выводило из себя Лизавету, и она отколачивала себе ладоши. Черноглазая Зина тоже хлопала, хлопал и Петя, взволнованно улыбаясь, а солидные дамы вокруг пожимали плечами и выражали негодование. Впрочем, с Лизаветой шутки были плохи. Она оборачивала свое разгоряченное лицо, розовевшее гневом, и громко говорила:

— На дур не обращаю внимания!

— Браво,— хлопал Петя,— браво!

Случалось и так, что человек, днем более или менее успешно заседавший в восьмом классе Поливановской гимназии, вечером появлялся на эстраде, в штатском, с демоническими начесами, демонически возглашал:

— Окунемся в освежающие волны разврата!

Не так особенно он окунался, и домашняя, довольно

безобидная была тогда Москва, но так уж полагалось «устрашать» и «претерпевать за идею»: юноша, пожалуй, только что получил двойку, но, зачитываясь Бальмонтом и Брюсовым, готов был отдаться на растерзание «мещанству», лишь бы не быть «как все» и чем-то о себе заявить.

Когда Лизавета с Зиной влетали после чтения в ресторанный зал, вызывали они неблагосклонное шушуканье дам и сочувствие в мужчинах. Усиливалось это тем, что в городе говорили о тайном обществе козлорогов. Федюка бывал в клубе тоже и, как человек толстый, легкомысленный, не внушал доверия; а его считали гроссмейстером ордена, как Лизавету с Зиной — двумя «богородицами».

Общества, разумеется, никакого не было. Жила молодежь бойкой и веселой, может быть, и несколько распущенной жизнью, но обычной в возрасте этом: богемно, с бродяжничеством по кабачкам, романами и «выяснениями отношений», схождениями,— а в общем, под крылышком папаш и мамаш, беззаботно, скорее всего в духе Бронных и Козих, усовершенствованных «декадентством».

Но, конечно, нравилось являться в Кружок компанией человек в десять — все с желтыми цветами.

Вот оно, тайное эротическое общество! И в несуществующую «ложу» нарасхват стремились те, у кого желтых цветов не было (а как хотелось бы, чтоб были!).

* * *

В Козицком стало тесно. Дела шли хорошо — Кружок переселился — неподалеку, на Дмитровку, в особняк Востряковых. Востряковы сами жили на углу, тоже в хорошем доме, но главное свое палаццо, с полукруглым въездом во дворе, зеркальными окнами, нарядной лестницей с колоннами, белыми лепными залами, сдали Кружку. И Кружок въехал. Одного Баженова уж не могло хватить. Ставилось все на прочную ногу, с дирекцией, комиссиями — литературной, музыкальной и пр.

Появилась «материальная основа цивилизации» — карты. Сначала карточные комнаты были скромны, а потом сделали целую пристройку и открыли залу в розовых фресках под Мориса Дени, расставили огромные овальные столы и укрепили фронт. Старухи в бриллиантах, содержанки и актрисы, дельцы, врачи, инженеры и актеры заседали под туманно-нежным

светом люстр, казавшихся им слаще солнца, за зеленым полем, погружаясь в мир валетов и девяток, дам, королей. Лица их принимали неживой оттенок. Вспоминаются зеленоватые люди, много лысин, жирных подбородков, толстых ушей, рук в кольцах с драгоценными каменьями, все это несколько и вялое (лишенное «света и воздуха»), но нервное и выключенное из жизни. Наверно, наркотическое есть в игре. Точно бы накурились опия. И их мир, живущий с нами рядом, все же особенный — сильно пьянящий и засасывающий (для них значит же сладкий). Были среди них и профессионалы игроки. Просто они жили этим. Являлись как на службу, хорошо зарабатывали.

Символистов и поэтов, художников «Голубой розы» или «Мира Искусства», писателей «Знания» или «Шиповника» для них не существовало. Но чем дольше засиживались, чем больше штрафов платили, тем больше книг и журналов можно было купить в библиотеку.

Туда вел длинный коридор, уставленный шкафами — с иногда ценными изданиями. Библиотека быстро росла. В читальне, под мягкой зеленой лампой, на столе газеты и журналы, издания на разных языках, кресла, тишина, полумрак — другой мир. Пробежит в длинном сюртуке Брюсов, пройдет Юлий Бунин, полный, уютный, особой своей походкой (слегка выкидывая ноги в стороны), рыжеватый Иван Иванович Попов, редактор «Женского дела» (букву «д» выговаривал, как «т» — журнал свой называл «Женское тело»).

Вторникам отвели залу обширную, на шестьсот мест, с занавесом, сценой-эстрадой: можно было ставить спектакли, давать концерты. Лекторы стали разнообразней. Многих выписывали из Петербурга. Мережковский, Андрей Белый, Волошин, Маковский, Волынский, Яблоновский проходят в памяти, покойный Айхенвальд. Даже епископ один выступал (имени его не помню). Читали о новых писателях, новых книгах, «вопросах пола» — в общем, все стало спокойнее и солидней. Споры, однако, бывали жаркие, иногда до скандала. (Раз Андрей Белый с эстрады вызвал на дуэль литератора Тищенку, друга Толстого. Пришлось спускать занавес, под руки сводить с лестницы изнеможденного, в истерике, автора «Серебряного голубя».)

Эти «верхние» вторники (в верхнем зале) все же приняли слишком шумный характер. В нижних комнатах уединенно собирались «Эстетика» и «Среда».

В первой главенствовал Брюсов. Это было продолжение «Весов». Питалось дамами богатыми и снобистическими (из купчих — «Скорпион» коренился в

московском Сити). Брюсов священнодействовал. Молодые поэты трепетали. Почтительно безмолвствовали художники. Дамы сияли бриллиантами, кутались в меха. В общем же скука и высокомерие, хотя выступали иногда замечательные писатели — Вяч. Иванов, Блок, Белый. «Среда» называлась в Кружке «молодой», или новой,— из прежних, интимных собраний у Телешова и Л. Андреева перешла в большой простор, разрослась численно — и побледнела. Председателем ее был Юлий Бунин. Тон простой и не напыщенный. Состав довольно серый. Как в «Эстетике», читали и стихи, рассказы — беллетристов было больше. Направление в «Эстетике» символизм, здесь реалистическое. Из писателей известных — Бунин, Шмелев, Серафимович, Телешов. Выступал Алексей Толстой (бывал и на «Эстетике»). Но молодежи выдающейся «Среда» не вывела.

* * *

Врос Кружок в жизнь Москвы с достоинствами своими и недостатками, с шумом, оживлением, дебатами об Арцыбашеве и Каменском, концертами и лекциями. Вечером заглянув туда, встретишь знакомых и друзей, просмотришь новости в читальне — вряд ли минуешь белый ресторанный зал. С молодым еще (но уже академиком) Буниным займешь стол, наш обычный, направо от двери. К полуночи подойдет Юлий Бунин с какого-нибудь заседания — в том же Кружке, где с Валерием Брюсовым обсуждали они вопрос, скажем, о поваре (Брюсов во всем был дотошный и неутомимый: переводить ли Вергилия, спорить ли о дежурном блюде). Столики чуть не все заняты. Там Эфрос со Смирновой, Лоло с Ильнарскою, Перский с женой, Книппер, быть может, Качалов, Правдин из Малого театра. Шмелев, Телешов, покойный Грузинский подсядут к нам. Встретишь приезжего из Петербурга — Георгий Чулков. Из молодых московских — Ходасевич, Муни, Койранский и Стражев. Ровно в час, по хронометру, появлялся философ Лопатин — у него место всегдашнее за «профессорским» столом, через зал от нас. Лысый, в очках, с головой мудреца, начиненной идеализмами и психологизмами, был он так аккуратен, что по нем проверяли часы.

— Лев Михайлович приехал, значит, час ночи.

Надо сказать, подолгу в ресторане засиживались. Много шумели, и спорили, и хохотали, и, поужинав, заходили в игорные залы — можно на счастье поставить (и проиграть!),— может быть, и сорвешь удачу.

А потом зимняя ночь, такой свежий, чудесный воздух. Сонный ванька, ухабы, затихшие улицы Москвы, тьма.

* * *

Ко временам драм российских Кружок был учреждение цветущее, с библиотекой в двадцать тысяч томов, штатом служащих, канцеляриями, запасным капиталом. Мог жертвовать на просвещение, стипендии, помогал нуждающимся, выдавал ссуды, издавал журнал (небольшой), собирал многосотенные аудитории — литературно-музыкальные. В залах его устраивались выставки. Во время войны там был лазарет.

В революцию он сначала держался. Из первых перешел к «ним» Брюсов — началось медленное удушение. Горестная сцена сохранилась в памяти из того времени. Старый Серафимович, Александр Серафимович, многолетний наш сотоварищ по «Среде», тоже объявился коммунистом.

Помню заседание «Среды — из последних в Литературном кружке — из совсем особенных. В верхней комнате было много народу, душно и нервно. Все взволнованы, что-то висит над душой. Сидел за столом и Серафимович, бледный и молчаливый. Попросил слова Андрей Соболь. В горячей, нервно-истерической речи, захлебываясь, предложил исключить Серафимовича из «Среды».

— Кто против свободной печати и литературы, тот не с нами.

Все молчали. Молчание было тяжелое. Поднялся Чириков.

— Вы нам не товарищ. Все между нами кончено. Больше руки я вам не подаю. (Таков приблизительно был смысл его слов.)

— Значит, я могу выйти? — глухо сказал Серафимович.

Никто не ответил — раздались аплодисменты. Он поднялся и, бледный, молча вышел.

Больше мы его тут не видели. Но Кружок он закрыл быстро — «как контрреволюционное гнездо». Сын его в это время донес на одного юношу, гимназиста, своего же товарища,— и погубил его в чеке. Александра Серафимовича я встречал потом в «Лито» *— у него быстро появилась шуба и бобровая шапка. Бог с ними, с бобрами. Александр Серафимович

* Литературный отдел — было такое учреждение.

был всегда незадачливым, внутренно озлобленным писателем. Теперь сделал шаг разумный и сравнительно процвел. Это личное его дело, и не хочется его судить. Все же... этот человек бывал некогда в моем доме, мы находились в добрых отношениях, из времен юности сохранились даже некие ласковые слова и улыбки. Тем грустнее все остальное.

Сейчас он в почете, как и Вересаев. Госиздат издает собрание его сочинений — практически он игру свою выиграл.

«ЗОРИ»

В 1904—06 годах выходил в Москве марксистский журнал «Правда». Его издавал В. А. Кожевников, инженер, математик и фантасмагорист. Этот скромный и своеобразный человек со странностями взял да и всадил чуть не все свои средства в издание, где сотрудники — Луначарские, Скворцовы, Базаровы — ему же и доказывали, что он эксплуататор, буржуй, темная личность. Удивительно было его терпение. Барство, должно быть, чрезмерное. Захотел сам себя сожигать — и сожигал.

Однако весной 1906 года Валентин Алексеевич, загадочно расширив свои глаза и поиграв по обыкновению ноздрями, объявил, что он еще новый журнал хочет издавать, но маленький, чисто литературный, вроде приложения к «Правде» (эта «Правда» была необычайно нелепого вида: пол-аршина длины и узенькая, так что страница выходила чуть не газетным столбцом). Новое детище окрестили «Зори» и отдали молодежи.

К «Правде» я имел некоторое отношение. Первые номера мною корректировались. Я получал за это 50 рублей в месяц, пропускал много ошибок и напечатал там два собственных рассказа: «Мглу», «Сон», а уже третий — «Тихие зори», не прошел в этом «магазине», а попал, как и дальнейшее, в петербургский «Новый путь».

Из корректоров тоже я был изгнан (вполне справедливо). Но с Валентином Алексеевичем сохранил добрые отношения и бывал в его квартире на Кудринской площади в знаменитом доме Курносова, куда упирается Новинский бульвар, откуда видна вся Москва. И вот в эти «Зори» меня посадили уж в редакцию.

Как все, что затевал Валентин Алексеевич, наши «Зори» оказались малозлатоносными: журнальчик, где золото пущено было на обложке (и Москва на ней тоже

изображена), расходился, кажется, в 60 экземплярах. Существовал недолго — одну весну, литературного влияния не имел и теперь представляет величайшую редкость. Но в жизни молодой Москвы того времени известную память оставил и не в одной душе провел свой след.

* * *

Весна, Москва! Не зря назвали мы журнальчик «Зори», и не зря Сергей Глаголь и К. К. Первухин пустили золото на обложку. Что-то от светлой зари, юношеское и чистое было в этих «Зорях», и навсегда они для меня овеяны светом весны, тех особых, неповторимых чувств... Нас было несколько молодых литераторов, и два-три старших, и через всех нас прошел какой-то романтически-весенний ток: «Зори» сделались не только лишь журналом, но и умонастроением и какой-то душевной направленностью.

27 апреля. Открытие первой в России Думы. Наш поэт Александр Диесперов — студент в очках, живущий на 15 рублей в месяц, отшельник, страстный и патетический книжник,— впоследствии автор тома о Блаженном Иерониме,— читает свою лирическую передовую для «Зорь» об эре свободы, о вольном народе и о другом, начинающемся... Апрельское золото на его некрасивом, и умном, и восторженном лице. Золото — во влажных от волнения глазах, да и по нас пробегает содрогание восторга. Вообще восторг — одна из важных черт «зоризма». Мы так иногда называли свое настроение. Диесперов воспевал в своих стихах Русь, апрель, колокола, березки, некий град Китеж, иногда приходил ко мне, задыхаясь от волнения и слез. Он был мистик, но не декадент. Страстно поклонялся Белому (времен «Золота в лазури»), Блоку «Прекрасной Дамы». Поэзию и святую бедность он избрал себе для обручения. Сколько его я помню, облик монаха в нем рос, углублялся. Он совсем отдавал уже свою жизнь другим, иногда с некоторою суровостью; но тогда, в апреле «Зорь», он более всего остался в моей памяти с золотом слез восторга.

П. М. Ярцев, драматург и театральный критик*.

Еще наш зорист был Владимир Высоцкий — русский поляк с миндалевидными индусскими глазами, изящный, томный и всегда влюбленный, бредивший Каспровичем, Словацким («Ангелли» — его перевод), перевед-

---

* О нем см. ниже.

шим всего Пшибышевского. Он воспламенялся, когда речь касалась Польши или женщин. Верный сопутчик по кабачкам, славный товарищ в жизни, звали мы его «Пшерва Тетмайер» или «Пшесмыцкий», а чаще: «Пшесмыка». В этом слове казалось всегда мне что-то ласково-нелепое, весьма шедшее к человеку богемы.

П. П. Муратова не было тою весной в Москве. Он писал нам из Парижа, как из Петербурга прислал мне А. Блок свое чудесное стихотворение, впервые у нас в «Зорях» напечатанное (названия не помню, там есть строчка; «Твой узорный, твой цветной рукав»). Андрей Белый тоже был наш, но не так близко-лично, и на наших собраниях, у меня или Ярцева, кончавшихся иногда на рассвете, не участвовал. Но зорист, и упорный, был тогдашний ближайший друг его Эллис — в то время бодлерианец и мистик, с большой исступленностью. Он писал нам мистические стихи, переводил Данте и всегда был готов к крайностям. Однажды покойный А. А. Койранский оскорбительно пошутил над гипсовым Данте, стоявшим у Эллиса. Тот не стерпел и, схватив бюст (поруганный, по его мнению), разбил его вдребезги. Эта мучительная и «летящая» душа прошла много испытаний, ныне, надо думать, нашла прочную успокоенность в лоне католической церкви. (Эллис — ученый монах и переводчик русских религиозных писателей на немецкий язык.)

«Зорям» принадлежал также поэт Самуил Викторович Киссин (Муни). С грустью вспоминаю его прекрасные глаза, черную еврейско-ассирийскую бороду, его всегдашнюю тоску и ненасыщенность — с грустью за недолгую жизнь, за горький конец. (Он застрелился во время войны.) И я зашел бы слишком далеко, если бы подробней написал о двух мне лично очень близких зористах А. А. Койранском и В. И. Стражеве. Кажется, мне остается добавить, что лирико-мистический «рассказ» был у нас представлен П. Кожевниковым, Венеция — К. К. Первухиным, санскрит и Индия — М. А. Эртелем, ученейшим филологом, Византия и Рим — А. П. Воротниковым.

* * *

Кто мы такие были: сотрудники, редакторы, издатели? Почему при марксистском журнале для увеличения его тиража печатался в двухстах экземплярах тоненький журнальчик мистико-романтического свойства? Почему мы все собирались и *вслух* читали свои произведения, а потом обсуждали, спорили, «выясняли отноше-

ния», отвратительно сами корректировали и т. д.—для чего все это? Значит, так по-русски полагается, чтобы выходило бестолково. Но нам было весело и легко. Мы прожили отличную весну с тем сознанием делаемого дела, которое всегда есть у писателя, если даже разумом он понимает, что, в сущности, никому до его писания дела нет. Какая была наша публика? На кого мы влияли? Кому что-нибудь приносили? Женам, сестрам, разным молодым людям и барышням, для которых я был Зайчик, а Муратов — Патя. Но мы так разохотились, что, проведя кто где лето 1906 года, осенью вновь соединились и всю зиму собирались у меня на Спиридоновке, где мы с В. И. Стражевым вместе сняли квартиру. Собирались для издания нового «органа», на этот раз вполне собственного: «Литературно-художественная неделя». Это было продолжением «Зорь», но более боевого и задирчивого типа. «Зори» никого не трогали. В «Литературно-художественной неделе» Б. Грифцов ставил Блока выше Толстого, кажется, мы заодно разгромили и Репина, а за нападки на Брюсова (вот от чего меньше всего отрекаюсь) вышла целая история с Андреем Белым.

«Неделя» наша тоже погибла,—и тоже от безденежья и «холодности» публики. Зористы же ходили ко мне целую зиму. Эти собеседования были очень горячи, искренни и светлы. Все-таки у нас было что-то вроде братства, секты романтиков; внутренний голос нас сводил; из душевной потребности родилось общение. Мы даже пытались определить «зорическое» миросозерцание. Конечно, мы все со всем «соединяли», «примиряли», разумеется, не обходилось без Владимира Соловьева. В то же время был у нас и особенный «русский» уклон и христианский. С христианством нас сближал как бы *свет* наших душевных устремлений и их музыка. Но мы были литературный кружок, а не религиозно-философский.

* * *

Все это прошло; но хорошо, что было. Вспоминая Москву, всегда вспоминаешь светлую горячку «Зорь». Молодость, братская дружба, энтузиазм — не так это уже мало. И если для литературы — песчинка скромная «Зори», то для живых людей, вот для наших душ, это время есть нечто.

Годы нас разбросали — и мировые потрясения. Много лет ничего я не слышу о В. Высоцком, «Пшесмыке» «Зорь». Горькое чувство мне говорит, что всего

вернее сложил он, белый офицер, свою головушку где-нибудь под Ростовом. Диесперов, если жив, трудится в глубине России. Остальные мы разбросаны по всему свету. Москва, Россия, Франция, Германия, Чехословакия, Америка... Мир так просторен.

МОЛОДОСТЬ — ИВАН БУНИН

Можно ошибиться в годе, когда встретились. Но не ошибешься в том, что была зима. Неопалимовский переулок, звезды на ночном небе, огненно-сухая, снежная пыль из-под копыт «резвого». Яркий свет, тепло, запах шуб в передней профессора Р. Хозяин, нестарый еще психиатр с волнистыми волосами, в белом галстуке (при пиджаке), пел в гостиной у рояла, громко и смело:

«Целовался крепко... да-а... с твоей же-е-ной!» (Схватывая себя при этом за кок на лбу.)

В столовой молодежь — не то художники, не то студенты, не то поэты, не весьма основательные дамы, и с черными кудерьками, карими чудесными глазами сама хозяйка, Любочка Р. Все эти Зиночки, Лены, Васеньки — ее приятели. У Любы тяготение к модерну. У нее встретишь и Бальмонта, и Балтрушайтиса. Она читает «Симфонии» Андрея Белого. И ее брат, Георгий, только что вернувшийся из Сибири, вскоре разовьет свой «мистический анархизм».

Психиатр занимался циркулярным психозом, ездил в клиники на Девичье поле, на дому лечил гипнозом (больше пьяниц). Принимал у себя молодежь. Относился к читателям «Симфоний» с благодушной снисходительностью, частью как к пациентам. Но задавала тон Люба — ласковостью, весельем, оживлением. Весь этот круг литературно-артистический носил оттенок легкой беззаботной художнической богемы.

Так же шумели, хохотали и танцевали в промежутках между пением и в тот вечер, когда в столовой, под рулады баритона из гостиной, впервые увидел я Бунина. Он сидел за стаканом чая, под ярким светом, в сюртуке, треугольных воротничках, с бородкой, боковым пробором всем теперь известной остроугольной головы — тогда русо-каштановой — изящный, суховатый, худощавый. Ласково блестя на него глазами, встряхивая черными завитками волос, улыбалась из-за самовара Любочка.

Пение оборвалось, раздались аплодисменты. Психиатр быстро вошел в столовую, оглядел всех победоносно. Налил стакан воды из стеклянного кувшина, залпом

выпил, надышав туда. Поправил шевелюру и, сверкнув мужицкими своими глазами, весело спросил:

— Ну, как?

Это относилось к пению. Все зааплодировали, он тронул белый бессмысленный галстук и на лакированных ботинках проследовал в кабинет, где какой-нибудь Васенька выяснял отношения с какой-нибудь Зиночкой.

Этот свет и тепло квартиры, белизна скатерти, Любины кудряшки, молодое оживление вокруг, остроугольный, элегантный Бунин — так и смешались в памяти с морозной ночью и звездами над Москвой — в ощущении остро-поэтическом.

* * *

Встретились мы будто бы случайно. Но, принадлежа к одному кругу, занимаясь одним делом, не могли и далее не встречаться. Виделись у Леонида Андреева, Телешова, Сергея Глаголя. А там Литературный кружок, ресторан «Прага»...

Пестрой и шумной, легкой и радостной кажется теперь жизнь тогдашней Москвы. Может быть, просто молодость? Необычайное по силе чувство жизни?

Но — и само время: какое привольное, сколь подходящее для артистического! Какой интерес к литературе! Сколько молодых дарований... Сколько споров, волнений, чтений, удач и неудач, изящных женских лиц, зимних санок, блеска ресторанов, поздних возвращений...

Иван Алексеевич жил тогда по гостиницам: в номерах «Столица» на Арбате (рядом с «Прагой»), позже в «Лоскутной» и «Большом Московском».

Оседлости не любил Бунин — нынче здесь, завтра уже в Петербурге, а то и в Крыму, или вдруг взяли да уехали они с Найденовым на Рождество в Ниццу — тогда виз не требовалось!

Живя в Москве, бывал и у нас, по разным Остоженкам, Спиридоновкам, Богословским и Благовещенским. Под знаком поэзии и литературы входил в мою жизнь: с этой стороны и остался в памяти. Всегда в нем было обаяние художника — не могло это не действовать. Он был старше, опытнее и сильнее. Я несколько его боялся и по самолюбию юношескому ревниво себя оберегал. Мы говорили очень много — о стихах, литературе, модернизме. Много спорили — с упорством и горячностью, каждый отстаивал свое — в глубине же, подспудно, любили почти одно и то же. Но он уже сложился, я лишь слагался.

На «Средах» слушали чужие вещи и свои читали. Леонида Андреева, милого Сергея Глаголя я не стеснялся.

Но вот Бунин именно меня «стеснял». И тогда уже была в нем строгость и зоркость художника, острое чувство слова, острая ненависть к излишеству. А время, обстановка как раз подталкивали писателя начинающего «запускать в небеса ананасом» (Белый). Но когда Бунин слушал, иногда фразы застревали в горле.

Раз, выехав вечером из Москвы в Петербург — Иван Алексеевич, я и жена моя, занимались мы в вагоне часов в десять вечера чтением вслух: он читал стихи, я — рассказ (вез его в «Шиповник»). Именно там, с глазу на глаз, в купе второго класса Николаевской дороги, при смутном свете свечи, сильно мигавшей, неповторимом запахе русского вагона, неповторимо плавном ходе поезда Империи и ощущал я давление в горле — на сомнительных словесных виражах. Поезд неукоснительно-покойно шел зимними нашими полями. Тепло струилось по коридору, занавеска на фонарике покачивалась — полные своих планов, стремлений и чувств, мы летели к туманному Петрограду.

* * *

«Почему вы грустны? Почему сегодня такой молчаливый?» — спрашивал меня иногда на «Средах» Бунин.

В молодости грусть и замкнутость — не проявление ли сил еще бродящих, неуверенных? Робости, гордости?

Во всяком случае, простые слова старшего, взгляд сочувственный — как-то оживляли. И хотя отвечал я не весьма складно и продолжал молчать, все же это облегчало и вот *запомнилось.* Значит, было на пользу.

В один апрельский вечер «Среда» собралась у Сергея Глаголя в Хамовниках.

Кто тогда читал, я не помню. Но в этой самой квартире, где из окна видна была каланча, а в комнатах — смесь акушерства с литературой и этюдами Левитана, и подарил мне в тот вечер Иван Алексеевич только что вышедшую книгу: «Песнь о Гайавате» в своем переводе.

Мы всегда ужинали после чтения, засиживались поздно. Извозчики громыхали, развозя по Москве полусонной — кого в «Лоскутную», кого на Чистые пруды. А кто и пешком брел. Я именно так и мерил пространство к Молчановке, там, в доме Сусоколова, в деревянном особняке, снимал антресольную комнату за

пятнадцать рублей — с лежанкою, тополем за окном, выходившим на переулок Годеинский, где за углом, на Арбате, и жил Бунин в «Столице». Отсюда ходил я в Спасо-Песковский к будущей своей жене, сюда, по скрипучей лесенке, забегала и она.

Теплое было утро, влажное, тихое... с каплями росы, благоухающими почками тополевыми. Может быть, слегка даже дождик накрапывал? Шел третий час, четвертый. Помню, сидел у окна раскрытого, и читал эту «Гайавату», и мечтал о чем-то, восхищенный, взволнованный. И совсем стало светло... а еще что?

И сладко жизни быстротечной
Над нами пролетала тень.

Только и всего. Поэзия была. И что-то от нее произрастало в сердце.

* * *

В доме Армянских, кораблем воздымавшемся на углу Спиридоновки и Гранатного, позже мы жили. Над переулком свешивались ветви чудесных тополей и лип особняка Леонтьева. Недалеко от нас дом Рябушинского, с собранием икон. Недалеко и церковь Вознесения, где Пушкин венчался,— белая, огромно-плавная, с куполом-небосводом *.

В доме Армянских много у нас уже бывало народу, во главе с тою же Любочкой Р., и профессор заглядывал, и Бальмонт, Сологуб, Городецкий, Чулков, Андрей Белый... и все Зиночки, Васеньки, Машеньки прежних времен. И Муратов, и Стражев, Койранский, Высоцкий — сверстники и сотоварищи писания. Иногда спал на турецком диване З. И. Гржебин, «Шиповник», мой первый издатель, приезжавший из Петербурга. Как «неариец», не имел в Москве права жительства — останавливался у нас.

И конечно, бывал здесь Иван Алексеевич Бунин.

Дух был богемский и бестолковый. Путано, шумно, нехозяйственно — но весело. И весьма молодо. В сущности, то же, что и у Любочки Р., только без пения и циркулярного психоза. И с преобладанием литературы, еще большим на ней ударением. Очень много читали здесь вслух — и я сам, и другие. И Белый, и Бунин. Старше нас, но отчасти меж Зиночек, Любочек, Диесперовых и Грифцовых молодея, читал Бунин стихи...

---

* Ныне разрушена. (Ошибочное примечание Б. К. Зайцева.— *О. М.*)

Вновь нас обольщал. «Острый Сириус блистал», олень мчался средь чащу зимнюю, в лунную ночь волки брели по снегам к гумну. Или:

Старых предков я наследье чую,
Зверем в поле осенью ночую,
На заре добычу жду. Скудна
Жизнь моя, расцветшая в неволе,
И хочу я смело в диком поле
Силу страсти вычерпать до дна.

Силы жизни, жажды жизни много в нем было в те годы.

На одном сборище таком встретил он у нас тихую барышню с леонардовскими глазами, из старинной дворянской семьи... Вера Николаевна Муромцева жила у родителей в Скатертном, училась на курсах, вела жизнь степенную и просвещенную. С женой моей была в давнишних добрых отношениях.

Тот вечер закончился частью в Литературном кружке, частью в Большом Московском — очень поздно, и вряд ли мог кто-либо тогда подумать, что недалеко время, когда обратится Вера Николаевна Муромцева в Веру Николаевну Бунину.

Но это именно и случилось. И весной следующего года уехали они в дальнее путешествие.

* * *

Помню чтения «Астмы» в доме Муромцевых, в комнате Бунина с гильзами, табаком — комнате как бы помещичьего дома (только ружей на стене не хватало да легавой собаки). «Деревню» читал автор несколько вечеров, в столовой, под висячей лампой, тоже по-деревенски. Слушали: брат Юлий, Телешов, покойный Грузинский да мы с женой. Это было уже другое — новая полоса в писании его, да и в жизни иное пришло. Он креп, рос, временно отходил от лиризма более молодых лет. Через два-три года выбрали его в Академию, по разряду изящной словесности, и мы бурно отпраздновали это событие в московской «Праге». Несколько позже — 25-летний его юбилей, тоже очень торжественно, на всю Москву, чуть не целую неделю. Это значит уже «маститый», академик.

Жизни же наши шли, как кому полагалось. Вместе приближались мы к рубежу, в грохоте и огне которого погибло все прежнее — кроме таинственных следов в памяти и душе. К ним и обращаешься теперь как бы из другого мира.

ЮЛИЙ БУНИН

Москва богата улицами, переулками. Их имена порой причудливы. «Середа» применила этот словарь к шуточным кличкам своих сочленов. Телешов назывался «Угол Денежного и Большой Ленивки», Сергей Глаголь (за красноречие) — «Брехов переулок», Гольцев — «Бабий городок», Андреев — «Ново-Проектированный». У Ивана Бунина прозвища не было, но его брата Юлия с отдаленных времен окрестили «Старогазетным» переулком.

Юлий Алексеевич никогда в Газетном не жил и в газетах не писал. Он был редактором журнала «Вестник воспитания» из Староконюшенного переулка. Знающие говорили, что это лучший педагогический журнал. Мы, несведущие, могли только утверждать, что журнал помещался по левой стороне Староконюшенного, во флигеле особняка Михайлова. Юлий Алексеевич всегда сидел в своей квартире-редакции — на стене Св. Цецилия,— читает рукописи, пьет чай и курит. Из окна видна зелень Михайловского сада, в комнатках очень тихо, если зайти часов в двенадцать, то весьма вероятно, что там и Иван Бунин и что они собираются в «Прагу» завтракать.

Юлий Алексеевич невысок, плотен, с бородкой клинушком, небольшими умными глазами, крупной нижней губой, когда читает, надевает очки, ходит довольно мелким шагом, слегка выбрасывая ноги в стороны. Руки всегда за спиной. Говорит баском, основательно, точно продалбливает что-то, смеется очень весело и простодушно. В молодости был народовольцем, служил статистиком, а потом располнел и предстал законченным обликом русского либерала.

— Юля,— кричала ему в Литературном кружке веселая молодая дама.— Я вас знаю, вы из либерализма красную фуфайку носите!

Юлий Алексеевич подхохатывал своим скрипучим баском и уверял, что это «не соответствует действительности».

Был он, разумеется, позитивистом и в науку «верил». Жил спокойной и культурной жизнью, с очень общественным оттенком: состоял членом бесчисленных обществ, комиссий и правлений, заседал, «заслушивал», докладывал, выступал на съездах и т. п. Но пошлостей на юбилеях не говорил. Нежно любил брата Ивана — некогда был его учителем и наставником, и теперь жили они хоть отдельно, но виделись постоянно, вместе ездили в Кружок, на «Середу», в «Прагу». На «Середе»

Юлий Алексеевич был одним из самых уважаемых и любимых сочленов, хотя и не обладал громким именем. Его спокойный и благородный, джентльменский тон ценили все. Что-то основательное, добротное, как хорошая материя в дорогом костюме, было в нем, и с этим нельзя было не считаться. Когда «Среда» выступала как-нибудь общественно, Юлий Алексеевич всегда стоял во главе.

Он не сотрудничал в «Русских ведомостях», и это странно, ибо именно Юлий, как мы его дружески называли, являл собой тип «Русских ведомостей», он потому и назывался «Старогазетным», что носил в себе воздух, дыхание некоего мира. Юлий был мера, образец и традиция. В сущности, по нем одному, по его речи, суждениям, заседаниям, заграничным поездкам, можно было почувствовать всю ту жизнь, все то время.

* * *

Узнав об объявлении войны, он впал в тяжелое уныние.

— Мы погибли,— сказал в июле 1914 года брату Ивану.

Дальнейшему, видимо, уже не удивлялся. По странному упорству не захотел ехать с братом на юг в 1918 году и остался в Москве — наблюдать гибель мира, к которому принадлежал и под который сам закладывал некогда динамитный патрон.

Нельзя было во времена моей молодости представить себе дня, когда не вышли бы «Русские ведомости». Трудно себе вообразить и то, чтобы Юлий Алексеевич не заседал во флигельке Михайловского дома над корректурами «Вестника воспитания». И однако все это случилось. Люди с красными флагами выгнали людей в красных фуфайках. «История» предстала в некий час просто и грозно, опрокидывая и давя «джентльменский» уклад, тонкой пленкой висевший над хаосом.

Надвигались страшные зимы 1919—1920 годов. Тут не до «Середы», не до литературы. Только бы не погибнуть! «Середа» к этому времени понесла уже большой урон: умер Леонид Андреев, умер и Сергей Глаголь, и Тимковский. Иван Бунин уехал на юг. Я в Москву лишь наезжал из деревни. Юлия Алексеевича встречал, но не часто. Ни «Русских ведомостей», ни «Вестника воспитания» уже не существовало. Юлий был грустен, недомогал. Пальто его совсем обтрепалось, шапочка также. Из Михайловского флигелька его

выжили. Что сделали со Св. Цецилией? Вероятно, сожгли в печурке (но она ведь и есть Дева-мученица). Как и все, жил он впроголодь.

В 1920 году, когда я перебрался вновь в Москву, здоровье Юлия Алексеевича было уж совсем неважно. Нужен был медицинский уход, лечение, правильное питание... в тогдашней-то голодной Москве!

После долгих хождений, обивания порогов его устроили в сравнительно приличный дом отдыха для писателей и ученых в Неопалимовском. Там можно было жить не более, кажется, шести недель. (Место, где написана известная и в своем роде замечательная «Переписка из двух углов» Вяч. Иванова и Гершензона — тоже памятка русских бедствий.) Раза два ему срок продлили, но потом пришлось уступить место следующему, перебраться в какой-то приют для стариков в Хамовниках.

Я был у него там в теплый июньский день. Юлий сидел в комнате грязноватого особняка, набивал папиросы. На железных кроватях с тоненькими тюфячками валялось несколько богаделенских персонажей. Мы вышли в сад. Прошлись по очень заросшим аллеям, помню, зашли в какую-то буйную, глухую траву у забора, сидели на скамеечке и на пеньке. Юлий был очень тих и грустен.

— Нет,— сказал на мои слова о брате,— мне Ивана уже не увидеть.

Этот светлый московский день с запущенным барским садом, нежными облаками, с густотой, влагой зелени, с полуживым Юлием Алексеевичем остался одним из самых горестных воспоминаний того времени.

Через несколько дней Юлий обедал у меня в Кривоарбатском. Обедал! В комнате, где жена стряпала и стирала, где я работал, а дочь училась, он съел тарелку супа и, правда, кусочек мяса.

— Как у вас хорошо! — все говорил он,— как вкусно, какая комната!

Больше живым я его уже не видал.

* * *

В июле представитель нашего Союза добился от власти, чтобы Юлия Алексеевича поместили в лечебницу. Назначили больницу имени Семашко — «лучшее, что мы можем предложить». Когда племянник привез Юлия Алексеевича в это «лучшее», то врач задумчиво сказал ему: «Да, что касается медицинского ухода, у

нас вполне хорошо... но знаете... кормить-то больных нечем».

Юлий Алексеевич, впрочем, не затруднил собою, своей жизнью и питанием хозяев этого заведения: он просто умер на другой же день по приезде.

Мы хоронили его в Донском монастыре, далеко за Москвой-рекой, тоже в сияющий, горячий день, среди зелени и цветов. Старые друзья, остатки «Середы», все явились поклониться сотоварищу, в горький час России уходившему. Он лежал в гробу маленький, бритый, такой худенький, так непохожий на того Юлия, который когда-то скрипучим баском говорил на банкетах речи, представлял собой «русскую прогрессивную общественность», редактировал сборник «Середы» или, забравшись с ногами на кресло, подперев обеими руками голову, так что все туловище наваливалось на стол, читал и правил в Староконюшенном статьи для «Вестника воспитания».

II

«ДЕЛО БОГЕМЫ»

«Утром нежность, сверхземное успокоение Ассизи открылись и глазам моим. Теперь, с высоты того же балкона я увидел то, что так таинственно молчало вчера. Я увидел деятеля этого молчания, это была воздушная бездна в бледных, перламутрово-сиреневых тонах. Священная долина Умбрии! Тонкий туман стелется в ней по утрам, заволакивая скромные селенья: те как бы евангельские Беттоны и Беваньи, близ которых проповедовал Святой Бедняк».

Вот настроение счастливого паломничества, которое совершали мы, в простеньких условиях, но с большим одушевлением, осенью 1910 года. Молодость, беззаботность, склонность к восторженности. Венеция, Римини, Ассизи...

На возвратном пути остановились во Флоренции. Прелестен был, как всегда, город. Полны, изящны дни.

И тихо жизни быстротечной
Над нами пролетала тень.

В один из этих дней подали мне телеграмму из Москвы.

— «Vieni subito difendere Vittorio».

Поэт В.С., очень близкий мне тогда человек, находился в это время в Пизе. Как мог я его защищать? И от кого? Почему надо было немедленно возвращаться в Москву?

Вечером на площади Виктора Эммануила, в кафе, где прислуживали официанты в красных фраках, я прочел, что Бурцев раскрыл в литературной богеме Москвы грандиозную провокацию: ее душой была Ольга Путята. Она оговорила Бурцеву своего гражданского мужа, небезызвестного московского литератора С.,— он якобы сочувствовал в ее делах. Вот почему надо возвращаться. «Речь» перепечатала это из

«Русских ведомостей». «Русские ведомости» считались в Москве верхом солидности. Если *там* появилось, значит, правда. Как защищать? Чем опровергнуть утверждение: «Он тоже знал, и помогал, и пользовался от меня деньгами»?

Если в Москве *поверят,* человек убит. Все отвернутся от него. Ни одна его строчка не появится в печати. Никто не подаст ему руки.

Кончилось наше мирное путешествие. Началась «жизнь». Надо было в нее возвращаться.

* * *

Литературная молодежь того времени связь с революцией имела. Революция считалась носительницей свободы против произвола. Революция заступалась за низших. В революции, наконец, было известное воодушевление. Императорский же режим медленно, но безостановочно разлагался. Молодежи, естественно, хотелось нового, свежего и патетического.

Патетизм-то оказался жалким, «новые» люди убогими, но под тогдашнюю линию все это сходило. Известный гипноз был. Почему-нибудь ведь давали мы свои квартиры под «явки»? Таинственные личности с «паролями», «литературой», иногда шрифтами и обоймами появлялись же в четвертом этаже дома на углу Арбата? Шумели, спорили, раздавали приказания, оставляли в комнатах поразительный беспорядок, и были за редкими исключениями удивительно неприятные люди, говорившие на жалком жаргоне («массовка», «столовка», «отзовизм» и т. д.),— беспредельно самоуверенные, но не показавшие еще когтей вовсю. В то время, по молодости лет, я иногда удивлялся, как это нас не арестуют: идешь по Арбату и видишь «типа» в синей рубашке под жилет, в широкополой бандитской шляпе — он поворачивает в переулок... и я встречаю его у себя на квартире. Но ведь слепому же ясно, что эти подозрительные и так резко выделяющиеся фигуры не зря являются. Почему же им позволяют собираться так открыто? Позже все разъяснилось.

Наша личная связь с революцией была поверхностна. Некоторые же из друзей моих вклинились в нее крепче — по сердечным делам. Тут-то и появляется Путята.

Наше с нею знакомство восходит к 1904 году. Она сблизилась тогда с моим приятелем В. В., переводчиком Пшибышевского, Тетмайера и других. Они посели-

лись вместе, в изящной и приятной квартирке, на Долгоруковской,— Ольга Федоровна всегда заводила уют, сама была элегантная и миловидная маленькая женщина. Происхождением из западного края, полуполька, хорошо «стелилась под стопы паньски», хорошо одевалась, была приветлива и образованна. Тоненькая фигурка с красивыми карими глазами. В., ее друга, мы называли Пшесмыцким, или просто «Пшесмыкой»,— Пшесмыка был музыкант, тонкая и даровитая натура, его миндалевидные глаза и несколько индусский облик несли в себе известную пряность: нечто среднее между «индусским гостем» из оперы и московским Пшибышевским. Разумеется, он много пил. Но много и работал. Ольга Федоровна отлично им владела, и они жили, несмотря на его богемскую непутевость, довольно ладно.

Но времена изменились. О. Ф. «разлюбила» Пшесмыку и сошлась с нашим общим другом В. С. Их жизнь, однако, хуже сложилась. С. не был так мягок и удобен для управления. Самолюбивый и с характером, очень умный, по образованию филолог, бросивший учительство для литературы, он попал в самую горячку начала века. Вокруг делались быстрые и шумные литературные карьеры. Ему выбиться не удавалось. Из скромного учительского быта он попал в кипение богемы, в новую жизнь с Литературным кружком, собраниями, лекциями, пестротой и сутолокою ресторанов, в круг изящных женщин, легких романов, в ту нарядную пену, которой тогда было так много. Для Путяты он оставил семью, детей. Но и с ней жизнь его оказалась тяжелой. Ссоры, ревность, с ее стороны даже попытки самоубийства.

Еще зимою 1910 года по Москве пошли слухи о «подозрительности» Путяты. Помню вечер, когда мне и жене сообщили, что Путята считается предательницей. Помню ощущение оцепенения... Ольга Федоровна, которая у нас же устраивала явки, у которой мы иногда ночевали, которая при нас переправляла кого-то за границу (и сходило удачно!), наконец, с кем жена моя на «ты»... Правда, она всегда была лживой, могла и ластиться, и хорьком куснуть (вообще походила на коварного зверька польской закваски),— все же предательство?

— Кто и чем может это доказать?

Доказательств прямых не было. Но из партии ее уже, кажется, удалили. Не то что «разоблачена», а «подозрительна».

— Да, решили мы: но, может быть, просто слухи?

Сплетни? Как же так вдруг Ольга Федоровна провокатор? Мало ли что болтают. Такие вещи надо доказывать.

В. С. также — и с негодованием — обвинение отверг.

Положение осталось неясным. Время шло, улики не являлись. Но Путята худела, мрачнела, замыкалась в себя. Личные их отношения становились все хуже.

Однажды весною С., засидевшись у меня вечером, сказал:

— Проведи меня до дому. Мне что-то очень грустно. Оля все грозится покончить с собою и отомстить мне так, что и в голову не придет.

Его жизнь в это время также приняла несколько болезненный оттенок. Он много играл в карты. Много волновался из-за литературных неудач. Имела она основание и ревновать его.

Летом, в очень дурных отношениях с ней, на случайные деньги (он играл на бегах, скачках), С. уехал в Италию, с нашей легкой руки входившую в моду. Путята — в Париж. Там и созналась Бурцеву, что уже несколько лет служит в охране и... вспомнила угрозу! — что и С. знает об этом, помогает и пользуется ее деньгами. Бурцев все это сообщил печати.

* * *

Мы мгновенно собрались из Флоренции. В Москве картина оказалась тяжкой. Да, так и вышло, как мы предполагали: кроме ближайших друзей, все отвернулись от С. Раньше я не видал, чтобы нравственное страдание так искажало физически. С. стал какой-то иной, изменился цвет лица его, звук голоса, выражение глаз. Всегда-то худой, он обратился в трость. На тоненькой шее несколько набок, сидела голова с серыми, навыкате, замученными глазами. Он сразу прекратил все уроки, все литературные дела и все знакомства.

Предстояла борьба. Пятеро его друзей подписались под вызовом «Русским ведомостям». Вызов появился в «Русском слове». Мы в страстной форме удостоверяли лживость обвинения и свидетельствовали о порядочности С*. Он же потребовал третейского суда.

Если бы газета не пошла на суд, оставалась только дуэль. Косвенно это дано было понять — «Русские ведомости» на третейский суд пошли.

---

* Среди подписавших — П. П. Муратов и тот самый В. В., от которого Путята ушла к С.!

* * *

Вспоминая ту зиму, ничего не помню в ней, кроме этого «дела богемы». Оно стало кровным моим делом. *Моего* друга бесчестили. *Моя* квартира оказалась «светлым пятном для охранного отделения» (на этих-то «явках» и выслеживали кого надо. Вот почему нас и не арестовывали!). Вся наша литературная группа прямо или косвенно задета. Если С. мог *знать* о ремесле своей жены и продолжать с ней жизнь, то каков он, какова среда, каковы мы все...

В обществе приходилось сражаться постоянно.

— Позвольте,— говорили нам,— Путята служит в охране, получает жалованье, муж в течение двух лет ничего не замечает? Ну, это сказки! А откуда же у нее деньги, он не соображал?

Надо сказать, что жила Путята довольно таинственно. Считаясь членом партии, куда-то иногда отлучалась «по партийным» делам, ночевала дома не всегда, вела «конспиративные» знакомства и т. д. Уследить за ней было бы нелегко. Деньги ей будто бы присылали родные. Она хорошо одевалась и при врожденной лживости отлично обманывала не только С., но и наших, более искушенных дам насчет цены своих туалетов («по случаю», «на распродаже» и т. д.). Да и получала она немного. Как скупо платят за предательство! Сперва 35 руб. в месяц, а потом уж на четвертый год — 100. «Сребреники» немногим превышали Иудины.

Все это так. Но посторонние не знали семейной жизни С., не знали, что именно весной их отношения вполне разладились, не знали о ее истерической ревности и исторически выросшей ненависти к нему. Не знали и о прямой угрозе.

Начался суд. Он был поставлен серьезно. Председатель — Филатов, глава адвокатского сословия в Москве. Стороны — профессора, писатели, известные юристы (Н. В. Давыдов). Заседания происходили на квартире Филатова, в обстановке почти Окружного Суда. Разбиралось все по существу. Допросили море свидетелей. Запрашивали Бурцева и Белорусова (парижского корреспондента). Путята не пожелала ни подтвердить, ни опровергнуть своего показания.

Заседания шли в нервном, остром стиле. «Русские ведомости» взяли тон прокурора, стараясь топить С. Он яростно защищался и переходил постепенно в нападение. Мы показывали тоже в страстном тоне, все приблизительно одно: С., честный человек, мы знаем

его жизнь день за днем, провокаторша мстила из ревности, оговор голословен и т. д. Позиция С. была такая: газета нарушила литературную этику, возводя вздорные обвинения. Она должна за это ответить.

С обеих сторон ставка была немалая. Этим и объяснялось упорство борьбы.

* * *

В., на суде показавший за С., жалел Путяту. Даже несколько раз с ней виделся. Он считал, что она погибший человек... все же это была его прежняя любовь, да и «славянская мягкость» в нем говорила. И надо сказать, трудно, очень трудно задушить уже опозоренного, уже распятого преступника. Какая бы Путята ни была, я вспоминаю ее лицо за этот год позора и сравниваю с прежним: дорого ей обошлись тридцать сребреников. Каким затравленным зверьком выглядела она уже тогда, когда над ней только скоплялась туча подозрений!

Припоминаю одну ночь, еще до суда. Мы были в Литературном кружке. Туда заехал и С. Мелькнула изящная фигурка О. Ф. Потом исчезла, неся уже за собой груз двусмысленных взглядов. Через полчаса С. вызвали к телефону. Он вернулся белый, с дергавшимся на щеке мускулом: О. Ф. только что отравилась, вернувшись домой, но жива, ее отправили в Старо-Екатерининскую больницу.

...Три часа ночи. После блеска, говора, вина, электричества — приемная больницы, холодные и темные коридоры. Едва светит лампочка. Мы с женою и С. сидим и ждем. Сверху доносятся вопли, какая-то полоумная икота. Ольгу Федоровну водят под руки по коридору, не давая заснуть — способ борьбы с остатками яда, только что выкачанного из желудка.

Мы тогда, по наивности, думали, что это последствие ссоры с С. Но кажется, именно в тот вечер в клубе кто-то ясно дал ей понять, что ее подозревают.

В зиму же «процесса» она не появлялась уж нигде. Болезненную, полудикую жизнь вел и С. Он целыми днями дремал у себя в номере, бессмысленно бродил по улицам, приходил ко мне почти ежедневно — с воспаленным, как бы пьяным лицом, горячими руками... При его мучительном самолюбии, уже ранее растравленном неудачами, при недостатке моральной силы, вести жизнь «человека с пятном», «подсудимого» было ужасно. Иногда мы демонстративно «вывозили» его на

люди, пренебрегая общественным мнением (державшимся к нему холодновато). Но чаще — играли в шахматы или обсуждали подробности будущих заседаний, возможных нападений и ответов. Он становился маньяком.

В эту самую зиму, столь для него горькую, нашлась, однако, юная душа, совсем молоденькая девушка, слепо в него влюбившаяся именно потому, что он как бы «отверженный», что, идя по Тверской в своем зимнем пальто и меховой оленьей шапке с наушниками, он не знает, поклонится ли ему встречный знакомый или нет.

Эта девушка вышла за него замуж.

* * *

«Дело» тянулось всю зиму. Иногда нам казалось, что оно вообще никогда не кончится. В самом составе судей происходили перемены, мы думали, что они просто перемрут до окончания его. Судьи распалились тоже очень. Спор о тексте постановления шел, кажется, чуть не месяц.

«Приговор» оказался полной нашей победой. Суд выразил «Русским ведомостям» порицание за неосторожность, с какою они возвели тяжкое и бездоказательное обвинение на неповинного человека.

* * *

С тех пор прошло семнадцать лет.

Те, кто тайком ходили к нам на «явки», ездят теперь в автомобилях, живут в Кремле, носят почетный титул убийц наших детей. Те, кто тогда волновались и спорили, друзья и враги, одинаково оказались в изгнании. «Русских ведомостей» нет вовсе. Италия жива и всегда будет прекрасной Италией — но и она сейчас иная...

В анфиладе событий, катастроф и трагедий все рассказанное — песчинка. Но живые люди участвовали в нем, гибли, боролись и подымались — в малых размерах это и есть облик жизни.

Путята исчезла. Никогда больше не видел я ее хорькового лица, карих глаз, элегантной фигурки. Весной 1911 года ее портрет, как «провокаторши», появился в газетах рядом с приговором. И дальше — забвение. Из Москвы она куда-то уехала. Перекинулась

ли в революцию, вновь, по-иному, к большевикам? Была ли где-нибудь комиссаршей или нарядной чекисткой? Спекулировала ли? Или служила шпионкой иностранной державы? Прошел слух, что большевики расстреляли ее. Это очень возможно. О, как крепко боролась — думаю — за жизнь эта маленькая, хитрая, остро-пронзительная и в конце концов очень несчастная предательница.

И главное лицо пьесы... С. Всяко в жизни бывает. Он просто победы не выдержал. Или слишком она запоздала? Страданья зимы раздавили его. Он уже не оправился. Впал в глубокий мрак. Все, как кошмар, преследовали его подозрения. Силы быть *выше* людей у него не нашлось, в Москве он не удержался и, женившись, погрузился в первоначальный свой быт — стал учителем в провинции.

Это был одно время ближайший мне человек. Мы любили друг друга. Многое вместе пережили, вместе начинали литературный путь, даже вместе жили. Странным образом, то самое «дело богемы», в которое оба мы столько вложили страсти, из которого вышли победителями, оно-то и развело нас...

Я не знаю об С. ни звука.

ФЛОБЕР В МОСКВЕ

Нельзя сказать, чтобы у нас хорошо знали Флобера. При жизни перевел две его новеллы Тургенев («Легенду о св. Юлиане Милостивом» и «Иродиаду»). Переводы эти очень полны, богаты, как все, что писал Тургенев, проникнуты в языке духом свободы, непринужденности — чем от самого Флобера Тургенев очень отличался: во французском писателе было гораздо больше суровой выработки, зашнурованности. Переводы Тургенева отличны. Все-таки «Юлиан» вышел тяжелее, менее музыкален и шершавее, чем подлинный. Странным образом наряд нашего языка кажется несколько грузным для этой вещи!

«Госпожу Бовари» перевели еще в шестидесятых годах. Позже — «Сентиментальное воспитание», «Искушение св. Антония», «Саламбо» (тоже при жизни автора) — и очень плохо. По этим лубочным изданиям никак Флобера узнать нельзя.

Как следует начал он просачиваться к нам в девяностых годах — посмертно. Семидесятые, восьмидесятые были у нас глубоко провинциальны. Флобер не пришелся бы к месту. Но в девяностых произошло

некое освежение. Изменился подход к искусству. Ослабело давление «общественности». Художество заявило права нерушимые, как бы потребовало Великую хартию вольностей — и получило ее.

Эту полосу мы по себе уже знаем, и не о ней речь. Но ее воздух оказался благоприятным для Флобера.

Одним из ранних его ценителей русских явился князь А. И. Урусов — дилетант-эстет, непрофессионал, но человек тонкий и со вкусом. От блестящей адвокатской деятельности урывал он время для литературы. Прославлял Флобера в Москве среди писателей, артистов. Очень неплохо сам переводил отрывки из него. Флобера вознес в «Вечных спутниках» Мережковский (но, сколь мне известно, не переводил). Большими его поклонниками оказались Бальмонт и Бунин. К моему величайшему удивлению, и Максим Горький.

* * *

В 1904 году попался мне от К. Д. Бальмонта урусовский экземпляр «Искушения св. Антония». Бывает, что лицо человеческое сразу, необыкновенно понравится. Бывает так и с книгою. С первых же звуков, слов Флобера ощутил я, что это мой. Я в него влюбился. Флобер на некоторое время стал моей манией. Как истый влюбленный, я не допускал спора о нем, тем более — осуждения.

«Искушение св. Антония» вещь очень трудная, неблагодарная. В форме видений проходят в ней страны, народы, цари, иересиархи, красавицы, бесы, учители Церкви, звери, сам Диавол. В конце Христос является в диске солнца, как бы обнимая природу и мир. Все это втиснуто в триста страниц. Движения и развития нет. Вещь глубокой внутренней горечи. И глубокой поэзии. Держится вся на красоте слова. Некоторые звуки «Искушения» доставляли мне почти физическое удовольствие... Но удовольствие это — на любителя. Среди читателей не много поклонников было у него — находили скучноватым, вроде второй части «Фауста». Французской публике при появлении своем «Искушение» вовсе оказалось не по зубам. Русская могла судить лишь по отвратительному переводу, губившему все.

И вот мне вздумалось перевести его на русский. Предприятие рискованное, требовавшее больших знаний, силы в собственной словесности и — крепости,

зрелости. Всего этого явно не хватало. Приходилось брать увлечением.

Я взялся страстно. Засел в Румянцевском музее за разных гностиков, за Василидов, Валентинов, за словарь Миня, историю Вавилона — и мало ли еще какой премудрости нет в «Искушении»! — хотелось же, переводя любимого писателя, знать все, о чем идет речь. Одновременно читались и другие его вещи — «Бовари», «Саламбо», «Три новеллы». Много радостного и прекрасного дал этот роман с Флобером, радость чистейшего искусства, радость учения, общения с великим художником, столь простым, благородным, одиноким. Среди зимы удавалось уезжать недели на три в деревню, под Каширой, и в отцовском доме невозбранно трудиться над флоберовским словом. Окно небольшой комнаты с ковром по стене над тахтой, с рогами и ружьями на них, голландской печью, всегда жарко натопленной, выходило на открытый балкон. Летом он тонул в жасмине. Теперь, в декабрьские дни, метель завивала по нем белые змеи, он весь в тумане, на стекле окошка налипли снежные узоры, иглы, звезды, фантазии не хуже таинственных стран Флобера. За небольшим столом бился некто над трудными местами мастера, искал, вставал, ходил... Метель трясла немолодую крышу дома, дергала ставни. Из окна тянуло холодом. Ритмическою прозой надо было описывать Царицу Савскую, Византию, Рим, Египет. (Особенно хотелось передать звучание флоберовской прозы, ее музыку. На этом пути случалось пускаться и в сомнительные предприятия, чрезмерно напрягая язык.)

Поддерживало то, что сам Флобер писал мучительно. Борьба, погоня его за словом (или фразой) были изумительны. Прелестны его художнические бдения в Круассэ, в одиночестве, манера самому себе вслух читать написанное... Иногда ночью я просыпался, под тот же зимний, пустынный ветер, и в ужасе вскакивал с тахты: зажигал свечку, как гимназист, не доучивший урок, бежал к столу, смотрел в рукописи — вдруг да ошибся на такой-то строчке!

Работа шла медленно. Заняла не менее года. Раза три перевод переписывался. Весь был испещрен поправками, вставками, зачеркнутыми словами.

Летом от тех же Бальмонтов получил я переписку Флобера в четырех томах, книги принадлежали Александре Алексеевне Андреевой, сестре супруги Константина Дмитриевича. Ныне Александры Алексеевны нет в живых. Прекрасный человек, старый достойный литератор, прежняя Москва! — не могу без волнения вспо-

мнить ее особняк в Брюсовском, ее книжные шкафы, ее самое — высокую, представительную даму, с очками на кругловатом лице... «Correspondance de Gustave Flaubert» — четыре тома в коричневых шагреневых переплетах,— как связано это с Александрой Алексеевной, ее солидностью и добросовестностью, ее черным шелковым платьем с золотой цепочкой. И дальше — лето в деревне, дожди, сладкий запах жасмина, пушок весеннего тополя, упавший на страницу Correspondance. У себя во флигеле запоем читал я эти удивительные письма, лучше их ничего не знаю в эпистолярной литературе. Видел Круассэ, дом Флобера, Сену, его сад, жизнь суровую и одинокую, высшим достоинством проникнутую. И высшей грустью. «La vie n'est supportable, qu'en travaillant» — навсегда ленивому запомнились слова великого столпника нашего искусства.

* * *

В зрелости знаешь, что ни от чего мир не сдвинется, ни от твоих дел, ни от твоей жизни, ни от смерти. Некий высший смысл делания остается, конечно. Без этого все мы обратились бы в поденщиков. Очень загадочная вещь — смысл творчества! К счастью, в душе заложен непонятный разуму закон, или таинственная сила, через года, десятилетия влекущая все к одному: строителя — к строению, дельца к делам, политика к властвованию, художника — к словам, звукам, краскам.

Это влечение наджизненно. В зрелости повинуешься ему как знаку свыше, и только. В юности кажется, что «дело» необходимо для окружающего мира. Это дает, конечно, подъем огромный.

Мучась над Флобером, я был убежден, что малейший промах имеет всероссийское значение. Что я могу задеть священную особу Литературы. Что вся работа эта вообще необычайно важна. Кругом были каширские поля и молчаливые пейзане, в те времена загадочно помалкивавшие. Как страшно важно для них, хорошо выйдет Флобер по-русски или плохо!

«Искушение» появилось в сборнике «Знания». Затем отдельным изданием в «Знании» же. Солнце вставало совершенно как раньше. И в государстве Российском никаких событий не произошло. Гонорар заплатили хороший — читатели же, как и прежде, находили, что «Искушение св. Антония» вещь... ну, скажем, тяжело-

весная. Знавшие переводчика лично опасались задевать при нем Флобера.

На смену «Знанию» вырос «Шиповник» (создатель его З. И. Гржебин, покоится сейчас на здешнем кладбище). В одном из сборников «Шиповника» появилось в моем же переводе «Простое сердце» (там есть ошибка, до которой никому нет дела, и сами эти сборники разлетелись дымом по лицу Совдепии; меня же она и сейчас жалит). Друзья мои «шиповники», Гржебин и Копельман, приезжая из Петербурга ко мне в Москву и у меня останавливаясь, много наслышались о Флобере. И задумали издать собрание его сочинений по-русски.

* * *

Когда Флобер умер, Тургенев, большой его почитатель и ценитель, опубликовал в России призыв подписываться на памятник Флоберу — первая попытка международной дружественности в литературе.

К стыду России, она провалилась. Русские не доросли до общеевропейского чувства прекрасного. На призыв лучшего своего писателя не только не откликнулись — засыпали его насмешками (и оскорблениями!) за самую мысль о солидарности. Какой-то там Флобер! Собирать на Флобера! Тургенев получал ругательные письма.

Пишешь об этом с горечью — и за Россию, за Тургенева, и за Флобера. Но с чувством отдыха вспоминаешь, что все-таки, хоть через тридцать лет, некий реванш Флобер в России взял.

Огромные томы собрания сочинений выходили со статьями, примечаниями, вариантами. «Госпожу Бовари» перевела Чеботаревская под редакцией Вячеслава Иванова, «Саламбо» — Минский, «Искушение» — мое, «Сентиментальное воспитание» — В. Муромцевой под редакцией Бунина, «Письмами» занимался Блок, для «Трех новелл» взяли переводы Тургенева и мой. Издание не закончилось (не хватало, кажется, «Бувара и Пекюше»), помешала война и революция. Все-таки и то, что вышло, давало уже Флобера в подобающем виде. Издание это было некоммерческим: Флобер никогда никому прибылей не давал и сам умер в бедности. Тем более надо помянуть добрым словом почин «Шиповника».

Где сейчас эти отлично изданные книги? Кто их читает?

Пожелаем, чтобы для России будущего стал Флобер «Вечным спутником» — прекрасным и нужным обликом Запада.

ГОГОЛЬ НА ПРЕЧИСТЕНСКОМ

Пречистенский бульвар связан с чем-то повышенным, неопределенно романтическим. Романтика начинается уже с Никитского бульвара, с дома Талызина, где жил и умер Гоголь. Это область купола Христа Спасителя: здесь всегда он плывет в небе над идущим — как золотистый корабль. И чем ближе к нему, тем сильней ощущение легкости, надземности. За Арбатской площадью, на Пречистенском, гений местности самое слово: Пречистая. Бульвар ведь действительно чище и тише и благообразней других. Александровское училище, церковка, контора Уделов (где столько живал Тургенев), дом Рябушинского — и зеленый откос к бульвару. Зеленый и опрятный бульвар: дети с няньками, студент на лавочке с книжкой, розовый закат сквозь наливающиеся почки лип. Летом прохладно от густой листвы. Ранней весной — первый обтаивает откос, глядящий на юг, и первая зазеленеет на нем травка. Вообще же, вспоминая милое это место, всегда ощущаешь свет и облегчение.

Гоголь любил Пречистенский бульвар. В нем самом не было светлого, но стремление к красоте — Рима ли, Италии, наших золотых куполов — всегда жило. И то, что прославить писателя Москва решила на Пречистенском, не удивляет. В 1909 году исполнилось столетие со дня рождения его. На Тверском бульваре Пушкин уже входил в пейзаж, задумчиво поглядывая со Страстного на площадь с трамваями. Очередь дошла до Гоголя. Времена были мирные, денег достаточно. Памятник заказали скульптору Андрееву Николаю Андреевичу и разослали приглашения на празднество по России и Европе.

* * *

Той зимой жили мы в Риме. Уезжая весной из Москвы, бросили квартиру, лето провели в деревне, а там — в Италию. Возвращаясь, не очень-то беспокоились об устройстве: Москва велика, где-нибудь да приткнемся. (Все тогда в нашем кругу так жили: неужели стали бы заводить «обстановочки», сберегательные книжки и т. д.?)

И на этот раз мы не ошиблись. Получили две

комнаты большой квартиры на Сивцевом Вражке, у близкого нам человека. Занимали низ старинного особняка. Мои окна выходили во двор, за забором которого стоял дом Герцена. Наискось жил Бердяев — его кабинет смотрел на герценовский двор. Была теплая, серая зима, со снегом, после Италии холодным. В нашем доме все шло чинно, несколько и в старомодном духе. Девочки ходили в гимназию, горничная Домаша в белом фартуке аккуратно подавала на стол в большой столовой. В окнах тащился на санках ванька по ухабам Сивцева Вражка. Домаша, три месяца назад приехавшая из Рязанской губернии, жеманно говорила, что уж ничего не помнит, как там живут у «мюжиков». Одним словом, была вокруг старая, простецкая и приятная Москва — вплоть до этого самого Николая Андреевича, соседа, скульптора из Большого Афанасьевского. Я его знал довольно хорошо. Некогда, в ясные январские утра ходил к нему в студию, огромную, светлую, где он сажал меня на вертящийся стул, вертел туда-сюда как игрушку — вертел и тот глиняный бюст, что лепил с меня.

Для самого Гоголя не нужна была натура. Но для Тараса Бульбы (в барельефе постамента) позировал ему Гиляровский, всей Москве известный, толстый, добродушный старожил, ходивший в поддевке и высоких сапогах,— журналист, правда смахивавший на Тараса Бульбу.

Николай Андреевич сам был крепкий человек, мещански-купецкого происхождения, с густым бобриком, бородою лопатой, острым и живым взглядом. Руки у него сильные, и весь он сильный, телесный, очень плотский. Гоголь мало подходил к его складу. Но вращался он в наших кругах, литературно-артистических. Розанова, Мережковского, Брюсова читал. Более сложное и глубокое понимание Гоголя, принесенное литературою начала века, было ему не чуждо, хоть по существу мало имел он к этому отношения. Во всяком случае, замыслил и сделал Гоголя не «творцом реалистической школы», а в духе современного ему взгляда: Гоголь измученный, согбенный, Гоголь, видящий и страшащийся черта,— весь внутри, ничего от декорации и «позы». Одним словом, памятник невыигрышный. Кажется, и проект его вызвал сопротивления: находили, что писатель получается что-то мизерный. Не только генеральского нет в нем, но больше смахивал на хилую, пригорюнившуюся птицу (Гоголь сидит, как известно, в тяжкой и болезненной задумчивости).

Все же проект утвердили. Зимой памятник поставили, в самом начале Пречистенского, против стены тира Александровского училища. Но был он еще закрыт — до торжественного момента.

Весна выдалась холодная, в апреле перепадал снег с дождем. Гоголю предстояло явиться без блеска: подлинно хмурою личностью литературы. Всем заведовала Дума и Общество любителей российской словесности. Западники, славянофилы, ссорившиеся на пушкинских торжествах, перевелись. Литература делилась на «реалистов» и «символистов». Не было никого сколь-нибудь равного Тургеневу, Достоевскому (Толстой не в счет, он доживал последние дни)... Чехов в могиле. Надо сознаться: и «реалисты», и враги их отнеслись к Гоголю равнодушно. «На Пушкина» съехалась вся братия (Тургенев даже из-за границы). Гоголя удостоили совсем немногие — неловко даже вспомнить...

Открывали памятник в сырости, холоде, липы едва распускались. Трибуны окружали монумент. Народу много. Помню минуту, когда упал брезент и Гоголя мы наконец увидели. Да, неказисто он сидел... и некий вздох прошел по толпе. Потом Грузинский, председатель Любителей словесности, говорил речь...

Алексей Евгеньевич, пожилой, основательный профессор, читал на женских курсах русскую литературу. Сейчас был параден (во фраке, пришлось доставать цилиндр), несколько бледен, но бодро и привычно сказал, что полагается.

В официальных торжествах всегда есть сторона печальная — надо упомянуть о «великом художнике», «светоче, ведущем нас по пути добра и красоты»,— удивляться и негодовать на это не приходится. Так было, так будет. Все это давно описано у Флобера (сельскохозяйственный съезд в «Мадам Бовари»), наслушались мы таких речей и на гоголевских торжествах.

Первое открытое заседание было днем в университете. За отсутствием писателей пришлось говорить людям далеким от литературы, но «почтенным». Ясно запомнилась на трибуне в актовом зале фигура знаменитого кадета-юриста. Говорил он крепко, самоуверенно, сильно выпячивая белую крахмальную грудь. Видно, что знает цену себе и словам своим,— мы же, слушавшие, так и не поняли, что в них ценно.

Были иностранцы, представители университетов. Из французов Мельхиор де Вогюэ, Лирондель. Немцы отсутствовали. У Вогюэ лучше всего был зеленый академический мундир. Англичанин — в длинном черном

сюртуке, стоячих воротничках, бритый, мягко-благодушный. Говорил ровно, скромно и почтительно. Вероятно, хорошо. Я понял только два слова: gogolian realistik. Они казались мне очень смешными и вызывали веселое настроение.

А в общем... Московский университет, профессора, дамы, черные сюртуки, бороды, интеллигентские голенища из-под брюк, академики на эстраде за столом... какая скука!

Нельзя сказать, чтобы скучно оказалось на другом собрании, в консерватории. Выступал там Валерий Брюсов.

* * *

Но последний царь вселенной,
Сумрак! Сумрак! — за меня.

Мало знал я писателей, кого так не любили бы, как Брюсова. Нелюбовь окружала его стеной; любить его действительно было не за что. Горестная фигура волевого, выдающегося литератора, но больше «делателя», устроителя и кандидата в вожди. Его боялись, низкопоклонствовали и ненавидели. Льстецы сравнивали с Данте. Сам он мечтал, чтобы в истории всемирной литературы было о нем хоть две строки. Казаться магом, выступать в черном сюртуке со скрещенными на груди руками «под Люцифера» доставляло ему большое удовольствие. Родом из купцов, ненавидевший «русское», смесь таланта с безвкусием, железной усидчивости с грубым разгулом... Тяжкий, нерадостный человек.

Я сидел на эстраде, когда вышел он к рампе читать речь. Помню его спину, фрак, выдававшиеся скулы, резкий, как бы тявкающий голос. Из всех выступавших он единственный придумал нечто своеобразное. Гоголя считал «испепеленным» тайными бурями и страстями, художником-гиперболистом, далеким от меры Пушкина. Сравнивал выдержки из него с Пушкиным и как бы побивал его им.

Все это очень хорошо, одного не было: капли преклонения, любви. Речь *не для* юбилея. Не того ждала публика, наполнявшая зал. Понимал ли он это? Вряд ли. Душевного такта, как и мягкости, никак от него ждать нельзя было. Он читал и читал, его высокая худая фигура разрезала собой пространство, в глубине дышавшее толпой. Но с некоторых пор в живом этом, слитном существе стала пробегать рябь. Что-то как

будто вспыхивало и погасало: сдерживались. И вот Брюсов, описывая Гоголя физически (внешний облик, манеры), все сильнее стал клонить к тому, насколько он был непривлекателен. Когда упомянул что-то о его желудке и пищеварении, в зале вдруг прорвалось:

— Довольно! Безобразие! Долой!

Кое-где повскакали с мест, махали шляпами, студенческими фуражками, тростями.

— Не за тем пришли! Позор! Похороны какие-то!

— Не мешайте! Дайте слушать! — кричали другие. Раздались свистки. Свистали дружно, в этом нет сомнения. Брюсов побледнел, но продолжал. Было уже поздно. Публика просто разозлилась и улюлюкала на самые безобидные вещи. Распорядители волновались — «скандальчик» в духе праздника гувернанток в «Бесах». Единственно, что мог сделать — и сделал Брюсов: наспех сократил, пропускал целые страницы. Кончил под свист и жидкие демонстративные аплодисменты.

* * *

Так что гоголевские торжества проходили неважно. Единственно весело оказалось на ночном рауте в Думе.

...Около полуночи подымались мы по лестнице, среди разодетой, нарядной, живой толпы. Николай Иванович Гучков, городской голова, во фраке, во всем параде встречал прибывающих у входа. Залы быстро наполнялись. Много было света, гула, знакомых и незнакомых; с кем-то здоровались, кому-то нас представляли...

Москва показала тут гостеприимство. Фрукты, угощения, цветы, шампанское. Какие-то опять речи — кажется, приветственные иностранцам,— но все это быстро потонуло в общем и веселом гомоне. Разбились по компаниям, расселись по столам, и началось московское объядение и хохот. Мало походило это на Европу. И благонамеренный gogolian realistik в пуританских воротничках не без удивления озирался, как и старый Вогюэ в зеленом мундире с пальмами.

Мы засели с Василием Розановым. Кто-то подсаживался, кто-то отсаживался, лакеи таскали бутылку за бутылкой шампанское — могу сказать, хорошо я тогда узнал Розанова... всю повадку его, манеру, словечки, трепетный блеск небольших глазок, весь талант, зажигавшийся чувственностью, женщиной. Очень был он блестящ и мил в ту дальнюю ночь гоголевских торжеств.

Все шутки его и блестки отблистали, как и ночь

прошла. Мы возвращались на рассвете мимо Гоголя того же, детища Николая Андреевича, из-за которого столько наговорили ораторы. Гоголь сумрачно сидел на бульваре. У ног его, с барельефа, глядели Чичиковы, Хлестаковы, знакомый Гиляровский — Бульба. Воробьи чирикали. Бульвар был пустынен.

Праздники кончились. Наша жизнь пошла нам данной чредой — Гоголева по-своему. Как и при жизни, мало его любили. Одиноким Гоголь прожил. Одиноким перешел в вечность.

Но напрасно отнеслись к нему так жители Москвы. Памятник вовсе неплох и в пейзаж бульвара вошел — внес ноту скорбную. Можно удачнее его сделать. Но и мимо такого не пройдешь: среди зелени распускающейся Пречистенского бульвара задумчивей будешь продолжать путь.

Ю. И. АЙХЕНВАЛЬД

«Te spectem suprema mihi cum venerit hora,
Te teneam moriens, deficiente manu».

«На тебя буду смотреть в последний мой час,
К тебе припаду слабеющею рукой».

Это двустишие, приведенное в одном из моих рассказов, в последнее время занимало Юлия Исаевича. Он дважды писал весною моей жене: «Спросите Б. К., откуда взяты эти стихи?»

Я ответил: кажется, из Катулла. И показалось странным, почему они его так пристально интересуют?

Летом в Берлин приезжала к нему из Москвы жена, Нина Кирилловна — погостила и уехала (вся его семья в Москве). Юлий Исаевич снова остался один. Он жил скромно, почти бедно, писал в «Руле» литературные обзоры, читал лекции, давал уроки. Бессмысленный трамвай раздробил ему череп. Он впал в беспамятство. Не приходя в себя, скончался. Ни на кого он не смотрел в предсмертный час. Ни на чью руку не опирался.

Юлий Исаевич был очень замкнут, очень весь «в себе». Он плохо видел, носил очки большой силы. (Никогда не видал звезд. Путешествовал по Италии, но не полюбил ее: не рассмотрел. И смерти своей не увидел.) За этими очками жил глубиной и чистотой души, очень сильной и страстной, очень упорной. Литература, книги — вот его область. Он писал о

писателе так, как видел его в своем уединенном сердце, *только так,* и в оценках бывал столь же горяч, столь же «ненаучен», как и сама жизнь. Все его писания шли из крови, пульсаций, из текучей стихии. Можно было соглашаться с ним или не соглашаться, одобрять или не одобрять его манеру, но это был художник литературной критики и за последние десятилетия вообще первый русский критик.

Как все страстные, он бывал и пристрастен. Вознося Пушкина и Толстого, резко не любил Гоголя и Тургенева. Театр отрицал вполне. Не выносил Белинского, за что много поношений принял от учителей гимназий.

Из живущих, действующей армии...

...Тут одна его черта очень ясна: никогда он не обижал слабых, молодых, неизвестных. Напротив, старался поддержать. Но «кумиры» повергал. Брюсов находился в полной славе, когда сказал о нем Айхенвальд: «преодоленная бездарность». То же произошло и с Горьким («Горький и *не начинался...*»).

Айхенвальд возрос на немецкой идеалистической философии. Хорошо знал Канта, Гегеля, особенно ему был близок Шопенгауэр. Отлично перевел он «Мир, как воля и представление»—точно по-русски написана эта книга в его изложении.

В нем самом была горечь, тот возвышенный, экклезиастовский пессимизм, который можно не разделять, но мимо которого не пройдешь. Вот уж поистине: любил он красоту, и жизнь, и свет, но оплакивал мир. Грубость, насилие, свирепость, все, что с такой полнотой поднесено нашему поколению, было для него безвыходной печалью. В себе самом он носил начало Добра. И в платоновские идеи верил. Но последнего Добра, воплощенного, кажется, целиком в сердце, не принял.

Война потрясла его. По самому началу он решил, что победит Германия, а Россия погибнет. В первом он ошибся. Но Россия, его породившая, Россия, которую он любил безмерно, пушкинско-толстовская Россия пала—тут он угадал.

* * *

Юлий Исаевич жил в Москве на Новинском бульваре, в семье, тихой трудовой жизнью. Читал лекции на женских курсах, в воздухе девической влюбленности. Был отличный оратор. Пред началом выступления, слегка горбясь, протирал очки и ровным голосом,

словами иногда играющими (он любил фиоритуры), живописал литературные портреты.

На кафедре, как и в трамвае, у себя дома был одет тщательно и скромно. Всегда безукоризненные манжеты. Ослепительные носовые платки. Чуть-чуть пахло от него духами.

Особенно силен он был в полемике — сильнее, чем в лирическом утверждении. Мы с женой присутствовали однажды на его сражении из-за Белинского (в Москве, в Клубе педагогов). Учителя гимназий шли на него в атаку бесконечными цепями. Он сидел молча, несколько бледный. «Как-то Юлий Исаевич ответит?» — спрашивали мы друг друга шепотом. Он встал и, прекрасно владея волнением, внутренно его накалявшим, в упор расстрелял их всех, одного за другим. Он буквально сметал врагов — доводами точными, ясными, без всякой грубости или злобы. Просто *устранил.*

Грубым Юлий Исаевич и вообще не мог быть, если б и захотел,— джентльмен-рыцарь. За это время, что его нет уже в живых, все вспоминаешь его и сквозь душевное волненье слышишь его тихий голос, видишь изящные руки, застенчивую улыбку, его манеру наклонять голову и слегка поддакивать ею, его сутулую фигуру, даже излюбленные его белые отложные воротнички и запах духов — если не ошибаюсь, ландыша. Вот он в пальто с барашковым воротником, не первой молодости, спешит на лекцию по снежным улицам Москвы, еще мирной, вот ведет детей своих, одной рукой мальчика, другой — девочку, через Арбатскую площадь. Ах, если бы эти мальчик и девочка шли с ним и по улицам Берлина в тот роковой день... не писал бы я этих строк.

Но его семья в Москве. Шесть лет прожил он одиноко в немецкой стране, одиноко и умер в ней.

* * *

Помню его в революцию. Вместе мы бедствовали, холодали и недоедали, стояли за прилавками Лавок писателей. Вместе страдали душевно (что скрывать, много страдали).

Юлий Исаевич был одиночка, аристократ, художник. И из тех, кто «к ногам народного кумира не клонит гордой головы». Аристократ, всю жизнь работал и всегда ходил в потертом пальто, и деньги презирал, и аскетически жил. Но никакой хам не мог заставить его облобызать себя. Да, он сильно умел любить и ненавидел как следует. Злой ткани в нем не

было, но от зла он отталкивался. Ничто не привлекало бы его к нему. Он сказал раз светловолосой девочке в эмиграции, его «единомышленнице», как он выражался:

— Если весь мир, Наташа, признает их, то мы с вами *не* признаем. И ваша мама.

В этом он весь. Он не переносил самогона, махорки, чубаровщины. Живя до своей высылки в Москве, не умолкал. В Союзе писателей, на Тверском бульваре, вскоре после убийства Гумилева прочел восторженный доклад о Гумилеве и Ахматовой.

Разумеется, его в конце концов выслали.

* * *

В том же Союзе писателей. Для принятия в члены требовалось представить книгу. Ее давали читать кому-нибудь в правлении. Нередко Айхенвальду. Прочитав, часто он говорил:

— Ну, конечно, очень слабо...

— Значит, не принять? (У нас были довольно строгие требования «уровня» литературности.)

Тут низвергатель Белинских и Брюсовых *всегда* отвечал:

— Нет, отчего же. Зачем мы его будем обижать.

Он улыбался застенчиво, потряхивал курчавыми волосами, вынимал свой безукоризненный платок, распространявший запах духов, но сдвинуть его с места, переубедить было нельзя. Он сидел за своими очками, как в крепости. В ней решал про себя и для себя разные вопросы — и уж тогда дело кончено: ему легко было отдать что угодно из вещей, денег, но *себя*, свои мнения, свою истину он никому уступить не мог. Мнения его иногда бывали причудливы. Но мы все, его сотоварищи по правлению, знали отлично: как бы ни был расположен сердцем к тому, к другому из нас, мнения своего не изменит. Он спокойно голосовал один против всех. Впрочем, это, кажется, была и в жизни излюбленная его позиция: именно один, именно наедине с собою, своим сердцем.

Для людей очень «современных» Айхенвальд должен казаться старомодным. Он не скрывал своего пассеизма. Он даже особенно на нем настаивал — революция у него, как и у многих, обострила это чувство. У него были некоторые нерушимые позиции, с которых он и действовал. Для людей спорта и фокстрота он неинтересен. То, что он любил, тому, в сущности, всегда поклонялось и поклонится человечество в лучшей своей сердцевине — доколе оно не обратится в

механических «роботов». Он не любил смотреть «вперед», но его очень любила молодежь, и у него всегда был для нее привет, сочувствие, внимание. Как ясно представляю я его себе, например, среди молодежи монпарнасского христианского движения!

Ибо за старомодною его внешностью, за нелюбовью к Маяковским и тому подобным жила в нем душа очень яркая, очень своя, очень утонченная и сложная.

Он как-то не признавал Истории, течения и изменения жизни. В этом был, может быть, односторонен. Но История не была ему нужна, ибо он жил светом души, светом Вечности.

* * *

Он любил тишину, книги, семью, детей. Он провел конец своей жизни в грохоте европейской столицы в полном одиночестве. Он ненавидел машины и «цивилизацию». Машины отомстили ему и убили его в расцвете сил.

П. М. ЯРЦЕВ

Для одних — «известный театральный критик и драматург», для меня Петр Михайлович, «Ярчик», как его мы звали.

Редеющие каштановые волосы, зачесанные назад. Большой лоб, впору шекспировскому. Под ним светлые, огромные глаза, так глубоко засаженные, что глядят точно из пещер, обрамленных крепкими, костистыми арками — худоба и остроугольность их удивительна. Низ лица явно стремится к треугольнику с рыжеватой бородкою. Мягкая и не первой юности шляпа, черный галстук, длинный сюртук, крылатка и серые матерчатые перчатки, голова несколько вдавлена в плечи, брови насуплены — так проходит Ярцев в скромном старомодном облике своем по переулкам Москвы, близ Арбата, по Плющихе, в Левшинском...

Петр Михайлович появляется в моей памяти зимою 1905 года. Художественный театр репетировал тогда «У монастыря», трехактную лирическую его пьесу. Автора вовсе не знали в литературе. Что-то ставил он в Петербурге, чуть ли не у Суворина. Но Художественный театр... Сразу мог он дать славу, деньги, положение. Говорили, что Немирович увлекается новой пьесой и новым драматургом. Драматург жил в небольшой квартирке на Плющихе. В кабинете его висел Ибсен,

лежало несколько книг. Стол был покрыт серым сукном, обои серо-зеленоватые. Тут писал, курил, пил крепчайший черный кофе хозяин. Он и дома сидел в сюртуке — очень длинном, не весьма новом. Нечто и донкихотское, и монашеское было в его облике.

Ему поручили отдел театра в одном журнале — он меня пригласил писать. Кажется, я почти ничего и не написал, но мы познакомились и сдружились на многие годы.

Репетиции шли. Он потирал тонкие руки, шагал из угла в угол ибсеновского кабинета. Московские морозы трещали за окном с темными занавесками. Приближалась премьера — декабрьская новинка театра.

Кто пьесы ставил, знает, что такое театр. Вероятно, легко это поймут любители азартной игры. Ни книга, ни журнал ничего общего с театром не имеют. Театр есть встреча с публикой без ширм — *с толпой.* В ее руках успех или провал. В том дуновении сочувствия или вражды, какое вызовешь. Нельзя угадать чувств многоглавого противника. Что-то «доходит», что-то «идет в гроб» — сам великий знаток театра, сам Немирович не раз ошибался.

Неясно помню содержание пьесы. Вращалась она вокруг любви — сложных и туманных чувств. Одно действие происходило в гостинице при монастыре — за окнами свет, зима, Качалов ходит по сцене в мягких, белых валенках. Некую роль играет букетик ландышей. Германова была прелестна. Но пока на сцене мечтательно разговаривали, в зрительном зале упорно молчали, молчанием равнодушным.

Знаток театра ошибся. Если «доходила» тишина чеховская, то ярцевская не дошла. Спектакль медленно, как-то беззвучно уходил в небытие — без раздражения или неодобрения: просто соскальзывал.

В антрактах кое-где появлялся автор в длинном сюртуке, с прекрасными глазами, нервными, худыми руками. Зрители равнодушно беседовали о постороннем.

* * *

Пьеса, написанная «для себя», успеха не имела. Она шла — выдержала десятка полтора представлений, но автора не прославила. Ярцев остался тем же: глубокой и тонкой натурою артистической, публику не победившей. Он держался замкнуто, благородно. По-прежнему пил крепкий кофе, курил в ибсеновском кабинете, пожимал сухощавые руки и много о чем-то думал.

Он жил совершенною птицей небесной. Более беззаботного, бессребреного и неприспособленного человека я не встречал. Правда, и время было особенное. Четверть века, прошедшая с тех пор, кажется столетием. Что сказал бы кто-нибудь из нас о пайках, смычках, пятилетках! Считалось, что настоящий человек — это романтик, живущий неуловимыми томлениями сердца, красотой (стиха, Италии, театра). «Хлеб наш насущный» — второстепенно. (И по более легким условиям той жизни хлеб этот легче и приходил. *Культа* же сытости не было...)

Все-таки, вспоминая Петра Михайловича, думаю, что, будь он один, вряд ли бы выдержал: мера его отвращения к практицизму все превосходила. Но за ним стояла подруга, верная и преданная, Мария Зиновьевна, Мария и Марфа одновременно. Она его опекала и берегла. Делила радости, горести, волновалась писанием, волновалась и тем, как платить за квартиру, где достать денег. Ее мягкая, большая фигура, тихий голос, улыбка черных глаз тоже неразрывно с ним связаны, как и он с ее обликом.

Ярцев отрицал собою всякий склад и порядок. Никакое «крепкое зрелое» общество не может на таких людях держаться. Или он загадочно пьет свой кофе, или уходит — неизвестно куда и неизвестно насколько.

— Петр Михайлович, ты будешь дома обедать?

— Да, Машенька... Да, может быть, буду.

— Я ведь должна наверно знать.

— Ну да, конечно... Я непременно постараюсь.

Одно дело стараться, другое знать. Петр Михайлович был тогда глубоко богемен. Над чашкою кофе мог сидеть без конца в кафе, что-то записывать, о чем-то размышлять. Встретившись с кем-нибудь из молодежи, мог оказаться в кабачке, от сумрачной молчаливости перейти к нервической оживленности, якобы загореться — поправляя галстук и откидывая назад волосы, увлекательно говорить о театре, все на нервах, на нервах... Где же тут знать, когда вернешься? И что именно приготовила Машенька, и на какие деньги!

— Это не то. Это мелочи!

Мы издавали в то время журнальчик «Зори». Ярцев был деятельнейшим сотрудником его и соредактором.

После редакционных собраний — чаще всего у Ярцевых — шли бродить по Москве, спорили на бульварах, заседали в кафе или ресторанчике «Богемия» — случалось, там и раннюю весеннюю зарю встречали.

Ярцев любил такую жизнь. Будучи старше нас, загорался не меньше. Хотя нередко так же быстро и

гас: глубоким неврастеником был всегда, и всегда в сердце его лежало зерно горечи. Душевное опьянение лишь временно затопляло эту горечь.

«Романтический человек с раненою душой» — так можно было бы определить его. Он мечтал об особенном театре (исходя, впрочем, от Станиславского), о высоком, духовно-облегченном искусстве. Ему хотелось, чтобы чувства на сцене сквозили чистейшими, прозрачными красками. Действительность, даже в Художественном театре, этого не давала. Чаще всего несла она успех «Детям Ванюшина».

Огромность требований Ярцева к театру, к любви, к жизни ставила его в тяжкие положения. Во многом и неуспех «Монастыря» с этим связан.

* * *

На углу площади, у Москвы-реки, выходя фасадом на Храм Христа Спасителя, стоял большой красный дом, выстроенный затейливо в стиле северного модерна: с крутоскатною крышей, отделкою зеленой майоликой, большими окнами — известный «дом Перцова». Там были и квартиры, и отдельные студии. В квартирах жили люди более солидные. В студиях художники, актрисы. Там тихо обитала «монахиня» Художественного театра Бутова, удивительный облик благочестивой художницы сцены. Там, с нею рядом, помещался Александр Койранский — «Саша Койранский», острый, живой, печальный и резкий. Женоподобный Поздников пробегал нередко коридором. Осип Самойлович Бернштейн таил свои шахматные комбинации, Балиев начинал «Летучую мышь». Много известных и видных людей Москвы — артистов, литераторов, художников перебывало тут.

В одной из студий Ярцев «раскинул свой театральный шатер». Он увлекался опытами молодого интимного театра. Пожалуй, это была завязь позднейших театральных начинаний типа Вахтангова и Михаила Чехова. Выбрал он для постановки мою небольшую пьеску «Любовь». Как всегда, намерения его были предельны. В вещи лирической, нетеатральной, написанной с молодой восторженностью, хотел он передать какой-то трепет, пафос, опьянение. Исполнители — молодежь, барышни из театральных школ, начинающие актеры. Барышни благоговейно смотрели на его глубоко запавшие глаза, но на репетиции запаздывали. Актеры — то кто-нибудь заболевал, то меняли исполнителя, то репетиция начиналась после полуночи, когда

кончался театр. Все шло нескладно, беспорядочно. Но создавало удивительный быт. Около репетиций толклись и посторонние. Получался не то клуб, не то кафе, не то театр. Беспрерывно варился кофе, на низких диванах полусидели, полулежали зрители и исполнители, нельзя было и разобрать, кто зачем пришел. Среди ночи коньяк. Приезжал Леонид Андреев, треугольный Мейерхольд, кто-то играл на рояле. Борис Пронин, помощник режиссера Художественного театра, с открытой шеей и белым отложным воротничком, как у Блока, вихрем носился, вздувая энтузиазм. Художник писал какую-то декорацию, но, впрочем, никто толком не знал, будет ли декорация или все пойдет «на сукнах». Главное же, никто не знал, откуда взять денег и как, собственно, все это показать.

— Милый, мама, голуба,— кричал Пронин.— Все будет! Все чудесно устроится... Ах да, все будет замечательно!

Петр Михайлович пил черный кофе и, устало закрывая глаза, привычным жестом поправляя на голове волосы, говорил:

— Да, да. Все будет. Все придет. Главное — да. Остальное все мелочи. Это так. Да. Остальное — не надо.

Но тут срывался Борис Пронин, терзая свой артистический галстук.

— Боже мой! О, я идиот! Без десяти восемь. Через десять минут давать занавес в Камергерском... Боже мой!

И улетал.

Мы проводили чуть не целые дни в этом коловращении. Иногда можно было уйти с Ярцевым в ресторан и тоже просидеть часов пять. Раз случилось, что мы трое — он, я и переводчик Владимир Высоцкий, общий наш друг и приятель Пшибышевских и Тетмайеров, на таком ресторанном заседании чуть не уехали за границу — так, ни с того ни с сего. Выработали даже маршрут — Краков, Венеция, Вена, что-то в двенадцать дней — и в мечтах пережили все прелести поездки.

Глупо все это? Может быть. Но жилось интересно. Не нам одним. Почему-то толпился же народ в нашей «студии»?

* * *

Предприятие развалилось, разумеется, деньги оказались не такой «мелочью». Некоторое время Ярцев, в нелегких условиях, прожил еще в Москве. Потом перебрался в Киев.

Его привязанность к театру не остыла. Начались годы театрально-критической работы. Он писал в «Киевской мысли». Но максимализм не оставлял его. Он всегда требовал предельного. Кого любил, тому поклонялся (Станиславскому, например). Но и к любимому был строг. То же, что отвергал, отвергал начисто. В жизни изящный, безобидный, неспособный питать злобу, в писании бывал и резок, беспощаден. Многие актеры ненавидели его.

В Киеве с ним произошел скандал. Однажды, когда в длинном своем сюртуке, скрестив на груди руки, сидел Петр Михайлович в партере, ожидая поднятия занавеса, на авансцену вышел некто и заявил, что, пока Ярцев в театре, актеры не желают играть. Ярцев поправил волосы, застегнул сюртук, встал и спокойно вышел. («Это не то! Это не главное!» — сказал, вероятно.) Но оказалось именно, что главное. За ним поднялась и ушла, в знак протеста, вся киевская пресса. Премьера осталась без рецензентов. Актерам пришлось туго — такого случая насилия над критиком еще в театре не бывало. Киевские рецензенты выступили затем сообща, печатно. За ними поднялись русские писатели и драматурги и в столицах. Актерам предстояло или сдаться, или попасть под бойкот полный. Они предпочли первое. На этот раз Петр Михайлович победил вполне, сам, разумеется, никак не действуя.

Из Киева попал затем в Петербург. Тут писал в «Речи» у Гессена и Милюкова. Художественный театр защищал страстно и во всеоружии (весной художественники всегда являлись в Петербург с новыми постановками). Станиславский окончательно пришел тогда к своей теории театра (внутреннее переживание актера, «сквозное действие» и т. п.). Всем этим он делился с Ярцевым в беседах долгих, увлекательных, всегда Петра Михайловича воодушевлявших. Так что писать он мог о Станиславском не со стороны, а изнутри. Его статьи того времени, вероятно, лучшее, что написано о Художественном театре.

Из Петербурга же уехал он однажды с томом «Братьев Карамазовых» (Достоевского всегда глубоко чтил) в Оптину. Монастырь оказал на него великое, удивительное действие. Всегда ища в жизни и *в искусстве чистоты, красоты, святости,* он нашел их в Оптиной. Образы старцев — он застал, если не ошибаюсь, о.о. Анатолия и Нектария — показались ему ни с чем не сравнимой высоты и красоты. «Смирись, гордый человек» — Петр Михайлович специфически гордым не был, но тщету, засоренность, грязь нашего земного

рядом с истинно святым почувствовал. Своеобразно он ощутил старцев, беседующих с простым народом, как величайших артистов, полных духовного искусства. Помню, он говорил, что в глазах, руках, благословляющем жесте Анатолия кроме всего прочего была несравнимая театральная красота. Она являлась непосредственным выражением духа.

С «Братьями Карамазовыми» в руках изучил он каждую мелочь оптинского пейзажа, обстановки, быта, проверяя Достоевского, и нашел, что, при всей своей фантастичности, *здесь* Достоевский очень точен.

Петр Михайлович написал об Оптиной несколько замечательных статей. Их следовало издать книжкой. Но не таков был Ярцев, чтобы заботиться о жизненном, реальном.

* * *

Сам родом из Коломны, почвенною любовью любил он все русское, особенно же московское. С годами эта любовь росла. В литературе он держался Достоевского, Лескова, Аполлона Григорьева. Театр признавал лишь национальный. Очень высоко в нем ставил Островского и Чехова. И в жизни — к самой Москве, ее храмам, «древлему благочестию», складу, говору, московским людям, московским извозчикам, трактирам, Замоскворечью, баням — питал неистребимую привязанность.

Одно время, перед войной, жил в номерах на Балчуге, у Чугунного моста. Тут далеко уже было от Прониных и Мейерхольдов. Вставал очень рано, часов в шесть, и шел куда-нибудь в простую чайную. Ему нравились «человеки» в белых рубашках, расписные чашки и подносы, крутой кипяток, простые русские люди в поддевках, с намасленными проборами, торговцы, прасолы. За «парой чая» сидел Ярцев и писал, любуясь видом на Кремль, золотым лучом солнца, типами Островского у прилавка.

Полагал он теперь, что театр должен выражать народную душу, суть, теплоту. Щепкина считал основателем русского театра, Станиславского (родом с Хивы, за Яузою) его достойным продолжателем.

Мы встречались в это время часто. Ездил он и ко мне в деревню. Любил землю нашу, сено, ржи, яблоки и березы, дрожки, мягкий пейзаж средней России. Мы гуляли довольно много и в Москве, тогда еще мирно-благодатной. Помню, он водил меня в трактир Егорова в Охотном ряду — примечательность московская, о которой не имел я понятия. Невзрачный двухэтажный

дом рядом с «Континенталем». Внизу извозчичий трактир, во втором этаже «купецкий». Сюда сходились с раннего утра чаевничать охотнорядцы. В невысокой комнате столики, сидят распаренные купцы, пьют чай (тоже с шести утра! — в десять вечера все закрывалось). В клетках канарейки. Ярославцы и владимирцы, в белом, бойко разносят подносы с чайниками, кипятком и стаканами, чудными калачами, баранками. Днем можно обедать. Тут главная приманка Егорова — удивительнейшие осетры, балыки, расстегаи, рыбные солянки,— все это на грязноватых скатертях, с колченогими вилками к приборам, с деревянными солонками, но качеством не уступая первоклассным «Эрмитажам», «Прагам».

Трактир Егорова любил Островский. Мы и обедали в комнате Островского — боковой, с камином, вечно пылавшим, с особыми канарейками, потертыми диванчиками красного бархата и большой, потемневшей картиной во всю стену, если не ошибаюсь, что-то китайское на ней изображалось*.

...Тепло, пахнет ухой, поддевками, синеватый туман, дрова трещат, благообразный немолодой владимирец в белом переднике, вкуснее говорящий по-русски, чем та осетрина, которую только что поставил, подает нам шкалик «Ерофеича»: кроме егоровского трактира, не было по Москве нигде этого Ерофеича — николаевских времен водки, настоянной на травах. И на потертом диванчике мы сидим... сколько и о чем можно наговориться с Петром Михайлычем, когда он в духе, в ударе — в обстановке, ему нравящейся!

* * *

Все это кончилось. Подошла война, революция, не до театра стало, не до поэзии и любования Москвой. В октябре впервые дрогнули купола Кремля под шрапнелями большевиков. Эти шрапнели рвались и над Савеловским переулком, вблизи Остоженки, где жил тогда Ярцев с Марией Зиновьевной. Как и другим, как всем нам, пришлось им быть свидетелями унижения и разгрома Москвы.

...Я попал из деревни в Москву побежденную — под ранним зимним снегом, с сумрачным карканьем ворон

---

* Комната эта столь знаменита, что когда в Александринском театре ставили пьесу Островского, режиссер и художник приезжали к Егорову писать декорацию.

на крестах церквей, с раскрытою кое-где мостовой, чуть не со следами запекшейся крови. Впрочем, снежок все заметал — вводил в страшную зиму голода, холода, примусов, разобранных заборов.

Как и все, дрогли и голодали Ярцевы в сумеречной квартире первого этажа по Савеловскому. Мария Зиновьевна боролась отчаянно. Откуда-то добывала крупу, хлеб... порциями аптечными. Петр Михайлович подтапливал печурку — чем придется. Он такой же все был худой, так же погружен в Русь, так же поддерживался и духовно, и внешне, все тою же Марией Зиновьевной. Когда нечего было есть, сидел покорно и тихо. Питался любимым кофе. Изможденный и тощий, в бархатной кацавейке жены, накинутой на плечи, с воротником, живописно раскинутым вокруг тонкой шеи, подобно жабо, походил остроугольным лицом и бородкой на испанского гранда. Изгнание начиналось для всех нас. Петр Михайлович мог терпеть голод и холод, но не орду, не татарщину, в чьих руках мы оказались. Крики газет, афиши на стенах, митинги, волчьи зубы вокруг, муть, кровь, заплеванность... горько и вспомнить.

Иногда в изнеможении, закрывая огромные глаза, окончательно ушедшие в пещеры, сидел он подолгу перед разгоревшейся печуркой, неподвижный, полумертвый.

— Петр Михайлыч, съешь, вот тут осталась корочка.

— Нет, ничего, Машенька. Я не голоден. Я не хочу есть. Это не то.

Голод был для него «мелочь», «не то»...

Не имея ни средств, ни, в сущности, сил, сверхъестественным напряжением воли женской, женской любви, вывезла-таки его Мария Зиновьевна из Москвы. Они «отступили» на Киев.

И затем... все, что полагается русским на юге: ужасы разных «властей», погромы, чуть не пешком новые отступления, до самого Понта Эвксинского, до кораблей, увозивших троянцев от пылающего Илиона.

* * *

Я не видал больше Ярцева и никогда не увижу. Но теперь, вспоминая эту жизнь, полную тревог, горестей, бедности, энтузиазма и преданности *высокому*, с большой радостью (странно сказать: почти гордостью) думаю о завершающих, изгнаннических ее годах. С великим счастием замечаю, что в болгарской столице

не пал, а вырос Ярцев. Не растерял в Энеиде своей, а приобрел. Глубокую любовь к России вывез вместе с верной подругой и на чужой земле потрудился.

Он работал режиссером в болгарском Народном театре. Оптина и «Святая Русь» не прошли даром. В театральный свой труд внес он всю страстность *служения*, бескорыстного и безоглядного. В мои годы, в Москве, лишь начинал путь обращения. В изгнании его заканчивал. Редкий и *русский* случай: деятель театра, проникнутый Церковью. Это дало ему, думаю, особые силы. Сгладило угловатости, успокоило, как-то *внедрило* в жизнь. Все это чувствовали. И маленькая квартирка Ярцевых стала особым центром — привязанности, благожелания, любви. «Весь театр, школа, актеры, от самого маленького до большого, любили его нежно и в трудных условиях болгарской жизни находили у него прибежище. Все болгарские писатели, художники шли к нему» (из письма). «...Дом был радостный, теплый, уютный... шли люди и находили успокоение у него. Он был очень просветленный и мудрый, очень был религиозен, посещал все службы, молился утром и вечером и ежедневно заходил в церковь».

Последняя его постановка была «Горе от ума». На ней он и надорвался. Приходилось торопиться, спешить к сроку — он сам наблюдал за швальней, носился из этажа в этаж вверх и вниз, даже не пользуясь лифтом. «Он был как на крыльях, и вся швальня работала весело и радостно для него. Они его обожали. Когда кончили все, первый портной подошел к П. М., обнял его и стал целовать в плечи и все повторял: «Как я вас люблю, Петр Михалыч».

Верно, и «Петр Михалыч» любил простых болгарских людей, как некогда простых русских — находилась в немолодом «Ярчике» теплота, доброта.

После спектакля он слег — не сразу даже к доктору обратились... причина все та же (нужно, чтоб было чем платить). Начались жжения в груди. Смерть пришла мгновенно, он скончался на руках Марии Зиновьевны.

Ярцев, будто бы человек мирный, тихий, все свои годы воевал. С упорством, страстностью, любовью нечто отстаивал. Умер он на позициях. Самое страшное — быть побежденным, сдаться, в холоде, равнодушии. Он прекрасный пример несдавшегося, непобежденного. Богатства он не нажил: денег не любил, они к нему не шли, тоже не любили. Но вот сломить его «князь тьмы» не смог.

В глубокой горечи его утраты чувствую и радость.

Не посрамил земли русской Петр Михайлыч.

НАДЕЖДА БУТОВА

...На родине, в Саратове, она была учительницей. Высокая, худая, диковатая, все помалкивала, тайком копила деньги, молча рассталась с сестрой, села в поезд и однажды вышла на вокзале московском из вагона третьего класса, в поношенной шубке, с потертым чемоданчиком, пледом в ремнях. Кончилось дело с Саратовом. Начались меблированные комнаты Москвы. Стала она разучивать стихи, басни, отрывки. И на экзамене в школе Художественного театра внимание привлекла. Чем? Саратовским напором, мощию земли, темпераментом глухим и целомудренным?

Нельзя сказать, чтобы красотой: красива не была. Лицо весьма русское, может быть, и с татарским оттенком — несколько широки скулы, с ярким румянцем, загорелым, худым румянцем; над скулами же глаза непомерной бирюзы. (Могут эти глаза быть ласковы, могут быть почти страшны.) Голос низкий и глуховатый. Крепкие тонкие руки, прекрасные волосы. А во всей ней деревенское нечто, крестьянское: повязать платочком, послать на поденную, а потом в хоровод песни петь. Или черничкою в монастырь.

— Для монахинь пригодится на сцене, для цариц опальных, для Островского... Рост, понятно, велик...

Может быть, и не сказал так экзаменатор, а бессознательно пролетело в нем и бессознательно рост легкою грустью скользнул: не полагается головой выше всех быть на сцене.

Все равно. Ее приняли. Стала она ученицей, упорной и страстной. Иначе уж не могла, по натуре. Ночей от волнения не спала, перед Станиславским благоговела. Но и характера оказалась нелегкого. Всегда что-то сидело в ней свое, любимое или нелюбимое. За любимое могла жизнь отдать, с нелюбимым лучше не подступайся. С младости была набожна, истова. Любила порядок, чистоту, строгость. Не выносила курения, неряшливости, актерской распущенности. Некое древнее упрямство было в ней, раскольничье. Двести лет назад за двуперстное сложение жизнь бы отдала — не постеснялась бы.

Художественный театр всегда заглатывал актера — из китова чрева, в сущности, хода уже не было. А особенно для актрис. Актрису, молодую и податливую, можно «разработать» как угодно, и будет она говорить не «я», а «мы, Художественный театр», и каждый звук голоса Станиславского, каждое его движение станут ее

собственными: искренно она уверена, что *это* и *есть она*.

Надежда Сергеевна тоже говорила «мы», восторженность Художественного театра в ней сидела, но и свое было. Одолеть его не удалось никому, хотя дар ее не принадлежал к крупным, скорее направлялся вглубь: неблагодарный дар. Впрочем, выигрышного, удобного для успеха в ней вообще ничего не было. Успех в эту судьбу не входил.

Но чем дальше шло время, тем *свое* разрасталось. Тем труднее с ней становилось.

* * *

Я знал Надежду Сергеевну уже «взрослой», известною актрисой, строгой, требовательной, несколько в тени, без шумной популярности, но с прочностью. Была она как бы и совестью Художественного театра, его праведницей. (Головой выше физически, головой выше душой.) В труппе держалась одиноко, прохладно: не помню особенных ее приятелей из актеров. «Я не могу ни с кем жить вместе, близко»,— говорила она. И никакие капустники, никакие попойки не занимали ее (конечно, зубоскалили актеры над ее отшельничеством, но побаивались).

Платья она носила темные, волосы пышно зачесывала назад. На груди крест. В толпе сразу заметишь ее худую, широкоплечую фигуру, над всеми возвышающуюся. Разговор тихий, степенный, но могла и смеяться по-детски. Не дай Бог рассердить ее — и особенно важным, не пустяком, а идейным: новозаветный человек, она впадала и в библейский гнев.

Жила холостяком, в студии красно-зеленого, северного модерна дома Перцова, против Храма Христа Спасителя. Соседи в коридоре тоже были у ней актеры, художники. Огромное окно выходило на храм. Кремль виднелся направо, Москва-река, мост. В студии у нее прохладно и «благолепно». Вот где не может уж быть богемского беспорядка! Иконы в углу, лампадка, деревянный стол, русская скамья. Вышитые полотенца, серого сукна диван (Художественный театр!). Фотографии Станиславского, Немировича, Чехова. Много книг на полках. Картины, рисунки современных художников — иногда и соседей по перцовскому дому.

«Под образами» можно в пять часов пить у ней чай, разговаривать — беседа всегда интересна, нечто горнее в ней, как и в самой хозяйке. Скучно никогда не было, и плоско тоже никогда. В долгих наших и ушедших

разговорах театр присутствовал неизменно — главнейшее для нее. Говорила она медленно, ища слов: старалась точно передать, что нужно. Закрывала глаза, бралась за виски, глуховато выцеживала...

Радостно беседовать с *художником*, с тем, кто искусством своим дышит, насквозь его знает и может сказать живое (а значит, и новое: всегда живое есть новое). Надежде Сергеевне с годами теснее, неуютнее становилось в театре. Terre à terre Станиславского, плотскость его, гоньба за «жизненными» мелочами затрудняли. Хотелось больше. Это не удавалось. И она много томилась.

— Он... великий актер, что там говорить, и искатель... Ну, вы понимаете, этот человек в вечном беспокойстве, вечно добивается... он не может *просто так* сделать...— Она сжимала себе виски, разводила длинные руки, как бы дорисовывая пальцами.— Ему надо наполнить... чтобы образ весь налитой... и все подробности... *свои*, созданные.

Потом останавливалась, говорила еще тише и уж совсем ясно, даже легко:

— Но он не поэт. Поэзии, духовного не чувствует, для него этого нет, он весь, весь тут... и литературы не чувствует и многого — высшего — вовсе не знает. Комедийный актер, не духовный...

Вот чего ей хотелось. Не нравились клистирные трубки Мольера, смешные штучки «кавалера» в «Хозяйке гостиницы». Античная трагедия, может быть, Достоевский, Шекспир, Кальдерон...

Для нее самой мало на сцене оказывалось подходящего. В «Трех сестрах» была она одной из сестер, но надолго не удержалась — может быть, из-за росту (и большей силы, чем там нужно было! Не тот темперамент, не тот тон). Замечательно сыграла у Островского Манефу («Идет Егор, с высоких гор...») — и тоже не совсем в тоне спектакля. Дала гротеск, силу подземную, дикую... вспомнила свой Саратов. Но инокинь, древних цариц, как и Федр, Медей, не было в репертуаре. Играла она всегда страшных старух — превосходно, но мало.

Театр не совсем заполнял, не совсем радовал.

Было у ней и другое: женское сердце. Можно знать ее внешнее, роли, театр, послужной список. Чувств не узнаешь. Замкнута, запечатана. Лишь временами доходило дыхание *того*, от всех скрытого. Иногда особенный блеск глаз, иногда некий стон...

Трудно об этом говорить.

* * *

Подошла революция.

В театре собирались ставить оперетку. Надежда Сергеевна переехала из дома Перцова. Теперь была у ней квартира — небольшая, столь же чинная и поднебесная, только окна в сад выходили. Среди деревьев выступала церковка московская. Что-то от келии, монахини вошло, упрочилось здесь навсегда. Но с великою нежностью соседствовал и великий гнев. На слова скорби, беды могла отвечать она взглядом утешения необычайного, ласки, любви. А когда зашла речь о комиссаре, прежнем знакомом ее, завернулась в платок, голову вдавила в плечи, длинною рукою погрозила:

— Проклинаю! Проклинаю и его и всех их!

И была похожа на боярыню Морозову, которую у Сурикова везут в санях в ссылку, а она высохшею рукой, в цепях утверждает двуперстие. Трудно укрощать страсти. Смирилась ли она? Или так и ушла, раздираемая? Духовник только может об этом знать. А мы знаем другое и удивляемся, например, тому, как не засадили, не убили Надежду Сергеевну, прямо в лицо называвшую убийцами кого следовало, не подававшую руку сановникам, на всех перекрестках громившую их. От нее не было пощады. (И теперь, когда нет ее, можно сказать: ей обязан жизнью видный белый — ныне тоже умерший,— у ней за ширмами чуть не месяц скрывавшийся. Что ж, и чеку, и смерть встретила бы она в грозном спокойствии.) Многие ее боялись. Некоторые не любили — она стесняла. Но другие преклонялись. Всегда вокруг нее ютились некие благоговейные девицы. Их она пригревала, одаряла чистотой своей и светом. Занималась в студии, ставила пьесу Тагора, вдалеке от суеты, предпринимательства большой сцены. Театр мог быть ей близок теперь лишь как храм. Лишь высочайший звук могла она в нем допустить. И уж не ей, понятно, принимать участие в банкете Луначарскому. (Давал Художественный театр.)

Все больше отдавалась она Церкви. Православие у ней было страстным, прямым, аскетическим, мученическим. Она читала много Евангелие, св. Отцов, молилась, постничала. Киот над аналоем появился, вся квартира стала похожа на церковь и внешне, да и внутренне, излучением своим. Сама она как будто все росла, но и худела, и светлела. Духовник ее был о. Медведь, а потом перешла она к известному о. Алексею Мечеву.

Надежда Сергеевна принадлежала к нашему кругу, среднеинтеллигентскому. Но вот не все же в нем «рыхлые интеллигенты»! Ничего вялого не было в ней. Инокиня-актриса, праведница в веригах на сцене: редкая и яркая фигура, может быть, слишком для женщины сильная, облик Руси древней... то, что можно еще в жизни любить. И о чем вспомнишь почтительно.

Как многим праведницам, ей дана была смерть мучительная. Горловая чахотка заела ее. Но душевно сломить не могла (хоть и стенала Надежда Сергеевна, и тосковала по-человечески). Одна она не оставалась. Те же преданные девицы сменялись у ее ложа.

В страшный мороз, солнечный, с жгучим ветром, шли мы за ее длинным гробом. Москва замерзала и голодала. Надежда Сергеевна не видала уже ее позсра.

Пред Художественным театром, в Камергерском переулке служил о. Алексей Мечев литию.

III

«МЫ, ВОЕННЫЕ...»

Записки «шляпы»

1

Юным студентом, обитая на Арбате, проходил я нередко по Знаменке в Румянцевский музей и на углу площади Арбатской с памятником Гоголя, булочной Савостьянова и старинной церковкой видел приземистое здание, двухэтажное, с колоннами, времен начала XIX века. Знал, что это Александровское военное училище, и был глубоко к тому равнодушен. Училище и училище. Выпускает пехотных офицеров, мне до этого дела нет. Меня интересуют книги и литература. Я всегда очень любил Москву. Меньше всего, однако, могли бы меня заинтересовать лагеря на Ходынке, кадетский корпус в Лефортове да училище на Знаменке...

* * *

Летом 1916 года призвали ратников ополчения 2-го разряда.

Не желая идти на войну солдатом, я решил поступить в военное училище.

Странная была та осень в деревне — последняя обычная, человеческая. Вот запись о ней:

«... Березы Рытовки и узенькая тропка, по которой выходили мы на зеленя, покой равнин, серые вечера сентябрьские с красной рябиной, зеркалами прудов, криком совы и лиловой луной из-за леса — все осталось как воспоминание прощальное и светлое. Однажды, выходя из леса, набрели на гнездо птички, опустелое. Взяли с собой. Сентиментальность? Но так захотелось. Пересекли межой поле, и внизу Притыкино, пруды и мельница, деревья парка. Колокольня мирно подымалась из ложбины. И спокойный, мягко-сероватый лик небес, дымки над деревнями, дальний лепет молотилки, дальняя, как облачко, стая грачей, свивавшаяся, разви-

вавшаяся над овинами, все ясное, родное... так пронзительно печальное, как будто мы навеки с ним прощались».

Навеки не навеки, но 1 декабря подъезжал я на извозчичьих санках, в новых высоких сапогах, с чемоданчиком к фронтону того самого здания на Знаменке, мимо которого высокомерно некогда проходил. Попрощался с женой у подъезда и как сноп был подан в неведомый мне и казавшийся суровым барабан. Десятки таких же снопов с разных концов России и Москвы подавались в те же самые двери, в большинстве молодежь. Но они были веселей, бурней и беззаботнее меня.

Низкая прихожая, лестница наверх, огромные коридоры, огромные холодноватые залы и дортуары. Вот нас переодевают — в цейхгаузе какой-то бойкий тип раздает гимнастерки и шинели, вернее, все сами набрасываются на груду этого добра, он только наблюдает. Скоро нечто мешкообразное, с погонами однако, оказывается на мне. Я заранее наголо острижен, этот форменный наряд, высокие сапоги сразу меня топят: не чувствую себя прежним. Что-то случилось. Меня зачисляют во вторую роту. Я юнкер второй роты пятнадцатого ускоренного выпуска. Должен маршировать, «строиться» к обеду, «строиться» на молитву, по трубе вставать... мне должно бы быть не тридцать пять, а двадцать лет... И так далее.

Первый день было чувство, что просто попал в тюрьму. Никто мне ничего дурного не делал. Но меня самого, *такого,* к какому привык, с книгами, рукописями, медлительными прогулками — больше не существовало. Был юнкер второй роты пятнадцатого ускоренного выпуска, и притом «шляпа»*. Шляпа, разумеется, первосортная. С военной точки зрения такое существо не радует. Но и у «шляпы» есть душа, сердце, воображение. Например, лежит этот юнкер-«шляпа» впервые на своей койке в роте. Огромная колонная зала. Холодновато, сумрак. У столика дежурного маленькая лампочка — небольшое пятно света. В аккуратных станках винтовки. Рядом, сбоку, насупротив храпят юноши — мой сосед, двадцатилетний Бартенев задувает изо всех сил (обычная его мольба впоследствии: сразу же тормошить при утренней трубе, а то никак не проснется). Раз-другой в ночь войдет дежурный офицер, пройдет по роте с дежурным юнкером при тесаке:

* Слово жаргонное. Означает безнадежно «штатского» и нерасторопного человека.

проверит, все ли в порядке, правильно ли сложено платье у спящих. (Полагалось складывать его аккуратно и перевязывать ременным поясом, не туго, но и не слабо. Кое-где офицер подымает этот пакетик жалкий: «Велите подтянуть туже...» — «Слушаюсь, ваше высокоблагородие...»)

«Шляпе» не спится. Что такое? Где это он? Почему острижен, лежит в холодной зале? Вот она, новая жизнь! Это только начало. Это еще «мир», война впереди. Если мир таков, что же самое-то «настоящее»?

И часы бегут, в тоске, одиночестве. Добегают до какой-то странной и даже таинственной минуты, когда серо-синеватая мгла в окнах и вся пустынность колонной залы вдруг разрывается от рева дикого, неистового,— вряд ли устояли бы и стены Иерихона! Половина шестого. Сигнал к жизни. Мощь его рассчитана именно на Бартеневых и им подобных, на силу молодого сна.

Начинают в холоде копошиться фигуры. Зажигается свет. Один за другим тянутся в умывальную заспанные «извозчики» (первая, царская, рота называется «жеребцы», мы, вторая,— «извозчики»). А потом строят «к чаю»; длинными, гулкими коридорами сходят роты одна за другой (их у нас двенадцать) — в полумгле, в начинающемся зимнем рассвете вниз в огромную столовую, где молитва и чай с булкою за деревянными столами, а там вновь строят, вновь ведут — лекции, строевые занятия, гимнастика: машина заработала.

* * *

Мы, вновь прибывшие, называемся «фараонами». Нас надо обломать, хоть сколько-нибудь привести в военный вид, и только тогда можно пустить в отпуск. (Мало ли опасностей на воле: а вдруг встретишь генерала да не станешь вовремя во фронт, прозеваешь резвого капитана, только что вернувшегося с фронта? Сядешь в театре, не спросясь у старшего по чину офицера? Жизнь сложна.) И вот, кто хочет в субботу идти в отпуск, должен выдержать «экзамен чести». Это для «шляп» дело нелегкое. Казалось бы, не так уже хитро: бодро и весело подойти, остановиться, сделать под козырек, отрапортовать, повернуться и отойти... Но это целая наука! Элементы гимнастики (может быть, и балета) входят сюда. И немало надо попотеть, прорепетировать со своими же, прежде чем командир роты пропустит. Но тогда завоевано право отпуска, священное право, то, чем все здесь дышат и о чем

мечтают старые и малые, простые юнкера и «портупеи», «шляпы» и «строевые орлы».

Кроме отпуска, есть еще развлечение в трудовой жизни: три раза в неделю, с пяти до семи, ждут нас в приемной жены, сестры, друзья — к нам является уголок прежней, «милой» жизни. Но и в залу эту, полную благожелательных, веселых лиц со всяческими приношениями (конфеты, пирожки, яблоки, мало ли чего можно натащить в Москве, еще человекообразной),— к ним туда не так-то легко проникнуть. Некие церберы стерегут. Надо пройти через маленькую дежурную комнату и сделать, казалось бы, простую вещь: подойти к дежурному по училищу офицеру, взять под козырек и сказать, что юнкер такой-то роты просит разрешения пройти в приемную. Тут-то вот и таятся для «шляпы» опасности. Обыкновенный юнкер войдет, быстро исполнит номер — и уж он среди болтающих и восхищающихся дам, барышень, невест. «Шляпе» грозят отовсюду опасности.

I. Распахнув дверь, с перепугу он не заметит, сколько звездочек на погоне дежурного, и, на беду, бахнет капитану:

— Господин поручик...

Или поручику:

— Господин капитан...

Но тогда дело предрешено:

— Кру-гом!

II. Или он разбежится и у самого столика как вкопанный замрет со своей сакраментальной фразой (а надо за два шага до столика), и тогда опять:

— Кру-гом!

III. Или в ужасе вместо «в приемную» скажет «в отпуск», и снова:

— Кру-гом!

Но жизнь научает. «Шляпе» тоже ведь хочется повидать родных. И он «ловчит»: заранее разузнает, кто дежурный и в каком чине, в отворяющуюся дверь на глаз размерит, где сделать балетное па — в конце концов малые эти пустяки не остановят: в приемную все-таки прорвешься.

И какая радость — видеть родное лицо, получить какие-нибудь шоколадки... Когда человеку живется туго, всякая малость так освежает, так помогает...

Но особенно, конечно, важен отпуск.

В отпуск идут по субботам — и лишь те, кто за неделю чист и безупречен, преступлениями не замаран, репетиции сдал. Последнее не так-то легко. В четыре месяца надо пройти двухлетний курс — хоть наскоро и с

сокращениями, все-таки трудно,— и в дне нашем все рассчитано по минутам, до одиннадцати по вечерам мы зубрим. (Помню одно свое поражение: двойку по топографии — не туда как-то заехал по карте. Ночь без сна, удвоенное зубренье, на другой день у того же немца двенадцать, и в отпуск все-таки ушел.)

Час отпуска — час блаженный. Одеваемся, чистимся, друг другу оправляем пояса, складки шинели на спине.

— Отпускные, стройся!

Выбегаем, толкаясь, как маленькие, в коридор. За некую мзду тип в цейхгаузе выбрал выходную шинель получше, обменил прежнюю. То же и с фуражкой. Сапоги вычищены, пояс затянут, пряжка с орлом сияет. Иногда стоим с первой ротой, с «жеребцами» — они по одной стене, мы по другой. Все в хорошем расположении духа. Пока не пришел офицер, развлекаемся, как умеем. У нас свои задиралы, у них свои.

— И-го-го-го! — гогочет какой-нибудь наш Гущин, румяный и веселый парень.— Го-го! — И делает вид, что поднимается на задние ноги, скачет на одном месте...

— Эй, извозчик,— кричит правофланговый «жеребец»,— в Большой театр, полтинник! Живо! В оперу опоздали!

Гущин копытом роет землю.

— Т-с-с!

Дежурный офицер. Все волшебно меняется. Ни «жеребцов», ни «извозчиков», замершие в струнку, грудь вперед, голова несколько на отлете, юнкера,— те, что веселыми, молодыми телами делают на дворе ротное ученье, ходят за Дорогомилово в поход, маршируя, бойко поют «Взвейтесь, соколы, орлами...».

Осмотр опять касается того, все ли в порядке, туго ли стянуты пояса, все ли пуговицы на месте — александровец должен быть в отпуску на высоте своего училища.

И вот хлопнула тяжелая входная дверь, заснеженный тротуар, десятки молодых лиц, проезжающий ванька (на этот раз настоящий уже извозчик, а не символический), Арбатская площадь в сизости сумерек, галки на золотом кресте церковки.

Молодежь разбегается. «Шляпа» весело, но и осторожно идет к себе на Арбат, норовит больше переулками. Того и гляди, из-за памятника Гоголю, в сумерках выскочит какой-нибудь штабс-капитан и ты вовремя не откозыряешь.

— А подать сюда Ляпкина-Тяпкина...

Или же другая крайность: вдруг козырнешь земгусару (в сумерках все кошки серы: генеральный штаб, земский союз... да не дай Бог, еще гимназист взрослый пролетит на лихаче... Жутко подумать, если и ему честь отдашь).

Но впереди дом, свой угол, жена, Арбат, что может быть радостней субботнего вечера!

2

Да, блажен отпуск, блажен вечер субботы. В двух комнатках переулка у Пречистенки все кажется так светло, чисто и уютно! Пусть бы и не две, а одна, но вот с этим мирным снегом за окном, с вороной на дворе, смешно прыгающей около корки, с кустиком, запушенным белым... Благовест церкви рядом — знаменитой приютской Дурновского переулка — тоже особенный: милого московского захолустья. (Там замечательный хор, чудная служба. Если бы не усталость, хорошо бы по чуть протоптанной тропке дойти ко всенощной.)

Но никуда не пойдешь. Никакого желания двигаться. Столько надвигался, столько напрыгался на параллелях, набегался в строевом учении — только б лежать, пить чай, читать — самое большее, газету, и чувствовать, что ни фельдфебель, ни дежурный офицер в эту комнатку с образами и мещанскими занавесками не войдут, не придется вскакивать как угорелому и опять садиться по команде:

— Занимайтесь своим делом!

Здесь если заглянет, то какая-нибудь Аксинья или Матрена, полуотворит дверь, робко высунется: дома ли, мол, барин? Самоварчика свеженького не поставить ли? Барин дома, он в субботу всегда, безнадежно и как-то райски дома... и бесконечно может распивать чаи. Ночью же будет, просыпаясь, бормотать спросонку:

— Встать! Смирно! На первый-второй рассчитай-сь!

Но уже воскресный день — иной... Вечером надо уходить. Горизонт мирного утра с калачом, бубликом, свежим маслом омрачен дальней тучей. Ее почти не видать, но она надвигается — медленно, неотвратимо. До завтрака большая часть неба светла. «Мы», здешние,— из Дурновского, еще в большинстве. С двух-трех часов перевес получают «они»: военная машина на Знаменке, пред которой мы ничто.

К девяти надо возвращаться. Тут все точно, очень

строго. Если опоздал хотя бы на несколько минут, месяц без отпуска. Так что держи ухо востро! И держали. Лишь самые отчаянные являлись к третьему звонку. «Шляпы» забирались раньше. «Шляпа» грустно появляется у колонн фасада часов в восемь с чем-нибудь и, простившись с другом, ныряет в знакомые, на блоке, двери.

В передней светло. Дожидаются несколько юнкеров.

— Кто нынче дежурный?

— Капитан Тимохин.

Ладно. Хоть и из «Войны и мира», да зато наверно знаешь, что уж капитан. И через две минуты, в дежурной комнате, вытянувшись пред Тимохиным, вовсе на толстовского непохожим, гаркнет «шляпа»:

— Господин капитан, юнкер второй роты пятнадцатого ускоренного выпуска из отпуска прибыл!

«Прибыл»! Какое важное событие. Прибывают цари, президенты. Скромный же воин, столь торжественно прибывший, полутемной лестницей взбегает во второй этаж, пустынным, гулким коридором идет к себе в колонную — «извозчицкую». Койки еще пусты. Темно, холодно. Лишь в глубине, у столика дежурного, лампочка под темным абажуром (бедняга целый день сидел тут, сторожил стены и винтовки — дежурство его выпало на субботу).

— Ну вот,— говорит он, зевая,— распишитесь. Хорошо погуляли?

* * *

Меняется жизнь, но меняется и человек. Каждая утренняя труба, каждое умыванье на холоде, каждый обед внизу в столовой как-то его меняют. Через «кобылу», конечно, до гробовой доски «шляпа» не перепрыгнет, и в строю его фигура не из блестящих («портупеем» никогда не быть), но в пределах «шляпских» своих возможностей он пообтесывается и привыкает. Учится хорошо. Устает сильно. Телом похудел, подтянулся, живет изо дня в день почти без дум, едва поспевая за непрерывным, неустанным ходом жизни. Есть в его монашеско-военном бытии малые радости и кроме отпуска: время от половины пятого до четверти шестого. Тут имеет он право растянуться у себя на койке, пожевать шоколадку, принесенную женой, и блаженно, с детской простотой на несколько минут выйти из условий жизни — зачерпнуть иного

мира, тоже бессвязного, но от барабана далекого... Именно несколько минут. Та же труба, что зовет к суду утром, так же разрывает уши ревом в неизменную минуту. Перемирие окончено. До трубы можно лежать не вставая, хоть бы сам батальонный вошел. Теперь надо вставать, хотя в роте и никого нет.

Да и не очень належишься. Раза два в неделю репетиции. Днем на лекциях, готовиться можно лишь по вечерам — и до одиннадцати клонятся стриженые юнкерские головы над учебниками.

Самое страшное в пехоте — артиллерия, в Александровском пехотном артиллерийский полковник Александер: живой, бодрый, пятидесятилетний человек, бодростью-то и нагоняющий на юнкеров ужас.

— Юнкер, чем же пушка отличается от гаубицы?

Ему почти весело, он, того гляди, захохочет, а пехотинец помалкивает.

— А какова траектория?..

Юнкер краснеет. Полковник же чувствует себя превосходно.

— Юнкер, если не умеете говорить, может быть, нам споете?

Юнкер и петь не умеет. Юнкер не знает ничего и о взрывчатых веществах...

— Следующий!

Полковник совсем развеселился. Радостно ставит ноль. (Странным образом «шляпе» именно у него и повезло: получил двенадцать, очень редкий балл. Друзья-«извозчики» устроили ему овацию. И он ощущал славу более, чем выходя на вызовы в театре Корша на премьере пьесы.)

Зато ученейший и старенький генерал по фортификации, кротостью больше походивший на монаха, подвергался беззастенчивым жульничествам. Правда, предмет его трудный. Хорошо ему, старичку в золотых погонах зигзагами, всю жизнь рисовавшему всякие брустверы да блиндажи: он-то их наизусть помнит, вероятно, во сне способен изобразить какое-нибудь «укрытие». А мы только укрываемся от разных репетиций... да и вообще, разве можно такую науку, инженерно-строительную, усвоить в четыре месяца?

Выход простой: самопомощь. Пока генерал грустно объясняет что-то слабым, как у ветхого священника, голосом юнкеру у одной доски, к другим доскам, где томятся два других юнкера, летят подкрепления: выдранные странички из лекций.

— Господа, прошу потише!

Бывает так, что стрела с подкреплением упадет у

самых ног генерала или он обернется в ту минуту, когда юнкер Гущин вслух читает бестолковому юнкеру Гундасову страницу учебника.

— Па-а-громче! Не слыш-но! Па-ажалуйста, па-а-громче!

Генерал страдальчески вздыхает:

— Господа, я принужден буду налагать взыскание...

Все вытягиваются, лица беспредельно постны, добродетельны. Ни в какие генеральские взыскания никто не верит. Но конец странички Гущин через несколько минут читает все же тише.

— Па-а-громче! — слышится от доски. — Пажа-алуйста, па-а-громче!

* * *

«Рождество Твое, Христе Боже наш, — пели в церквах, — воссия мирови свет разу-ума». Юнкеров распустили на три дня. В Дурновском была елочка. Мы с некою грустью прятались за ней от будущего — фронта, невдали уже рисовавшегося, всех раскатов, ужасов войны. Но многого не понимали и не различали еще в жизни. Мир же все не понимал «света разума», вернее, от него отрекался. Те же бойни шли, и сама родина наша, сама Россия и Москва близились к страшному рубежу.

Новый год встречали у друзей, в роскошной квартире близ Мясницкой. Ужин был мало похож на юнкерские. Воронежская хозяйка, тяжелого купеческого рода, блеснула жемчугами, угощением. Хрусталь сервировки, цветы, индейка, мороженое, шампанское, поляк лакей в белых перчатках, дамы в бальном, мужчины в смокингах... — прежний русский мир точно давал последнее свое представление: спектакль перед закрытием сезона.

Кроме приятеля моего, хозяина — европейского приват-доцента государственного права, — помню другого приват-доцента, анархического, помню еще кой-кого из всем известных московско-российских фигур. Но вот запомнился больше других в тот вечер Кокошкин, может быть, и потому, что не сразу меня узнал.

— Боже мой, вы... стриженый, в этой странной на вас форме...

Кокошкин был надушен, элегантен, кончики его усов, вздымавшихся полукружиями, слегка покачивались, когда нежнейшим платочком проводил он по ним. (Эти усы помню еще с университета, студентом, когда

у него держал экзамены.) Кокошкин остался все тот же, такой же культурно-нарядный, такой же московский «кадет», интеллигент, способный кроме государственного права поговорить и о музыке, о Вячеславе Иванове.

Говорили, конечно, много о войне. Розовый доктор Блюм, с серебряной шевелюрой, бодрый, веселый, все и всех знающий, явился поздно. Блестя глазами черносливными, вкусно выпил водки, закусил икрой, обтер салфеткой ус с капелькой растаявшего снега. Наливая вторую рюмку, благодушно кивнул мне и через стол чокнулся:

— Ура! За армию и за победу до конца!

Опрокинул рюмку, проглотил и засмеялся так раскатисто и весело, точно победить было ему нисколько не трудней, чем выпить эту водку.

— У меня самые свежие новости. Да, мы были на волоске, едва не заключили мира. Не забывайте, что императрица и вся партия ее... немецкой ориентации... Сепаратный мир, а? Как это вам понравится?

Он обвел всех взглядом ласково-победоносным.

— Сепаратный мир, когда Германия и до весны не продержится!

— А *вы* долго будете держаться? — спросил кто-то.

— Да, но позвольте, вам известно, сколько теперь вырабатывают в день шрапнелей на заводах?

Поднялся спор. Блюм так распоряжался шрапнелями и пулеметами, точно они лежали у него в кармане.

В двенадцать часов, разумеется, чокались, пили шампанское (за победу, за скорый мир, за всеобщее счастье — мало ли за что можно пить в веселую минуту, за обеденным столом, при ярком свете, хрустале, дамах, цветах?). Было шумно и, как всегда под Новый год, грустно-весело. Все же шла война. (За «серых героев» тоже, конечно, выпили.) Не все были так радостно-самоуверенны, как Блюм. Кой у кого сжималось все же сердце, смутным и волнующим щемлением.

...Мы вышли поздно. По Москве морозной, цепенеющей от холода, мчал нас лихач в Дурновский. Знакомые созвездия неслись над головой, в узких, знакомых улицах. На Лубянской площади у костра грелись извозчики. Думали ли мы тогда, *чем* будет впоследствии это место, этот дом Страхового общества?

Небо да тайна были над нами в канун года, так шумно встреченного Года, разбившего наши жизни, залившего Москву кровью. А Кокошкина, с его надушенными усами, приведшего к кончине мученической.

3

Первого февраля 1917 года старшая половина нашей роты вышла в прапорщики. Мы с завистью смотрели, как в колонную нашу залу натаскивали свежую обмундировку, офицерские шашки, фуражки, как вчерашние сотоварищи надевали более элегантные сапоги, получали великолепные револьверы-кольты. И неукоснительно, по движению стрелки произошла перемена: дружески с нами попрощавшись, обратившись в чистеньких, иногда даже изящных прапорщиков, внезапно исчезли. На их место в тот же час появились «фараоны», вполне еще «шляпы», такие же, как мы были два месяца назад, наполовину в штатском, растерянные, робеющие. Нельзя сказать, чтобы мы их цукали. Но даже «шляпы» декабрьские все же смотрели на февральских несколько сверху вниз. Их так же, как и нас, готовили к экзамену чести. Как «опытные» строевики, мы снисходительно давали им советы, учили, обдергивали топорщившиеся гимнастерки, заправляли пояса под хлястики шинелей. Вообще чувствовали себя господами.

Лично я, впрочем, в эти недели потерпел жестокое поражение. Хорошим строевиком я не был никогда, все-таки на третьем месяце юнкерства, казалось бы, должен был кое-что смыслить в командовании. Курсовые офицеры знали, что я писатель. Некоторые относились ко мне с подчеркнутой любезностью. Эта любезность однажды меня и погубила. Обычно вечером роту рассчитывали или фельдфебель (юнкер же), или «портупей» — юноши из самых ловких, залихватских, смелых. Поручик Н., желая оказать мне внимание, стоя перед фронтом роты, вдруг вызвал меня.

— Ну-ка, рассчитайте роту!

Под светом неярких ламп шеренга юношей — многие среди них приятели, с которыми вместе разбирали и чистили винтовки, другие — робкие новые «шляпы», еще не подтянутые и мешковатые. Расчет роты производился каждый вечер. Все команды как будто знакомы.

— Рота, смир-но!

Это-то я знал наверно. «Фараоны» с благоговейным ужасом подтянулись. Рота действительно затихла, обратилась в молодую, живую и неподвижную изгородь.

— На первый-второй рассчитайсь!

Тоже неплохо.

Как в заводной игрушке, головы поворачивались слева направо, и эта волна быстро, легко бежала с одного фланга к другому. Теперь надо раздвинуть взводы, вздвоить ряды, сделать еще какие-то мелочи,

повернуть направо и колонной двинуть вниз, в столовую.

Что со мной сделалось? Очень простая вещь. Я скомандовал так, точно бы сам находился в *строю,* а не *перед строем*. И все вышло наоборот, как в зеркале. Команда — магическое слово. С ней не спорят и ее не обсуждают. Взводы покорно исполнили, что им было приказано: «фараоны» с окаменелыми лицами полезли друг на друга, плечо на плечо: вместо того, чтобы раздвинуть роту, образовав промежутки, я обратил ее в бессмысленную кашу. Сразу все пропало! Погибла стройная фаланга, исчез ритм ее и эластичность. «Не так... что вы делаете!» — зашептали из строя приятели. «Фараоны» испуганно смотрели во все глаза: может, это они еще напутали... Офицер поправил меня. Но уже все было потеряно. Растерявшись, я и вновь неправильно скомандовал, опять вышла какая-то чепуха... Нет, под несчастной звездой все затеялось. Остальное Н. командовал уже сам.

* * *

Наступили морозы. Какие холода выпали на начало 1917 года! Стекла нашей роты промерзли, «пар от дыханья волнами ходил», мучительно умываться в шесть часов при такой стуже. И именно тут мы ходили в походы. В своем роде это и интересно. С раннего утра возимся с винтовками, одеваемся потеплее — башлыки, шерстяные варежки, прилаживаем сумки с патронами, веселой колонной выходим на Знаменку, рассыпаемся длинной шеренгой. Настоящий офицер, правильно командующий, строит нас в походную колонну, и мы трогаемся. То ли в Хамовники, то ли за Дорогомилово. Быстрая ходьба разогревает. А там из дымного тумана означится краснеющее над Москвой солнце, и покажется, что теплей, и московский снег, промерзший и певучий, скрипит под сотнями молодых ног. Похоже на прогулку, на какую-то игру. Прохожие оглядываются сочувственно. На каком-нибудь углу поджидают — кого жена, кого сестра, невеста. Машут платочками, смеются: эти приветы дорогих и близких всегда в нашем положении так радостны!

Взвейтесь, соколы, орла-ами, полно горе горевать...

Наша рота певучая. Какие бы мы ни были «извозчики», а поем действительно хорошо, и «жеребцы» нам завидуют. А под песню, даже на морозе, идти легче. По правде же говоря, длинный поход не так особенно и

легок: трудно с винтовками. Идти нам нужно стройно и красиво («бравые александровцы»), а для этого штыки должны торчать стойком и весело позванивать иногда, задевая один за другой. Нельзя винтовку просто положить на плечо: и безобразно будет, и, того гляди, выколешь глаза кому-нибудь. Значит, вся тяжесть винтовки на ладони, в которую упирается ложе, а штык — в небе. Рука устает. И очень устает. Правда, мы научились и ловчить: приноровишь петельку шинели и обопрешь на нее ложе. А рукой держишь только для декорации.

За городом рассыпание в цепи, перебежки, атаки, все это уже настоящий спорт, игра. По легкомыслию ли, по могучей ли, таинственной жизненности, вся эта молодежь, и даже «шляпы» не первой молодости, как-то забывали на пустырях Хамовников, на искрящемся снегом поле пред видом Воробьевых гор, куполов Новодевичьего, *что́ это за игра*, к чему, собственно, готовимся. Перебегали, залегали, хохотали в снегу... А тайными путями Провидения в те самые дни нарастали события, долженствовавшие все перевернуть.

С какого-то дня все же морозы прекратились.

Походы стали еще легче. И теперь ходили мы больше за Дорогомилово, под Фили — знаменитые Фили 1812 года, с Наполеоном, Кутузовым, победоносным нашим отступлением. Тут уже, в снегах лощин, лесочков, деревушек, сразу чувствовалась весна, и нередко теперь, с резким переломом погоды, легкие, прозрачные облачка веялись по голубому небу, шоссе вдруг темнело, рыжело, грачи появились... Как весело и радостно забиваться гурьбою в деревенский трактир — с разрумяненными лицами, широко дышащей грудью, пить из пузатых чайников чай с калачами, закусывать немудрящей колбасой — игра и охота продолжались перед самыми «событиями».

* * *

Скажи-ка, дядя, ве-едь недаром
Москва, спале-спаленная пожаром,
Французу отдана... Французу отдана.

Мы шли Арбатом, возвращаясь в училище. Роту вел красивый прапорщик Николай Сергеич.

— Ать-два, ать-два.— По временам он обертывался и шагал спиной вперед, на легких, молодых ногах. В первом ряду четыре портупей-юнкера маршировали резво-высоко, точно держа винтовки,— узкой лентой

колыхалась дальше рота, звякали штыки, отблескивая солнцем. Оттепельный, светлый день! Ноги шлепали по шоколадному, с голубыми лужами снегу Арбата. На углу Серебряного Николай Сергеич отдал честь жене моей, поджидавшей наш проход и шагавшей потом рядом с нами по тротуару... (приятели мои уже знали ее и тоже кланялись из строя: вещь не совсем законная, но сходившая с рук.)

На Арбатской площади мы немножко задержались: наперерез неслась пара в дышло. Снег и грязь летели из-под лошадей, кучер воздымался истуканом. Мелькнула полость, сани полицеймейстерские с высоченной спинкой, генерал в серой мерлушковой шапке, с золотым перекрещением на ней. Лицо его тоже пронеслось видением мгновенным... но что-то в нем особенное, совсем другое.

Не знаю, как, откуда к нам проникло *это*. Но лишь мы разделись, придя в роту, из уст в уста побежало:

— В Петербурге восстание!

Сразу все изменилось. То есть по видимости было прежнее, машина шла, но безумное волнение охватило всех сразу, и «шляп», и «портупеев», офицеров курсовых и батальонных, поваров и генералов. Выдержка скрывала еще новое, но не надолго...

В городе что-то происходило. Проходили по Знаменке кучки солдат, штатские, дамы, иногда нам махали с тротуаров, кричали. Мы выставили караул у входа. Нас никуда не выпускали.

Если не ошибаюсь, этот день еще прошел спокойно. Утром следующего дня меня вызвали с лекции вниз в приемную — необычайный случай: с лекции и в неурочный час... Там ждал родственник, профессор медицинский, с зеленым от волнения лицом.

— В Петербурге вчера убит Юра...

Прост и страшен был рассказ. Я его выслушал. Я его, кажется, и бессмысленно, сразу окоченев, выслушал. И потом все пошло призрачно. Сквозь Измайловский прощался с родственником, вернулся на лекцию — на лекцию-то все-таки вернулся. Да немного из нее вынес.

— Что с вами? — шептали соседи.

Юра был мой племянник. Полковник что-то дочитывал. Я сидел, закрыв лицо руками. В ушах слова о статьях полевого устава. В темноте с радужными кругами — мальчик, на моих глазах родившийся, на моих глазах выросший — изящный, скромный рыцарь. Только что кончил Павловское училище. Вышел в Измайловский полк. 27 февраля был дежурным в

полку — вот он в снаряжении, ремнях, с револьвером и шашкой, юношески стройный, с карими, веселыми, смешливыми глазами... Петя Ростов?

Когда чернь ворвалась во двор казарм, он *один* загородил дорогу. На предложенье сдаться отвечал отказом... так бы и Петя поступил. И тотчас пал.

Началась «бескровная», «великая бескровная» — суд над всеми нами, с непонятною таинственностью начавший с самых юных и невинных: ими сердца наши разивший.

* * *

Юра пал, как рыцарь, как военный. Самодержавный строй, его жизнью расплачивавшийся, сам валился стремительно — никто его не защищал. К вечеру войска двинулись в Москве на площадь перед Думою (кажется, присягать Временному правительству). В нашем училище электрически пронеслось и установилось такое душенастроение: против большевиков и *за* Временное правительство. За самодержавие никого, или почти никого, из юнкеров и молодых офицеров. Старые — другое дело.

Часов в шесть была сделана, по приказу Мрозовского, командующего войсками округа, последняя попытка борьбы. Нас выстроили в ротах, роздали винтовки, боевые патроны. Стало известно, что поведут «усмирять». Молнией пронеслось:

— В народ стрелять не будем!

Те часы в памяти остались огненными. В голове вертелась гибель и кровь Юры, предстоящая кровь, неизвестность, мучительная тоска, невозможность стрелять и возможность быть сзади расстрелянным из пулеметов за отказ повиноваться, ненависть к убийцам в Петербурге, и нежелание проливать кровь неубийц (как нам тогда казалось).

Тот самый офицер, что подвел меня своею любезностью в мирное (казавшееся столь далеким!) время, в боевом снаряжении вышел перед фронтом нашей роты. Рота уже не стояла так «смирно», как тогда. Под светом ламп штыки нервно покачивались у примкнутых к плечам винтовок. Он объяснил, куда идем.

Что-то задышало, заволновалось, начались «шевеления»... глухие слова, сначала неясные. Потом кто-то крикнул:

— Не будем стрелять!

— Юнкер, вы в строю...

— Мы не будем стрелять, господин поручик,— закричали с разных сторон.

Офицер еще сильнее побледнел.

— А вы знаете, что Москва на военном положении и что́ бывает за ослушание...

Но уж не мог сопротивляться он той буре, что неслась одновременно, электрически, по *всем* ротам. Строй потерялся. Штыки звякали, все кругом говорили. Взволнованные, раскрасневшиеся лица...

— Послать узнать в другие роты...

В величайшем волнении сам офицер ушел. Мы остались стоять. Что-то решалось, колебалось в старых стенах училища, с портретами государей, полководцев на стенах... Какие-то стены падали.

Через час нам велели разоблачиться. Никуда мы не вышли.

В таком настроении наши двенадцать рот не выведешь.

4

...На улицу нас так и не пустили, чтобы не подвергать опасностям. По-прежнему в передней стоял караул. На противоположном тротуаре толклись любопытные, студенты, дамы. Махали нам, как бы нас звали. Лекции и занятия все же шли. Вернувшись с ротного учения, встретил я в колонной зале юнкера Гущина. Веселый юнкер, со штыком у пояса, на ходу крикнул:

— Сейчас на улицу вашей супруге салютовали!

— Как так?

— А вон, взгляните...

У окна толпились юнкера. Махали носовыми платками, один кричал что-то в форточку.

— Она спрашивала,— объяснил Гущин,— живы ли вы и как здоровье. Ну, вот ей и ответили...

Особенную известность жена моя получила в эти дни за то, что первая дала знать в училище об аресте командующего войсками (генерала Мрозовского). В приемную к ней меня не пустили. Но в бутербродах ухитрилась она передать мне записку о Мрозовском,— это произвело у нас огромнейшее впечатление. В знак благодарности юнкера вывешивали ей теперь бюллетени о моем состоянии.

Подойдя, увидел я на оконном стекле приклеенный огромный лист бумаги. На нем усердно, крупно было выведено:

— Боря здоров.

* * *

Недолго продолжался наш нейтралитет. Тот самый вечер, что перебуровил всю Россию, проник и сюда. Само начальство наше перешло под власть Временного правительства.

Все помнят эти дни — ощущение стихии надвигающейся, все сметающей. Мне же особенно врезался один вечер в училище, первый после падения самодержавия. Обычно при расчете роты шеренга «извозчиков» пела «Боже, царя храни!». Офицеры и фельдфебели держали под козырек, все мы тянулись во фронт. Это считалось минутой торжественной.

Наступила она и в тот день. Когда надо было взять дружно, хором — раздалось всего два-три неуверенных голоса, по привычке.

— Отставить,— сказал высокий, худой ротный наш, с сединою, при «Георгии». Все замолчали. Странная, невеселая минута! Одиноко мы стояли. Сумерки наступали. Где-то вдали играла музыка. Екатерина, во весь рост, смотрела с овального портрета в глубине залы. Александр, насупротив, выставлял белые лосины, зачесанные височки. Николай скакал на коне. Гимна не пели.

Высокий ротный, с сединой и плешью, отирал платочком слезы.

* * *

А на другой день юнкера весело выбегали на мокрую в мартовском солнце улицу, месили сырой снег, прыгали через лужи — бежали в отпуск. И старый ротный, старый гимн, все это позади. Улицы бурлят народом, еще радостным и оживленным. Разочарований еще нет. Медовый месяц. Что же говорить, большинство наших нацепили красные банты: Временное правительство как-никак из революции ведь родилось. И все близкие — жены, сестры, матери — приблизительно так чувствовали.

Но дисциплину мы сохраняли. Помню, встретил я на Пречистенском старичка генерала, худенького, с красными лампасами, в кованых калошах. Он старательно обходил лужу на тротуаре. Бравый александровец, хоть и с красным бантом, стал, разумеется, перед ним во фронт, да так ловко, что треть лужи выплеснул на генералово пальто. Старичок горестно махнул рукой.

— Эх, юнкер, юнкер...

* * *

Новая жизнь началась и у нас, в старом, вековом дворце на Знаменке. Новая жизнь, с революцией пришедшая, состояла в том, что прежний, грознокрепкий строй вдруг обратился в некий призрак. О, мы вели себя благопристойно, с внешней стороны машина будто бы и двигалась. Но в самом этом движении появилась некая фальшь. Не было ощущения власти, неотвратимой силы, прежде смалывавшей... надо просто признать: лично, *для каждого,* стало в училище *легче.* (И если так произошло с нами, то что же стало с солдатами! Как же *им* было не хотеть революции!)

И начальство переменилось. Как не иным может стать начальство, когда сразу же роты выбрали свои комитеты и уполномоченные эти в любое время могли докладывать старику генералу, начальнику училища, о своих нуждах. Царство «шляп» начиналось. О, если бы я хотел выплыть, время подошло. Но и без всякого моего желания, только за то, что я писатель и «шляпа», выбрали меня и в ротный комитет и потом в «комитет семи» от всего училища — мы вошли в Совет солдатских и офицерских депутатов Москвы. Много интересней, разумеется, было заседать, вместо лекций, в какой-нибудь *для нас отведенной* аудитории или ехать в Политехнический музей на общее собрание Совета. Или идти депутацией к нашему генералу, просить о каких-нибудь послаблениях (о «подтягивании» никогда мы не просили) — и при всей внешней почтительности нашей все же генерал смущался... и никак не мог взять тона: что мы, подчиненные его, или он нам в чем-то уже подчинен? Мы старались, разумеется, быть мягче и приличнее, но за спиной нашей «ловчилы» уже действовали: старый, тяжеловесный и суровый строй военный отступал.

По-прежнему ходили мы в походы, были даже на параде на Красной площади, по-прежнему учились стрельбе в тире и разбирали проклятый пулемет (понять устройство коего невозможно). Но все это было наполовину игра, «нарочно».

* * *

Важное, или важным лишь кажущееся, надвигалось так же неотвратимо, как в свое время минута погружения в училище.

...Последние дни нашей жизни на Знаменке были легки, несколько и ленивы, занятны. Помню московскую весну, свет, лужи, огромный офицерский магазин на Воздвиженке, куда ходили мы примерять новенькие френчи, фуражки с офицерской кокардой, шинели. А потом все это волокли к нам в роту. Лекции уже окончились, мы валялись по койкам, вновь мерили, охорашивались, сравнивали револьверы, пробовали острия шашек,— возраст наш сразу понижался до полуребяческого, несмотря ни на какие погоны. В эти же дни шло медленное, но тоже непрерывное возвращение к жизни обычной: точно бы просыпался после четырехмесячного сна с удивительными сновидениями (команды, марши, трубы, походы...). В эти светлые весенние дни, лежа на своей койке, опять я читал, как обычный человек и истинная «шляпа», нечто глубоко невоенное, совершенно здесь не подходящее, что, однако, уводило в некий иной, романтический мир: «Воображаемые портреты» Уолтера Патера (в переводе Павла Муратова) — и светлый опал с нежным сиреневым оттенком дней московских, дней весенних, сливался с обликами Ватто, пейзажами дальнего Оксерра. Эта смесь поэзии и странной жизни вокруг и тогда волновала, и теперь о ней вспоминаешь с удивленным чувством.

1-го апреля обратились мы в нарядных прапорщиков армии, дни которой и вообще-то были сочтены. Обнимались, прощались весело и грустно. Выходили все в разные полки. Будущее было загадочно и неясно — судьба наша недостоверна. И действительно, веером разнесло нас, кого куда. Из всех полутораста своих сотоварищей по роте лишь одного довелось встретить мне за пятнадцать лет.

...На моих новеньких погонах стояла цифра 192-й запасный пехотный полк Московского гарнизона.

ОФИЦЕРЫ

(1917)

1

...Казармы — вблизи Сухаревки. Огромный двор, трехэтажные корпуса, солдаты, слоняющиеся без толку,— кое-где вялый подпоручик строит взвод, пытается заняться учением. Офицеры, изредка пересекающие двор,— больше в канцелярию или в столовую. Ненужное, скучное, бестолковое... пока еще мирное, но уже в

себе искры таящее. Такой же сумбур и снаружи, вокруг знаменитой башни Сухаревской, пристанища чернокнижника Брюса. Базар, суета, солдаты, квас, палатки, семечки.

Вернувшись из деревни, надеваю парадную форму, со всеми портупеями и крестообразными ремнями, чищусь, подтягиваюсь, отправляюсь представляться полковому командиру.

Часам к десяти собираемся мы, пять-шесть прапорщиков, в небольшой комнате, светлой, носящей еще следы старой, налаженной жизни — приемная полкового командира. Скоро вышел и он. Мы вытянулись, поочередно представились... Вспоминая лысого старичка с большим лбом, вижу его как бы на сцене: не то из «Трех сестер», не то из другой чеховской вещи. Во всяком случае, это чеховский человек. Он радостно, как родным и близким, пожимал нам руки. Кажется, это был генерал-майор, с седыми бачками, в сюртуке с эполетами и с красными лампасами (теперь иногда таких показывают в русских фильмах).

— Александровского училища? Так, так-с, прекрасно. Отличное заведение... Надеюсь, будем в согласии работать. Времена трудные, господа, вы сами понимаете, требующие особенного такта, осмотрительности...

Из окна виден двор. Солдаты шляются по нем, иногда в обнимку, другие висят на подоконниках, курят, плюют, лущат семечки. Такой же двор, вероятно, был и в Измайловском полку, когда туда ворвались (тоже лущившие семечки) и убили Юру. Мы многое понимаем и без старенького генерала.

Он отпустил нас с лучшими пожеланиями. Понимаю его. В нашем облике, тоне, почтительности чувствовал уголок своего. Мы не обидим. Не нагрубим — тонкая пленочка, еще отделяющая его от семечек.

Возвращаясь домой, остановился я на Сухаревке, ждал трамвая. В сутолоке базара случайно взглянул на лоток, где лежали разные мелкие вещи: гребни, шкатулки, бусы. Среди них небольшая деревянная икона, без оклада, старинного письма. В середине Ангел-хранитель, в белом с золотом, с округлым, чуть припухлым лицом рублевского типа. Слева Николай Марликийский, справа св. Татиана. (Редкая по сюжету композиция 17 века.)

Татьяна — это Пушкин, Москва. Имя моей матери, моей сестры, с детства как бы священное. На перекрестке жизни, в нищете и убожестве сухаревского рынка предстала мне св. Великомученица.

...Через несколько минут я вез икону, тщательно завернутую, к себе на Долгоруковскую. И она вошла в дом мой в первые месяцы страстей России.

* * *

Так началась в Москве офицерская моя жизнь. На юнкерскую вовсе не похожая. Там напряженность, дисциплина, труд, здесь распущенность и грустная ненужность. Война еще гремела. На Западе принимала даже характер апокалипсический. У нас вырождалась. Мы уже не могли воевать, мы — толпа. Это чувствовалось и в тылу. В Москве тоже делали вид, что живут, обучают солдат и к чему-то готовятся. В действительности же...

Я поселился в особняке у друзей. Старинный купеческий дом, фасадом на Сущевскую, двором на Долгоруковскую. У меня отличная комната. Для работы огромный кабинет, рядом пустая зала, по которой взад-вперед можно ходить без устали. Блистающий паркет, фанера на стенах, лукутинские табакерки и коробки, жара, солнце и пыльная улица за окном с церковью Казанской Божией матери (где некогда я венчался).

Служба... Состояла она в том, что по утрам надо ехать в казармы. Там решительно нечего делать, при всем желании. Бездельничали и солдаты и офицеры. Смысл поездок этих только тот, что в полдень в офицерском собрании, там же в казармах мы и завтракали. А после завтрака Сухаревка, трамвай, и к себе на Сущевскую.

Но одних суток все-таки и мне не забыть: меня назначили дежурным по полку. Опять снаряжение, ремни, портупеи, теперь и заряженный револьвер. Весь полк на твоей ответственности... А уж какой это теперь полк!

Около полудня спустился я с какой-то лестницы во двор казарм. К великому моему удивлению, там стоял хорошо построенный взвод, со старым фельдфебелем. К моему окончательному изумлению, при моем появлении взвод взял на караул — винтовки тяжело, но правильно взлетели, штыки блеснули — военный театр первого сорта. И на приветствие мое караул ответил совсем по-старорежимному:

— Здравия желаем, господин прапорщик!

Начался «день в караульном помещении»...

Что я там делал? В своем вооружении («до зубов») сидел в нечистой комнате с клеенчатым диваном у

столика. Подписывал какие-то бумажки, пил чай. Бессмысленно смотрел на проходивших, спрашивавших, можно ли послать ефрейтора туда-то, делать то-то, разрешить отпуск тому-то, сделать то-то на кухне. Если бы был властолюбив, вероятно, все запрещал бы. Но я взял иную линию: все можно. Если угодно, это линия отчаяния: ни в одном распоряжении своем я не мог уловить смысла. Что надо делать на кухне? Как поступить с ефрейтором Ничипоренко?

Ночью «камера» моя обратилась просто в полицейский участок. Беспрерывно ловили на Сухаревке дезертиров, жуликов, воров,— пред столиком моим проходили типы с чужими сапогами под мышкой, кое-кто уже с синяками, какие-то мальчишки, солдаты с фантастическими документами... Царь Соломон, разреши, кого куда? В преддверие Ада или в нижние круги?

Меня выручил тот же фельдфебель, что утром так отлично отсалютовал. Я его взял на ночь «техническим экспертом».

— Этого сукина сына, ваше благородие,— шептал эксперт,— прямо на гауптвахту.

— У того, с заячьей губой, документ отберем.

Вводят лохматую «косую сажень» с подбитым глазом, растерзанного, в солдатской фуражке: стащил чуть ли не тюфяк.

— Энтого, ваше благородие, прикажите в комиссариат...

Часам к трем ночи в окне бледно зеленеет. Выхожу на двор, курю. Нежное предутреннее небо, тающий, знакомый узор милых звезд, таинственные дуновения ночные. Сладок дым папиросы на чистом воздухе майскою ночью! Неужели я писал когда-то книги? Неужели и сейчас в столе на Сущевской лежит начатая рукопись «Голубая звезда»?

Опять ведут дезертира. Этот, пожалуй, украл всю полковую кухню? Папироса докурена. Начинается суд. Клеенчатый диван, спертый воздух, нечистота... Нет, всю жизнь прослужил я в полицейском участке.

* * *

Все-таки некоторые полки уходили на фронт. Как, кому удавалось уговаривать на это странное предприятие? Но сами мы с женой провожали 193-й пехотный на Днестр. С ним уезжал пасынок мой, прапорщик Алеша С. (впоследствии большевиками расстрелянный).

...Знойный, блестящий день, платформа где-то у

Ходынки, товарный поезд с вагоном второго класса для офицеров. Толпа солдат с гиканьем, песнями валит в вагоны. Круглое, в пенсне, лицо Алеши, нервно смеющегося, бегающего по платформе, на ходу целующего руки матери.

— Ты, мама, не волнуйся... Какая теперь война, просто сидение в окопах...

Ни одна мама мира не утешится такими утешеньями — да станут ли ее и спрашивать? Идет стихия, буря, судьбы российские решаются — приходится тащить таинственные жребии. Мать дала ему на войну иконку — Николая Чудотворца — да по-женски плакала, когда уходил поезд, весь в серых шинелях... и оркестр играл:

По улицам ходила
Большая крокодила...

О, знаменитая музыка революции, Блоку мерещившаяся,—«Большая крокодила»...

Юношеское лицо в пенсне, конечно в слезах, виднелось из окна вагона. Белый платочек, да ветер, да солнце. Скоро и мой черед.

2

...В конце мая 192-й пехотный полк выступил в лагерь. Май стоял чудесный. Солнце, тепло, сады московские залились зеленью... Кое-как выстроили полк, даже музыка появилась, песенники. Офицеры в снаряжении — через всю Москву повели мы своих «серых героев» на зеленую дачу. Не так много в строю их и было: остальные предпочитали слоняться по городу, вечерами флиртовать в Александровском саду. Да и те, кто шли, делали нам великое одолжение: в сущности, с полудороги (если бы надоело) могли они разбежаться вполне безнаказанно: нам бы оставалось лишь доказывать им, что в лагере лучше, чем в казармах.

Впрочем, и действительно лучше. Ходынский лагерь очень приятен. Слева Петровский парк, весь свежий и густой, крепкозеленый. Прямо — Москва с золотым куполом Христа Спасителя, знаменитое поле, некогда трагическое, а теперь мирное, поросшее травкой — тропинки по нем протоптаны солдатами. Лагерь окопан канавой — это опушка леса, и все палатки под деревьями. Похоже на дачное место для военных. Роты

размещаются по участкам. Приезжают кухни, обозы, начинается извечное военное хозяйство.

Нам, троим младшим офицерам роты, отвели небольшой домик. Мы там устраиваемся «приблизительно», лишь толстый немолодой прапорщик латвийского происхождения будет здесь ночевать, а мы каждый вечер домой.

Ротный Л. у нас милейший. По профессии певец, с недурным баритоном и левых устремлений — эсер. Но не «шляпа». Высокий и стройный, веселый, отлично командует, верит в республику и победу соединенных армий. Верит, что нравственным влиянием можно поддержать дисциплину и в наше время.

— Работать надо, господа, дело делать, а не опускать носы. Только этим мы и сможем одолеть анархию и большевизм. Вот вы, например (обращаясь ко мне): вы писатель, надо завести собеседования с солдатами, объяснять им необходимость войны до победного конца, чтобы они, знаете ли, поняли ту высокую цель, из-за которой мы боремся... подумать только: германский империализм! Ну, да что мне вас учить, сами найдете нужные слова.

Грех мой состоял в том, что тогда я писал для одного издательства брошюру о необходимости войны «до победного конца». Л. знал об этом. И считал меня самым подходящим для таких бесед.

Мы их устроили. Тут же, под березами и осинками лагеря. Никак это не походило на митинги, скорее на семинары. О войне говорили, но мало: тема быстро исчерпалась. Разговор же шел, и оживленно — о деревне, жизни, о литературе. Кое-что я им читал: Толстого, Гаршина. Не знаю, имело ли это смысл и достигало ли какой-нибудь цели. Но в памяти остались некоторые солнечные утра на Ходынке, десятка два-три молодых солдат, сидящих и полулежащих на траве, чтения наши и разговоры. Некоторые из солдат глядели со вниманием и любопытством. Некоторые, казалось мне, даже с сочувствием. Трудно определить, каким кажешься. Приблизительно так представляю себе их впечатления:

— Разумеется дело — барин, и в свою сторону гнет. Книжки читал, рассказывает по-печатному.

Вмешивается пожилой ефрейтор:

— Теперь прапорщик пошел лядащий. Одна видимость. Бывало, как Михаил Михайлыч выскочит, да как гаркнет: «Вы что тут, сукины дети, лежебоки, прохлаждаетесь»,— даже в середке похолодеет. Это были военные люди...

— Теперь, дядя, другие времена. Слабода!

Ефрейтор крутит цигарку.

— А коли слабода, так на кой хрен мы тут? Война-война, до победного конца... Я, братцы мои, порядки знаю. Перемышль брал, в руку ранен. Да. А с такими кобелями, как вы, какое мы войско? Нас немецкие бабы в плен возьмут.

Пристает рыжий большевик, с веснушчатым лицом.

— Вы, товарищ, несознательный... Это, конечно, прапорщик, как он помещичий сын, то о войне и рассуждает по-буржуйски. А нас, ежели на фронт пошлют, мы тотчас братание в окопах устроим...

— Гаврюха, ты куда мою рубаху повесил?

— И даже ничего ее не трогал...

— Вот сукин кот! А мне вечером в город.

Ефрейторская цигарка едко курится. По Ходынке, в летнем зное, вяло бредут несколько солдат. Здесь, в тени, и то жарковато.

— До победного конца! Какие теперь ахвицеры!

* * *

Я знал, что еще в марте были предприняты шаги для перевода моего в артиллерию. Куда-то жена ездила со знаменитым москвичом, что-то налаживала, хлопотала. Но шли месяцы, не было ни ответа ни привета. Войска же понемногу шли на фронт. Наш черед приближался.

Ротный Л. вызвал нас троих в канцелярию.

— Господа, завтра смотр. Приезжает командующий войсками, всё как полагается. Прошу показать роту нашу образцово... и вообще,— он улыбнулся,— не ночующим в лагере — не опоздать! Да, трудное время (он напустил на свое худощавое, бритое лицо серьезное выражение), но упорство и культурная, демократическая работа в армии преодолеют анархию. Твердо верю! Надеюсь на вас, господа. Надеюсь.

Мы поклонились. Через четверть часа ротный плескался в умывальнике, приятным баритоном напевал:

— О, дайте, дайте мне свободу, я свой позор сумею ис-ку-пи-ить, верну я че-сть свою и славу! И Ру-усь от недру-гов спасу!

Может быть, и взаправду, командуя своей ротой, рассчитывал веселый Л. спасти Россию, как, может быть, мечтал о том же и Верховский, молодой генерал, тоже из эсеров, командующий войсками округа.

«Кто штык точил, ворча сердито»... нам Бородинского сражения не предстояло, и штыка я не точил,

все-таки шашку с вечера осмотрел — главное: легко ли вынимается из ножен. И опять не для того, чтобы рубить головы, а чтобы салютовать авантюристу Верховскому.

Встал на другой день пораньше, приоделся и в седьмом часу ждал на перекрестке Бутырок трамвая к «Трухмальным». Все прошло правильно. Приехал загодя — видел свежий, зеленый утренний лагерь (по правде сказать — впервые так рано). Л. был нервен, оживлен. Даже кого-то распекал, с театральными переливами баритона. Солдаты тоже подтягивались. Смотр — это большое развлечение.

Что после Толстого скажешь об этом военном зрелище? Откуда взять Кутузовых, Багратионов, Ростовых, Болконских? И «серые герои» наши — не павлоградцы и не апшеронцы: все-таки, сколько могли, мы выстроили их, по опушке вдоль лагеря. Как водится, долго стояли «вольно», а потом увидали группу всадников, на рысях шедших к нам по Ходынке (Наполеон! Александр!). До Александра далеко, всего-навсего Верховский со штабом. Заиграла музыка, полк взял на караул. Наш лысый старичок, в мундире, орденах, трепеща, рапортовал командующему. Бедный, трепетал только он один. Солдаты равнодушно зевали. (Замечательно, что еще удосужились взять на караул: вероятно, потому, что командующий тоже делил землю.)

Верховский, фатоватый, театральный, явно кокетничавший перед «героями», покачивался на седле высокой, худой кобылы. «Я человек новый, энергический, я этих протухших генералов подтяну...»

С нашим генералом был небрежен, просто груб. Ехал вдоль фронта рысцой, а полковой командир почти бежал за ним, по жаре, пыли, а тот бросал короткие, надменные замечания. (И верхом-то ехал, только чтобы унизить старика, обливавшегося потом. Отлично мог пройтись пешком, да и лучше разглядел бы солдат.) Кончилось же все митингом, как полагается. Для такого случая соблаговолил Верховский даже слезть с лошади. Взобрался на какой-то стол или пустую бочку и начал ораторствовать.

«Апшеронцы» и «павлоградцы» побросали винтовки, сбились в кучу вокруг «товарища командующего». Резким, неприятным голосом выкликал он знакомые шаблоны.

Вечером большевики устроили свой митинг. Там уж не стеснялись.

* * *

Итак, полк наш считается готовым. Не сегодня завтра чудо-богатыри с «железными» офицерами выступят... мокренько останется от австрийцев при одном нашем приближении.

...Сереньким июньским утром подали мне на Сущевский пакет-распоряжение штаба округа. Прапорщик 192-го полка такой-то переводится в Первую запасную артиллерийскую бригаду.

С этой бумагой поехал я в полк. Дождичек покрапал на Ходынке, завешивая дали легкой сеткой. Березы вкусно пахли. Солдаты попрятались. Вблизи ротной канцелярии попался Л. Увидел меня, улыбнулся.

— Вас отчислили. В артиллерию.

— Вот, только что получил назначение.

— Что же, поздравляю. А знаете, наш полк завтра выступает. Вам повезло.

И протянул приказ: действительно, назавтра 192-му уходить на позиции.

«Повезло!» Да, конечно. Это судьба называется. В книге ее было записано, что такому-то прапорщику-«шляпе» *не* воевать. Так и вышло. И потому за него хлопотали, и месяцы пролежало все без движения, в нужную же минуту таинственная рука протянулась...

— Не ехать.

Все-таки было смутное чувство. Точно бы я все подстроил. Пошел к себе в домик, где стояли походные наши постели, прощаться с латышом и К. Они меня тоже поздравляли. И тоже, как Л., не совсем искренно.

За походной постелью, памятью Александровского училища, собирался приехать на извозчике... Да пока собирался, и полк ушел. А постель, разумеется, стащили.

3

...Некогда слушал я лекции в Горном институте, теперь это пригодилось. В прошлом студент Высшей технической школы: явно, быть ему в артиллерии. Пусть от всей горной мудрости осталось только то, что кристаллографию понять нельзя. Все-таки для военного начальства я бывший техник. Значит — Первая запасная артиллерийская бригада.

Ее казармы недалеко от Ходынки. Но все здесь

иное. В лагере зелень, природа, некоторая улыбка. Казармы — как бы военный поселок. Фабрики и казармы — ярчайшие облики некрасоты мира (впрочем, еще больницы, тюрьмы).

Если бы наши казармы обнести стеной, была бы типическая тюрьма — красные корпуса с запасными окнами, с грязью на дворе, ленивым движением фургонов, подвод, солдат с верховыми лошадьми в поводу. Но в тюрьме должен быть порядок. Мы же — в священно-освободительной анархии. Наша жизнь прямое продолжение Сухаревки.

Собираемся в десятом часу в офицерской комнате. Здороваемся. Пьем чай. (Некие солдаты, денщикообразного состояния, еще подают его.) Читаем газеты. Мухи жужжат на грязных окнах, ползают по грязной скатерти. Если отворить дверь в коридор, там шмыгают писаря с разными записками, бумажками для канцелярий.

— Прапорщик, читали, что в Петербурге делается?

— Да, большевички работают.

— Погодите, скоро и у нас начнется.

Но у нас, собственно, начинался только в полдень завтрак: разумнейшая часть программы. Завтрак тоже казарменный, скучный, но питательный. Белобрысые типы подают тарелки щей, вареную говядину... Клеенка в хлебных крошках, в кругообразных подтеках щей под тарелками.

— Поручик, передайте, пожалуйста, горчицу.

— Я бы этих большевицких болтунов давно перевешал.

Толстый, неповоротливый прапорщик настроен грозно. Успел ли бы он?.. Похоже, что его предупредили бы в этом намерении.

* * *

Приятно-детская сторона новой жизни: форма. Она элегантней. Вместо тяжелой шашки кортик. На ногах краги. Главное же шпоры!.. Летний московский вечер. Выходишь из квартиры на Сущевской, идешь по Долгоруковской в Литературный кружок. В летней полумгле зеркальные окна, тихая библиотека, веранда, востряковский сад, столиками уставленный, зелень. Сиреневозеленоватая ночь спускающаяся. На веранде картежники. Приятен свет свечей под колпачками! В саду фонарики — похоже на какой-то летний праздник. Боскеты (фантастические в ночном свете), листья, мелкий гравий, олеандры в кадках.

Знакомых в Москве много. Шпоры позвякивают. Голубые звезды на небе. Холодная бутылка белого вина. Как далеко это от Александровского училища!

* * *

Все-таки начинается и вновь учение. Для пяти-шести прапорщиков из пехоты устроены занятия. Три раза в неделю поручик Н. водит к орудиям — в поле, за казармы. Пушки глядят на Ходынку. Из Петровского парка тянет свежестью леса, полей. Н. объясняет устройство затвора, приемы наводки. При всей своей «шляпности» слушаю с интересом. Нечто добропорядочное, прочное в стройной, слегка полной — несмотря на молодость — фигуре Н. Бедного нет уже в живых. И его, и двух его братьев, должно быть, таких же прямых и славных юношей, через несколько месяцев расстреляли большевики.

Обучали нас и верховой езде. Я с детства хорошо ездил — теперь считал эту науку скучноватой. Все-таки для порядка приходилось делать круги рысью на нескладной артиллерийской лошади.

С верховою ездою связано и решающее событие «военной» моей жизни.

Вот о нем воображаемая запись:

«*12 июля.* В понедельник назначен под Архангельское с солдатами и лошадьми батареи в ночное. Когда-то, ребенком, занимался этим. Что же, пусть и взрослым... Во всяком случае, прогулка верхом за двенадцать верст, ночь в палатке, бивуак, природа. Ничего дурного не вижу. Получше одеться. Взять книгу. Что именно? Марка Аврелия «Размышления». Всегда любил.

15 июля. Оказалось даже лучше, чем предполагал. В три явился в бригаду — в шинели, снаряжении, на этот раз даже с шашкой. Вот теперь со шпорами надо осторожней — с непривычки можно раздражать ими зря лошадь. Ординарец привел вороную высокую кобылу. Рысь у нее редкая, грубоватая, но неплохая. Тронули сразу полным ходом. Хорошие места. Подмосковные. Леса, долины, извивы Москвы-реки. Не зря баре наши любили этот край. Их следы остались: Архангельское, Ильинское, дальше, к Звенигороду, имение графа Гудовича. Тут и дороги хорошие, и деревни зажиточные. Солнце, приятный вечер. Наливающиеся овсы, кое-где рожь убирают уже — что может быть лучше крестцов ее в поле, возов поскрипывающих, загорелых девок и баб, под вечерним солнцем, при небе стеклянно-голубом над синим лесом?

Жарковато одет: под шинель уговорили надеть кожаную куртку — ночи, мол, холодны. Очень распарился.

...Через час приехали. Все прошло благополучно. Шпоры не мешали (не забыть, с детства, покойного отца наставления в езде: «Береги носки! Опять носки врозь!»). Да, тут уж настоящий бивуак, не Ходынка. Сосновый лес, в нем палатки, костер, кухня, фуры... Сквозь деревья видна луговина, там пасутся стреноженные лошади. Верно, где-нибудь и в Галиции так же, только впереди окопы. У меня отдельная палатка — маленькая, но приятная. Постель походная, все как следует. В чем же моя служба? Кажется, в том, чтобы просто *присутствовать.* «Стеснять собою солдат». Верный ли это расчет? Бог знает. Он основан на том, что у пожилых ефрейторов, фельдфебелей сохранилось еще некоторое отношение к погонам.

— Все-таки неловко при прапорщике...

Мог ли я что-нибудь приказать? Настоять, заставить сделать? Forse che si, forse che no*. К счастью, ничего и не приходилось приказывать. Солдаты приглядывали за лошадьми, подбрасывали в огонь еловых шишек, кипятили воду в котелке. Когда солнце закраснело у горизонта, спели хором. У меня с ними такие отношения: пассажиры одного и того же поезда. Друг с другом довольно любезны — и безразличны. В одном вагоне проведем ночь, утром, в Саратове, выйдем на станцию, чтобы никогда больше не встретиться.

Пока было светло, читал сидя на пенечке, своего Марка Аврелия. «Судьба загадочна, слава недостоверна»... Писано это тоже в палатке, в какой-нибудь дикой Паннонии, Дакии. И как волнуют слова, две тысячи лет назад нацарапанные холодным зимним вечером, при свете факела... Слово, великое наше слово!

На закате вышел на луг. Туман по нем зароился. Красная заря гасла над Архангельским. Недалеко Барвиха, где случалось бывать ранее.

Долго сидел на поваленном дереве. Туман все более стелился. Лошади в нем позвякивали бубенцами. Так вот будешь скоро сидеть где-нибудь на Днестре и ждать смерти. «Судьба загадочна»... И одиноко человеку перед вечными звездами, в неверных испарениях родной земли. Думаешь о близких и любимых, одиночество еще острее.

...Все что-то холодно. Слишком распарился в доро-

---

* То ли да, то ли нет (*ит.*).

ге, вот и прохватывает. И в палатке лег, укрылся, а согреться не могу. Удивительный воздух! Лес, хвоя, такой чистейший смоляной настой... Волнение — поэтическое, радостно-грустное, мешает спать. Раза два встаю, в шинели выхожу из палатки. Солдаты спят. Костер догорает. Теперь с пофыркиванием лошадей в темноте, за кругом света, озаряющего лишь недалекие деревья, да фургон, да храпящих — весь бивуак наш, под черным шатром сосен, похож и на привал разбойников. Только не хватает землянки Дубровского.

Сквозь просвет дерев в небе звезды — милые мои...

20 июля. Нынче утро провели у орудия. Н. разбирал затвор. Нездоровится. Кашляю. Порядочный ветер. Кашель мешает сосредоточиться.

23 июля. Кашляю, голова болит.

25 июля. Приехала жена из деревни. Вид у меня мерзейший. Кашляю и хриплю так, точно в груди плохой граммофон.

26 июля. Вот она и поэзия, и лес, и Марк Аврелий. Зря надел кожаную куртку, только распарился и ночью промерз. Кашляю уже кровью. Доктор выслушал — воспаление легких, гриппозное и сильнейшее, запущенное. Лежу весь в компрессе. Противно, но тепло. Близкие, разумеется, в ужасе. Особенно кровь их пугает. Но врач объяснил: при воспалении легких всегда так. Полагается».

* * *

Вспоминая свою военную «деятельность», не могу не улыбнуться. Но и задумываюсь. Ничто в мире зря не делается. Все имеет смысл. Страдания, несчастия, смерти только кажутся необъяснимыми. Прихотливые узоры и зигзаги жизни при ближайшем созерцании могут открыться как небесполезные. День и ночь, радость и горе, достижения и падения — всегда научают. *Бессмысленного* нет.

Тот странный, «военный», год мой (при всей незначительности его, объективно) имеет тоже свою философию. Вот почему я не только на него улыбаюсь: он некое звено в моей судьбе. «Хочешь делить с другими бремя войны, опасностей? Хочешь идти в самое пекло, пехотным офицером на фронт? Что же, пробуй».

Военная жизнь, ее суровость, дисциплина настоящей *армии* были показаны, как показано и разложение. Но как только подходило к *действию*, в котором мог бы принять участие, невидимая рука отводила.

Я не попал на фронт — ни пехотинцем, ни артиллеристом,— хоть именно мои товарищи в бригаде скоро и уехали туда. «Случайная» болезнь, едва не разыгравшаяся в бурный туберкулез, вывела вовремя из строя. В сентябре бригадный врач дал мне шестинедельный отпуск. В последние его дни, когда я жил в деревне, разразилось октябрьское восстание. Мне не дано было ни видеть его, ни драться за свою Москву на стороне белых.

— Нет, не нужно. Нет, не то.

И опять та же рука, что показала военную жизнь, как бы дав ощутить (но издали, со стороны) иное, чего как раз и не хватало в прежнем опыте, повела далее: не путем воина.

IV

МОСКВА 20—21 ГГ.

Убогий быт Москвы, разобранные заборы, тропинки через целые кварталы, люди с салазками, очереди к пайкам, примус («Михаил Михайлыч, верный мой примус!»), пшенка без масла и сахара, на которую и взглянуть мерзко.

Именно вот тогда я довольно много читал Петрарку, том «Canzoniere» в белом пергаментном корешке, который купил некогда во Флоренции, на площади Сан-Лоренцо, где висят красные шубы для извозчиков и бабы торгуют всяким добром, а Джованни делле Банде Нере сидит на своем монументе и смотрит, сколько сольди взяла с меня торговка. Думал ли я, покупая, что эта книга будет меня согревать в дни господства того Луначарского, с которым во Флоренции же, в это же время мы по-богемски жили в «Corona d'Italia», пили кианти и рассуждали о Ботичелли?

Да, но тогда времена были в некоем смысле младенческие.

...А вот наше Studio italiano. В Лавке писателей вывешивается плакат. «Цикл Рафаэля». «Венеция». «Данте». Председатель этого вольного учреждения — П. Муратов. Члены — Грифцов, я, Дживелегов, Осоргин и др. И мы читаем в аудитории на углу Мерзляковского и Поварской, там были Высшие женские курсы. В дантовском цикле у нас и «дантовский пейзаж», и Беатриче, и политика, Дантова символика. Мне назначили лекцию, открывавшую цикл.

На зимних курсах бывало в нашей аудитории холодно! Дамы и барышни, да и другие слушатели сидели в шубах. Вряд ли когда-либо, где-либо, кроме России, при такой обстановке шли чтения.

Но сейчас апрель, влажный весенний вечер. Как и в дни мира, арбатское небо к закату, к Дорогомилову затянуто нежно-розовыми пеленами. Можно из Кривоарбатского идти в Мерзляковский даже не сплошь по

Арбату, а в Серебряном повернуть у церкви направо, и пройдешь среди развалин уничтоженных заборов, развалин фундаментов, «римским форумом», как я называл, к Молчановке. Прямо к тому старому барскому дому, с мезонином, где — в столь отдаленные времена! — жил я студентом, дышал тополем, светом, милой Москвой. Дом еще держится, тополя уже нет.

Итак, иду читать. Для этого надо бы купить манжеты, неудобно иначе. Захожу в магазин. В кармане четыре миллиона. Манжеты стоят четыре с половиною.

Ну, почитаем и без манжет.

Сиреневый вечер, мягкий туман, барышни, пожилые любители Италии, кафедра, все как следует. Моральный и аллегорический смысл «Божественной комедии», Данте в Падуе, Орделаффи... В окне апрельский, влажно-грустный вечер. Аплодисменты, бледное электричество, друзья... и над убогой жизнью дантовский Орел, подобный виденному у венца Афона. Прореял — все к себе поднял.

ДАНТЕ У СКИФОВ

1. На половине странствия нашей жизни
Я оказался в некоем темном лесу,
Ибо с праведного пути сбился.

2. О, сколь трудно рассказать об этом
Диком лесе, страшном и непроходимом,
Наводящем ужас при одном воспоминании!

7. Так он горек, что немногим горьше
его смерть.
Но дабы помянуть о добром, что я там
нашел,
Скажу сначала об ином, замеченном в нем
мною.

Что, если бы теперь Данте явился на Кисловках и Арбатах времен «великих исторических событий»?

Он жил в век гражданских войн. Сам был изгнанником. Самому грозила смерть в случае, если бы ступил на родную землю, флорентийскую (сожгли бы его — igne comburatur, sic quod moriatur). «Божественная комедия» почти вся написана в изгнании.

Данте не знал «техники» нашего века, его изумили бы автомобили, авиация и т. п. Удивила бы открытость и развязность богохульства. Но борьба классов, диктатура, казни, насилия — вряд ли бы остановили внимание. Флоренция его века знала popolo grasso (буржуазия) и popolo minuto (пролетариат) и их вражду.

Борьба тоже бывала не из легких. Тоже жгли, грабили и резали. Тоже друг друга усмиряли.

Четыре года назад профессор Оттокар, русский истор к Флоренции, выходя со мной из отеля моего «Corona d'Italia», показывая на один флорентийский дом наискосок, сказал:

— В четырнадцатом веке здесь помещался первый совет рабочих депутатов.

Было это во время так называемого «восстания Чиомпи», несколько позже Данте, но в его столетии. Так что история началась не со вчерашнего дня.

Некрасота, грубость, убожество Москвы революционной изумили бы флорентийца. Вши, мешочники, мерзлый картофель, слякоть. И люди! Самый наш облик, полумонгольские лица...

ПАЕК

Думаю, что в осажденных городах население на паек сажали и в средние века. Данте сражался при Кампальдино, но осады ни одной ему не пришлось переживать. Так что насчет пайка он, наверно, столь же непонимающий, как и вообще все на Западе, они в пайке (le payok) ничего не смыслят вследствие своей крайней отсталости.

Пайки бывают разные. Я хорошо знаю академический, и всегда буду ему благодарен, буду курить ладан из кадильниц, и петь, и славить его, ибо благодаря ему и семья моя, и я сам уцелели, и многие из моих знакомых тоже.

— В среду выдают паек!

Это значит, что писатели из Кривоарбатского, философы с Гагаринского, Гершензон из Никольского и еще многие из других мест двинутся ранним утром, с салазками, тележками, женами, свояченицами на Воздвиженку. Там в кооперативе будут стоять в очереди и волноваться, здороваться с математиками и зоологами, критиками и юристами. А потом наступит наконец блаженный час: нагрузят в повозку бараний бок (с бледно-синими ребрами), пуд муки, столько-то сахару, спички, кофе, папиросы...

Жены с благоговением взирают. Вот мы везем свое богатство в детской тележке с деревянными колесиками, они скрипят и визжат на весь Арбат, не беда, чередуемся, тащим, когда пересекаем улицу, то старательно сзади поддерживаем поклажу — ведь это все ценное, на целый месяц, стоимость всего этого рубля

два, а то и два с половиной. Паек, паек, награда долгих лет признания, известности, как не ценить костей твоего барана и десятков твоих папирос? Как не потрудиться над тобой, не развести музыки диссонансов на весь Кривоарбатский?

ИНТЕРМЕЦЦО

Облик Орла — это гений в изгнании, нищете и бездомности. Данте был флорентийский дворянин. Жил в своем доме, обладал достатком. Гражданские усобицы разметали все. Он потерял семью, Флоренцию, родную землю. Скитаясь в Северной Италии учителем литературы, полуприживальщиком сильных мира сего, написал великое творение.

Труднее всего было ему одолевать свой гнев и гордость. Он ненавидел «подлое», плебейское, в каком бы виде ни являлось оно. Много натерпелся от хамства разжиревших маленьких «царьков» Италии. Не меньше презирал и демагогов. Что стало бы с ним, если бы пришлось ему увидеть нового «царя» скифской земли — с калмыцкими глазами, взглядом зверя, упрямца и сумасшедшего?

Дантовский профиль на бесчисленных медалях, памятниках, барельефах треснул бы от возмущения.

ЭКЛЕР ПРИ НЭПЕ

В надвигающемся безумии, в ощущении гибели того, что сам и выдумал, хитрец отменил половину собственного дела. Среди других последствий оказалось одно, малое для «событий», человеческому же сердцу видимое, милое, понятное.

Появился эклер — победа жизни. Его где-то пекли, но уже не тайком, а законно. Законно же и продавали — сладкий, гладкоглянцевитый эклер на Арбате, Никитской, где угодно, прямо на улице. Сколько миллионов спустил я на эти эклеры, на ласточек «слишком медленной весны», но все же ласточек, все же эклер знак вольного творчества, личное, а не казарма.

В моего друга X. была влюблена барышня. Ее болезнь носила нежный, мечтательный, но и упорный характер. Они встречались иногда в обществе, на заседаниях. Но ей этого было мало. С упорством влюбленных она неожиданно являлась где-нибудь на углу Никитской и Спиридоновки, как раз когда он

проходил, здоровалась, вспыхивала, бормотала несколько слов и исчезала.

Однажды в сухой августовский день пыль и коричневые листья летели по бульвару, X. выходил из переулка. И не удивился, встретив темные, застенчивые, но и полоумные глаза.

— Здравствуйте,— сказал он, как обычно, снял шляпу, пожал ее горячую руку. Она молча сунула ему левой рукой теплый и глянцевый эклер.

— Это вам... возьмите, вам...

Вспыхнула, слезы блеснули на глазах, и от любви, от смущения ничего уже больше не могла прибавить, убежала.

— Что же бы ты сделал с этим эклером?— спросил меня X.

— Я бы его съел.

— Вот именно. Я так и поступил.

— И я считал бы его очень трогательным и милым подарком.

— Так ведь оно и есть в действительности.

— Благодаря чему я сохранил бы славное, с улыбкою, воспоминание.

— Оно и сохранилось. Эклер же показался мне особо вкусным.

ФЕДЕРИГО ДА МОНТЕФЕЛЬТРО

На столе у меня лежит том Сизеранна о знаменитом урбинском кондотьере. Его носатый профиль вспоминается еще во Флоренции, по Пьеро делла Франческа в Уффици. Во время «великой» русской революции, работая над книгой об Италии, я изучал жизнь сына Федериго, меланхолического и несчастного Гвидобальдо.

Да, Италия и красота много помогли пережить страшное время. И, развертывая книгу, сейчас ощущаешь сразу три эпохи русского человека: первую, мирно-довоенную, поэтическую, когда Италия входила золотым светом. Вторую, трагическую,— в ужасе, ярости и безобразии жизни она была единственным как бы прибежищем, Рафаэль и божественная Империя, Парнас и музы Ватикана умеряли бешенство скифа. И вот теперь третья...

Как о ней сказать верно? Революция кончилась. Но для нас кончилось и младенчески-поэтическое. Началась жизнь. Революция научила жизни. С прибрежья, где гуляли, любовались и позировали, спустились мы в

«бытие». Пусть ведет вечный Вергилий. Началось схождение в горький мир, в «темный лес». Да будет благословенна поэзия. Не забыть Аполлона, не забыть Рафаэля. Но иное à l'ordre du jour. Не позабудешь Италии и не разлюбишь ее. Но нельзя уже позабыть «человечества», его скорбного взора, его преступлений и бед, крестного его пути.

Федериго, уважаемый герцог, покоритель и завоеватель, книголюб, собравший лучшую библиотеку Ренессанса (считал, что напечатанная книга — дурной тон!),— вы теперь мирно будете стоять на полках той моей библиотечки, на которую с высоты своего урбинского замка вы и не взглянули бы, не удостоили б. Я прочту книгу о вас — и отложу. Я не буду в *ней, ею* жить. Эстет, воитель, государь,— вы правы. Но у меня есть своя правда. Ни вам, да никому вообще я ее не отдам.

М. О. ГЕРШЕНЗОН

Если идти по Арбату от площади, то будут разные переулки: Годеинский, Староконюшенный, Николо- и Спасопесковский, Никольский. В тринадцатом номере последнего обитает гражданин Гершензон.

Морозный день, тихий, дымный, с палевым небом и седым инеем. Калитка запушена снегом. Через двор мимо особняка тропка, подъем во второй этаж и начало жития Гершензонова. Конец еще этажом выше, там две рабочие комнаты хозяина.

Гершензон маленький, черноволосый, очкастый, путано-нервный, несколько похожий на черного жука. Говорит невнятно. Он почти наш сосед. Иной раз встречаемся мы на Арбате в молочной, в аптеке, или на Смоленском.

Сейчас, мягко пошлепывая валенками, ведет он наверх. Гость, разумеется, тоже в валенках. Но приятно удивлен тем, что в комнатах тепло. Можно снять пальто, сесть за деревянный, простой стол арбатского отшельника, слушать сбивчивую речь, глядеть, как худые пальцы набивают бесконечные папиросы. В комнате очень светло! Белые крыши, черные ветви дерев, золотой московский купол — по стенам книги, откуда этот маг, еврей, вросший в русскую старину, извлекает свою «Грибоедовскую Москву», «Декабриста Кривцова». Лучший Гершензон, какого знал я, находился в этой тихой и уединенной комнате. Лучше и глубже, своеобразнее всего он говорил здесь, с глазу на глаз, в вольности, никем не подгоняемый, не

мучимый застенчивостью, некрасотой и гордостью. Вообще он был склонен к преувеличениям, извивался, мучительная ущемленность была в нем. Вот кому не хватало здоровья! Свет, солнце, Эллада — полярное Гершензону. Он перевел «Исповедь» Петрарки и отлично написал о душевных раздираниях этого первого в средневековье человека нового времени, о его самогрызении, тоске.

Но, разумеется, Гершензону приятно было и отдохнуть. Он отдыхал на александровском времени. И в мирном разговоре, под крик галок московских тоже отдыхал.

* * *

Я заходил к нему однажды по личному делу, и он помог мне. А потом — по «союзному»: Союз писателей посылал нас с ним к Каменеву «за хлебом». Так что в этой точке силуэт Гершензона пересекается в памяти моей со «Львом Борисовичем». Есть такой рассказ у Чехова «Толстый и тонкий»...

* * *

О Каменеве надо начать издали. В юношеские еще годы занес меня однажды случай на окраину Москвы, в провинциальный домик тихого человека, г. Х. Там было собрание молодежи, несмотря на безобидность хозяина напоминавшее главы известного романа Достоевского или картину Ярошенки. Особенно ораторствовал молодой человек — самоуверенный, неглупый, с хорошей гривой. Звали его Каменевым.

Прошло много лет. В революцию имя Каменева попадалось часто, но ни с чем для меня не связывалось: «тот» был просто юноша, «этот» председатель Московского Совета, «хозяин» Москвы. Что между ними общего?

Однажды вышел случай, что из нашего Союза арестовали двоих членов. Правление послало меня к Каменеву хлопотать. Он считался «либеральным сановником» и даже закрыл на третьем номере «Вестник» Чека за открытый призыв к пыткам на допросах.

Чтобы получить пропуск, пришлось зайти в боковой подъезд бывшего генерал-губернаторского дома на Тверской, с Чернышевского переулка. Некогда чиновник с длинным щелкающим ногтем на мизинце выдавал нам здесь заграничные паспорта.

Теперь, спускаясь по лестнице с бумажкою, я увидел бабу. Она стояла на коленях перед высоким «типом» в сером полушубке, барашковой шапке, высоких сапогах.

— Голубчик ты мой, да отпусти ты моего-то...

— Убирайся, некогда мне пустяками заниматься.

Баба приникла к его ногам.

— Да ведь сколько времени сидит, миленький мой, за что сидит-то...

...У главного подъезда солдат с винтовкой. Берут пропуск. Лестница, знакомые залы и зеркальные окна. Здесь мы заседали при Временном правительстве, опираясь на наши шашки — Совет офицерских депутатов. Теперь стучали на машинках барышни. Какие-то дамы, торговцы, приезжие из провинции «товарищи» ждали приема. Пришлось и мне подождать. Потом провели в большой, светлый кабинет. Спиной к окнам, за столом сидел бывший молодой человек Марьиной рощи, сильно пополневший, в пенсне, довольно кудлатый, более похожий сейчас на благополучного московского адвоката. Он курил. Увидев меня, привстал, любезно поздоровался. Сквозь зеркальные стекла слегка синела каланча части, виднелась зимняя улица. Странный и горестный покой давала эта зеркальность, как бы в Елисейских полях медленно двигались люди, извозчики, детишки волокли санки. В левом окне так же призрачно и элегически выступали ветви тополя, телефонные проволоки в снегу, нахохленная галка...

Мы вспомнили нашу встречу. Каменев держался приветливо-небрежно, покровительственно, но вполне прилично.

— Как их фамилии? — спросил он об арестованных.

Я назвал. Он стал водить пальцем по каким-то спискам.

— А за что?

— Насколько знаю, ни за что.

— Посмотрим, посмотрим...

Раздался звонок по телефону. Грузно, несколько устало сидя, поджимая под себя ноги, Каменев взял трубку — видимо лениво.

— А? Феликс? Да, да, буду. Насчет чего? Нет, приговор не приводить в исполнение. Буду, непременно.

Положив трубку, обратился ко мне:

— Если действительно не виноваты, то отпустим.

Мне повезло, Арсеньева и Ильина удалось на этот раз выудить.

* * *

Что могло нравиться Гершензону в советском строе? Быть может, то, что вот ему, нервно-путаному, слабому, но с глубокой душой «тип» в полушубке даст по затылку? Что свирепая, зверская лапа сразу сомнет и повалит все хитросплетенье его умствований? Но легко ли ему было бы видеть этого типа у себя в Никольском, в светлой рабочей комнате, и в другой, через коридорчик, где у него тоже стояли книги. Гершензон не раз плакался на перегруженность культурой. В нем была древняя усталость. Все хотелось приникнуть к чему-то сильному и свежему. Истинно свежего и истинно здорового он так и не узнал, все лишь мечтал о нем в подполье. И, стремясь к такому, готов был принять даже большевистскую «силушку» — лишь за то, что она первобытно-дика, первобытно-яростна, не источена жучком культуры.

После случая с Ильиным и Арсеньевым я приобрел репутацию «спеца» по Каменеву. Считалось, что я могу брать его без промаху. Так что в мелких писательских бедах направляли к нему меня.

Одна беда надвигалась на нас внушительно: голод. Гершензон разузнал, что у Московского Совета есть двести пудов муки, с неба свалившихся. В его извилистом мозгу вдруг возникла практическая мысль: съесть эту муку, т. е. не в одиночку, а пусть русская литература ее съест. Наше Правление одобрило ее. И вот я снова в Никольском переулке, снова папиросы, валенки, пальто с барашковым воротником, несвязная речь, несвязный ход гершензоновских ног по зимним улицам Москвы...

Без радости вспоминаю эти малые дела тогдашней жизни, более как летописец. Что веселого было в восторженном волнении Гершензона, в его странном благоговении перед властью? В том, что мы, русские писатели, должны были ждать в приемной, подгоняемые голодом? В том, что Гершензон патетически курил, что Каменев принял нас с знакомой «благодушною» небрежностью, учтиво и покровительственно? Заикаясь и путаясь, Гершензон говорил вместо «здравствуйте» «датуте», весь он был парадокс, противоречие, всегда склонное к самобичеванию, всегда готовое запылать восторгом или смертельно обидеться. Рядом с ним Каменев казался ярким обликом буржуазности, самодовольства и упитанности — торжествующего и «культурного» мещанина.

Да, на каких-то мельницах Московского Совета правда залежалось двести пудов, и мы по-своему даже должны быть благодарны Каменеву: мука попала голодающим писателям. Но... «ходить в Орду» невесело.

И далее картина: Смоленский бульвар, какой-то склад или лабаз. Морозный день. Бердяев, Айхенвальд, я, Вяч. Иванов, Чулков, Гершензон, Жилкин и другие — с салазочками, на них пустые мешки. Кто с женами, кто с детьми. Кого заменяют домашние. В лабазе наш представитель, И. А. Матусевич, белый от муки, как мельник, самоотверженно распределяет «пайки» (пуд, полтора). Назад везем мы их на санках, тоже овеянные питательною сединою, по раскатам и ухабам бульвара — кто на Плющиху, кто к Сивцеву Вражку, кто в Чернышевский. Ну что ж, теперь две-три недели смело провертимся.

* * *

В эти тяжелые годы многое претерпел Михаил Осипович Гершензон. Много салазок волок собственным горбом, по многим горьким чужим лестницам подымался, много колол на морозе дров, чистил снег, даже голодал достаточно. Он упорно и благородно боролся за свою семью, как многие в то время. Семью любил, кажется, безмерно. Знал великие скорби болезни детей, их тяжелой жизни и переутомленья. Стоически голодал, вместе со своею супругой, отдавая лучшее детям, за тяготы этих лет заплатил ранней смертью.

Как всякий «истинный», не сделал карьеры при большевиках. Как Сологуб, писал довольно много, для себя, но сдался раньше его. Гершензон умер в 1925 году.

...Гершензоновой могиле кланяюсь.

«ВЕСЕЛЫЕ ДНИ»
1921 Г.

ЛАВКА

Огромная наша витрина на Большой Никитской имела приятный вид: мы постоянно наблюдали, чтобы книжки были хорошо разложены. Их набралось порядочно. Блоковско-меланхолические девицы, спецы или просто ушастые шапки останавливались перед выставкой, разглядывали наши сокровища, а то и самих нас.

«Книжная лавка писателей». Осоргин, Бердяев, Грифцов, Александр Яковлев, Дживелегов и я — не первые ли мы по времени нэпманы? Похоже на то: хорошие мы были купцы или плохие, другой вопрос, но в лавке нашей покупатели чувствовали себя неплохо. С Осоргиным можно было побеседовать о старинных книгах, с Бердяевым о кризисах и имманентностях, с Грифцовым о Бальзаке, мы с Дживелеговым («Карпыч») по части ренессанско-итальянской. Елена Александровна, напоминая Палладу, стояла за кассой, куда шли сначала сотни, потом тысячи, потом миллионы.

Осоргин вечно что-то клеил, мастерил. Собирал (и собрал) замечательную коллекцию: за отменою книгопечатания (для нас, по крайней мере) мы писали от руки небольшие «творения», сами устраивали обложки, иногда даже с рисунками, и продавали. За свою «Италию» я получил 15 тысяч (фунт масла). Продавались у нас так изготовленные книжечки чуть не всех московских писателей. Но по одному экземпляру покупала непременно сама лавка, отсюда и коллекция Осоргина. Помещалась она у нас же, под стеклом. А потом поступила как ценнейший документ «средневековья» в Румянцевский музей.

Итак, Осоргин хозяйничал, Бердяев спорил об имманентностях, горячился из-за пайков, был добросовестен, элегантен и картинен. Грифцов «углубленно» вычислял наши бенефиции. Нервически поводил голубыми, прохладными глазами, ни с кем ни в чем не соглашался: где-то подкожно заседал у него Бальзак, им он презрительно громил противника. Я... В зимние дни, когда холодновато в лавке, сидел на ступеньках передвижной лестницы, где было теплее. До конца дней своего купечества так и не усвоил, где что стоит (книги у нас, правда, постоянно менялись). Если покупатель был приятный, то еще он мог рассчитывать, что я двинусь. Если же появлялась, например, барышня и спрашивала:

— Есть у вас биографии вождей? — я прикидывался вовсе непонимающим:

— Каких вождей?

— Ну, пролетариата...

— Нет, не держим.

И вообще для несимпатичных редко слезал с насеста.

Такой книги нет.

А если *есть*, то обычный вопрос (вполголоса):

— Елена Александровна, где у нас это?

И Паллада, отсчитывая миллионы, молча указывала пальцем полку.

Мы, «купцы», жили между собою дружно. Зимой топили печурку, являлись в валенках. Летом Николай Александрович надевал нарядный чесучовый костюм с галстуком-бантом. Над зеркальным окном спускали маркизу, и легонькие барышни смотрели подолгу, задумчиво, на нашу витрину. С улицы иногда влетала пыль.

РАЗВЛЕЧЕНИЕ

В глубине лавки была у нас дверка и узкая лестница наверх, на хоры с комнаткой, куда мы иногда прятались от скучных посетителей, где устраивали лавочные собрания — вообще это были «кулисы» торгового дома. В комнате стоял огромный стол, заваленный книгами, и вокруг на полках тоже много книг. Но уж что *здесь* находится, не знал не только я, а, пожалуй, и сам Грифцов.

Место это носило несколько таинственный и романтический характер. С хор можно было, незамеченным, наблюдать жизнь лавки. Полутьма, витая лесенка, пыль — все давало ощущение спрятанности, укрытия.

В этом-то уголке и собрал нас однажды Осоргин — стоял знойный, сухой август, в лавку набивалась пыль, и горячий ветер трепал волосы, трепал как только выйдешь. Осоргин многозначительно сообщил, что в городе организован Комитет помощи голодающим, состоять он будет из «порядочных» людей, но под контролем власти. Голод (на Волге, в Крыму) в то лето правда был ужасный. В Самарской губернии так выжгло зелень еще с весны, что поля имели вид чернобархатной, с отливом скатерти. Урожая «не оказалось», а так как у крестьян своевременно обобрали прежние запасы, то голод наступил мгновенно. Власть растерялась и под минутой паники согласилась на «Общественный Комитет». Нам, представителям литературы, предложили тоже войти — об этом мы и совещались наверху. Предложение шло от Прокоповича, Кусковой и Кишкина. От «власти» председателем назначили Каменева.

Идти или не идти? Вот о чем мы рассуждали. И так как лавка заключала в себе президиум Союза писателей, то нас это близко касалось. Решили идти. Выбрали Осоргина и меня.

У русского человека есть такие выражения: «за

компанию», «с хорошим человеком и выпить можно». «За компанию»... отчего же не попробовать? Пожалуй, не будь это в лавке, с Осоргиным, пришел бы меня приглашать какой-нибудь честный бородач в калошах или старая дама, я бы и не согласился. Но тут — была не была!

На другой день уже весь город знал о Комитете. Тогда еще считали, что «они» вот-вот падут. Поэтому Комитет мгновенно разрисовали. Было целое течение, считавшее, что это — в замаскированном виде — будущее правительство! Другие ругали нас, среди них С. П. Мельгунов, за «соглашательство»: ведь мы должны были работать под покровительством Льва Борисовича. Помню какого-то желчного интеллигента, который купил у меня на грош, а расстроил на тысячу рублей: выходило, что мы чуть ли не подсобники и т. п. На следующий день в газетах нас превозносили (очевидно, уже считали «своими»), а нашими именами уязвили непошедших.

Газеты эти были расклеены. Выйдя из лавки, завернув в Леонтьевский, я наткнулся на такую «стенгазету». Вокруг нее куча читателей. Безрадостно увидал я свое имя рядом с Максимом Горьким. Мрачный тип сзади, прочитав, фукнул и сказал:

— Персональный список идиотов.

«ДЕЛО»

Были мы идиотами или нет, каждый решает посвоему. Несомненно лишь то, что наша жизнь приобрела некий острый, романтически-заговорщицкий оттенок. Мы ходили в переулочек у Арбата к Кусковой. В ее квартире шла непрерывная суматоха. Являлись, совещались, заседали. Смесь барства, интеллигентства с крепкой настойкой Москвы... Вблизи двухэтажного ее дома церковка, окно кабинета Прокоповича выходит во двор, где играют детишки, с деревьев листья летят, самый дом — не то особняк, не то помещичья усадьба, угол старой Москвы. Еще Герцены, Хомяковы, Аксаковы жили в этих краях. Небольшие сады при небольших особняках — разве не деревня?

И Сергей Николаевич и Екатерина Дмитриевна были очень серьезны. Их положение не из легких. Все это они затеяли, предстояло найти линию и достойную, и осуществимую.

Мы составили литературную группу. Осоргин редак-

тировал газету Комитета — «Помощь». Ее внешний вид вполне повторял «Русские ведомости». Как только появился первый номер, по Москве прошел вздох: «Теперь уж падут! «Русские ведомости» вышли, стало быть, уж капут!»

Подготовительная часть у Кусковой окончилась, открылись собрания уже с «ними» в особняке на Собачьей Площадке. «Наших» было числом гораздо больше: профессора, статистики, агрономы, общественные деятели, литераторы — вроде парламента. Вот какие люди: Прокопович, Кускова, Кишкин, Кутлер, Ф. А. Головин, проф. Тарасевич (ныне покойный), Вера Фигнер и много других. С «их» стороны: Каменев, Рыков, Луначарский. Большинство было у «нас», права «наши» считались большие, и настроение (в наивности нашей) такое:

— А п-па-звольте спросить, милостис-дарь, а н-на каком основании вы изволили обобрать Нижегородскую губернию? А н-не угодно ли вам будет срочно отправить пятьсот вагонов в Самар-р-рскую?

Волны наших государственных вожделений приходилось принимать Каменеву — он председательствовал. Приезжал и Рыков. Но, сколько помню, всегда пьяный. В тужурке, с длинным мальчишеским галстуком, сальными волосами. Понять, что говорит, трудно, очень плохо двигал языком. Каменев же был взят как наилучший мост к нам.

Вспоминая эту свою «деятельность», я не могу припомнить, что именно путного сделал. Кажется, больше слушал да рассматривал. Садился в первый ряд, с независимым видом. Однажды сказал Каменеву:

— Прошу слова.

Он любезно кивнул и записал меня, но тут встал Прокопович и очень толково, именно то и сказал («А п-пазвольте, милостис-дарь, на каком основании?»), что я хотел спросить. Мне не повезло. Я от слова отказался, просто только с победоносным видом оглянулся на стулья «наших», за которыми светлые окна — в них вечерняя Москва, невысокие домики Собачьей Площадки, урна, зеркальное небо и раннепадающие листы.

Из этих шумных заседаний я вынес такое наблюдение: «они» и «мы» — это название комедии Островского «Волки и овцы». У них зуб, наглость, жестокость. Все они шершавые, урчат, огрызаются. (Особенно это ясно стало, когда за Каменевым начали появляться какие-то безымянные типы в куртках... Позже мы все это хорошо поняли.) И нет добрых глаз, доброго взгляда.

Вот это страшная черта советских людей, я ее часто замечал: недобрые глаза и отсутствие улыбки. А «наши»... ну, мы себя хорошо знаем.

«Мы» настаивали, чтобы была послана в Европу делегация от Комитета, чтобы можно было собрать там денег, раздобыть хлеба и двинуть в голодные места. «Им» это не так-то нравилось. Началась торговля. То ли им должны мы уступить, то ли они нам.

Я жил тогда в Москве один, в Кривоарбатском,— семья была в деревне. Ходил обедать на Арбат в столовую, очень нарядную, только что открывшуюся. Бывал и в лавке, но реже.

Как-то жарко, ветрено было в Москве, нервно и занято. Так осталась у меня в памяти пустынность московских вечерних переулков, горячая сушь августа, ощущение легкости и полета.

Раз вечером мы выходили с Осоргиным с заседания. Луна хорошо светила. На этом заседании я просил Каменева за «сидевшего» в Одессе писателя Соболя.

Он небрежно спросил:

— Какого Соболя? Который написал роман «Пыль»?

— Да.

— Плохой роман. Пусть посидит.

Я заметил, что он сидит уже семь месяцев, неизвестно за что.

— Ну, это много. Постараемся выпустить.

И вот у выхода Каменев, подходя к своей машине, столкнулся с нами.

— Пожалуйста,— сказал любезно,— вам далеко? Я подвезу.

Не сговариваясь, мы с Осоргиным толкнули слегка друг друга и отказались. Мы шли лунным, пахучим вечером, радостно-грустным в красоте ночи московской. Шли некоторое время вместе, а потом разошлись: я на Арбат, он в Чернышевский. Памятен был этот вечер, сладок и пронзителен. Но и он ушел, и много с тех пор изменилось. Тогда Соболь сидел, а Каменев уезжал на шикарной машине — «генерал-губернатор» Москвы. Затем Соболь — этот глубоко несчастный человек — вышел из тюрьмы, ушел к «ним», окончательно запутался и револьверным выстрелом разрешил свою незадачливую жизнь. Соболя я просто жалею, над Каменевым злорадствовать не хочу.

А в тот вечер мягко нес его автомобиль к Кремлю.

COUP D'ETAT

Мы собрались в свой особняк часам к пяти, на заседание, как было назначено. Сегодня решалось все дальнейшее. Комитет поставил ультиматум: или нашу делегацию выпускают в Европу для сбора денег, или мы закрываемся, ибо местными силами помочь нельзя. Настроение нервное, напряженное. «Наши» сидят на подоконниках залы, толпятся в смежной комнате, разговаривают около стенных карт и диаграмм.

Время идет. Вечереет. Под окнами какие-то куртки, а Каменева все нет. Нервность и удивление. Вынимают часы, смотрят.

Я находился в комнате рядом с залой. Помню, в прихожей раздался шум, неизвестно, что за шум, почему, но сразу стало ясно: идет беда. В следующее мгновение с десяток кожаных курток с револьверами, в высоких сапогах, бурей вылетели из полусумрака передней, и один из них гаркнул:

— Постановлением Всероссийской Чрезвычайной Комиссии все присутствующие арестованы!

ПУТЕШЕСТВИЕ

Паники не произошло. Все были довольно покойны. Помню гневное, побледневшее лицо Веры Фигнер и багрово вспыхнувшую Екатерину Дмитриевну. Еще помню, что через несколько минут по водворении пришельцев, через ту же прихожую пробирался к нам, несколько неуклюже и как бы конфузливо П. П. Муратов.

— Ты зачем тут? Эх-х, ты...

П. П. был тоже членом Комитета. Он опоздал. Подойдя к особняку, увидел чекистов, увидел арест...

— Ну и чего же ты не повернул?

— Да уж так, вместе заседали, вместе и отвечать...

Теперь он уже за чертой чекистов. Не утечешь!

Был бледно-сиреневый вечер, когда мы вышли. У подъезда стояли автомобили. Осоргин, я и Муратов как прожили полжизни вместе, так вместе и сели. Теплый воздух засвистел в ушах, казалось почему-то, что машина мчится головокружительно. Неслись знакомые переулки, Арбат, мелькнула площадь, Воздвиженка, и странно пустынной казалась Москва. Очень хотелось встретить хоть кого-нибудь знакомого... Моховая, Университет. У книжной лавки Мельгунова мелькнуло наконец чье-то знакомое лицо,— но машина наддала,

через две-три минуты, после удивительнейшего полета (я другого все-таки такого в жизни не запомню!), мы остановились у «приветливых» дверей дома «Россия», на Лубянской площади и сошли с автомобиля; два года назад в эти же двери вошел и не вышел живым мальчик — Алеша Смирнов, многострадальный мой пасынок.

НОЧЬ

...Всем нам пришлось перебывать у окошечка, похожего на кассу банка или на бюро спальных вагонов: там о каждом записывали, что требуется, и вновь собрались мы в нашей «случайной» комнате — ждали дальнейшей участи.

Я думаю, самым невозмутимым из нас оказался Ф. А. Головин. Всегда у меня была слабость к этой безукоризненно лысой, изящной и умной голове, к тонкому, древнему профилю (он потомок Комненов), бесцветно-спокойным глазам. На воле, в барское довоенное время, и в голодные дни революции мы немало играли с ним в шахматы. Он с одинаковым безразличием и выигрывал и проигрывал. Через полчаса по прибытии, когда другие еще горячились, расходовали подожженную нервную энергию, Федор Александрович уже сел играть с черно-мрачным и так же равнодушным Кутлером. Откуда они добыли шахматы, я не помню: кажется, тут же и смастерили из картона. Впрочем, игра продолжалась недолго: нас повели в еще новое помещение. Ф. А. равнодушно забрал фигурки, записал положение и в своем элегантном костюме, белых брюках, с шахматами под мышкой зашагал по застеночным коридорам.

Мы вошли в довольно большую комнату с двумя цельного стекла окнами. Надпись на стекле, глядевшую в переулок, можно было прочесть и отсюда:

— Контора Аванесова.

Теперь в конторе нары. Их ненадолго занимали случайные постояльцы. Здесь перст Судьбы сортировал: жизнь — смерть, смерть — жизнь. Кускову, Прокоповича и Кишкина очень скоро увели от нас во внутреннюю тюрьму. Мы попрощались сдержанно, но с волнением. Никто не знал, на что их ведут.

Мы с П. П. Муратовым легли рядом на голые нары, около окна. Осоргин находился в другом углу с гр. Бенкендорфом. Хотелось есть. Электрическая лампочка заливала все сверху мертвым светом. Мы лежали и сначала говорили, а потом стали умолкать. Заснуть в эту,

первую свою ночь в тюрьме я не мог. К счастью, ужаса не испытывал. Но нервное возбуждение заставляло бодрствовать. Мне даже казалось, что я очень оживлен, почти весел. Странным образом мало думалось о безумии окружающего. Знал, что в этом же доме, может быть, в эти глухие часы кого-то ведут в подвал... но (самозащита, что ли?) мысль на таком не останавливалась. Часа в три, например, ясно помню шум мотора, заведенного на дворе,— мы отлично знали, что это значит,— все же впечатление было меньше, чем можно было бы думать. Очень уязвляла мысль о семье: жена и дочь были в деревне, все хотелось, чтобы до них пока не дошла весть о моем аресте.

А затем... затем я наблюдал. По моему мнению, спали многие. Среди них недалеко от меня — Ф. А. Головин. Он лежал на спине. На его правильном, лысом черепе блестел, как на слоновой кости, луч электричества. Руки аккуратно сложены накрест, белые брюки в складке, желтые ботинки, воротнички даже не расстегнуты. (Он и позже спал всегда в полном параде. Объяснял так, что если ночью позовут на допрос или расстрел, то нельзя выходить на такое дело не в порядке.) Сейчас клоп медленно взбирался по теневой стороне его черепа, ища удобного места. Доползши до освещенно-блестящей части, испуганно повернул назад.

В это время в камеру ввели высокого человека, неуверенно шагавшего к нам. Я толкнул П. П.— тот поднял заспанное, затекшее от неудобного изголовья лицо и ухмыльнулся: это был его приятель — Борис Виппер, молодой профессор.

— Ну, вот...— пробормотал П. П.,— и вы тут. Нашего полку прибыло.

Виппера взяли ночью и прямо доставили сюда.

«ЧТО ДЕНЬ ГРЯДУЩИЙ МНЕ ГОТОВИТ»

1) Яркое солнце. Было воскресенье, этот августовский свет весело блистал по Москве. В Петербурге сквозь влажно-голубоватую невскую дымку освещал тела безвинно убиенных по Таганцевскому заговору.

2) И очень приятное, что он нам дал, были посылки. Да, за стенами, там на воле оказалась Москва, добрая Москва! Чрез тысячи пор, щелей просочилась она в тюрьму, обходя правила адских кругов. Жены, сестры, невесты, дружественные, знакомые и полузнакомые руки упаковывали нам свертки — и в солнечный вос-

кресный день вдруг въехала груда пакетов — «передач». К этому времени Осоргин был уже избран нашим старостой. Ловкий и легкий, в счастливом нервном возбуждении ответственности, он хорошо провел роль, «был в форме». Вот и сейчас элегантно распоряжался раздачей передач, весело выкликая адресатов.

Так как все «мои» находились в деревне, я ничего не ждал. Вдруг улыбающееся лицо Осоргина обернулось, он назвал мое имя. Только тут я понял, как приятно получить в тюрьме знак благожелания и памяти. Этим обязан был я Р. С. Осоргиной — вместе с пакетом мужу уложила, притащила на себе она и мне подмогу. Никогда, даже в детстве, не радовал меня так подарок, за него храню Рахили Григорьевне всегдашнюю благодарность. Там было одеяло, подушка, белый хлеб, сахар, какао — вообще столько прелестей!

Неполучившие (немосквичи) сразу заметны были по грустным глазам. Разумеется, тотчас же началась дележка, «первобытно-братственное» равенство осуществилось с некоторым даже напором со стороны получивших. Вся наша «преступная банда» оживилась. Особенно старался один инженер — Метт. Он получил огромную посылку, с нервной расточительностью раздавал свои сокровища.

Вид камеры изменился: стали устраиваться, на нарах появились пледы, одеяла, подушки, началось бритье и умыванье, вообще жизнь вроде вагонной — дальнего следования.

Мы с П. П. Муратовым и Виппером устроили свой уголок у окна аванесовской конторы и залегли крепко, по-медвежьи. После бессонной ночи дремалось неплохо. Время шло быстро. Черно-лохматый Кутлер играл, как полагалось, в шахматы с Головиным, и по их виду нельзя было понять, кто побеждает. Осоргин хлопотал с Бенкендорфом в другом углу. Под вечер он прибежал ко мне, несколько женственно припал, обнял и гаркнул:

— Вот она, жизнь-то какая! Веселая жизнь. Ругаешь меня, что я тебя сюда затащил?

Историко-литературный угол оживленно загоготал.

А Осоргин уже вспорхнул, подобно Нижинскому, помчался для переговоров о кипятке.

ЗВЕЗДЫ

По вечерам мы их видели, но минутно, пересекая тесный двор, когда ходили умываться, за кипятком и т. п. Никогда звезды не казались столь прекрасными.

К сожалению, в том узком куске бархата, что восставал над головой, я не мог найти Веги. Но другие звезды видел. И они видели меня — в грязи, убожестве, кровавой слякоти отверженного места. Звезды и Вега вызывают в памяти рассказ, слышанный тоже в дни революции.

Г-жа Н. была замужем за немолодым человеком. Полюбила другого. После разных колебаний муж согласился, чтобы она устроила себе новую жизнь с этим другим. Они встретились все трое у Н., и решение было принято окончательно. На другой день г-жа Н. должна была уехать.

Ночью, однако, и она, и муж, и все родные были арестованы по обвинению в контрреволюции. Новая жизнь для г-жи Н. оказалась камерою смертников в Бутырках.

Еще на воле, когда шел их роман, г-жа Н. и г. Х. — оба мистики — полюбили звезду Вегу. Однажды, идя по Кузнецкому, г. Х. увидел на витрине книгу: «Голубая звезда». В повести этой было то же мистическое поклонение Веге как символу женственного. Книга пришлась по душе влюбленным. Они вместе читали ее.

Г-ну Х. удалось доставить книгу в тюрьму. Подчеркнув буквы слов, он дал понять, что каждый вечер, когда Вега появляется, он думает о г-же Н. — пусть и она поступит так же.

Г-жа Н., женщина изящная и тонкая, очень страдала в заточении. Жизнь отнимали у нее на грани долгожданного счастья! Она исполнила завет любимого человека. И по вечерам, при появлении звезды, глядя на нее, они мечтали друг о друге, тем поддерживали себя. Г-жа Н. при этом часто читала книгу.

Обвинение было ложным. Но погибла вся семья, не пощадили родных и знакомых, по древнему «до седьмого колена». За г-жой Н. смерть пришла, когда она читала о голубой звезде.

Встав, перекрестившись, она с книгою в спокойствии пошла навстречу Вечности.

Этот рассказ слышал я от той, кто последняя сестрински поцеловала ее в лоб и кому чудом удалось спастись.

* * *

Звезды в застенке! Вас вспоминаю с любовью, взволнованно и благодарно...

К нам попали газеты. О, теперь о нас писали иначе, чем в дни «персонального списка идиотов». Клонили к тому, чтобы весь наш Комитет рассматривать как «заговор» и соответственно расправиться. С Таганцевым уж так и обошлись. Наших начали водить на допросы. Кутлер, Федор Александрович, кроме шахмат, получили и еще обязанности. Прокопович, Кишкин и Кускова в эти дни были на черте смерти. Их гибель была решена, спасло вмешательство Нансена. Насколько знаю, он поставил условием своей помощи сохранение их жизней.

Понемногу начали мы сживаться с конторою Аванесова. Нам подбавляли кое-кого, кой-кто из наших уходил во внутреннюю тюрьму. По-прежнему из города шли передачи. Настроение держалось бодрое. Чтобы его не ослаблять, решили развлекаться — читать лекции.

Кутлер читал о финансах. Этот умный, сумрачный человек был глубоким скептиком. Я думаю, он убежденно считал, что вообще все погибло: Россия, финансы, он сам, Комитет... Я спросил его раз:

— Николай Николаевич, а вот *вы* верили в это дело, когда шли?

Он улыбнулся, как бы отвечая младенцу:

— Разумеется, ни минуты.

— Зачем же вы шли?

Из его слов, сказанных с оттенком горечи, выходило, что и этот многоопытный муж, бывший министр, вроде нас, грешных, тоже пошел «за компанию»... Его лекция доказывала, что с советскими финансами плохо. Вспоминая его, я, однако, все более убеждаюсь в бессилии скептицизма. Люди этого склада мало могут сделать. Верно ли даже они угадывают жизнь? Не нужна ли даже для этого живая сила веры? Ведь вот и не рухнули советские финансы, и сам Николай Николаевич, выйдя из тюрьмы, как раз занялся укреплением червонца — за него верили другие, он, должно быть, действовал и там по инерции, «так уж случилось»... И с удивлением, вероятно, видел плоды рук своих. На этом червонце он и умер — грустный человек, всегда готовый к смерти и равнодушный к ней. Мне кажется, и умер он в горестном недоумении.

Борис Виппер читал, кажется, о живописи. П. П. Муратов о древней иконописи. С моим чтением произошел маленький веселый случай.

Было утро, солнечный день. Я говорил о русской

литературе, как вдруг в камеру довольно бурно и начальственно вошло двое чекистов. В руке у одного была бумажка. По ней он так же громко и бесцеремонно, прерывая меня, прочел, что я и Муратов свободны, можем уходить.

Правда, я не хотел играть под Архимеда. Вообще ни о чем не думал.

Но, вероятно, подсознанию не понравилось вторжение «постороннего тела», да еще грубоватого, прерывающего меня, я ответил почти недовольно:

— Ну да, да, вот кончу сперва лекцию...

Все захохотали, и я смутился. Улыбнулся даже чекист:

— Успеете на свободе кончить.

МОСКВА

Я пожимал десятки рук. Со всех сторон наперебой давали поручения. И через несколько минут сухой и звонкий ветер, пыль, дребезг московских улиц... Как светло, просторно! Извозчик медленно вез меня с моим тюремным скарбом на Арбат.

Весь этот день слился у меня в какое-то пестро-огненное движение. Я не мог усидеть на месте. Пустынная, большая наша комната в Кривоарбатском показалась скучной. Но Москва — родной. Меня приветствовали в арбатской столовой. На улице останавливали незнакомые и поздравляли. А я все не мог остановиться. Все мне хотелось идти, без конца говорить, волноваться — я и ходил по гостям до двух часов ночи — передавал и рассказывал женам, сестрам, родным об оставшихся. Был на Козихе у Головиных, был в Чернышевском у Р. Г. Осоргиной.

* * *

Что можно прибавить о нас? Кускова, Прокопович, Кишкин, Осоргин и еще некоторые просидели долго. Потом были сосланы. Потом попали за границу. Пользы голодающим, конечно, мы не принесли. Предсказания наших жен при начале Комитета («через месяц будете все в чеке») с точностью осуществились. Но, вспоминая наше сидение, я вспоминаю не *плохое* дело, а *хорошее*. Мы ошиблись в расчете. Но мне не стыдно, что я сидел. И Кусковой не стыдно.

Ну а вот Каменеву...

В этом только и смысл. Мы в тюрьме были бодры, потому, что правда была за нами. Мало? Нет, очень много!

ЧТЕНИЯ

В декабре 1920 года, на «трудмобилизации» в Притыкине, предложили мне, как человеку «письменному», поступить писарем в Каширу. Жене моей заняться рубкой леса. Это не устраивало нас, и мы выбрались в Москву.

Денег, разумеется, не было. Но друзья нашлись. Друзья взяли в Лавку писателей, и я встал за прилавок торговать книгами. Это куда лучше, чем служить у коммунистов, да и давало возможность жить. Получали мы уж не помню какие тысячи, но тысячи платили за сахар, кофе. Так что не совсем хватало, приходилось подрабатывать. Приглашали кое-куда читать. Занятие не из веселых, но...

* * *

— Как бы чего не вышло, смотрите,— говорили мне в Лавке.— Будете все-таки читать у коммунистов...

Тогда в Москве можно было еще позволить себе роскошь *не* читать у коммунистов! Надо сказать прямо: кроме *нужды,* меня никто не принуждал читать в Доме Печати. (Еще отчасти было любопытство, да и некий вызов.) Пригласил меня Полонский, известный критик,— кажется, он и заведовал этим учреждением: и приглашал-то с опаской, может быть, мол, еще не соблагово ит...

Я пришел часу в девятом, нарочно пораньше. После холодной моей комнаты, где мы с женой едва натапливали до десяти — одиннадцати градусов, приятно удивила теплота, освещение, культурный вид вестибюля, гостиной. Зала прямо отличная, с небольшой, но довольно элегантной эстрадой. И еще прелесть: буфет! Столики, как некогда в Литературном кружке, можно спросить стакан чаю, бутерброд с красной икрой и т. п.— этого я нигде за годы революции не видал. Так что вражеский стан хоть куда.

Немедленно сел за столик, честь честью, все мне и подали — и вполне развеселили. Собственно, не барышня, мне подававшая, а соседи. Их было двое, за столиком у стены. Одного совсем не помню, а другой, спиною ко мне, был в какой-то фригийской шапочке, в

три четверти виднелось суховатое лицо, бритое — я даже обратил внимание, про себя назвал его:

— Якобинец.

Они разговаривали между собой. Сначала о чем-то «вообще», потом о Доме Печати. Якобинец угрюмо сутулился, буркал. Видимо, скептик здешних мест, некий «печальный Демон, дух изгнанья».

— Что же сегодня такое будет? — спросил собеседник.

— Черт их знает, литературный вечер...

Собеседник зевнул.

— А кто будет читать?

— Известный мерзавец Борис Зайцев,— хмыкнул Робеспьер.

Собеседник, по-видимому, удовлетворился,— они спокойно продолжали о другом.

Подошел Полонский, любезно поздоровался, взглянул на мой крахмальный воротничок, приличный костюм, усмехнулся:

— Вы по-европейски...

Я улыбнулся тоже.

— Да и у вас по-европейски... светло, чисто, видите, чай пью. И меня только что обозвали мерзавцем.

Длинный нос Полонского выехал еще более вперед.

— ?

— Ничего, тут два типа рядом тоже чай пили и делились впечатлениями... Их право...

— Ну, это недоразумение.

На эстраде у меня стоял стол, стул, электрическая лампочка, стакан с чаем. Зала была полна — все молодежь, довольно сдержанная, много барышень, люди в куртках, косоворотках, но фригийского своего приятеля я не заметил.

Особенно приятно было произнести вслух эпиграф: «Мирен сон и безмятежен даруй ми». Молитва.

На слове «молитва» я даже остановился, оглядел публику. Некоторое, как бы легкое недоумение по ней прошло, но чуть-чуть, ветерком.

Читал я спокойно, и спокойно слушали. Настолько спокойно (и почти благожелательно!), будто я у себя в Союзе. Когда кончил, аплодировали — что за удивленье? Где же другие Робеспьеры?

— Наверное, в прениях-то насыплют...

Прения были объявлены тотчас за чтением. Но и тут что-то странное... Хотел ли Полонский быть наперекор всему любезен или загладить давешнее, но произнес слово почти юбилейное (оговариваясь, конечно, что я «не наш»). Петр Семенович Коган, Львов-

Рогачевский тоже сказали более чем дружественно. Возражать не на что, спорить не с кем, только кланяйся да благодари...

* * *

Не всегда так идиллически приходилось читать. Странно требовать, чтобы в революции все было «мирен сон и безмятежен»...

Наш Союз устраивал иногда большие выступления: для сбора средств, частью из целей литературных. Один такой вечер назначили в Политехническом музее. Читать пригласили Сологуба, Вяч. Иванова, Белого, Балтрушайтиса и меня.

Политехнический музей известен — кудреватое здание, смотрит на Ильинские ворота — внутри коридоры, переходы, яркий свет, огромная аудитория, круто подымающаяся вверх. В тот морозный вечер все это кишело, бурлило; на недостаток публики не могли мы жаловаться.

Белый не приехал. Сологуб сидел в артистической — лысый, холодноватый.

— Да,— говорил, слегка встряхивая на носу пенсне.— Будем читать. Да, читать так читать. Читать так читать.

Явился красный с морозу Балтрушайтис. Вячеслав Иванов в длинном старомодном сюртуке, с золотящимися седоватыми локонами вокруг лба (сильно обнажившегося), пил чай, устремляясь всею фигурою вперед (от него и вообще осталось впечатление, что, даже когда он стоит, тело его наклонено вперед — как бы плывущий корабль. Золотое пенсне, влажная кожа, слегка воспаленная, быстрые небольшие глаза, носовой голос, редкостный блеск речи — более интересного и значительного собеседника я не встречал).

В общем же мы кучка, горсть, а в приоткрытую на эстраду дверь видно, как втекают, растекаются по рядам скамей темные фигуры, и чем выше, тем все гуще. Еще в первых рядах можно кое-кого рассмотреть «своих», дальше идет «племя молодое, незнакомое...», разговаривающее, курящее, топающее в нетерпении ногами.

— Читать так читать,— говорил Сологуб.— Да, будем читать. (Любил он однообразно и «загадочно» повторять одни и те же слова.)

Львов-Рогачевский сделал маленькое вступление: сам социал-демократ, как бы преподносил нас своей аудитории.

Все это вышло мирно и естественно. Читал и Вячеслав Иванов — кажется, стихи. Мы с Сологубом сидели на эстраде. Вячеслав Иванович раскланивался на аплодисменты. Была очередь Балтрушайтиса.

Поэт сумрачный, одинокий, неблагодарного типа, Балтрушайтис никогда не пользовался «популярностью». Его ценили в литературе и мало знала публика. В то время был он послом Литвы при СССР.

Но появление его вдруг оказалось необыкновенным: только он выступил, по аудитории пролетела молния, зигзагом разодрала массу, дотоле равнодушную. Особенно силен был разрыв на верхах. Сразу вскочили какие-то люди, замахали руками, поднялся шум, крик, ничего нельзя ни понять, ни разобрать. Кто-то пытался кого-то удержать, кто-то с кем-то спорил... Потом донеслось:

— Долой! Убийца! Кровь, убийца...

Юргис Казимирович Балтрушайтис так же похож на убийцу, как и я. Но уже сверху катились — буквально скатывались вниз к нашему суденышку разъяренные люди, потрясая кулаками, красные от гнева — с лицами *ужасными*, это я хорошо помню.

— Убийца! Долой! Прекратить!

Балтрушайтис стоял бледный, что-то пытался сказать, но ничего не удавалось.

— Скандал,— повторял спокойно Сологуб.— Это скандал. Настоящий скандал.

Выяснилось, что литовские коммунисты протестуют против казней их товарищей в Литве — ответствен оказался Балтрушайтис, как посол. В сущности, мы в их власти. Ни оружия, ни полиции — несколько литераторов на эстраде! Балтрушайтиса поскорее увели. Львов-Рогачевский добился слова. Объяснил: Балтрушайтис известный поэт, ни к каким казням не имеет отношения и т. п. Несколько приутихли. Раздались даже аплодисменты, устроители ободрились. Но лишь только Балтрушайтис показался, все опять вскипело, и на этот раз уж безнадежно. Пришлось объявить перерыв, спешно отправить домой Юргиса Казимировича.

Затем выступать предстояло мне. Может быть, и я какой-нибудь «убийца». Не особенно радостно подходил я к кафедре...

— Господа, я прочту сейчас...

— Не господа, а товарищи,— поправили с верхов.

Но тут я проявил упрямство.

— Господа,— повторил громче,— сейчас я прочту свою вещь, называется она «Дон Жуан».

Я читал плохо. Приходилось напрягать голос и явно

не было никакого созвучия. Но раздраженья тоже я не ощущал в толпе. Прямо перед собой, во втором ряду, видел фуражку молодого писателя, нередко у меня бывавшего. Он относился ко мне дружественно и отчасти покровительственно. «Ах,—говорил,—нельзя теперь *о таком и так* писать! Вот имажинисты—это другое дело». Его молоденькое лицо с рыжеватыми глазами, не без приятности и не без плутовства, посматривало с обычной снисходительной сочувственностью. Заламывая назад кепку, ухарским своим видом хотел он сказать—вот тебе и Дон Жуаны, знай наших, калуцких!

Сологуб прочел превосходные стихи—и то же было настроение: льда без прежней ненависти. Нет, кроме Балтрушайтиса, никто теперь не интересен.

* * *

Из Музея мы шли с Сологубом в Замоскворечье. Ильинка пуста, холодна. Идем серединою улицы, снег хрустит. Звезды. Небо протекает узкой лентою над головой, черны, угрюмы дома. На перекрестке костер, греются милиционеры. На углу Красной площади дохлая лошадь.

— Проклятая жизнь. Проклятая жизнь. Как при Гришке Отрепьеве. Жизнь, как при Гришке Отрепьеве.

Сологуб поднял меховой воротник, пенсне запотело. Шагает неторопливо.

— Как при Гришке Отрепьеве...

Василий Блаженный, Красная площадь... Туман от мороза, скрип валенок наших, чернота в золоте неба, дальний выстрел, багровый костер сзади.

— А могли бы и нас с вами нынче в клочья разорвать. Да, могли бы в клочья. Так бы нас и разорвали в клочья. Мы бы ничего и не поделали. Вот бы и разорвали в клочья.

Говорил Федор Кузьмич, точно каркал. Да и правда, несло нам время великие беды. Та самая Анастасия Николаевна (жена его), что сопровождала нас по Москве застывающей, не так много позже кинулась в Неву... Федор Кузьмич скоро умер—в бедности, болезнях, отвержении... (советской власти он не поклонился). Испытал и я, что полагается, но тою грозною ночью все еще было в предвестии, за недалекими горами—только гул.

И тем резче противоположность с теплым домом, светлым и приветливым, куда мы наконец пришли.

В те годы в Москве находились люди промежуточ-

ной позиции (между «нами» и «ими»). Преуспевали они «там», но и прежних друзей не забывали. Некоторые из «нас» благодаря этому и выжили. Доктор, к которому шли мы, был именно из таких. Временами устраивались у него сборища — литераторов и художников, музыкантов, актеров. Практика в Кремле позволяла ему иметь порядочную квартиру, теплую, с электричеством, доставать коньяк, питаться по-человечески... какая роскошь для времен проклятой пшенки! Доктор был любителем «наук и искусств». Кружок, у него собиравшийся, назывался «Академия Неугомонных»; цель его — давать передышку в страшной жизни и вообще жить! Хоть минутами. Вяч. Иванов сочинил гимн академический. (Начинался он словами: «Не огни святого Эльма...» Кажется, была и музыка к нему, если не ошибаюсь, А. Т. Гречанинова, одного из основателей кружка.)

Чуть ли не гимном этим нас и встретил. Помню Гречанинова с женой, веселых и оживленных, самого доктора (позже, когда помирал я от тифа, в числе других и он меня вытаскивал...). Главное, помню ощущение дружественности, свободы, изящества, *своего* художнического круга. Москвин и Юон, Гречанинов и Сологуб, Вячеслав Иванов, Чулков — это не литовские большевики. Хозяин кормил нас, поил, ухаживал — видно было, что ему занятно, делает он это от души. Что-то играли на рояли, много болтали, хохотали, рассказывали о Музее и скандале. Потом Сологуб читал — и читал много, замечательно,— в редком ударе находился, да и мы не в обычном состоянии. Этот пир артистический если был и «во время чумы», то с иным настроением, но не будничный, в странном сочетании восторга и беды, вокруг нас завивавшейся. Кажется, Сологуб договаривал последние свои слова, было это как бы прощание со всею нашей жизнью. Никогда раньше не пронзали так его стихи (да и читал он много; мы не замечали времени — до четырех часов).

Когда меня у входа в Парадиз
Суровый Петр, гремя ключами, спросит:
— Что сделал ты? — меня он вниз
Железным посохом не сбросит.
Скажу: слагал романы и стихи
И утешал, но и вводил в соблазны.
И вообще мои грехи,
Апостол Петр, многообразны.
Но я — поэт. И улыбнется он.
И разорвет грехов рукописанье,
И смело в рай войду, прощен,
Внимать святое ликованье.

Больше Сологуба я никогда не видел. Той ночью был он весь особенный и вдохновенный — вышел из обычного своего сумрака. Таким запомнился. Его дальнейшая, недолгая жизнь была, кажется, сплошной Голгофой.

РЕВОЛЮЦИОННАЯ ПШЕНИЦА

...Годы после войны прожили мы в деревне, тульском имении отца. Не могу сказать, чтобы нас обижали. Меня не только не убили, но и заложником не взяли. Не лишили и крова. Я занимал по-прежнему свой флигель. Мне вернули книги, реквизированные во время моей отлучки: все Соловьевы и Флоберы, Данте, Тургеневы и Мериме не без торжественности возвратились (в розвальнях) домой — на родные притыкинские полки. Правда, пришлось воевать: молодой, бешеный коммунист в Кашире, местный министр просвещения, библиотеки не хотел возвращать. Когда жена моя явилась к нему с разными «мандатами», он отказался их исполнить. В исступлении кричал: «Вижу, что подпись Каменева! Пусть Чека из Москвы едет, пусть меня расстреляют, не отдам народного достояния!»

— Да ведь это муж на свои деньги чуть не всю жизнь собирал...

— Ваш муж и так все знает — зачем ему книги, а народ жаждет просвещения...

В товарище Федорове, или Федулине, была искренность. Он искренне ненавидел нас, по его мнению, угнетателей народа. Малограмотный — искренне полагал, что «народ» жаждет прочитать Вячеслава Иванова и «Образы Италии» Муратова. Хуже, конечно, было то, что половина книг оказалась на французском языке. Комическое же состояло в Чеке: из Москвы жене удалось достать столь грозные бумаги, что ими можно было припугнуть каширского Сен Жюста. К чести его, он не испугался.

— Хотя бы сам Карл Маркс пришел и потребовал — не отдам. Пускай расстреливают, наплевать.

Через несколько же дней потух, успокоился и сдался на простое соображение: книги для меня орудия производства.

— Орудия производства мы обобществляем,— хмуро сказал было сначала.

— Да, в капитализме. Но я кустарь-самоучка.

На самоучку возражать не пришлось. Народ моими книгами не просветился.

Слух же о том, что «молодой барин» может раздобыть такой мандат, по которому и книги возвращают, в деревню проник. Это укрепляло наше положение. Жили мы с крестьянами отлично, все-таки не вредно было иной раз показать свое могущество.

В начале революции Кускова и Осоргин издавали в Москве кооперативную газету — очень приличную. Я там кое-что печатал. Писали иногда и обо мне И вот раз во флигеле жена показала некоей собирательной Анютке номер газеты.

— Ну, видишь это, чье тут имя?

Анютка по складам прочла.

— Бариново.

— А тут?

Та не без трепета разобрала: При-ты-ки-но.

Жена сложила газету.

— А дальше сказано, что если барина хоть пальцем тронут, так деревню артиллерией снесут... Понятно?

В тот же вечер вся деревня это знала — артиллерия Кусковой и Осоргина выступила на мою защиту.

* * *

К осени 20 года выяснилось, что семян для озимого у нас мало. Еще мать могла кое-что посеять, на деревне же у крестьян почти все было съедено (т. е. остатки реквизиций и разверсток). Жуткая вещь — очутиться без семян! Сограждане мои забеспокоились. Да и нам приходилось туго.

И тогда пришла мне странная (но к революции подходящая) мысль: спуститься прямо в пасть львиную, что-нибудь оттуда выудить. Съездить в Москву, добыть семян у самого «правительства», которое нас обирало.

Нерадостно вспоминаешь поездки того времени: тряску в телеге, мытарства с разрешениями, билетами, забитые толпой вокзалы, запакощенные вагоны. Только осенние поля наши, крестцы овсов, запах мякины, конопли в деревнях, теплый дымок над трубами, спутанные лошади в ложочке — вечный пейзаж России — всегда прекрасны. В Кашире пришлось прожить целый день. Мы останавливались у знакомой дамы-железнодорожницы. Привозили ей ковриги хлеба, а она выхлопатывала билеты. От скуки забрели на митинг — в это время воевали с Польшей. Попали как раз на речь приятеля нашего библиотечного. Он громил с эстрады перед сотней слушателей Польшу. От волнения поблед-

нел, задыхался, грозил кулаком — но «панская Польша» ему не давалась, все он кричал:

— Товарищи, покажем империалистам *польской панши*...— Или: — *Польская панша*, вооруженная до зубов...

Слушатели равнодушно принимали «паншу» — может быть, даже больше так нравилось,— за Окой видны были синеющие леса, августовское солнце бледнело, и тощи казались деревца, запыленные в садике. Русь, Кашира! Пусть Дворянская называется улицей Карла Маркса, но такая ж скакучая мостовая на ней, такие ж булыжники, пыль, запах дегтя, заборы и так же милы сады каширские — многояблочные, многовишенные,— над ними звонят колокола белых церквей.

Тяжким, ночным путем добрались до Москвы.

Через несколько дней удалось побывать и у Каменева. Он дал записку к комиссару земледелия. Тот и должен был все сделать.

Комиссар Середа помещался со своим учреждением на Пречистенском бульваре, в доме Управления Уделов. Ясным утром осенним подходил я, не без волнения, к этим Уделам: некогда гостил тут Тургенев, здесь читал друзьям «Дворянское гнездо», а теперь вот приходится подыматься по лестнице, в чем-то убеждать, чего-то просить у какого-то Середы... Ничего не поделаешь: голод есть голод.

И не сразу, конечно, дался Середа. Плотненькая, но приветливая барышня, секретарша, потомила — однако каменевское имя имело вес. Провели в угловой, огромный кабинет, весь залитый солнцем. Над большим столом увидал я черную народническую бороду (наверно, в этой комнате — лучшей — и жил Тургенев!).

Думаю, Середа был не большевистской закваски, а эсеровской и общеинтеллигентской: что-то человеческое, более мягкое, в нем чувствовалось. Над столом он сгибался, как сотрудник «Русских ведомостей», тяготел к общине, летом, наверно, ходил в калошах. Бороду утюжил под Михайловского.

Я ему передал прошение наших крестьян, подтвердил, что положение вправду тяжелое, рассказал об общине — одним словом, получился разговор двух народолюбцев семидесятых годов. Середа успел разгладить, вновь завертеть свою бороду, опять разутюжить ее — и признал, что без семян сеять трудно.

Опять секретарша, машинки, печати — и через день по всем правилам предписание складу: выдать гражда-

нам сельца Притыкина столько-то пудов семян *озимой* пшеницы.

Успех настолько удивительный, что за него простишь и Тургенева, и дом Уделов.

* * *

«Мандат» мой произвел в деревне впечатление огромное. Крестьяне, в осторожности своей и вековечной подозрительности, не очень-то сначала и поверили (все Дуньки и Анютки мигом перекинули победу из нашей кухни на деревню). Но на сходке я документ показал. Его ощупали, обнюхали, осмотрели: все в порядке!

Надо было решиться на одно: обозом двинуться в Москву, оттуда привезти семян — таково условие подарка. Начались разногласия. Мудрецы утверждали — что-нибудь тут да не так. Почему это ни с того ни с сего двести пудов пшеницы? И без возврата? На это ответили: а как же книги вернули? Он, барин-то, ты не смотри, что у себя во хригеле все книжки читает. Он свой интерес понимает, у бабушки (так называли мою мать) семянов тоже нет, он и хлопочет...

Взяло верх мнение, что ехать надо. Мы считались «гражданами сельца Прытыкина», и от нашего двора выехал гражданин Климка, наш работник, знаменитый святою своей дуростью. Баба Авдотья голосила, что у ней нет лошади и подводы, «а семянов-то и на моих дармоедов, на моих праликов надо» (у ней были дети),— ей решили уделить сообща. После долгих сборов, споров, проволочек обоз наконец тронулся. До Москвы сто тридцать верст, осень сухая, дней в пять-шесть обернутся...

Не без волнения ждали мы их. Мандат мандатом, но ведь Бог их знает, комиссаров...

На седьмой день Климка въехал на серой кобыле во двор — с нагруженным, укрытым брезентом возом.

— Что ж, хорошо в Москву съездил!

Климка был человек сумрачный, неразговорчивый. Да и слова не особенно гладко из него шли.

— Москва-то тебе понравилась?

— Понравилась... понравилась. Я тебе семянов привез... а ты... понравилась.

«Семянов» привез не один Климка — вся деревня.

— Даже замечательной пшеницы дали,— рассказывал на другой день Федор Степаныч, наш приятель и «комиссар деревни», неглупый, бойкий человек, из бывших приказчиков. Он немного кашлял, шея у него замотана шарфом.

— Так что, знаешь-понимаешь, не задаром в Москву съездили... И мужики премного вам благодарны.

Началась моя слава. Слава вообще связана с ужасом, особенно в «народных массах». Некоторый тихий ужас возник и вокруг моего «хригеля». Если возвращают книги, дают семена; если Кускова с Осоргиным угрожают артиллерией, значит же... И в те дни случалось, что в дверь ко мне раздавался стук. Отворял ее робкий посетитель откуда-нибудь из Мокрого, Оленьково, даже с Мордвеса.

— Значит, как мы слыхали, что вы, очень до семянов ходовиты, то селение наше и кланяется, а насчет чего прочего мы завсегда поблагодарим...

Выходило что-то из «Ревизора». Бобчинский с Добчинским не являлись, но плакалась и баба, и вообще, будь у меня характер Хлестакова, я мог бы процвесть.

Но Судьба не так долго держала меня на подмостках.

Пшеницу посеяли. Кто подоверчивей — всю. Мудрецы (в том числе Федор Степаныч) смололи ее и пустили на пищу, а посеяли из остатков урожая — хотя зерном пшеница была превосходная: с Северного Кавказа.

Она взошла удивительно. На вечерних прогулках нередко я любовался ее мощной густой изумрудной зеленью. Стебелек к стебельку, как под щетку. Уже грач мог почти прятаться в ней, когда начались заморозки. Утром зеленя стояли седые — спутанные лошади, которые паслись на них, оставляли темнозеленые следы и борозды.

И к удивлению моему... стал я замечать, что днем всходы не так изумрудны. Они бледнели, с каждым днем прибавлялись погибшие стебельки.

Через несколько дней с нашей же кухни пришло известие: пшеница вся вымерзла. Середа подкузьмил — вместо озимой дал яровую.

* * *

— Куда же вы смотрели, когда брали? — спрашивал я Федора Степаныча.

— Оно, действительно, вышло ошибочно, но на глаз она, что озимая, что яровая, одинаково оказывает, никак не разберешь, да и начальство спутало...

Я не могу и тут жаловаться: слава моя уходила под горизонт наподобие солнца, медленно и непоправимо,

но лояльно. Меня никто не укорял. Но в дверь больше не стучали, ходоков не присылали и вокруг меня установилась прохладная пустота.

Впрочем, это были последние вообще мои месяцы деревенские: с падением Перекопа и мы отступили на Москву.

ПАСТЬ ЛЬВИНА

Памяти недавно скончавшегося Я. Л. Г.

Всякому, кто Москву знает, ясно, что за Никитским бульваром, почти параллельно ему, идет Мерзляковский переулок (прямо к «Праге»), а около него ютятся разные Скатертные, Хлебные, Столовые и другие симпатично-хозяйственные: барская, интеллигентская Москва.

Скатертный, д. № 8, в нижнем этаже, помещалось писательское содружество — «Книгоиздательство писателей». На началах артельных выпускали там альманахи и собственные сочинения Бунин, Шмелев, Вересаев, Телешов, Алексей Толстой, Сургучев, я, другие. Управлял делами некий Клестов. Предприятие было поставлено основательно. Книги авторов прочных, альманахи отлично шли, писатели зарабатывали.

Войну книгоиздательство выдержало, даже преуспело. В революцию произошла такая вещь, что Клестов отошел к большевикам. Бунин, Толстой, позже Шмелев уехали. Остались книжные склады. Вересаев, Телешов да я. Клестов и́здали, но по старому знакомству, покровительствовал. Власти не закрывали — частью недоглядели, да и Вересаева настоящая фамилия Смидович. Значит, большая рука в правительстве.

Мы кое-что продолжали печатать, кое-как держались. Благодаря различным комбинациям дипломатическим в 21 году председателем оказался я: выбрали оставшиеся пайщики.

* * *

Вместо Клестова хозяйством заведовал теперь секретарь, старичок Яков Лукич. Прежде он служил бухгалтером в лабазе на Ильинке — худенький, носил очки, сгорбленный, несколько напоминал Ключевского. Имел какое-то отношение к старообрядцам — работник был замечательный и человек дотошный. К нам отно-

сился сочувственно, но слегка покровительственно, как к людям книжным, непрактическим. Я покорно подписывал разные бумажки, какие он мне подавал, а он посматривал на меня иногда строго, маленькими глазками, из-под очков. Я немного смущался. Что понимаю я в его бухгалтериях? Того и гляди поставит «неполный балл», как некогда инспектор в гимназии.

Раз, в начале апреля, захожу в издательство. Яков Лукич расстроен — сразу видно.

— У нас маленькое затрудненьице-с...

— Что такое?

— Выселяют. Что, мол, за писатели такие, вы больше контрреволюционеры, да и то ни черта не издаете. А мы Коминтерн. И квартиру вашу заберем, и типографию.

— Невесело, Яков Лукич!

— До веселья даже весьма далеко.

Яков Лукич призадумался.

— Что ж тут поделаешь... Аки в пасть львину махнем. На двенадцатое число — изволите видеть? — он показал бумажку,— назначено заседание, в Московском Совете. Коминтерн выступит. Ну и мы... тово, не должны бы лицом в грязь ударить. Мы же кооперация, не забудьте! Трудовое товарищество, и зарегистрированы, и книжечки издаем, работаем...

— Отлично. Вы с Викентием Викентьичем и займетесь...

Яков Лукич ухмыльнулся не без яду.

— Нет-с уж, какой там Викентий Викентьич. В бумажке прямо сказано: объяснения должен дать председатель правления.

— Да ведь у Викентия Викентьича брат в совете...

— Мало бы что. Сказано председатель, они иначе и разговаривать не станут... Да ведь и вы с товарищем Каменевым знакомы-с? Чего же проще.

Правление наше вполне подтвердило взгляд Якова Лукича: идти мне, а секретаря взять с собой — для справок, отчетности и тому подобного.

У Подколесина было окно, куда выскочить. Мне — куда же? Значит, надо идти.

* * *

Апрельский мягкий день. Лужи, почки на тополях, нежная московская дымка над полузамученным городом.

Дворец генерал-губернатора. Стучат машинки, вхо-

дят и выходят товарищи, аккуратные барышни бегают. У входа два красноармейца.

— Я вчера у св. Андрея Неокесарийского в толковании к Апокалипсису читал-с... да, я теперь знаю уж точно... насчет Коминтерна-с...

Яков Лукич, в потертом пальто, сильно закутав платком шею, в огромных калошах входил со мной в вестибюль. Мрачный у него был вид. Хорошо бы закрестить всю эту дьявольскую чепуху.

Мы подали кому следует свою бумажку, сколько надо ждали, потом нас попросили в зал заседаний. Узкая комната с окном на площадь. Длинный стол, в центре Каменев, по бокам «товарищи», больше молодежь.

— Ваше дело теперь скоро,— шепнула барышня.— Можете здесь побыть.

Каменев сидел несколько развалясь, побалтывая под столом ногой. Ботинок снят, очевидно, натер. Он — председатель совета, а тут заседание президиума. «В самое ихнее пекло и попали-с...» — шепнул Яков Лукич. И стал разбирать свои бумажки. (Там у него подробно, тщательно было разрисовано, какие мы когда выпускали книги, в каком количестве, как работала типография и т. п.)

Нельзя, впрочем, сказать, чтобы по виду пекло было страшное. Каменев кивнул почти любезно, «разбойнички» имели тоже веселый вид — слесаря, вроде приказчиков, булочники, некоторые с залихватскими вихрами. Во френчах, кожаных куртках. Тоже поглядывали на нас с любопытством. «Про Короленку, Владимира Галактионовича, не забудьте, про Короленку,— шептал Яков Лукич.— Что, мол, такого знаменитого писателя тоже издаем. Они его уважают. И Кропоткина... Гаршина, обязательно надо...» — «Яков Лукич, а как бы это не наврать, какой у нас с первого-то января баланс?» Яков Лукич не без раздражения тычет ведомость с колонкой цифр — все это я приблизительно знаю, да вдруг собьешься перед Коминтерном. «Я уж ведь вам показывал-с... А ежели, извините, собьетесь,— только уж не уменьшайте...»

Нельзя отрицать, симпатичные молодцы действовали решительно. До нас были дела тоже мелкие, хозяйственные по Москве. Отпуск дров районному совету, ремонт казарм, довольствие пожарным москворецкой части. Долго не разговаривали. Раз, два — готово. По правде сказать, темп и решительность даже понравились мне.

Наконец.

— Дело книгоиздательства писателей и Коминтерна... Кто присутствует? А, председатель, так. Сядьте сюда. Коминтерн? Товарищ Герцберг. Слушаем. Товарищ, изложите свою претензию.

Товарищ Герцберг оказалась сытенькая, стриженая барышня еврейского вида. У ней тоже была какая-то папка, она разложила ее. Я сел рядом, справа Яков Лукич. «Про Толстого-то, Толстого не забудьте,— побледнев, зашептал Яков Лукич.— Он хоть Алексей, а для них вполне за Льва сойдет».

О, если бы слышала это товарищ Герцберг! Но она поводила плечами в кожаной незастегнутой куртке, напирала грудями на свою папку и сразу пошла галопом.

— Товарищи, так называемое книгоиздательство писателей в прежнее время издавало реакционную литературу, но вот уже два года находится в полном интеллигентском параличе...

То ли слишком велик был ее азарт, то ли она не подготовилась, но ничего лучшего для нас и представить себе нельзя было. Она утверждала, что мы существуем лишь на бумаге, книг не издаем, квартира пустует, типография не работает... в то время как бедный Коминтерн теснится, жмется в каких-то углах, у него нет ни помещений, ни достаточного количества типографских машин.

Говорила быстро, по-одесски. Все знает, все понимает товарищ Герцберг. Даже удивлена, что ей, представительнице могучей организации, приходится доказывать... (таков был тон).

Всякое собрание есть театр. На каждом представлении родится атмосфера, спасающая пьесу или ее губящая. Не ту ноту взяла товарищ Герцберг — и сразу это почувствовалось.

Каменев холодно разрисовывает круги.

Пугачевцы недовольны. Что-то говорят друг другу вполголоса. Неприязненно улыбаются. (Позже мы узнали, что у Московского Совета именно тогда и были нелады с Коминтерном.)

— Товарищ, кратче,— сухо сказал Каменев.

Она рассердилась и стала еще красноречивей.

— Хорошо, все ясно. Представитель другой стороны.

Не нужно было быть ни Маклаковым, ни Плевакой, чтобы по шпаргалке прочитать, сколько книг и на какую сумму издали мы в этом году. (При имени *Кропоткин, Толстой* — победоносные усмешки на лицах слесарей.) На следующий месяц предположен Ко-

роленко — избранные сочинения... Типография работает. В квартире издательства телефон и постоянные часы приема.

Коминтерн нервно попросил слова. Опять митинговая речь.

«Гаршина-то, Гаршина позабыли...» — шептал сбоку Яков Лукич тем тоном, как некогда в молодости говорил мне объездчик Филипп на охоте: «Эх, барин, опять черныша смазали!» Но теперь сам Коминтерн на нас работал.

Каменев наконец вмешался:

— Все это, товарищ, известно. Вы повторяетесь. Мы теряем время.

— Довольно, довольно,— раздалось кругом.

Каменев предложил высказаться президиуму. Сказано было всего несколько слов. Трудовое товарищество работает — и пусть работает. Издает великих писателей, как Толстой. Мешать не надо.

Товарищ Герцберг, не спросясь, перебила говорившего, вновь громя нас. Каменев рассердился:

— Товарищ, я лишаю вас слова. Мнение президиума? Да. Так. Постановлено: Коминтерну отказать. Секретарь, следующее там что у вас?

* * *

Через полчаса мы сидели уж в Скатертном. Мимо окон проходили прохожие. Закат сиял за Молчановками, Поварскими. Недалеко особняк Муромцевых. Недалеко дом Элькина, где когда-то мы жили. Мирная, *другая* Москва.

— Что ж, Яков Лукич, пасть львина уж не так страшна? Победили мы с вами Коминтерн — два таких воеводы?

— Изумляюсь, поистине...

Он встал и отворил шкафчик.

— Тут у меня на лимонной корочке настойка есть, то и следовало бы по случаю поражения иноплеменных чокнуться.

Нашлись две рюмки. И мы чокнулись.

— Разоряют Москву, стервецы-с,— сказал вдруг грустно Яков Лукич.— До всего добраться хотят, это что-с, квартира наша, типография. Пустяки. Подробность. Они глубже метят. Им бы до святыни дорваться...

Он помолчал.

— А что мы с вами так фуксом выскочили, это действительно...

— И то слава Богу, Яков Лукич. Я не надеялся.

Он вдруг засмеялся тихим смехом, погладил стол, кресло.

— Все теперь опять наше... И квартира, и типография. А как вы скажете, ежели по второй?

Выпив, Яков Лукич поднялся. Невысокий, сгорбленный, показался он мне дальним потомком дьяков московских, родственником Ключевского. Трепаная бороденка — не то хвост лошадиный, не то редкие кустарники по вырубкам.

— У св. Андрея Неокесарийского про этот самый Коминтерн весьма даже ясно сказано...

И, трижды показав дулю невидимому врагу, обернулся ко мне. Что-то строгое мелькнуло в умных его глазах.

— А Гаршина все-таки изволили позабыть.

ПРОЩАНИЕ С МОСКВОЙ

Много в Москве было для нас всяческого, и радостного, и горького, и большого, и малого, и через нашу жизнь Москва прошла насквозь, проросла существа наши, людей московских. Но в судьбе некоторых из нас было и удаление от Москвы, расставание с нею... временное ли? Или навсегда?

Есть в Москве улица Арбат. Некогда названа она была Улицей Св. Николая — по трем церквам святителя на ней: Никола Плотник, Никола на Песках, Никола Явленный. Вокруг всякие улочки и переулочки, с именами затейливыми — Годеинский, Серебряный, Кривоарбатский. Этот последний в самой середине Арбата, рядом со зданием Военно-Окружного суда — и переулок действительно кривой: назван правильно.

Вспоминая московскую свою жизнь, видишь, что и началась она и окончилась близ Арбата. На углу Спасопесковского было первое, юное наше пристанище, в этом Кривоарбатском последнее.

Вижу его теперь, через много лет, взором неравнодушным. Пристанище для времен революции и совсем неплохое: мы снимали в квартире артистки одной огромную комнату, сами ее обставили, устроили печку, в зимнюю стужу обогревали и боками своими. Прожили в ней полтора года. В эту-то комнату и пришел раз, поздно вечером, друг наш, издатель Гржебин. Вполголоса, в полутьме, говорили мы об отъезде: сам он

уезжал в Берлин, там основывая издательство, вывозя и меня, и мою семью.

В эту комнату пришла первая иностранная виза — из Италии! Осюда мы уезжали.

Отсюда же мысленно веду я рассказ и сейчас — о последних моих днях на родине.

* * *

Та весна была теплая, почти жаркий май, и довольно пыльный. Много приходилось путешествовать по учреждениям... грязноватые лестницы, очереди, товарищи, штемпеля, бланки. «Из Ч. К. разрешения еще нет»,— значит, опять ждать: комиссариат иностранных дел без чеки ничего не даст.

Все равно мы терпели, ждали, дело серьезное. Сила же терпения и упорства велика. Одна бумажка выйдет — ждешь другую, один штемпель прибавился — и то хлеб, ждешь следующего. Удостоверения, разрешения — без конца.

Но конец все-таки пришел. Однажды в начале июня, взобравшись на очередной третий этаж, получил я две красные паспортные книжки с фотографиями, печатями и подписями. Сохраняю их — след прошлого, а отчасти — знак хода судеб: на восьмой странице книжечек этих, по голубоватой сетке бумаги, красными чернилами подпись: Г. Ягода. С ним рядом, мельче и тусклее: М. Трилиссер.

Участи Трилиссера я не знаю, судьба Ягоды всем известна. Не без содрогания смотришь теперь на эти имена, но тогда меньше всего я о них думал. Сквозь всю усталость прибивалось лишь одно: выпустили! Едем.

По улицам нес документы благопристойно. Дома же разложил их по полу и — надо сознаться — протанцевал над ними.

А между тем дело ведь шло об отъезде из родного города, родной земли! Мы покидали самых близких. Хоть и говорили, что на время и в сознательной, освещенной части души так как будто и было, но в потемках глубин... Все-таки мы не колебались. Нас несла уже некая сила — корабли у пристани, на дальний запад, прочь от Трои пылающей. Это судьба. Все текло в жизни нашей к отъезду. То одно, то другое удалялось из комнаты — что дарили, а что продавали. И все ближе, ближе...

* * *

В Москве в эти дни шел большой политический процесс — эсеров. Процесс был многолюдный, публика волновалась и все требовали смерти. На защиту приезжал из Бельгии Вандервельде. На Виндавском вокзале, откуда мы должны были уезжать, ему устроили такой прием, какого европейский человек не ожидал: орали и свистали, бросали камни, даже и ругали его по-французски. Это, кажется, его удивило, он не знал, что так распространен его язык в России (если бы знал, что несколько мальчишек специально были обучены, изображая народ, удивление его убавилось бы).

Приговор приготовили, разумеется, загодя, но ему надо было дать характер воли народа. Решили сделать это, «поднять массы».

Молочница, носившая нам молоко, тоже была из масс.

Накануне дня манифестации сказала моей жене:

— Завтра, барыня, прямо все пойдем. Вся Москва.

— Куда же это?

— И со знаменами, со флагами. Этих вот, как их там... чтобы требовать наказания.

— А что они тебе?

— Да мне-то ничего. А так, что сказано: кто пойдет, тому калоши выдадут. А достань-ка ныне калоши!

Мы должны были выезжать накануне манифестации. Но из-за Вандервельде, спешно, в беспорядке отступавшего со своими спутниками, наш отъезд отодвинулся: все места в заграничном вагоне оказались уж заняты. Так что день получения калош мы проводили еще в Москве. Это было именно наше последнее московское утро.

Поезд уходил в пятом часу. И среди всех формальностей отъезда все-таки одна не была еще выполнена.

Пришлось идти в Китай-город. Я шел по Арбату мимо «Праги», где когда-то мы веселились. Сперва Арбатская площадь с памятником Гоголю. Против Гоголя стена Александровского военного училища. Памятник при мне открывали, форму училища я одно время носил.

Мимо церкви св. Бориса и Глеба вышел на Воздвиженку, обогнул «Петергоф», прошел мимо университета, где учился. Повернул к Историческому музею. Было теплое утро, солнечное, совсем как весной 1918 года, когда православная Москва вышла с иконами

и хоругвями на улицу. С разных концов города, при громовом гуле колоколов, собирались крестные ходы ко Храму Христа Спасителя, а оттуда двинулись ко Кремлю. Наш Арбатский район шел Пречистенским бульваром, влился в общую массу, и потом все двинулось именно к этому месту, где я сейчас находился,— проезду между Кремлем и Музеем: тут стоял патриарх Тихон и благословлял народ. Он был спокоен, сдержан. Навсегда запомнилось глубоко народное, как у Толстого, лицо с крупным носом, ясными глазами, русской бородой. В руке у него был золотой крест, солнце горело в этом кресте. Он остался видением древней, несокрушимой Святой Руси, восставшей из тысячелетнего лона.

За патриархом были исповедничество, нищета, близкое заточение — тот самый крест, облик которого он держал в правой руке и на который как бы звал всех склонявшихся перед ним. Никольские ворота, в Кремль, были заперты. Из-за итальянских зубцов глядели солдатские лица в остроконечных шапках со звездой.

Мимо Музея повернул я теперь налево, наискосок через площадь к Ильинке — это Китай-город, московское Сити. Как в Сити, глухие и неказистые тут переулки, конторы, лабазы. На Варварке знаменитый трактир, тоже невзрачный, как и лондонские. И тоже — миллионные дела.

Здесь теперь оказался и комиссариат финансов — там и должны были мне ставить последний штемпель.

Вход тоже сумрачный. Свету мало, дома из узеньких улиц заслоняют. Большое здание — к удивлению некоторому и ужасу моему оказалось оно полупустым. Служащие расходились, конторки одна за другой закрывались.

Опять надо было упорствовать. Но ведь вечером поезд... Как-никак, чуть не у последнего окошечка, но бойкая барышня подала мне документ в исправности. И тотчас застучала на своей машинке. Вошел некто начальственного (но не из высших) вида.

— Товарищ, почему же вы работаете? Не знаете, на манифестацию идти?

Она продолжала выстукивать.

— Я сейчас кончаю и иду завтракать.

— Успеете завтракать. Наши уже все ушли.

Она вдруг остановилась, подняла на него голову в кудряшках, не без дерзости.

— Сверхурочные дадите?

— Слушайте, товарищ...— он зашел к ней за прила-

вок, наклонился, стал говорить тише. Видимо, я его стеснял.

Барышня захлопнула машинку, поднялась.

— Ну, если так, согласна...

Торг пора было и кончать. Время действительно на исходе. Когда я вышел от них на Лубянскую площадь, снизу, от Театральной, подымалась уже голова процессии.

Шли люди в кепках и юноши, отряд голоногих спортсменов, работницы, служащие, несли плакаты, знамена, флаги. И везде одно: «Смерть! Смерть! Смерть!» Несли какие-то чучела, пели хором. Всё шли и шли, рядами, строем, в беспорядке, как придется. Манифестация многолюдная. Но не более, чем тогда с патриархом.

* * *

Наша большая комната уже в полном разгроме. Даже печка уехала — хранительница наша и спасительница от морозов. Несколько чемоданов на кровати без подушек и без одеял, ремни, пледы, картонки, сор на полу... удаление человека, смерть жилья до минуты, пока новый насельник не оживит его.

Не так давно уже здесь, в Париже, пришлось провожать друзей за море — в Австралию, навсегда: они туда переселялись.

Может быть, наши друзья в Москве смотрели уже на нас, как и мы позже на австралийцев,— тени иной планеты. Во всяком случае, это они скрывали. И все шло покойно и правильно. Пришел час, подъехали наши извозчики, передвинулись вниз чемоданы, присели мы на кровать, помолчали, перекрестились да с Богом и тронулись. Извозчики нас везли по тому же Арбату юности нашей, мимо Николы на Песках на Виндавский вокзал. Извозчики были обыкновенные. Тащились серенькою рысцой. Москва медленно протекала мимо.

Мы не встретили никаких процессий — нам давался свободный выход. Сретенкою, мимо Сухаревки со знаменитою башней, тенью Брюса таинственного, неторопливые наши возницы по Мещанской подвезли к невысокому и нехитрому зданию: Виндавский вокзал, на небольшой площади.

Странно сказать, но никогда раньше не приходилось не только что уезжать отсюда, а и видеть вокзал этот.

...Носильщики в белых фартуках, поезд дальнего следования, вагон, купе, последние звонки, последние

поцелуи. Ждали, стремились и волновались, вот и пришла минута, преломился кусок хлеба в крепких руках — медленно утекала назад платформа, милые лица, платочки, слезы. Замелькали строения железнодорожные, а потом домики и сады. Мы одни были в купе. Погода менялась. Над Москвой заходила сизеющая туча, подбираясь к солнцу. Вот остался узкий златистый нимб, а там и он померк, ушло солнце в глубины туманно-смутные. Прохладная тень кинулась вниз. Начинались уже поля. Ветерком донесло запах дождя.

Мы почувствовали только теперь, как устали.

СОДЕРЖАНИЕ

III

IV

Зайцев Б. К.

З—17 Улица святого Николая: Повести и рассказы /Вступ. статья, сост. О. Михайлова; Ил. Н. Костиной.— М.: Худож. лит., 1989.— 399 с., ил.

ISBN 5-280-01339-0

В книгу прозы Бориса Константиновича Зайцева (1861—1972), одного из виднейших русских писателей нашего века, последнего представителя старого литературного зарубежья, входят рассказы, повесть «Голубая звезда», «Преподобный Сергий Радонежский» — жизнеописание одного из самых почитаемых на Руси святых, воспоминания о современниках.

Творчество Б. Зайцева несет в себе от века идущие духовные ценности, веру в доброе предназначение человека и продолжает традиции золотого века нашей классики.

З $\frac{4702010201\text{-}393}{028(01)\text{-}89}$ без объявл. **ББК 84Р7**

Борис Константинович

ЗАЙЦЕВ

УЛИЦА СВЯТОГО НИКОЛАЯ

Повести и рассказы

Редактор *О. Дворцова*

Художественный редактор *И. Сальникова*

Технический редактор *А. Кашафутдинова*

Корректоры *И. Ломанова, С. Кашина*

ИБ № 6046

Сдано в набор 20.07.89. Подписано в печать 17.10.89. Формат 84×108¹/₃₂. Бумага типогр. № 1. Гарнитура «Таймс». Печать высокая. Усл. печ. л. 21,0. Усл. кр.-отт. 21,42. Уч.-изд. л. 22,72. Тираж 250 000 экз. Изд. № III-3666. Заказ № 2599. Цена 3 р. 20 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература». 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

Ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени МПО «Первая Образцовая типография» Государственного комитета СССР по печати. 113054, Москва, Валовая, 28.


3 р. 20 к.


Борис Зайцев